

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

ТРОЕ В ЛОДКЕ
(НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ)

ТРОЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ • ТРОЕ В ЛОДКЕ • ТРОЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ISBN 978-1-300-37192-2



9 781300 371922

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ КЛАССИКОВ

AETERNA

TORONTO 2012

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ КЛАССИКОВ

JEROME K. JEROME

THREE MEN IN A BOAT
(TO SAY NOTHING OF A DOG)

THREE MEN
ON THE BUMMEL

AETERNA

TORONTO 2012

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ КЛАССИКОВ

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

ТРОЕ В ЛОДКЕ
(НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ)

ТРОЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

AETERNA

TORONTO 2012

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

«Тroe в лодке (не считая собаки)»
«Тroe за границей»

Перевод с английского,
послесловие и примечания
Гая Севера

Переводчик выражает благодарность
президенту Английского джеромовского
общества Джереми Николасу
за помошь в подготовке текста
и предоставленные фотографии
(www.jeremynicholas.com)

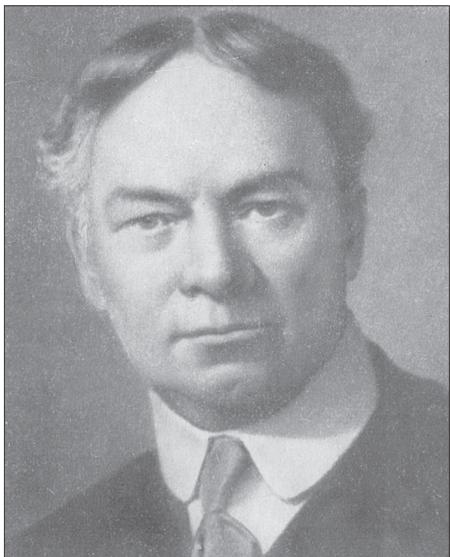
© Север Г. М., 2012
© Aeterna Publishing, 2012
© Lulu Press, 2012

УДК 82-31
ББК 84(0)-44

ISBN 978-1-300-37192-2

Aeterna Publishing
260 Adelaide St., 44
Toronto Ontario
M5A 1N1 Canada

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ



Jerome K. Jerome

Мой издатель предложил, чтобы я добавил к его строкам несколько от себя. Отказаться от предложения, в создавшихся обстоятельствах, было бы неучтиво. Мир принял эту книгу весьма сердечно. Г-н Эрроусмит сообщает только о продажах в Великобритании. Один ныне удалившись от дел представитель пиратского бизнеса в Чикаго заверил меня, что продажи в Соединенных Штатах превысили миллион. И хотя из-за того, что книга была опубликована до времен Бернской конвенции и ее публикация не принесла мне никакой выгоды, популярность и слава, которую книга снискала мне среди американских читателей, — актив, которым нельзя пренебречь. Книгу перевели, я думаю, на все европейские языки (кроме арабского), и также на некоторые азиатские.

Книга принесла мне несколько тысяч писем — от людей молодых и людей старых; людей здоровых и людей больных; от людей веселых и людей безрадостных. Письма шли со всех уголков света, от мужчин и женщин всех стран. Даже будь эти письма единственным результатом — мне следует радоваться и гордиться, что я написал эту книгу. Я храню несколько потемневших страниц экземпляра, присланных мне из Южной Африки офицером колониальных войск. Страницы были найдены в рюкзаке его боевого товарища, погибшего на горе Спион-Коп. Что еще можно сказать?

Остается только определить достоинства, которые объяснили бы такой чрезвычайный успех. Я это сделать совершенно не в состоянии. Я писал книги, которые, на мой взгляд, были умнее; книги, которые, на мой взгляд, были смешнее. Только публика упорно предпочитает помнить меня как автора «Трех в лодке». Кое-кто из пишущих, было, предполагал, что причиной успеха книги в народе является ее пошлость и полное отсутствие юмора; однако сейчас понимаешь, что такое предположение не объясняет загадки. Искусство дурного тона может преуспевать — недолго и в узком кругу; только оно не покинет пределы этого круга на двадцать лет.

И я пришел к следующему заключению: каким бы ни было объяснение, я имею право гордиться, что написал эту книгу. Конечно, если я ее действительно написал — я на самом деле не помню, как это сделал. Помню только, что в то время я ощущал себя весьма молодым и до смешного довольным собой (по причинам, касающимся меня одного). Стояло лето, а летом Лондон настолько прекрасен! Он простирался под моим окном сказочным городом, окутанным золотой дымкой — я работал в мансарде, высоко над колпаками дымовых труб; а ночью огни светились далеко внизу, и я глядел вниз словно в пещеру Алладина, заполненную драгоценностями. В те летние месяцы я и написал свою книгу — кажется, я просто не мог не написать ее.

*Предисловие автора
ко второму изданию, 1909 год*

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

ТРОЕ В ЛОДКЕ
(НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ)

Главное достоинство нашей книги — не в литературном стиле и даже не в изобилии и пользе содержащейся в ней информации, а в простой правдивости. Страницы этой книги представляют собой отчет о событиях, которые имели место в действительности. Работа автора свелась лишь к тому, чтобы их оживить, и кроме как в этом, его обвинять больше не в чем. Джордж, Гаррис и Монморанси — отнюдь не поэтические идеалы, но существа из плоти и крови (особенно Джордж, который весит под 170 фунтов). Быть может, другие труды превзойдут наш глубиной мысли и знанием человеческого существа; другие книги будут соперничать с нашей оригинальностью и объемом; но в том, что касается безнадежной, неисцелимой правдивости, — в этом ничего из на сегодня известного не сможет ее превзойти. И именно это качество, более прочих, придаст, как представляется, данной работе вес в глазах серьезных читателей и повысит ценность тех поучений, которые в ней приводятся.

Лондон, август 1889 года

ГЛАВА I

Три инвалида. — Страдания Джорджа и Гарриса. — Жертва ста и семи смертельных недугов. — Полезные предписания. — Средство против болезни печени у детей. — Мы согласны, что переутомились и нуждаемся в отдыхе. — Неделя над бушующей бездной? — Джордж предлагает реку. — Монморанси заявляет протест. — Первоначальное предложение принимается большинством трех против одного.

Нас было четверо: Джордж, Уильям Сэмюэл Гаррис, я сам и Монморанси. Мы сидели у меня в комнате, курили и беседовали о том, как были плохи (плохи с точки зрения медицинской, я имею в виду, конечно).

Все мы чувствовали себя не особо и начинали по этому поводу нервничать. Гаррис сказал, что иногда на него находят такие необычайные припадки головокружения, когда он едва соображает что делает. Тогда Джордж сказал, что у него тоже бывают припадки головокружения, когда он сам едва соображает что делает. Что до меня — у меня баражила печенка. Я знаю, что это баражила печенка, потому что как раз прочитал рекламный листок патентованных печеночных пилюль. В нем досконально излагались разнообразные симптомы, по которым человек может понять, когда у него баражит печенка. У меня они были все.

Самое странное дело, но всякий раз, когда я читаю рекламу патентованного лекарства, я прихожу к заключению, что страдаю от той самой болезни, о которой в рекламе написано, и страдаю в наиболее опасной форме. Симптомы в каждом случае соответствуют всем ощущениям, которые я имею.

Помнится, однажды я пошел в Британский музей* — найти средство против слабого недомогания (кажется, сенной лихорадки). Взявшись за справочник, я нашел все, что искал. Потом, от нечего делать, я начал листать страницы, просматривая просто так статьи о заболеваниях. Я забыл, в какую болезнь погрузился сначала (знаю, это был некий страшный бич человечества), но не успел я просмотреть список «продромальных симптомов» до середины*, как стало ясно — я этим болен.

Я сидел какое-то время, замороженный ужасом. Затем, в апатии отчаяния, снова перевернул страницу. Дошел до брюшного тифа, перечитал симптомы — обнаружил, что брюшной тиф у меня, должно быть, уже

несколько месяцев, а мне об этом и неизвестно. Озадачился, чем болен еще, нашел пляску святого Витта — выяснил, как и подозревал, что болен пляской святого Витта. Мой случай заинтересовал меня; я решил прочесать все до конца, начал по алфавиту, прочитал про болотную лихорадку — понял, что вот-вот от нее свалюсь, а обострение наступит через полмесяца. Брайтова болезнь, как я с облегчением обнаружил, имелась у меня в модифицированной форме, и, с такой формой, я мог прожить еще годы. Дифтерия у меня, похоже, была врожденной. Холера у меня была с серьезными осложнениями. Я добросовестно пропотел над всеми буквами и смог заключить, что не страдаю от единственного заболевания — у меня не было воспаления коленной чашечки*.

Сначала меня это даже задело — просто какое-то неуважение. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки? За кого меня принимают? Чуть погодя, однако, во мне возобладали не столь ревнивые чувства. Я подумал: ведь у меня были все остальные болезни, известные в медицине! Мой эгоизм убавился, и я принял решение обойтись без воспаления коленной чашечки.

Подагра, в самой злокачественной форме, хватила меня, похоже, без моего ведома. А ятрогенным зимосом я страдал явно с детства*. После ятрогенного зимоса там больше ничего не значилось, и я заключил, что в остальном со мной все в порядке.

Я сидел и размышлял. Насколько, должно быть, интересен мой случай с точки зрения медицинской! Какое приобретение для учебы! Студентам теперь не придется проходить «больничную практику», если у них буду я. Я сам по себе — больница. Все, что им будет нужно, — обойти вокруг меня и идти забирать свой диплом.

Тогда мне подумалось: сколько еще протяну?

Я попытался себя осмотреть. Пощупал пульс. Сначала никакого пульса не было вообще. Потом он вдруг вроде забился. Я вытащил часы и за-сек время. Получилось сто сорок семь ударов в минуту. Я попытался послушать сердце. Я его не услышал. Оно не билось. Приходилось делать вывод, что все это время оно там было и билось — просто я об этом не подозревал. Я простукал себя спереди от того участка, который называю талией, до головы и немного с боков. Но ничего не почувствовал и не услышал. Попробовал осмотреть язык. Высунул его до предела, насколько он вообще высывался, закрыл один глаз и постарался осмотреть другим. Мне удалось увидеть только кончик и преуспеть только в одном — я понял: скарлатина у меня была точно.

Я вступил в этот читальный зал счастливым, здоровым человеком. И выполз оттуда дряхлой развалиной.

Я пошел к своему врачу. Он мой старый приятель; когда мне чудится, будто я нездоров, он шупает у меня пульс, смотрит язык, разговаривает

о погоде — и все бесплатно. Я и подумал, что как следует ему отплачу, если пойду к нему. «Что нужно доктору, — решил я, — это практика. У него буду я. В моем лице он получит такую практику, какой ему не получить от тысячи семисот каких-нибудь банальных, заурядных больных с одной-двумя болячками на экземпляр». Итак, я пошел прямо к нему. Он спросил:

— Ну? Что у тебя?

Я сказал:

— Не буду занимать твое время, дружище, разговором о том, что у меня. Жизнь коротка, и ты можешь отойти в мир иной прежде чем я закончу. Я расскажу тебе, чего у меня *нет*. У меня нет воспаления коленной чашечки. Почему у меня нет воспаления коленной чашечки — сказать тебе не могу. Но факт остается фактом — у меня его нет. Зато у меня есть все остальное.

И я рассказал ему, каким образом все обнаружил.

Тогда он раздел меня, осмотрел и схватил за запястье. Затем двинул в грудь, безо всякого предупреждения (какова подлость, да?), и тут же боднул головой. Потом сел, выписал мне рецепт, сложил и вручил, а я положил рецепт в карман и ушел.

Я не смотрел его. Я отнес его в ближайшую аптеку. Аптекарь прочитал рецепт и вернулся. Он сказал, что такого не держит.

Я спросил:

— У вас аптека?

Он сказал:

— У меня аптека. Была бы у меня кооперативная лавка и семейный пансионат, два в одном, я уж, так и быть, сделал бы вам одолжение. Но у меня всего лишь аптека, и я бессилен.

Я прочитал рецепт. В нем значилось:

Бифштекс — 1 фунт, принимать каждые 6 часов с 1 пинтой пива.

Прогулка десятимильная — 1 порц., принимать каждое утро.

Постель — 1 порц., принимать каждый вечер ровно в 11.

И не забивать голову вещами, в которых не разбираешься.

Я последовал указаниям, со счастливым (для меня) результатом: моя жизнь была спасена и продолжается до сих пор.

В данном же случае, возвращаясь к рекламе пилюль, не может быть никакой ошибки: у меня присутствовали все симптомы, основным из которых являлось «общее нерасположение к труду всякого рода».

Как я страдаю от этого — не в состоянии описать никто. Я был мучеником с младенчества. В мои мальчишеские годы заболевание не ослабевало ни на день. В те времена, конечно, просто не знали, что дело было в печенечке. Медицина находилась в гораздо менее развитом состоянии, чем сейчас, и все списывалось на лень.

— Ах ты, ленивый чертенок! — говорили мне. — А ну, вставай да займись делом!

В те времена, конечно, просто не знали, что я был болен.

Мне не давали никаких пилюль. Мне давали подзатыльники. И, как ни странно, подзатыльники — в те времена — часто мне помогали, на какое-то время. Получалось, что один такой подзатыльник лучше действовал на мою печень и больше стимулировал стремление выполнить, не теряя дальнейшего времени, что требовалось, чем целая коробка пилюль сегодня.

Знаете, оно часто так: простые, дедовские средства иногда более эффективны, чем вся эта аптечная ерунда.

Мы просидели полчаса, живописуя друг другу собственные недуги. Я объяснил Джорджу и Уильяму Гаррису, как чувствую себя по утрам, когда просыпаюсь; Уильям Гаррис рассказал нам, как себя чувствует, когда отправляется спать; а Джордж стал на каминный коврик и дал яркое и талантливое представление, характеризующее его ощущения по ночам.

Джордж *воображает*, что болен. С ним по-настоящему никогда ничего не бывает, поверьте.

Здесь в дверь постучалась миссис Поппетс и спросила, готовы ли мы ужинать. Мы грустно заулыбались друг другу и сказали, что по кусочку-другому проглотить попробуем. Гаррис заметил, что «немного кое-чего в желудке обычно препятствует развитию заболевания». Миссис Поппетс принесла поднос, а мы пододвинулись к столу и принялись ковырять бифштекс с луком и ревеневый пирог.

Я, должно быть, расклелся уже совсем, так как через каких-нибудь полчаса потерял интерес к еде полностью — вещь для меня ненормальная. Я даже не притронулся к сыру.

Исполнив сей долг, мы поддили в стаканы вина, зажгли трубки и возобновили беседу о состоянии своего здоровья. Что с нами творилось в действительности, никто из нас точно не знал, но мнение было единодушным: оно, неважно что, вызвано переутомлением.

— Отдых — вот что нам нужно! — заявил Гаррис.

— Отдых и полная перемена окружающей обстановки, — откликнулся Джордж. — Перенапряжение мозга привело к общему ослаблению организма. Смена окружающей обстановки, отсутствие необходимости думать восстановят умственное равновесие.

У Джорджа есть двоюродный брат, которого в полицейский протокол обычно заносят как студента-медика; таким образом, манера выражаться врачебно у Джорджа фамильная.

Я согласился с Джорджем и предложил разыскать какое-нибудь местечко, архаическое, уединенное, в стороне от беснующейся толпы, и продремать там солнечную неделю среди сонных тропинок — какой-нибудь полузабытый уголок, сокрытый добрыми феями вдалеке от шумного мира,

какое-нибудь причудливое гнездо на скале Времени, откуда вздымающийся прибой девятнадцатого столетия послышится далеким и слабым.

Гаррис сказал, что там будет болотная тоска. Он сказал, что знает, какого рода местечко я имею в виду. Спать там отправляются в восемь, «Рефери» не достанешь ни за какие сокровища *, а чтобы найти закурить, нужно прошагать десять миль.

— Нет, — заявил Гаррис. — Если вам нужен отдых и перемена окружающей обстановки, лучше всего прогулка по морю, и не спорьте.

Против прогулки по морю я решительно запротестовал. Прогулка по морю приносит пользу здоровью когда вы прогуливаетесь так месяца два. Если вы собираетесь на неделю, прогулка по морю — зло.

Вы отправляетесь в понедельник. Вы одержимы идеей получить удовольствие. Вы грациозно машете на прощанье друзьям, остающимся на берегу, зажигаете свою самую большую трубку и расхаживаете по палубе с таким видом, точно вы и капитан Кук, и сэр Фрэнсис Дрейк, и Христофор Колумб сразу *. Во вторник вы жалеете, что поехали. В среду, четверг и пятницу вы жалеете, что родились на свет. В субботу вы в состоянии сделать глоток бульона и сидеть на палубе, отвечая бледной, слабой улыбкой на вопросы добросердечных о том, как вы себя чувствуете. В воскресенье вы уже передвигаетесь и принимаете твердую пищу. И в понедельник утром, когда с зонтиком и саквояжем в руке вы стоите у планшира, собираясь сойти на берег, прогулка по морю вам вполне начинает нравиться.

Помнится, как-то раз мой шурин отправился в небольшую прогулку по морю, поправить здоровье. Он взял место в оба конца, от Лондона до Ливерпуля, и когда попал в Ливерпуль, был озабочен лишь тем, как бы сплатить обратный билет.

Как мне рассказывали, билет предлагался повсюду с фантастической скидкой и в итоге ушел за восемнадцать пенсов какому-то желтушечному юнцу, которому доктор как раз порекомендовал морские купания и мицион.

— Море! — воскликнул мой шурин, с чувством вкладывая билет юнцу в руку. — Да его вам хватит до гроба! А мицион! Да просто сядьте на этом корабле и сидите — будет вам такой мицион, какого на берегу не получите никогда, хоть вы ходи колесом!

Сам шурин вернулся на поезде. Он сказал, что вполне может поправить здоровье и на Северо-Западной железной дороге.

Другой мой знакомый отправился в недельный вояж вдоль побережья. Перед отходом его посетил стюард и спросил, будет ли он платить за каждый обед отдельно или расплатится сразу.

Стюард рекомендовал последнее, так как питание в этом случае обойдется намного дешевле. Он сказал, что сразу за всю неделю с него возьмут два фунта пять шиллингов. На завтрак подают рыбу и жареное мясо;

ленч бывает в час и состоит из четырех блюд; обед — в шесть (суп, рыба, entree, жаркое, птица, салат, сладкое, сыр, десерт*); легкий мясной ужин в десять.

Мой приятель решил остановиться на двух фунтах пяти шиллингах (он едок серьезный) и выложил деньги.

Ленч подали как только они отошли от Ширнесса. Мой приятель не проголодался как думал и удовлетворился ломтиком вареной говядины и земляникой со сливками. Весь день после этого он пребывал в раздумье. Иногда ему казалось, что неделями он ничем, кроме вареной говядины, не питался. А иногда — что годами только и жил на землянике со сливками.

Равным образом ни говядина, ни земляника со сливками не обрели покоя. Им, можно сказать, не сиделось на месте.

В шесть пришли и сказали, что обед готов. Это сообщение не вызвало у моего приятеля никакого энтузиазма. Но он осознавал, что некую долю двух фунтов и пяти шиллингов следует отработать, и, хватаясь за канаты и прочие элементы оснастки, спустился в буфет. У подножия лестницы его приветствовало смешанное благоухание лука, горячей ветчины, жареной рыбы и овощей. Со льстивой улыбкой к нему подошел стюард и спросил:

— Что вам принести, сэр?

— Унесите меня отсюда, — был слабый ответ.

Тогда его быстро вывели, прислонили к стене, с подветренной стороны, и оставили в одиночестве.

В продолжение следующих четырех дней он вел простую, безгрешную жизнь, питаюсь галетками с содовой*. Однако ближе к субботе он исполнился самонадеянности и дерзнул отведать слабого чая с тостами. А в понедельник он уже объедался куриным бульоном. Он сошел с корабля во вторник и, когда тот, дымя, отходил от причала, посмотрел вслед с сожалением.

— Он уходит, — вздохнул мой приятель. — Он уходит. А с ним на два фунта еды... Моя собственность, которая мне не досталась.

Он сказал, что если бы ему дали еще денег, он наверняка бы со всем разбрался.

Так что прогулке по морю я решительно воспротивился. Нет, как я уже объяснил, не ради себя. Мне никогда не бывает дурно. Просто я опасался за Джорджа. Джордж заявил, что с ним все будет в порядке и ему даже понравится, но вот мне с Гаррисом он посоветует о прогулке по морю даже не думать: он просто уверен, что мы оба будем болеть. Гаррис ответил, что ему, собственно, всегда было странно, каким образом людям на море удается заболевать. Он сказал, что люди, должно быть, делают это нарочно, чтобы порисоваться. Он сказал, что ему, собственно, часто хотелось заболеть, но никогда не получалось.

Затем он принялся травить байки о том, как пересекал Канал в такую страшную качку, что пассажиров пришлось привязывать к койкам, а на

корабле остались только две живые души, которые не заболели, — он сам и еще капитан. Иногда это был он сам и второй помощник, но, как правило, это был он сам и еще кто-нибудь. Если это был не он сам и еще кто-нибудь, тогда это был он сам.

Загадочный факт, но морской болезнью вообще никто никогда не страдает — на суше. На море вы натыкаетесь на целые сонмы больных, на целые пароходы. На суше я никогда не встречал человека, который имел хоть бы какое-то представление, что такое морская болезнь. Где эти тысячи тысяч страдальцев, которыми кишит каждое судно, скрываются на берегу — тайна.

Будь большинство человечества подобно субъекту, которого я видел однажды на ярмутском рейсе, я объяснил бы эту мнимую загадку с легкостью. Помню, мы как раз отошли от саутендского пирса; он высунулся в один из люков крайне опасным образом. Я поспешил на помощь.

— Эй! Ну-ка, назад! — сказал я, тряся его за плечо. — Свалитесь за борт.

— О господи! Ну и хорошо.

Вот все, что мне удалось из него выжать. С тем пришлось его и оставить.

Три недели спустя я встретил его в кофейне, в гостинице в Бате. Он рассказывал о своих путешествиях и с жаром распространялся о том, как обожает море.

— Как я переношу качку? — ответил он на завистливый вопрос робкого юнца. — Что ж, однажды, признаться, меня слегка мучило. Это случилось за мысом Горн. Наутро судно потерпело крушение.

Я сказал:

— Простите, а не вас ли как-то слегка мучило у саутендского пирса? Вы еще хотели оказаться за бортом.

— У саутендского пирса? — переспросил он с озадаченным выражением.

— Ну да. По дороге на Ярмут, три недели назад.

— Ах да! — он просиял. — Да, вспомнил! В тот день у меня была мигрень. Это, знаете ли, пикули. Ужаснейшие пикули, какие мне вообще доводилось пробовать на порядочном корабле. А вы их не пробовали?

Что касается меня, я открыл превосходное средство против морской болезни. Нужно просто сохранять равновесие. Вы становитесь в центре палубы. Корабль вздымается и зарывается носом; вы балансируете так, чтобы все время держаться прямо. Когда нос корабля поднимается, вы наклоняетесь, пока палуба почти не коснется вашего собственного. Когда задирает корму, вы откидываетесь назад. Час-другой помогает отлично. Правда, неделю вы так не пробалансируете.

Джордж сказал:

— Давайте махнем вверх по реке.

Он сказал, что у нас будет и свежий воздух, и мокцион, и покой. Постоянная смена пейзажа займет наши умы (включая то, что известно в этом

смысле у Гарриса), а физическая работа поспособствует аппетиту и хорошему сну.

Гаррис заметил, что, по его мнению, Джорджу для улучшения сна трудиться не следует. Это может оказаться опасным. Он сказал, что не совсем понимает, каким образом Джордж собирается спать больше, чем спит обычно (учитывая, что в сутках всего лишь двадцать четыре часа, зимой и летом без разницы). Если Джордж решил-таки спать еще больше, тогда пусть лучше умрет и не тратится, таким образом, на стол и квартиру.

Гаррис, однако, добавил, что река «попадает в тютельку». Я не знаю, что это за «tütelka», но, как понимаю, «в тютельку» всегда что-нибудь попадает (что этим тютелькам весьма делает честь)*.

Я также считал, что река «попадает в тютельку», и мы с Гаррисом оба признали, что Джорджу пришла в голову удачная мысль. В нашем тоне просквозило даже некоторое удивление — в том смысле, что Джордж вдруг оказался таким смышленым.

Единственным, кого предложение не сразило, был Монморанси. Вот Монморанси к реке никогда никаких чувств не питал.

— Все это хорошо для вас, — сказал он. — Вам такое по нраву, мне — нет. Мне там делать нечего. Пейзажи не по моей части, и я не курю. Если я увижу крысу, вы не остановитесь. А если я уйду спать, вы начнете валять дурака с лодкой и плюхнете меня за борт. Я вам отвечу так: вся эта затея — полнейшая глупость.

Впрочем, нас было трое против одного, и предложение пришлося принять.

* * *

ГЛАВА II

Обсуждение плана. — Прелести ночевки на открытом воздухе в ясную погоду. — То же — в сырую. — Принимается компромисс. — Монморанси: первые впечатления. — Возникают опасения: не слишком ли он хорош для данного мира? — Опасения впоследствии отбрасываются как беспочвенные. — Заседание откладывается.

Мы разложили карту и стали обсуждать план.

Было решено, что мы отплываем в ближайшую субботу из Кингстона. Мы с Гаррисом выедем туда утром и возьмем лодку до Чертси, а Джордж, который не сумеет выбраться из Сити до полудня (Джордж ходит спать в банк с десяти до четырех каждый день, кроме субботы, когда его будят и выставляют за дверь в два *), встретит нас там.

Будем мы ночевать на воздухе или спать в гостиницах?

Мы с Джорджем были за «воздух». Это ведь так привольно и первозданно, так ведь патриархально.

В сердце унылых останавливающих облаков медленно угасает золотая память об умершем солнце. Тихие, как печальные дети, смолкают птицы; только жалобный крик куропатки да хриплое карканье коростеля тревожат благоговейную тишину над лоном вод, где умирающий день испускает последний вздох.

Из сумеречных лесов вдоль берегов реки бесшумно крадется призрачное воинство Ночи — серые тени — в погоне за медлительным арьергардом света, ступая незримой бесшумной стопой по колышущимся речным травам сквозь вздыхающие тростники. И Ночь на своем мрачном троне простирает черные крылья над меркнущим миром и из своего призрачного дворца, освещенного бледными звездами, царствует в тишине.

И мы направляем лодку в тихую заводь; палатка натянута, скромный ужин приготовлен и съеден. Набиты и закурены длинные трубки, звучит негромкой мелодией дружеская беседа. Иногда мы смолкаем, и река, развязься вокруг лодки, шепчет загадочные древние сказки и тайны, поет тихонько старую детскую песенку — поет уже тысячи тысяч лет и будет петь еще тысячи тысяч лет, пока голос ее не состарится и не охрипнет. И нам, которые научились любить ее изменчивый лик, которые так часто находили на мягкой ее груди приют, — нам кажется, что мы эту песнь понимаем, хотя не перескажем словами.

И мы сидим здесь, на ее берегу, а Луна, которая тоже любит ее, склоняется к ней, как сестра, с поцелуем и обнимает своими серебряными руками. И мы смотрим, как несет она свои воды, вечно поющая, вечно шепчущая, прочь, навстречу своему повелителю-Океану, — пока голоса наши не растворятся в молчании и не потухнут трубы — пока мы, в общем-то, обычные, заурядные молодые люди, не погрузимся в мысли наполовину печальные, наполовину сладостные, и говорить нам ни о чем не хочется — пока мы, засмеявшись, не встанем и не выбьем угасшие трубы, не скажем «спокойной ночи» и, убаюканные плеском воды и шелестом листьев, не отойдем ко сну под огромными спокойными звездами.

И нам приснится, что земля снова юна — юна и прекрасна, как была прежде чем века забот и волнений избороздили морщинами ясный лик ее, прежде чем грехи и безумства чад ее состарили любящее старое сердце ее — прекрасна, как была в те ушедшие дни, когда, молодая мать, баюкала нас, чад своих, на могучей груди своей — прежде чем уловки размалеванной цивилизации увлекли нас прочь от ее любящих рук, а отравленные смешки искусственности заставили устыдиться той непрятательной жизни, которую мы вели с нею, того простого и величественного приюта, под которым столько тысячелетий назад родилось человечество.

Гаррис сказал:

— А что, если пойдет дождь?

Вам никогда не одухотворить Гарриса. В нем нет никакой поэзии, нет неистовой страсти по недостижимому. Гаррис никогда не плачет «сам не зная о чем». Если глаза его полны слез, вы можете биться об заклад — он наелся сырого лука или перелил вустера на отбивную*.

Если вы окажетесь с Гаррисом как-нибудь ночью на морском берегу и воскликнете:

— Чу! Не слышишь ли? Не то ль поют русалки в глуби волнующихся вод? Иль духи скорбные то плачут песнь утопленникам в водорослей гуще бледным?

Гаррис возьмет вас под руку и ответит:

— Я знаю, что это, старина. Тебя прохватило. Вот что — пойдем-ка со мной. Тут за углом я знаю местечко, где можно раздобыть глоток такого славного шотландского, какого ты отродясь не пробовал, — очухаешься в два счета.

Гаррису всегда известно за углом какое-нибудь местечко, где можно раздобыть чего-нибудь исключительного по части выпивки. Уверен, если вы повстречаетесь с ним в раю (допустим, такое возможно), он немедленно вас поприветствует:

— Я так рад, что ты здесь, старина! Я тут нашел за углом местечко, где можно раздобыть первокласснейшего нектара.

Однако в настоящем случае его практический взгляд на вопрос noche-

вок на воздухе оказался весьма кстати. Ночевать на воздухе в дождь неприятно.

Вечер. Вы мокрые насекомые. В лодке добрых два дюйма воды, и все мокрое. Вы находите на берегу место, покрытое лужами в несколько меньшей степени, чем все остальное, что попадалось вам на глаза, высаживаетесь, выволакиваете палатку, и двое из вас направляются ее ставить.

Она вся мокрая, и тяжелая, и болтается, и падает на вас, и облепляет вам голову, и вы сидите на месте. Дождь льет не переставая. Ставить палатку достаточно тяжело даже в сухую погоду; в мокрую задача становится геркулесовой. Вам кажется, что ваш товарищ, вместо того, чтобы помогать, просто дурачится. Едва вы превосходнейшим образом закрепляете свой край палатки, как он дергает со своей стороны и все гробит.

— Эй! Что ты там делаешь? — зовете вы.

— Это что ты там делаешь? — откликается он. — Не можешь отпустить, что ли?

— Да не тяни же! Осел, все угrobил! — орете вы.

— Ничего я не угrobил! — вопит он в ответ. — А ну, отпусти!

— Да говорю же тебе, все угrobил! — рычите вы, мечтая до него добраться, и дергаете веревку с такой силой, что у него вылетают все колышки.

— Нет, ну что за идиот проклятый! — слышите вы, как он бормочет себе под нос. За этим следует свирепый рывок, и край срывается уже у вас. Вы бросаете молоток и направляйтесь к своему партнеру, чтобы сообщить ему мнение в отношении происходящего. В то же время он направляется к вам с другой стороны, чтобы изложить взгляды собственные. И так вы ходите друг за другом по кругу и сквернословите, пока палатка не рушится наземь в груду и не дает вам возможность увидеть друг друга поверх руин. И вы недоговаривающие восклицаете в голос:

— Ну вот! Что я тебе говорил!

Тем временем третий, который вычерпывает воду из лодки себе в рука-ва и который чертыхается не переставая последние десять минут, желает знать, какого, к черту, дьявола вы там прохладяетесь и почему сволочная палатка еще не поставлена.

В конце концов палатка кое-как установлена, и вы выгружаете вещи. Попытка развести костер безнадежна. Вы зажигаете спиртовку и теснитесь вокруг.

Дождевая вода — основной пункт меню на ужин. Хлеб состоит из дождевой воды на две трети, пирог с говядиной ею просто сочится, а варенье, масло, соль, кофе — все с нею перемешалось в суп.

После ужина выясняется, что табак мокрый и курить нельзя. Но вам повезло и у вас есть бутыль средства, которое, в потребном количестве, ободряет и опьяняет. Оно возвращает вам достаточный интерес к жизни, чтобы отправиться спать.

Затем вам снится, что на грудь вам уселся слон, а еще извергся вулкан и зашвырнул вас на самое морское дно (слон при этом продолжает мирно дремать у вас на груди). Вы просыпаетесь, и до вас доходит, что произошло что-то на самом деле страшное. Сначала вам приходит в голову, что наступил конец света. Потом вы решаете, что этого быть не может и что это грабители и убийцы или еще какой-то пожар, и это мнение выражаете обычным в подобных случаях способом. Однако помочь нет, и вам ясно только одно: вас топчет многотысячная толпа и вас душат насмерть.

Но, кажется, кроме вас в беде кто-то еще — из-под постели доносятся его слабые крики. Решив в любом случае продать свою жизнь дорого, вы деретесь неистово, лупите без разбора ногами, руками и орете как бешеный. Наконец сопротивление сломлено, и ваша голова оказывается на свежем воздухе.

В двух футах смутно виднеется полуодетый головорез, который будет вас сейчас убивать; вы готовитесь к схватке не на жизнь, а на смерть, когда вас вдруг осеняет, что это Джим.

- Как, это ты? — говорит он, узнавая вас в тот же момент.
- Ну да, — протираете вы глаза. — А что случилось-то?
- Своловчая палатка, кажется, грохнулась...
- А где Билл?

Тут вы оба кричите «Билл!»; земля под вами вздымается, трясеется, и глухой голос, который вы где-то слышали раньше, соответствует из руин:

- Да слезьте же с моей головы, а?!

И Билл прорывается к вам — грязный, растоптанный, жалкий, в излишне агрессивном расположении духа; он явно уверен, что все подстроено.

Наутро у всех троих отсутствует голос — вы сильно простудились ночью. Вы также очень сварливы и поносите друг друга хриплым шепотом в продолжение всего завтрака.

Таким образом, мы решили, что в ясную погоду спать будем на улице, а ночевать в отелях, гостиницах и на постоянных дворах, как приличные люди, — в сырую (или когда надоест).

Монморанси приветствовал такой компромисс с большим одобрением. Он не вожделеет романтического одиночества — нет. Ему подавай что-нибудь шумное, и если это немного вульгарно — тем веселее. Посмотреть на Монморанси — попросту ангел, которого ниспослали на землю, по каким-то причинам, скрытым от человечества, в образе маленького фокстерьера. Есть в нем что-то такое, этакое «ах-как-порочен-сей-мир-и-как-хотел-бы-я-что-нибудь-сделать-чтобы-он-стал-лучше-и-благороднее», которое, были случаи, вызывало слезы у благочестивых леди и джентльменов.

Когда он впервые перешел на мое изждивение, я даже не думал, что мне выпадет честь делить с ним кров сколь-нибудь долго. Бывало, я сидел и смотрел на него, а он сидел на коврике и смотрел на меня, и я думал:

«О! Этот пес не жильтер на свете. Он будет вознесен к сияющим небесам в колеснице. Да, так оно с ним и будет».

Правда, когда я заплатил за дюжину цыплят, лишенных им жизни; когда я вытащил его, рычащего и брыкающегося, за шкирку из ста четырнадцати уличных драк; когда некая разъяренная особа, заклеймившая меня убийцей, предъявила мне для осмотра мертвую кошку; когда сосед подал на меня в суд за то, что я не держу на привязи злую собаку (которая загнала его в собственный же сарай с садовыми инструментами, причем целых два часа, холодной ночью, он не смел сунуть носа за дверь); когда я узнал, что садовник, от меня же втайне, выиграл тридцать шиллингов, спорив, сколько крыс Монморанси прикончит за определенное время, — тогда я стал думать, что, может быть, в этом мире ему все же позволят не сколько задержаться.

Околачиваться по конюшням, собирать шайки самых отпетых псов со всего города, водить их за собой по всяким трущобам, чтобы затевать драки с другими отпетыми псовами, — вот что такое идея «жизни» по представлениям Монморанси. Так что, как было сказано, предложение про отели, гостиницы и постоянные дворы он встретил с самым горячим одобрением.

Разрешив таким образом вопрос ночлега к удовлетворению всех четырех, нам оставалось обсудить только одно: что мы с собой возьмем. Мы начали спорить, но Гаррис сказал, что на сегодня элоквенций с него достаточно, и предложил выйти опрокинуть стаканчик, заметив, что нашел некое место, «тут через угол», где можно раздобыть глоток ирландского виски, которое «стоит того».

Джордж сказал, что его мучит жажда (не помню, когда бы она его не мучила); и так как я сам чувствовал, что немного подогретого виски с ломтиком лимона в моем состоянии не помешает, прения, с общей санкции, были перенесены на завтрашний вечер. Собрание надело шляпы и вышло на улицу.

* * *

ГЛАВА III

План согласуется. — Метод работы Гарриса. — Как почтенный отец семейства вешает картину. — Джордж делает благоразумное замечание. — Прелести купания ранним утром. — Приготовления на случай, если мы перевернемся.

Итак, на другой вечер мы собирались снова, чтобы довести до ума наши планы. Гаррис сказал:

— Значит, так. Сначала нужно решить, что мы с собой берем. Джей, тащи-ка листок бумаги и записывай, а ты, Джордж, раздобудь прейскурант продуктовой лавки, и кто-нибудь дайте мне карандаш — я буду составлять список.

Вот он, весь Гаррис. Готов с охотой взять бремя чего угодно — чтобы взвалить его на чужие плечи.

Мне Гаррис всегда напоминает моего бедного дядюшку Поджера. Вам в жизни не увидать такой кутерьмы, на весь дом, когда мой дядюшка Поджер берется за какую-нибудь работу. Привезут, например, от багетчика в новой раме картину и поставят в столовой. Тетушка Поджер спросит, что с ней делать, а дядюшка Поджер ответит:

— Ну, это уж предоставьте мне. Пусть никто, слышите, никто об этом не беспокоится. Я все сделаю сам.

Дядюшка Поджер снимет пиджак и возьмется за дело. Он пошлет горничную купить на шесть пенсов гвоздей, а следом за ней одного из мальчишек — сообщить, какого размера нужны гвозди. Постепенно он разойдется и заведет весь дом.

— Теперь, Уилл, сбегай за молотком! — закричит он. — А ты, Том, тащи линейку; еще мне нужна стремянка, а заодно лучше и табуретка; и — Джим! — сбегай к мистеру Гогглу и скажи ему: папа, мол, кланяется и спрашивает как ваша нога и просит одолжить ватерпас. А ты, Мария, не уходи: мне нужно, чтобы кто-нибудь посветил; а когда горничная вернется, пусть снова сбегает за мотком шнура; и — Том! — где Том? — Том, давай-ка сюда, ты подашь мне картину.

Затем он поднимет картину и уронит ее. Картина вывалится из рамы, дядюшка попытается спасти стекло, порежется и будет скакать по комнате в поисках носового платка. Платка ему не найти — платок лежит в кармане пиджака, который дядюшка Поджер снял, а куда подевался пиджак — ему неизвестно. И всему дому придется бросить поиски инструментов и пу-

ститься на поиски пиджака, в то время как дядюшка будет плясать вокруг и мешать всем и каждому.

— И что? В целом доме никто не знает, куда подевался пиджак? В жизни не видел такого сборища лопухов, честное слово. Вас тут шестеро, и никто не может найти пиджак! Пять минут не прошло, как я его снял! Самое...

Тут дядюшка вскочит со стула и обнаружит, что, собственно, на пиджаке он сидел.

— Да-адно, хватит! — завопит он. — Я и сам нашел. Чем ждать от вас, от людей, что вы его найдете, точно так можно было попросить кота.

Затем — когда на перевязку пальца будет потрачено тридцать минут, когда принесут другое стекло, инструменты, стремянку, табуретку и свечку — он сделает еще один ход (все семейство, включая горничную и поденщицу, готовится к помощи и строится полукругом). Двоим придется держать ему табурет, третий поможет ему туда залезть и будет его там держать, четвертый будет протягивать ему гвоздь, пятый будет давать ему молоток, сам же он схватит гвоздь и уронит его.

— Ну вот! — воскликнет он оскорбленно. — Теперь пропал гвоздь.

И нам всем придется пасть ниц и ползать, чтобы найти гвоздь, пока дядюшка будет стоять на стуле, ворчать и осведомляться, не собираются ли его продержать в таком положении целый вечер.

В конце концов гвоздь найдется, только к тому времени потеряется молоток.

— Где молоток? Куда я подевал молоток? Великие небеса! Вас тут семеро, зеваете по сторонам, и никто не знает, куда я подевал молоток!

Мы найдем ему молоток. Затем он потеряет отметку, сделанную на стene в том месте, куда нужно забивать гвоздь. И каждый из нас должен будет забраться к нему на стул и попытаться ее разыскать. И каждый из нас разыщет ее в новом месте. И он обзовет нас всех, одного за другим, дураками и сгонит со стула. И он возьмет линейку и будет измерять все заново. И у него получится, что нужно разделить пополам тридцать один и три восьмых дюйма; он попробует посчитать это в уме и свихнется.

И мы все попробуем посчитать это в уме, и у каждого получится разный ответ, и мы начнем друг над другом глумиться, и в общей склоке делимое будет забыто, и дядюшке Поджеру придется мерить все заново.

На этот раз он возьмет кусок шнура. В решающий миг, когда старый дурак наклонится под углом в сорок пять градусов (пытаясь дотянуться до точки, которая на три дюйма дальше той, до которой ему вообще дотянуться), шнур соскользнет, и дядюшка рухнет на пианино — при этом внезапность, с которой его туловище и голова разом ударяют по каждой клавише, создает редкий музыкальный эффект.

И тетушка Мария объявит, что не позволит детям стоять вокруг и слушать подобные выражения.

Наконец дядюшка Поджер снова отметит нужное место, левой рукой нацелит гвоздь, в правую возьмет молоток. С первым ударом он разобьет себе палец и с воплем выронит инструмент кому-нибудь на ногу.

И тетушка Мария кротко заметит, что когда в следующий раз дядюшка Поджер собирается забивать в стену гвоздь, то, она надеется, он предупредит об этом заблаговременно (так, чтобы она смогла приготовить к отъезду необходимое и провести недельку у матушки, пока будет забиваться гвоздь).

— А! Вы, женщины, вечно поднимаете этакий шум по всячому пустяку, — ответит дядюшка Поджер, вставая. — А мне такая работа нравится.

Затем он предпримет другую попытку, и гвоздь со вторым же ударом уйдет в штукатурку, с ним в придачу полмолотка, а дядюшку Поджера швырнет в стену с такой силой, что он расквасит нос почти в лепешку.

И нам снова нужно искать линейку и шнур. Делается новая дырка. Ближе к полуночи картина висит на стене (очень криво и ненадежно); стена на несколько ярдов вокруг выглядит так, будто ее ровняли граблями. Каждый из нас смертельно измотан и валится с ног — каждый из нас, кроме дядюшки.

— Ну вот! — скажет он, тяжело спрыгивая с табурета на мозоли поденщицы и с явной гордостью обозревая произведенный разгром. — Что ж... А ведь кто-нибудь позвал бы рабочего, для такого-то пустяка!

Гаррис, когда постареет, станет таким же. Я это знаю и ему об этом сообщал. Я сказал, что не могу позволить ему брать на себя так много работы. Я возразил:

— Нет! Ты раздобудь карандаш, бумагу и прейскурант. Джордж пусть записывает, а делать все буду я.

От первого составленного нами списка пришлось отказаться. Было ясно, что верховья Темзы недостаточно судоходны, чтобы вместить судно, которое бы справилось с грузом необходимых, как мы решили, вещей. Мы разорвали список и переглянулись.

— Так дело совсем не пойдет, — сказал Джордж. — Нужно думать не о том, что бы нам пригодилось, а о том, без чего нам не обойтись.

Временами Джордж решительно благоразумен. Просто на удивление. Данную его мысль я бы назвал подлинной мудростью — не только в отношении нашего случая, но и говоря о нашем странствии по реке жизни вообще. Как много людей в этом странствии грузят и грузят лодочонку, пока, наконец, не утопят ее изобилием глупостей, которые, как эти люди уверены, для удовольствия и удобства в дороге — суть самое главное, и на деле которые — бесполезный хлам.

Как они пичкают, по самую мачту, свое маленькое несчастное судно! Драгоценной одеждой, большими домами; бесполезными слугами, толпой шикарных друзей (которые за вас не дадут двух пенсов, а сами вы за кото-

рых не дадите полутора); дорогими увеселениями (которые никого не увеселяют); формальностями и манерами, претензиями и рисовкой, и — самый тяжелый, безумный хлам! — страхом того, что может подумать сосед. Роскошью, которая лишь пресыщает; удовольствиями, которые только набивают оскомину; фасоном, от которого (как от того железного обруча старых времен, что надевали на преступную голову) пойдет кровь и потеряешь сознание!

Все это хлам, старина, все это хлам! Выкидывай за борт. Из-за него так трудно грести, что ты валишься на веслах в обморок. Из-за него рулить так тяжело и опасно, что тебе ни на миг не освободиться от заботы и беспокойства, ни на миг не передохнуть в мечтательной праздности... Нет времени поглязеть на легкую рябь, скользящую по мелководью; на блестящих зайчиков, прыгающих по воде; на могучие деревья вдоль берега, зрящие в собственное отражение; на леса, все зеленые и золотые; на белые и желтые лилии, на хмурую волну камышей, или осоку, или ятрышник, или голубенькие незабудки...

Старина, выкидывай хлам за борт! Пусть ладья твоей жизни будет легкой, и пусть в ней будет только необходимое — скромный дом и несложные радости; пара друзей, которых стоит называть друзьями; тот, кого любишь ты и кто любит тебя; кошка, собака и пара трубок; сколько надо еды и сколько надо одежды (и чуть больше чем надо питья, ибо жажда — страшная вещь).

И ты увидишь, что лодку теперь легче вести и что теперь ее не тянет перевернуться. А если она все-таки перевернется, так пусть — простой и добродушный скарб не боится воды. И ты найдешь время на размышления и на труд — на то, чтобы упиваться сиянием жизни; на то, чтобы слушать Эолову музыку, которую ветер Всевышнего извлекает из струн людских душ вокруг*; на то, чтобы...

Прошу прощения. Я что-то отвлекся.

Итак, мы оставили список Джорджу, и он начал:

— Палатку мы брать не будем. Возьмем лодку с тентом. Это гораздо проще, да и удобнее.

Мысль показалась хорошей, и мы ее приняли. Не знаю, видели вы когда-нибудь подобную штуку. Вы закрепляете над лодкой железные дуги, поверх которых натягиваете огромный брезент, закрепляете его снизу со всех сторон от носа до самой кормы, и он превращает лодку в подобие домика, что очень уютно (хотя душновато; но каждая вещь имеет свои недостатки, как сказал один человек, когда у него умерла теща, а счет за расходы по погребению прислали ему).

Джордж сказал, что в таком случае нам нужно взять плед (на каждого), фонарь, кусок мыла, щетку, гребенку (на всех), зубную щетку (на каждого), тазик, зубной порошок, бритвенный прибор (не правда ли, похоже на урок

французского?) и пару больших купальных полотенец. Я заметил, что люди всегда делают колоссальные приготовления, когда собираются куда-нибудь к водоему. И толком никогда не купаются, когда приезжают.

То же самое происходит, когда вы собираетесь на побережье. Пакуясь в Лондоне, я каждый раз уверяю себя, что по утрам буду вставать пораньше и перед завтраком окунаться. И благоговейно укладываю в чемодан пару купальных трусиков и купальное полотенце. (Я всегда беру красные купальные трусики. В красных купальных трусиках я себе очень нравлюсь — они так идут под мой цвет лица.) Но когда я добираюсь до моря, купаться с утра пораньше мне хочется уже как-то не очень, как хотелось в городе.

Напротив, я чувствую, что меня тянет валяться в постели до последней минуты и потом сразу спуститься к завтраку. Раз или два добродетель все-таки торжествует. Я встаю в шесть, кое-как одеваюсь, беру купальные трусики, беру полотенце — и угрюмо ковыляю к морю. И я не в восторге.

Для меня как нарочно запасают особенно пронизывающий восточный ветер, который только и ждет, чтобы я вышел купаться с утра пораньше; выковыривают все треугольные камни и кладут сверху; натачивают булыжники и присыпают края песком (чтобы я не увидел); берут море и оттаскивают его на две мили (чтобы я, дрожа и обхватив плечи руками, скакал по щиколотку в воде). А когда я до моря все-таки добираюсь, оно ведет себя вызывающее, просто оскорбительно.

Огромная волна хватает меня и швырком — со всей возможной жестокостью — сажает на булыжник, приготовленный здесь как раз для меня. И — прежде чем я успею сказать «Ай! Ой!» и выяснить, что случилось, — она возвращается и утаскивает меня в глубь океана. Тогда я бешено стремлюсь к берегу, уже не чая увидеть дом и друзей, и горько раскаиваюсь, что не жалел сестренку в мальчишеские годы (в мои мальчишеские годы, я имею в виду). И как раз когда я оставляю надежду, волна удаляется, бросив меня на песке, распластанного морской звездой. И я поднимаюсь, оглядываюсь и вижу, что сражался за жизнь над глубиной в два фута. Тогда я скачу назад, одеваюсь и приползаю домой, где вынужден изображать, что в восторге.

И вот теперь мы рассуждаем так, будто собираемся устраивать дальний заплыв каждое утро.

Джордж сказал, что ведь это так здорово — свежим утром проснуться в лодке и окунуться в прозрачную реку. Гаррис добавил, что ничто так не улучшает аппетит, как купание перед завтраком. Он сказал, что лично у него от купания перед завтраком аппетит всегда улучшается. Тогда Джордж заявил, что если Гаррис будет есть больше обычного, он будет против того, чтобы Гаррис купался вообще.

Он сказал, что тяжелой работы и без того предстоит ой-ой-ой — тянуть против течения провиант, которого должно будет хватить для пропитания Гарриса.

Я, однако, обратил внимание Джорджа на такую постановку вопроса: ведь насколько приятней будет иметь Гарриса в лодке чистым и свежим (пусть даже придется взять несколько лишних центнеров провианта). Джорджу пришлось рассмотреть дело с моей точки зрения, и он взял назад возражения против купания Гарриса.

Мы, наконец, согласились на том, что возьмем *три* купальных полотенца, чтобы никто никого не ждал.

Насчет одежды Джордж заявил, что пары фланелевых костюмов нам хватит. Ведь мы сможем постирать их в реке, сами, когда они запачкаются. Мы спросили его: пробовал ли он когда-нибудь стирать фланелевые костюмы в реке, сам? — на что он ответил: «Ну, не то чтобы сам, но знаю кое-кого, кто пробовал, и это было довольно просто». И мы с Гаррисом имели слабость представить, что он знал о чем говорил и что трое приличных молодых людей, не имеющих ни влияния, ни высокого положения в обществе, без какого-либо опыта в стирке, на самом деле способны отмыть в водах Темзы свои рубашки и брюки с помощью куска мыла.

В грядущем нам было суждено узнать (когда было уже слишком поздно), каким жалким самозванцем оказался Джордж, который на этот счет однозначно ничего не смыслил. Видели бы вы нашу одежду после... Но, как пишут в грошовых бульварных романах, мы «забегаем вперед».

Джордж убедил нас захватить смену белья и вдоволь носков (на случай, если мы перевернемся и нужно будет переодеться), а также вдоволь носовых платков (они пойдут на пропирку вещей), а еще, кроме спортивных туфель, пару кожаных башмаков (они будут нужны на случай, если мы перевернемся).

* * *

ГЛАВА IV

Вопрос пропитания. — Возражения против керосина как среды обитания. — Преимущества сыра как дорожного спутника. — Мать семейства покидает домашний очаг. — Дальнейшие приготовления на случай, если мы перевернемся. — Я укладываю вещи. — Окаянность зубных щеток. — Джордж и Гаррис укладывают вещи. — Безобразное поведение Монморанси. — Мы удаляемся на покой.

Затем мы приступили к вопросу о пропитании. Джордж сказал:

— Начнем с завтрака. (Джордж — человек бывалый.) Значит так, на завтрак мы возьмем сковородку...

Гаррис сказал, что она не усваивается, но мы попросту предложили ему не прикидываться ослом, и Джордж продолжил:

— ...чайник для кипятка, чайник для заварки и спиртовку. И никакого керосина, — добавил Джордж с многозначительным взглядом.

И мы с Гаррисом согласились.

Как-то раз мы брали керосинку, но, что называется, «с тех пор зареклись». Всю неделю мы прожили как будто в керосиновой лавке. Он просачивался. Я никогда не видел, чтобы что-нибудь так просачивалось, как керосин. Мы держали его на носу, и оттуда он просочился к рулю, и насытил всю лодку со всем содержимым, и расплылся по всей реке, и пропитал весь пейзаж, и изгадил всю атмосферу. Порой дул западно-керосиновый ветер, в другой раз — восточно-керосиновый ветер, временами — северно-керосиновый или, может быть, южный... Только возникал ли он во льдах Арктики или зарождался в глухих пустынных песков — все равно, сюда он являлся под тяжким бременем керосина.

И этот керосин просачивался до небес и разрушал закат. А что касается лунного света — от лучей решительно несло керосином.

Мы попытались спастись от этой напасти в Марло. Мы оставили лодку у моста и, в поисках избавления, отправились в город. Но керосин преследовал нас. Весь город был залит керосином. Мы проходили около церкви по кладбищу, и нам показалось, что покойников хоронят здесь в керосине. Хай-стрит провоняла керосином насквозь; мы поражались тому, как люди вообще здесь живут. Миллю за милей мы топали по дороге на Бирмингем, только напрасно — вся округа была пропитана керосином.

В конце путешествия мы встретились в полночь на пустыре, под разво-

роченным молнией дубом, и поклялись страшной клятвой (всю неделю мы сквернословили на этот счет обычным обывательским образом, но данный случай требовал особенного уважения) — поклялись страшной клятвой никогда, никогда, никогда больше не брать с собой керосина в лодку. Разве только от блох, разумеется.

Таким образом, в нашем случае мы ограничились денатуратом. Да и тот — гадость порядочная. У вас будет денатурированный пирог и денатурированное печенье. Но денатурат полезнее керосина, когда принимаешь внутрь в больших количествах.

В качестве прочих ингредиентов завтрака Джордж предложил грудинку и яйца (которые легко приготовить), холодное мясо, чай, хлеб с маслом, варенье. К ленчу, заявил Джордж, у нас будет печенье, холодное мясо, хлеб с маслом, варенье — но никакого сыра. Сыр, как и керосин, себя значительно переоценивает. Подавай ему, видишь ли, целую лодку. Он распространяется по корзине и придает сырное благоухание всему содержимому. Вам не сказать, что именно вы принимаете в пищу, — яблочный пирог, немецкую сосиску или клубнику со сливками. Все это кажется сыром. Слишком уж сильный у него дух.

Помню, как-то раз мой приятель купил в Ливерпуле пару головок сыра. Сыр был великолепный: зрелый, выдержаный, с ароматом в двести лошадиных сил, который с гарантией действовал в радиусе трех миль и валил человека с ног на расстоянии двухсот ярдов. Я был тогда в Ливерпуле, и приятель попросил меня, если не возражаю, забрать сыр с собой в Лондон. (Сам он вернется не раньше чем через пару дней, а сыр, как он думает, так долго хранить нельзя.)

— С удовольствием, дружище, — сказал я. — С удовольствием.

Я заехал за сыром и увез его в кэбе. Это была развалиха, влекомая криновогим задыхающимся лунатиком, которого владелец в порыве энтузиазма в разговоре со мной наименовал лошадью. Сыр я положил наверх. Мы стартовали с прытью, лестной для быстрейшего из когда-либо построенных паровых катков, и все шло превесело, как на похоронах, пока мы не свернули за угол. Ветер понес запах сыра к нашему скакуну. Он восстал ото сна и, фыркнув от ужаса, прынул со скоростью трех миль в час. Ветер продолжал дуть в его направлении. Мы не добрались еще до конца улицы, как он выкладывался уже почти на четырех милях в час, оставляя калек и тучных пожилых леди просто нигде.

Чтобы остановить его у вокзала, наряду с собственно кучером потребовалось также двое носильщиков. И я не думаю, что у них бы что-нибудь получилось, не решился один из ребят перевязать животному нос носовым платком и зажечь кусок оберточной бумаги.

Я взял билет и, со своим сыром, гордо промаршировал на платформу. Люди уважительно расступались по сторонам. Поезд был переполнен,

и мне пришлось забираться в купе, где уже разместились семеро. Некий сварливый старый джентльмен стал возражать, но я все же забрался, положил сыр на сетку, с любезной улыбкой втиснулся на диван и сказал, что день выдался теплый.

Прошла пара секунд, и старый джентльмен начал ерзать.

— Что-то здесь душно, — сказал он.

— Просто задохнуться, — сказал господин напротив.

Тогда они стали принюхиваться. С третьего нюха дыхание у них отнялось, они поднялись и без дальнейших слов вышли. Затем поднялась тучная леди и, заявив, что изводить таким образом приличную замужнюю женщину просто постыдно, собрала чемодан, восемь пакетов и вышла.

Осталось четверо. Какое-то время они сидели, пока внушительный джентльмен в углу (который, судя по костюму и общему виду, принадлежал к мастерам похоронного дела) не сообщил, что это наводит его на мысль о мертвом ребенке. Тогда трое других попытались выйти все сразу и ушиблись в дверях.

Я улыбнулся черному джентльмену и сказал, что, похоже, купе нам досталось двоим; он засмеялся, отметив, что некоторые делают из муhi слова. Но даже он стал приходить в загадочное уныние, когда мы тронулись, и я, уже около Крю, предложил сходить выпить. Он согласился, и мы протолкались в буфет, где в продолжение четверти часа вонили, топали, махали зонтиками, после чего, наконец, объявилась молодая особа и спросила, не надо ли нам случайно чего.

— Вам что? — спросил я, обернувшись к товарищу.

— Прошу вас, мисс, на полкроны чистого бренди, — отвечал он.

И, выпив свой бренди, он тихонько перебрался в другое купе, что с его стороны было просто уже бесчестно.

За Крю я располагал купе целиком, хотя в поезде было битком. Когда мы останавливались на станциях, народ, увидев мое пустое купе, ломился в него. «Ну-ка, Мария, сюда, сюда! Тут полно места!» — «Вот, вот, Том, давай-ка, лезем сюда!» — кричали они. И они бежали, с тяжелыми сумками, и дрались у дверей, чтобы забраться первыми. И кто-нибудь открывал дверь, и залезал на подножку, и падал в объятия стоящего за спиной. И все они врывались, нюхали, выползали и прятывались в другие купе (или доплачивали и ехали первым классом).

С Юстонского вокзала я отвез сыр домой к приятелю. Его жена, войдя в комнату, с минуту принюхивалась. Потом сказала:

— Что это? Не скрывайте от меня ничего.

Я сказал:

— Это сыр. Том купил его в Ливерпуле и попросил привезти с собой.

И я добавил, что, надеюсь, она понимает, что я здесь совсем ни при чем.

Она сказала, что в этом уверена, но с Томом, когда он вернется, на этот счет еще побеседует.

Мой приятель задержался в Ливерпуле дольше, чем ожидал. И три дня спустя, когда он так и не возвратился, его благоверная прибежала ко мне.

— Вам Том что-нибудь говорил насчет этого сыра? — спросила она.

Я ответил, что он распорядился держать его в прохладном месте и чтобы до него никто не дотрагивался.

— Ну, это вряд ли... Он егонюхал?

Я ответил, что, видимо, да, и добавил, что сыр этот, похоже, ему очень дорог.

— Вы думаете, он расстроится, — спросила она, — если я дам соверен*, чтобы этот сыр увезли и где-нибудь закопали?

Я сказал, что, думаю, на лице Тома больше никогда не засияет улыбка.

Тут ее осенила идея. Она предложила:

— А может быть, он пока полежит у вас? Давайте я его вам пришлю!

— Сударыня, — отвечал я. — Лично я люблю запах сыра, и на обратную поездку из Ливерпуля в тот день всегда буду оглядываться как на счастливое завершение приятного отпуска. Но в этом мире мы должны считаться с другими. Леди, под чьим кровом я имею честь проживать, — вдова и, не исключено, может быть, сирота. Она решительно, я бы сказал — красноречиво возражает против того, чтобы ее, как она говорит, «водили за нос». Присутствие сыра, принадлежащего вашему мужу, в ее собственном доме она, как я чувствую инстинктивно, расценит именно таким образом. Но да не будет сказано никогда, что я вожу за нос вдов и сирот!

— Ну, что же тогда, — вздохнула жена моего приятеля, поднимаясь. — Все, что могу сказать, — я забираю детей и переезжаю в гостиницу, пока этот сыр не съедят. Я отказываюсь находиться с ним под одной крышей.

Она сдержала слово, оставив жилье на попечение домработницы, которая, когда ее спросили, может ли она выдержать запах сыра, спросила в ответ «Какой такой запах?» и которая, когда ее подвели к сырну и приказали нюхнуть как следует, заявила, что чувствует слабый аромат дыни. Отсюда было сделано заключение, что данная атмосфера значительного вреда ей не причинит, и ее оставили.

Счет за гостиницу составил пятнадцать гиней; мой друг, подсчитав все расходы, обнаружил, что сыр обошелся ему в восемь шиллингов и шесть пенсов за фунт*. Он сказал, что, хоть и любит сыр горячо, такой сыр ему не по средствам. И он решил избавиться от него. Он выбросил сыр в канал. Но продукт пришлось выловить, потому что лодочки с барж стали жаловаться. Они говорили, что у них начались обмороки. Тогда после этого одной темной ночью он взял сыр и оттащил в приходской морг. Но следователь по убийствам этот сыр обнаружил и устроил страшную суету. Он

заявил, что это какие-то козни — его хотят оставить без хлеба и воскрешают покойников.

Мой друг, наконец, избавился от этого сыра, забрав в приморский городок и закопав там на берегу. Местечко приобрело сущую славу. Приезжие говорили, что никогда раньше не замечали, «какой здоровый тут воздух». Хилогрудые и чахоточные толпились там потом несколько лет.

Поэтому, как бы я сыр ни любил, я признал, что Джордж прав, отказываясь брать даже кусочек.

— Чая у нас не будет, — сказал Джордж (здесь лицо Гарриса омрачилось). — Но будет обильная, сытная, славная, шикарная трапеза в семь — обед, чай и ужин сразу.

Гаррис приободрился. Джордж предложил пирог с мясом, пирог с фруктами, холодное мясо, помидоры, фрукты и зелень. Для питья мы берем некую диковинную липкую субстанцию, которую приготовляет Гаррис (вы разбавляете ее водой и называете лимонадом), вдоволь чая и бутыль виски — на тот случай, как заявил Джордж, если мы перевернемся.

Кажется мне, Джордж слишком много твердит о том, что мы можем перевернуться. Кажется мне, с таким настроением отправляться в дорогу нельзя.

Но я рад, что мы берем виски.

Ни пива, ни вина мы с собой не берем. Брать их с собой на реку — ошибка. От них сонливо и тупо. Принять стаканчик-другой, слоняясь по городу и глазея на девушек, очень даже неплохо. Но не вздумайте пить, когда солнце печет голову, а впереди — тяжкий труд.

Прежде чем рас прощаться, мы составили список вещей, которые наметили взять. Список получился длиннехонький. Назавтра (в пятницу) мы свезли весь перечень в одно место и вечером собрались, чтобы уже паковаться. Мы раздобыли большой кожаный саквояж — для одежды, и пару корзин — для продовольствия и посуды. Сдвинув стол к окну, мы выссыпали все барахло посреди комнаты, расселись вокруг и стали на эту кучу глазеть.

Я сказал, что упаковкой займусь сам.

Я весьма горжусь тем, как это у меня получается. Упаковка — одна из тех многих вещей, в которых я смыслю больше кого бы то ни было. (Меня порой удивляет, как много таких вещей существует.) Я внушил данный факт Джорджу и Гаррису и заявил, что им лучше предоставить все дело мне целиком. Они встретили предложение с какой-то странной готовностью. Джордж закурил трубку и развалился в кресле, а Гаррис взгромоздил ноги на стол и запалил сигару.

Это было вовсе не то, на что я рассчитывал. Я-то, понятное дело, имел в виду, что буду руководить работой; то есть чтобы Джордж с Гаррисом под моим началом гоняли лодыря, а я их то и дело отпихивал: «Эх вы...» — преподавая им, так сказать, урок подлинного мастерства. А то, как

они сориентировались, меня просто взбесило. Меня больше ничто так не бесит, как зрелище человека, который сидит и ничего не делает, когда что-то делаю я.

Как-то раз я жил с человеком, который доводил меня таким образом просто до бешенства. Развалится себе на диване и будет таращиться день напролет, как я занимаюсь делами; будет водить за моей глазами по комнате, куда бы я ни направился. Он говорил, что наблюдение за моей возней действует на него поистине благотворно. Он говорил, что это зрелище заставляет его осознавать факт, что жизнь есть не праздная дрема, которую следует проводить зевая и изнывая от скуки, но благороднейшая задача, полная долга и суповой работы. Он говорил, что теперь часто задается вопросом: как же так он коротал свои дни прежде, еще не встретив меня и не имея возможности наблюдать за тем, как кто-то работает?

Нет, я не таков. Я не могу сидеть сиднем и наблюдать, как кто-нибудь надрывается. Мне нужно встать, мне нужно руководить, мне нужно ходить вокруг засунув руки в карманы и говорить ему что и как. У меня деятельная натура. Тут уж ничего не поделаешь.

Однако я смолчал и стал паковаться. Пришлось потрудиться больше, чем я сначала предполагал, но с саквояжем я все-таки справился, уселся верхом и перетянул ремнем.

— А ботинки ты не собираешься класть? — спросил Гаррис.

Я оглянулся и обнаружил, что забыл положить ботинки. Вполне в духе Гарриса. Не мог, конечно, сказать даже слова, пока я не закрыл саквояж и не затянул ремень. А Джордж захихикал — этим своим раздражающим, глупым, придуরочным, идиотским хихиканьем. Они оба доводят меня до исступления.

Я открыл саквояж и уложил ботинки. И тут, когда я собрался закрыть его снова, меня осенила ужасная мысль. А зубную щетку я положил?! Просто не понимаю, как оно так получается, только я никогда не знаю, положил я зубную щетку или не положил.

Зубная щетка — такая штука, которая истязает меня в поездках и превращает жизнь в катастрофу. Ночью мне снится, что я забыл ее положить; я просыпаюсь в холодном поту и вскакиваю, чтобы ее отыскать. А утром я кладу ее в чемодан еще не почистив зубы, и мне приходится вываливать все назад, чтобы эту сволочь достать. И каждый раз получается так, что сначала я выверну весь багаж, а она будет самой последней. Потом я уложу все заново, а про нее забуду, и в самый последний момент мне придется мчаться за ней наверх и везти на вокзал, завернув в носовой платок.

Разумеется, мне и сейчас пришлоось вывернуть все, что вообще выворачивалось, и, разумеется, я ничего не нашел. Я перетряс все вещи до состояния, в котором они должны были находиться, прежде чем был сотворен мир и когда властвовал хаос. Само собой разумеется, щетки Джорджа

и Гарриса мне попадались раз по восемнадцать — не было только моей. Я стал укладывать вещи обратно, одну за другой, поднимая каждую и перетряхивая. Щетка оказалась в ботинке. Я перепаковал все заново.

Когда я закончил, Джордж спросил, положил ли я мыло. Я сказал, что мне наплевать, положил я мыло или не положил. Затем я с шумом закрыл саквояж и перетянул ремнем. Правда, выяснилось, что я сунул туда кисет, так что пришлось открывать саквояж снова. В общем, с саквояжем было покончено в пять минут одиннадцатого. А еще оставались корзины. Гаррис заметил, что выезжать нам через каких-нибудь двенадцать часов и что остальное, наверно, пусть лучше доделают они с Джорджем. Я согласился и сел. Теперь делали ход они.

Принялись они беззаботно: очевидно, намереваясь показать мне, как это делается. Я не стал комментировать. Я только ждал. Когда Джорджа повесят, самым дрянным упаковщиком в этом мире останется Гаррис. Я смотрел на груды тарелок, чайников, чашек, бутылок и кувшинов, кексов и пирогов, помидоров, спиртовок и т. д. и т. п. — и чувствовал, что скоро произойдет захватывающее.

Оно произошло. Начали они с того, что разгромили чашку. Это было первое, что они сделали. Они сделали это только затем, чтобы продемонстрировать, что умеют, — только затем, чтобы разогреть интерес.

Затем Гаррис плюхнулся на помидор банку с земляничным вареньем, помидор превратился в кашу, и им пришлось выскребывать его чайной ложкой.

Затем пришла очередь Джорджа, и он наступил на масло.

Я ничего не сказал. Я только подошел ближе, уселся на край стола и стал наблюдать. Это выводило их больше любых моих слов. Я это чувствовал. Это их нервировало и возбуждало. Они наступали на вещи, убирали их в сторону, а потом, когда было нужно, не могли их найти. Они положили пирожки на дно, сверху наставили тяжестей и превратили пирожки в лепешку.

Солью они засыпали все, а что касается масла!.. В жизни не видел, чтобы два человека так хлопотали с куском масла на шиллинг два пенса. Когда Джордж соскреб его с тарелки, они попытались запихать его в чайник. Оно не влезало, а что все-таки влезло, не вылезало обратно. В конце концов они его отскобили и положили на стул. Гаррис на него сел, масло прилипло к Гаррису, и они стали искать это масло по всей комнате.

— Клянусь, я положил его на этот вот стул, — сказал Джордж, уставившись на пустое сиденье.

— Да я и сам видел, как ты его положил, — откликнулся Гаррис, — минуту назад!

Тогда они снова закружили по комнате в поисках масла, а потом опять сошлись в середине и уставились друг на друга.

— Ничего более странного не видел в жизни, — сказал Джордж.

— Совершенно непостижимо! — кивнул Гаррис.

Затем Джордж зашел Гаррису в тыл и увидел там масло.

— Оно что, тут было все время? — воскликнул он возмущенно.

— Где? — закричал Гаррис, оборачиваясь назад.

— Да стой ты спокойно! — взрычал Джордж, срываясь за ним.

И они счистили масло и положили его в заварочный чайник.

Монморанси, разумеется, находился в гуще событий. Цель существования Монморанси заключается в том, чтобы путаться под ногами и навлекать на себя проклятия. Если ему удается забраться туда, где он не нужен в особенности, пробесить всех до невозможности, довести до исступления каждого, заставить людей швырять ему в голову всякие вещи — тогда он считает, что день у него попусту не пропал.

Добиться того, чтобы кто-нибудь об него споткнулся и честил час напролет, — вот высшая цель и смысл его жизни. И когда ему удается достичь в этом успеха, его самомнение становится совершенно невыносимым.

Он являлся и садился на вещи — как раз тогда, когда их нужно было укладывать. Он трудился с навязчивым убеждением, что Джорджу или Гаррису, когда те протягивали за чем-нибудь руку, всякий раз был необходим именно его мокрый холодный нос. Он сунул лапу в варенье; достал все чайные ложки; прикинулся, что лимоны суть не что иное, как крысы, забрался в корзину и убил три штуки, прежде чем Гаррис успел хватить его сковородкой.

Гаррис сказал, что я его подстрекаю. Я не подстрекал его. Собаке наподобие этой подстрекательств не требуется. Это — природный, исконный порок, порок прирожденный, который заставляет ее вытворять подобное.

Укладка вещей была закончена без десяти час. Гаррис усился на большую корзину и сказал, что, он надеется, ничего не разбилось. Джордж сказал, что если что-нибудь и разбилось, то оно уже разбилось (это замечание его вроде как успокоило). Еще он добавил, что готов идти спать.

Идти спать готовы мы были все. Гаррис сегодня должен был ночевать у нас, и мы поднялись в спальню.

Мы бросили жребий, и Гаррису выпало спать со мной. Он спросил:

— Ты, Джей, любишь спать у стены или как?

Я сказал, что, в общем-то, предпочитаю спать на кровати.

Гаррис сказал, что это неоригинально.

Джордж спросил:

— В котором часу вас будить, ребята?

Гаррис ответил:

— В семь.

Я возразил:

— Нет, в шесть, — потому что собирался написать несколько писем.

Мы с Гаррисом немного поспорили на этот счет, но в конце концов поделили разницу и назначили половину седьмого.

— Разбуди нас в шесть тридцать, Джордж, — сказали мы.

Джордж не ответил. Мы осмотрели Джорджа и обнаружили, что он уже спит. Тогда мы поставили у кровати лохань (так, чтобы утром, вставая с постели, он в нее кувыркнулся) и отправились на боковую.

* * *

ГЛАВА V

Нас будит миссис П. — Джордж-лежебока. — Надувательства с «прогнозом погоды». — Наш багаж. — Порочность мальчишки. — Мы собираем народ. — Мы шикарным образом отбываем и прибываем на Ватерлоо. — Простосердечие служащих Юго-Восточной железной дороги в отношении такой суетности, как поезд. — Плыви, наш челин, по воле волн.

Разбудила меня наутро миссис Поппетс.

— Всё в курсе ли, сэр, что уже около девяти?

— Чего девяты? — закричал я, вскакивая.

— Часов, — ответила она в замочную скважину. — Я думала — проспите еще.

Я разбудил Гарриса и озадачил его. Он сказал:

— Ты вроде как собирался вставать в шесть?

— Ну, собирался. Почему ты меня не разбудил?

— Как бы я разбудил тебя, когда ты не разбудил меня? — парировал он. — Теперь до воды мы и к полудню не доберемся. Удивляюсь, как ты вообще взял на себя труд проснуться.

— Хм, — сказал я. — К счастью для тебя, что взял. Если бы не я, ты так бы и провалился здесь все полмесяца.

Несколько минут мы отрыгались в подобном духе, пока нас не прервал вызывающий храп Джорджа. Он напомнил нам, впервые с тех пор, как нас разбудили, о его собственном существовании.

Вот он лежит — человек, который спрашивал, во сколько нас разбудить, — на спине, рот широко открыт, колени торчат под одеялом.

Я не знаю, в чем здесь причина, но вид другого человека в постели, который спит, когда не сплю я, доводит меня до исступления. Это ужасно: смотреть, как драгоценные часы человеческой жизни — бесценные мгновения, которые больше никогда не вернутся, — расточаются просто на скотский сон.

Вот он, Джордж, в отвратительной праздности швыряющий прочь неоценимый дар Времени. Его драгоценная жизнь, за каждую секунду которой ему впоследствии придется предоставить отчет, утекает от него без пользы. А ведь он мог бодрствовать, набивая брюхо яичницей с беконом, доставая собаку или фиглярствуя с горничной, — вместо того, чтобы валяться, погрязая в забвении, оплетающем душу.

Это была страшная мысль. Она осенила нас с Гаррисом в одно и то же мгновение. Мы решили спасти его, и в этом благородном стремлении наш собственный спор был забыт. Мы ринулись к Джорджу и сорвали с него одеяло. Гаррис залепил ему тапочком, я заорал ему в ухо, и он пробудился.

— Чёчились? — огласил он, садясь на кровати.

— Вставай, тупорылый чурбан! — зарычал Гаррис. — Без четверти десять!

— Что?! — возопил Джордж, спрыгивая с кровати в лохань. — Кто, гром его разрази, поставил сюда эту дрянь?!

Мы сказали ему, что нужно быть дураком, чтобы не заметить лохань.

Мы покончили с одеванием и, когда дело коснулось прочих деталей, вспомнили, что расчески и зубные щетки уже упакованы. (Эта щетка свидетельствует меня в гроб, я знаю.) Пришло спускаться и выуживать все необходимое из саквояжа. А когда мы управились, Джорджу потребовалось бритвенное принадлежности. Мы сказали, что данным утром ему придется обойтись без бритья, так как мы не собираемся распаковывать саквояж ни для него, ни для кого-либо вроде него.

Он сказал:

— Не валяйте дурака. Как я покажусь в Сити вот так?

Это действительно было весьма непристойно в отношении Сити. Но какое нам дело до мук человечества? Как выразился Гаррис, своим обыкновенным пошлым образом, Сити придется это сожрать.

Мы спустились к завтраку. Монморанси пригласил двух псов проводить его, и они коротали время, грызясь на крыльце. Умиротворив их зонтиком, мы уселись за отбивные с холодной телятиной.

Гаррис сказал:

— Хороший завтрак — великое дело!

И начал с двух отбивных котлет, заметив, что их надо съесть пока они горячи, в то время как телятина может и подождать.

Джордж завладел газетой и стал зачитывать сообщения о несчастных случаях на воде и прогноз погоды, который пророчил: «Осадки, похолодание, облачность переменная» (ничего хуже в смысле погоды уже не придумаешь); «Местами возможны грозы; ветер восточный; в центральных графствах (Лондон и Ла-Манш) область пониженного давления; бар. падает».

Мне думается, из всего глупейшего, раздражающего вздора, которым нас пичкают, мошенничество с «прогнозом погоды» — самый, наверно, невыносимый. Он «прогнозирует» в точности то, что было вчера или позавчера, и в точности наоборот тому, что будет сегодня.

Помню, как-то раз поздней осенью отдых у меня был совершенно угроблен тем обстоятельством, что мы внимали прогнозу погоды в местной газе-

те. «Сегодня ожидаются сильные ливни и грозы» — говорилось там в понедельник. Мы отказываемся от пикника и, ожидая дождя, весь день остаемся под крышей. А мимо нашего дома в пролетках и на линейках катит народ — веселей некуда; солнце сияет вовсю, ни облачка не видать.

— Ага! — говорим мы, выглядывая из окна. — Вот как вернутся домой все мокрые!

И мы фыркаем, представляя, как же они все промокнут. И мы возвращаемся, и ворошим огонь, и достаем книги, и приводим в порядок коллекцию водорослей и раковин. К полудню, когда солнце заливает комнату, жара становится просто ужасной, и нам становится интересно, когда же, наконец, начнутся эти сильные ливни и грозы.

— Ага! Вот посмотрите — после обеда как ливанет! — говорим мы друг другу. — Ох, ну и промокнут же все. Вот здорово!

В час дня заходит хозяйка и спрашивает, не собираемся ли мы на улицу (денек такой славный).

— Нет, нет, — отвечают мы, посмеиваясь многозначительно, — не собираемся. Мы не собираемся вымокнуть, нет.

И когда уже вечереет, а дождя нет и в помине, мы пробуем утешиться мыслью, что он обрушится вдруг, лишь только народ двинет домой; укрыться им будет негде, и оттого все вымокнут еще больше. Ни капли, однако, не падает; заканчивается роскошный день, и за ним наступает дивная ночь.

Наутро мы читаем, что будет «сухо и ясно; жара», легкомысленно одеваемся и выходим. Спустя полчаса начинается затяжной ливень, дует жесткий холодный ветер; то и другое продолжается до самого вечера. Мы возвращаемся домой с простудой и ревматизмом и оказываемся в постели.

Погода — такая штука, которая мне совершенно не по зубам. Я никогда ее не пойму. В барометрах толку нет — сбивают с толку так же, как прогнозы в газете.

В Оксфорде, в гостинице, где я останавливался прошлой весной, был один. Когда я въехал, он показывал «ясно». За окном же просто лило, лило весь день, и я не мог сообразить в чем дело. Я постучал по барометру. Он прыгнул и показал «сушь». Коридорный, проходя мимо, остановился и сказал, что барометр, верно, имеет в виду завтрашний день. Я предположил, что, может статься, он имеет в виду позапрошлую неделю, но коридорный сказал, что лично он так не думает.

Наутро я постучал по нему снова. Он перепрыгнул дальше, а дождь пропустил только сильнее. Я пришел в среду и треснул еще разок. Стрелка устремилась к «ясно», «сушь» и «в. сушь», но ее остановил шпенек, и двигаться дальше ей было некуда. Она старалась изо всех сил, но аппарат был устроен так, что предсказывать хорошую погоду еще сильнее она не могла — ей пришлось бы сломаться. А ей-то, очевидно, хотелось продолжить и предсказать засуху, пересыхание вод, солнечные удары, самум и тому

подобное. Но шпенек это предупредил, и ей пришлось удовлетвориться простым и банальным «в. сушь».

А дождь тем временем лил водопадом, и нижнюю часть города затопило, потому что река вышла из берегов.

Коридорный сказал, что все ясно: когда-нибудь и надолго наступит замечательная пора. И прочитал стихотворение, напечатанное на крыше оракула, что-то вроде:

Раньше знаешь — дольше будет.
Позже знаешь — скорее пройдет.

Тем летом хорошей погоды так и не наступило. Видимо, устройство подразумевало следующую весну.

А есть еще эта новая разновидность барометров — прямые и длинные. Мне никогда не понять, где у них копыта, а где рога. Одна сторона у них для десяти часов на вчера, другая — для десяти часов на сегодня (только в такую рань туда, где он стоит, не каждый раз попадешь). Он всегда или падает, или всегда поднимается — когда дождь, когда ясно, когда сильный ветер, когда слабый. С одного конца у него «с. ш.», с другого — «в. д.» (только причем здесь «в. д.»? *), и даже если его стукнуть, он все равно ничего не скажет. А еще его нужно подстроить под уровень моря и привести к Фаренгейту (и даже потом непонятно, что будет).

Кому только нужен весь этот прогноз погоды? Она всегда плохая когда наступает, и еще не хватало горя знать об этом заранее. То ли дело тот старикан, который в особенно мрачное утро, когда нам особенно хочется, чтобы оно прояснилось, окидывает горизонт особенно проникновенным взором и произносит:

— Э нет, сэр, оно прояснится, уж точно. Разойдется, уж точно, сэр.

— А-а, он-то знает, — говорим мы, желая ему доброго утра и отправляясь в путь. — Диву даешься, откуда эти старики все знают!

И мы питаем к этому человеку нежные чувства, которые не омрачаются тем обстоятельством, что проясниться не проясняется ничего и дождь льет целый день.

— Ну что же, — вздыхаем мы. — Он-то сделал все, что от него зависит.

А к тому, кто пророчит ненастье, мы, наоборот, питаем чувства только злые и мстительные.

— Вы думаете — прояснится? — кричим мы мимоходом бодро.

— Уж нет, сэр, — боюсь, зарядило на день, — отвечает он, покачав головой.

— Старый болван, — бормочем мы. — Откуда он знает-то?

И если его знамение подтверждается, мы возвращаемся злясь на него еще больше и будучи смутно убеждены, что без него здесь, так или иначе, не обошлось.

В это конкретное утро было слишком ярко и солнечно, чтобы леденящие кровь сводки Джорджа насчет «бар. падает», «атмосферные возмущения распространяются по южной Европе» и «давление повышается» нас слишком обескуражили. Таким образом, Джордж, убедившись, что, будучи не в состоянии испакостить нам настроение, лишь понапрасну теряет время, стянул сигарету (которую я заботливо свернул для себя) и вышел.

Затем мы с Гаррисом, покончив с тем немногим, что оставалось еще на столе, выволокли багаж на крыльце и стали ждать кэб.

Багажа, когда мы собирали все вместе, оказалось, надо сказать, порядочно. Тут был большой кожаный саквояж, чемоданчик, две корзины, большой сверток пледов, четыре-пять пальто с макинтошами, несколько зонтиков. Еще была дыня, в сумке отдельно (такая здоровая, что никуда не влезала), пара фунтов винограда (в другой сумке), японский бумажный зонтик, сковорода (которую, слишком длинную, чтобы куда-нибудь ткнуть, мы завернули в оберточную бумагу).

Смотрелось это внушительно, и нам с Гаррисом стало даже как-то стыдно (хотя с чего бы — не понимаю). Свободный кэб не появлялся. Зато появились уличные мальчишки. Заинтересовавшись, несомненно, зрелищем, они тормозили.

Первым объявился мальчик от Биггса. Биггс — наш зеленщик. Его главное дарование заключается в том, чтобы нанимать себе на работу наиболее падших и беспринципных мальчиков, произведенных когда-либо цивилизацией. Если по соседству возникает что-либо чудовищнее обычного по части мальчиков, мы знаем — это последний мальчик от Биггса.

Мне говорили, что когда на Грейт-Корам-стрит случилось убийство*, наша улица быстренько заключила, что за преступлением стоял мальчик от Биггса (тогдашний); и если бы он не смог в ответ на суровый перекрестный допрос, которому его подверг № 19, когда он явился туда за заказом на следующий день (в допросе принимал участие № 21, оказавшийся в тот момент на крыльце), доказать полное алиби, ему бы пришлось туго. Я не знаю мальчика, который был у Биггса в то время; но если судить по тому, чего я с тех пор насмотрелся, сам я этому алиби большого значения придавать бы не стал.

Мальчик от Биггса, как я сказал, появился из-за угла. Он, очевидно, был в большой спешке, когда вначале показался на горизонте, но заметив меня, Гарриса, Монморанси и вещи, притормозил и уставился. Мы с Гаррисом посмотрели на него с неодобрением. Более чувствительную натуру это уязвить бы смогло, но мальчики от Биггса повышенной чувствительностью, как правило, не отличаются. Он встал на мертвый якорь в ядре от нашего крыльца и, прислонившись к ограде и подобрав соломинку для жевания, начал сверлить нас взглядом. Он явно решил досмотреть до конца все.

В следующий миг на противоположной стороне улицы появился мальчик от бакалейщика. Мальчик от Биггса его приветствовал:

— Эй! Нижние из сорок второго переезжают.

Мальчик от бакалейщика перешел улицу и занял позицию с другой стороны крыльца. Затем к мальчику от Биггса присоединился юный джентльмен из обувной лавки, тогда как распорядитель пустых бутылок из «Голубых столбов» занял независимую позицию на бордюре.

— Что-что, а с голоду они не помрут, — сообщил джентльмен из обувной лавки.

— Ты, поди, тоже б с собой кой-чего захватил, — возразили «Голубые столбы», — кабы собрался переплыть Атлантический океан в лодке.

— Они не собираются переплыть Атлантический океан, — вмешался мальчик от Биггса. — Они отправляются на розыски Стэнли*.

К этому времени уже собралась небольшая толпа, и люди спрашивали друг друга в чем дело. Одна сторона (юные и легкомысленные) находила, что это свадьба, и отмечала, что Гаррис — жених; в то время как старшая и более рассудительная часть масс склонялась к мысли, что здесь готовятся к погребению и я, вероятно, брат мертвого.

Наконец появился свободный кэб (у нас такая улица, на каких, как правило, пустые кэбы, когда они не нужны, мелькают с частотой три штуки в минуту, болтаются повсюду вокруг и путаются под ногами). И мы — сложив в кэб самих себя и пожитки, а также вышвырнув пару приятелей Монморанси, которые, очевидно, принесли клятву не покидать его никогда, — отбыли среди аплодисментов толпы (при этом мальчик от Биггса запустил нам вслед морковкой, «на счастье»).

В одиннадцать часов мы прибыли на вокзал Ватерлоо и стали спрашивать, откуда отходит поезд 11:05. Разумеется, этого никто не знал. На Ватерлоо никто никогда не знает, откуда отправляется поезд (как ни то, куда он идет, когда все-таки отправляется, как ни вообще ничего в этом смысле). Носильщик, который взял наши вещи, считал, что поезд отправляется со второй платформы, тогда как другой носильщик, с которым вопрос мы обсудили также, слышал, что, как вроде бы говорили, с первой. Начальник вокзала, с другой стороны, был убежден, что с пригородной.

Чтобы покончить с этим, мы поднялись наверх к главному диспетчеру, и он сообщил нам, что сию минуту встретил одного человека, утверждавшего, будто бы видел наш поезд на третьей платформе. Мы двинулись к третьей платформе, но тамошнее начальство нам заявило, что оно считает, в известной мере, что поезд у них — саутгемптонский экспресс (если, конечно, не виндзорский кольцевой). Так или иначе, они были уверены, что поезд у них не кингстонский (хотя почему так были уверены — сказать не могли).

Тогда наш носильщик сообщил, что, как он думает, наш поезд, должно

быть, стоит на верхней платформе. Он сказал, что (как он думает) этот поезд он вроде бы даже знает. Тогда мы поднялись на верхнюю платформу, увидели машиниста и стали спрашивать, не в Кингстон ли он идет. Он сказал, что, конечно, едва ли может утверждать наверное, но считает, в известной мере, что да. Так или иначе, если он не 11:05 на Кингстон, тогда он (он в общем уверен) — 9:32 до Вирджиния-Уотер. (Или экспресс 10:00 на остров Уайт, или куда-нибудь в том направлении; доберемся — узнаем.) Мы тихонько сунули ему полкроны и взмолились — пусть он будет 11:05 на Кингстон.

— На этой дороге никому никогда не узнать, — сказали мы машинисту, — какой у вас поезд и куда он идет. Дорогу-то знаете! Трогайте себе тихонько и поезжайте в Кингстон.

— Даже не знаю, джентльмены, — отвечал великодушный малый. — Но думаю, кто-то все-таки идти в Кингстон должен... Так что я и пойду. Гоните полкроны.

Вот так мы попали в Кингстон, через Лондон, по Юго-Западной железной дороге.

Впоследствии мы узнали, что этот наш поезд на самом деле был экспрессом почтовым, что на Ватерлоо его разыскивали несколько часов и никто не знал, куда же он делся.

Наша лодка ожидала нас в Кингстоне, сразу за мостом, и к ней мы направили стопы, и сложили багаж вокруг, и взошли на нее.

— Ну как, все в порядке? — спросили у нас.

— Еще как! — ответили мы.

И мы — Гаррис на веслах, я у руля, а Монморанси, подавленный и не ожидающий ничего хорошего от происходящего, на носу — двинулись по реке, которой на две недели предстояло стать нашим домом.

* * *

ГЛАВА VI

Кингстон. — Поучительные замечания о раннем периоде английской истории. — Поучительные наблюдения о резном дубе и жизни вообще. — Печальный случай Стиввингса-младшего. — Размышления об архаике. — Я забываю, что на руле. — Любопытные результаты. — Хэмптон-Кортский лабиринт. — Гаррис в роли проводника.

Выдалось чудесное утро, какое бывает поздней весной или ранним летом (что вам больше понравится), когда нежный глянец травы и листвы наполняется полной зеленью, а природа похожа на прелестную девушку в трепете смутных чувств на пороге зрелости.

Чудные уочки Кингстона, весьма живописные в ярком солнечном свете у берега; сверкающая река с баржами, неспешно тянувшимися по течению; зеленый бочевник; нарядные особняки на том берегу; Гаррис, кряхтящий за веслами в своем красно-оранжевом свитере; сумрачный старый дворец Тюдоров, маячящий вдалеке, — все это составляло столь солнечную картину, столь яркую и спокойную, столь полную жизни и все же столь умиrottворяющую, что — пусть утро было в самом разгаре — я почувствовал, как меня мечтательно убаюкивает, обволакивает задумчиво-созерцательным настроением.

Я представлял Кингстон, или «Кёнигсбург», как он назывался однажды, когда саксонские «кёнинги» короновались там *. Здесь перешел реку великий Цезарь, и римские легионы разбили свой лагерь на покатых холмах. Цезарь, как в поздние времена Елизавета *, останавливался здесь, похоже, на каждом углу (только он был приличнее доброй королевы Бесс: он не ночевал в трактирах).

А она на трактирах была просто помешана, эта английская королева-девственница. В радиусе десяти миль от Лондона едва ли найдется хотя бы один чем-то привлекательный кабачок, в который она бы не заглянула, где бы не посидела, где бы не провела ночь. Интересно, кстати, что если Гаррис, скажем, начнет новую жизнь, станет великим, добродетельным человеком, сделается премьер-министром и умрет — стали бы на трактирах, к которым он благоволил, вешать вывески: «Здесь Гаррис пропустил кружку горького»; «Здесь летом 1888-го Гаррис опрокинул пару шотландских со льдом»; «Отсюда в декабре 1886-го вышибли Гарриса»?

Нет. Таких мест было бы слишком много! Заведения, порог которых его нога не переступала ни разу, — вот они бы прославились. «Единственная пивная в Южном Лондоне, где Гаррис не хлебнул ни глотка!» Народ повалил бы валом — посмотреть, что там не так.

Как, должно быть, ненавидел Кёнингестун простоватый бедняга король Эдви^{*}! Пир по случаю коронации оказался ему не по силам. Может быть, кабанья голова, нафаршированная цукатами, пришлась ему не по вкусу (мне бы пришлась, я уверен), а мед и вино в него уже просто не лезли, но он удрал потихоньку с шумного кутежа, чтобы украсть тихий час при свете луны с милой своей Эльгивой^{*}.

Возможно, взявшись за руки у окна, любовались они лунной дорожкой на водной глади реки, тогда как из далеких залов рваными шквалами смутного шума и грохота доносился неистовствующий разгул.

Затем эти скоты — Одо и Сен-Дунстан^{*} — врываются в тихую комнату, и осыпают непристойными оскорблениями ясноликую королеву, и волокут бедного Эдви обратно, в шумный гул пьяной свары.

Прошли годы, и под грохот музыки войн рука об руку сошли в могилу саксонские короли и саксонское буйство. На время величие Кингстона отошло — чтобы возродиться снова, когда Хэмптон-Корт стал дворцом Тюдоров и Стюартов^{*}, а королевские баржи громоздились у берега с натянутыми якорными цепями, и щеголи в ярких плащах с важным видом спускались по лестницам, чтобы воскликнуть: «Эй, ну и корыто!.. Страх господень, чесслово».

Многие из старинных домов в тех местах ясно говорят о времени, когда в Кингстоне находился двор, жили придворные и вельможи, когда по долгой дороге к воротам дворца день напролет бряцала сталь, гарцевали скакуны, шуршали шелка и бархат, мелькали лица красавиц. От этих больших просторных домов, от зарешеченных фонарей-окон, от огромных каминов и остроконечных крыш веет временем длинных чулок и коротких камзолов, шитых жемчугом перевязей, вычурных клятв. Эти дома возводились в те дни, когда «люди знали, как строить». Твердый красный кирпич со временем только окреп, а дубовые лестницы не скрипят и не крякают, когда вы норовите спуститься не привлекая внимания.

Говоря о дубовых лестницах, вспоминаю великолепную лестницу резного дуба в одном из домов Кингстона. Сейчас этот дом — лавка на рыночной площади, но некогда, очевидно, был особняком какой-то большой персоны. Один мой друг, живущий в Кингстоне, однажды зашел туда купить шляпу, по рассеянности засунул руку в карман и расплатился наличными.

Лавочник (а он моего друга знал) сначала, естественно, пришел в некоторое замешательство. Быстро, однако, оправившись и чувствуя, что в поощрение такого рода вещей что-то следует предпринять, он спросил нашего героя, не хотел бы тот осмотреть образец превосходной старинной дубовой

резьбы. Мой друг отвечал, что хотел бы. Тогда лавочник провел его через лавку и повел вверх по лестнице. Перила лестницы представляли собой грандиозный образец мастерства, а стена вдоль нее была украшена дубовой панелью с такой резьбой, которая бы сделала честь и дворцу.

С лестницы они попали в гостиную — большую яркую комнату, оклеенную несколько ошеломляющими, но бодренькими голубенькими обоями. Более в апартаментах, однако, ничего примечательного не наблюдалось, и мой друг поинтересовался, зачем его сюда привели. Хозяин подошел к обоям и постучал по ним. Они издали деревянный звук.

— Дуб, — пояснил он. — Сплошь резной дуб, до самого потолка, точь-вточь как на лестнице.

— Великий Цезарь! — возопил приятель. — Вы что, хотите сказать, что залепили дубовую резьбу вот этими голубенькими бумажками?

— Ну да, — был ответ. — И стало мне это в копеечку. Сначала, конечно, пришлось обить ее досками. Но зато сейчас в комнате весело. А было угрюмо — просто ужас какой-то.

Не могу сказать, что я совершенно его порицаю (что, несомненно, должно его сильно утешить). С его точки зрения — то есть с точки зрения обычного домовладельца, стремящегося по мере возможного не тяготиться жизнью, но не с точки зрения маньяка-антиквара — правда на его стороне. На резной дуб очень приятно взглянуть, немного резного дуба приятно иметь, но, вне всяких сомнений, жить в нем как-то тяжеловоато (если, конечно, вы на нем не свихнулись). Ведь это все равно что жить в церкви.

Нет. В нашем случае грустно то, что у лавочника, которого резной дуб не интересует, резным дубом украшена вся гостиная, в то время как люди, которых резной дуб как раз интересует, принуждены платить за него ужасные деньги. И это, похоже, правило в нашем мире. У каждого есть то, что ему не нужно, а у других есть как раз то, что нужно ему.

У женатых есть жены, которые им вроде как не нужны, а молодые холостяки плачутся, что никак не могут женой обзавестись. У бедняков, едва сводящих концы с концами, бывает по восемь здоровых детей. Богатые старые парочки, которым некому оставить свои деньжищи, умирают бездетными.

А взять девушек и поклонников. Девушкам, у которых поклонники есть, они не нужны. Они говорят, что обойдутся без них. Те им, мол, только что докучают, и почему бы им не отправиться к мисс Смит или к мисс Браун, которые невзрачны, в годах и у которых поклонников нет? Им самим поклонники не нужны. Замуж они не собираются выходить вообще.

Но нет, нет, об этом лучше не думать. От этого так грустно.

У нас в школе был мальчик, мы звали его Сэнфорд-и-Мертон*. Его настоящее имя было Стиввингс. Это был самый исключительный тип, какой мне вообще попадался. Я подозреваю, он действительно любил учиться. Он

получал страшные головомойки за то, что читал по ночам в постели греческие тексты; что же касается французских неправильных глаголов, удержать его от таких не было просто никакой возможности. Он был полон диких противоестественных представлений в том смысле, что обязан стать честью родителей и славой школы. Он томился жаждой получать награды, стать взрослым и благоразумным — был просто напичкан малодушными предрассудками подобного рода. Я никогда не встречал такого диковинного создания — но безобидного, заметьте, как неродившееся дитя.

И этот мальчик в среднем два раза в неделю заболевал и не ходил в школу. Таких заболевавших мальчиков, как этот Сэнфорд-и-Мертон, больше не существовало. Если в радиусе десяти миль появлялась какая-нибудь известная науке зараза, он ее хватал, и хватал очень серьезно. Он подцеплял бронхит в разгар июльского зноя, а сенную лихорадку — на Рождество. После шести недель засухи его свалит с ног ревматизм, а если он выйдет на улицу в туманный ноябрьский день, вернется домой с солнечным ударом.

Как-то раз его, беднягу, положили под общий наркоз, повыдирали все зубы и вручили вставные челюсти — так страшно он страдал зубной болью. Тогда он переключился на невралгию и боль в ушах. Простуда не покидала его никогда (за исключением одного случая, когда девять недель он провалялся со скарлатиной). У него всегда было что-нибудь отморожено. Большая холерная эпидемия 1871-го года обошла только наши места. Во всем округе был зарегистрирован единственный случай — холерой заболел юный Стиввингс.

Когда он заболевал, ему приходилось оставаться в постели, кушать цыплят, заварные пирожные и парниковый виноград. И он лежал и рыдал — потому что ему не позволяли писать латинские упражнения и отбирали немецкую грамматику.

А мы, прочая ребятня, — которые пожертвовали бы десятью семестрами школьной жизни, чтобы поболеть хотя бы денек; которые не собирались давать родителям никакого повода, чтобы выпендриваться своими чадами, — мы не могли добиться даже того, чтобы у нас свело шею. Мы торчали на сквозняках, но это лишь укрепляло и освежало нас. Мы хватали всякую дрянь, чтобы нас рвало, но только толстели и дразнили себе аппетит. Чего только мы не изобретали, но все было без толку — пока не начинались каникулы. Тогда, в тот же день, как нас распускали по домам, мы простоявались и подхватывали коклюш, и заболевали чем только можно. И так длилось до следующего семестра, когда, несмотря на всю нашу тактику, мы вдруг выздоравливали и чувствовали себя замечательно как никогда.

Такова жизнь. А мы лишь некие злаки, которых косят, кладут в печь и пекут*.

Возвращаясь к вопросу о резном дубе. У них, у наших працардов, представления об эстетическом и прекрасном, должно быть, были очень высо-

кие. Все наши сегодняшние сокровища, пожалуй, не более чем обычные пустяковины трехсот-четырехсотлетней давности. Я не знаю, присутствует ли в старых суповых тарелках, пивных кружках и свечных щипцах, столь нами сегодня ценимых, подлинная красота — или то всего лишь сияющий ореол эпохи, что в наших глазах придает этим вещам очарование. Старинный голубой фарфор *, которым мы обвешиваем стены в качестве украшения, пару веков назад был обыкновенной домашней посудой. А розовенький пастух и желтенькая пастушка, которых мы пускаем по кругу, чтобы все захлебывались от восторга, делая вид, что в этом соображают, были никакими каминными безделушками, которые мамаша восемнадцатого столетия сунет пососать ребенку, когда тот заплачет.

Будет ли так оно в будущем? Всегда ли дешевые безделушки вчерашинего дня будут превозноситься как сокровища дня сегодняшнего? Станут ли сильные мира сего в две тысячи таком-то году рядами развешивать над камином обеденные тарелки с орнаментом из ивовых веточек? Будут ли белые чашки с золотым ободком и прелестным золотым цветочком внутри (неизвестного науке вида), которые наша Мэри бьет теперь не моргнув глазом, — будут ли они бережно склеены, выставлены на полочку, и никто, кроме самой хозяйки, не посмеет стирать с них пыль?

Вот фарфоровая собачка, украшающая спальню у меня на квартире. Она беленькая. Глазки голубенькие. Носик изысканно розовый, с крапинками. Шейка мучительно вытянута; на морде написано добродушие, гра-ничашее с идиотизмом. Я сам собачкой не восхищаюсь. Могу сказать, что как произведение искусства она меня раздражает. Мои невменяемые приятели над нею глумятся, и даже собственно моя хозяйка к собачке не питает восторга, а присутствие ее оправдывает тем обстоятельством, что это подарок тетушки.

И ведь более чем вероятно, что в двадцать первом столетии эту собачку где-нибудь откопают, без ног и с отбитым хвостом, и продадут как образчик старинного фарфора, и засунут в стеклянный шкаф. И люди будутходить вокруг и восхищаться ею. Они будут поражены дивной глубиной цвета на носике и будут строить гипотезы насчет того, сколь великолепной, вне всяких сомнений, была утраченная доля хвостика.

Мы, в наше время, прелести этой собачки не наблюдаем. Мы слишком к ней пригляделись. Это как закат солнца и звезды: очарование их не исполняет благоговением, потому что они привычны глазам. Так и с этой фарфоровой собачонкой. В 2288-м люди будут захлебываться над ней от восторга. Производство таких собачек превратится в «утраченное мастерство». Наши потомки будут удивляться тому, как нам удавалось творить подобные чудеса, и говорить о том, как мы были искусны. Про нас будут вешать, с восторженным трепетом: «Эти великие мастера древности, процветавшие в девятнадцатом веке и создававшие таких фарфоровых собачек».

Вышивку, которую старшая дочь сделала в школе, будут называть «гобеленом викторианской эпохи» и ей не будет цены. За кувшинами из сегодняшних придорожных трактиров (синие с белым, все в трещинах и щербатые) будут гоняться; их будут продавать на вес золота, а богачи будут использовать их в качестве чаш для крюшона. Японские же туристы будут скучать все эти «презенты из Рэмсгейта» и «сувениры из Маргейта», избегшие уничтожения, и тащить с собой в Иеддо как образец древней английской редкости.

Здесь Гаррис отбросил весла, поднялся со скамьи, лег на спину и растопырил в воздухе ноги. Монморанси взвыл, сделал сальто, а верхняя корзина подпрыгнула, и из нее вывалилось содержимое.

Я был до некоторой степени удивлен, но самообладания не потерял. Я сказал, довольно благодушно:

— Эй! Вы что это там?

— Мы что это там? Ах ты...

Нет, по зрелом размышлении я не повторю того, что огласил Гаррис. Меня можно винить, это я признаю, но оправдать неистовства языка и не-пристойности выражений (особенно со стороны человека, получившего такое скрупулезное воспитание, которое, как я знаю, получил Гаррис) невозможно ничем. Я размышлял об ином и, как можно легко догадаться, забыл, что сижу на руле, в результате чего мы изрядно перемешались с бечевником. Какое-то время было трудно определить, что было мы, а что — миддлсекский берег Темзы, но вскоре мы с этим разобрались и отъединились.

Гаррис тем не менее заявил, что поработал достаточно и что теперь моя очередь. Раз уж мы въехали в берег, я вылез, взялся за бечеву и повел лодку мимо Хэмптон-Корта.

Что за милая старая стенка тянется здесь вдоль реки! Всякий раз проходя мимо, я испытываю благодать от одного ее вида. Такая живая, веселая, славная старая стенка! Какое очаровательное зрелище! Тут по ней вьется лишайник, там она поросла мхом; робкая юная виноградная лоза выглядывает здесь над краем — посмотреть, что творится на оживленной реке; чуть дальше свисает гроздьями старый неброский плющ. На каждые десять ярдов — по полсотни цветов, тонов и оттенков. Если бы я рисовал и умел писать красками, я бы, конечно, сделал прелестный набросок. Я часто думал о том, что хотел бы жить в Хэмптон-Корте. Здесь так мирно и тихо; так славно здесь побродить ранним утром, когда народ еще спит.

Впрочем, не думаю, что если дойдет до дела, мне здесь реально понравится. По вечерам здесь страшно уныло и хмуро, когда лампа бросает на стену жуткие тени, а эхо далеких шагов звенит по холодным каменным коридорам, то приближаясь, то замирая вдали. Повсюду смертельная тишина, и только стучит ваше сердце.

Мы — создания солнца, мы, мужчины и женщины. Мы любим свет

и жизнь. Вот мы и торчим толпой в городах, а на деревне с каждым годом становится все пустыннее. При свете солнца — днем, когда Природа вокруг жива и деятельна, — просторные склоны и густые леса нас привлекают. А ночью, когда мать-Земля отправляется спать, а мы остаемся бодрствовать, — о! Мир наводит такую тоску, и нам становится страшно, как детям в пустом тихом доме. Тогда мы сидим и рыдаем, и вожделеем залитых фонарями улиц, и звука человеческих голосов, и пульса человеческой жизни. Нам так беспомощно и ничтожно в великом безмолвии, когда темный лес шелестит в ночном ветре. Вокруг столько призраков, и их неслышные вздохи вселяют в нас такую печаль... Давайте же собираться в больших городах, палить огромнейшие костры из миллионов газовых рожков, кричать, петь хором и быть героями.

Гаррис спросил, случалось ли мне бывать в Хэмптон-Кортском лабиринте. Он сказал, что как-то раз туда заходил, чтобы показать кое-кому как его проходить. Он изучил лабиринт по карте, и тот оказался простым до глупости (и вряд ли стоил двух пенсов, которые взимались за вход). Гаррис сказал, что карту, должно быть, составляли ради насмешки; на лабиринт она вообще была не похожа и только сбивала с толку. Гаррис повел туда своего кузена-провинциала. Гаррис сказал:

— Мы просто зайдем, чтобы ты мог рассказывать, что здесь побывал. Здесь все элементарно. Называть это лабиринтом просто глупость. Ты все время поворачиваешь направо. Просто обойдем его за десять минут и пойдем закусить.

Когда они вошли в лабиринт, им встретились люди, которые, по их словам, крутились там уже три четверти часа и были сыты аттракционом по горло. Гаррис сказал, что, если им хочется, они могут пойти за ним; он, мол, только зашел, обойдет лабиринт и снова выйдет. Те заявили, что это весьма любезно с его стороны, пристроились следом и двинулись.

По дороге они подбирали всяких других людей, которым также хотелось с этим покончить, и таким образом сосредоточили всех находившихся в лабиринте. Несчастные, расставшиеся со всякой надеждой выбраться, увидеть дом и друзей снова, при виде Гарриса и его команды воодушевлялись и присоединялись к процессии, благословляя его. Гаррис сказал, что, по его оценке, за ним увязалось человек, наверно, двенадцать; одна женщина с ребенком, проведшая в сооружении целое утро, пожелала, чтобы не потерять Гарриса, взять его за руку.

Гаррис неизменно поворачивал вправо, но так продолжалось и продолжалось, и кузен предположил, что лабиринт, видимо, очень большой.

— Один из самых обширных в Европе, — подтвердил Гаррис.

— Должно быть, так, — отвечал кузен. — Ведь мы прошли уже добрых две мили.

Гаррис и сам начал подумывать, что все это уже странно, но продолжал

до тех пор, пока шествие наконец не наткнулось на половинку булочки, валявшуюся на земле, и кузен побожился, что семь минут назад ее видел. Гаррис сказал: «Не может быть!» — а женщина с ребенком воскликнула: «Еще как может!» — так как сама же отобрала эти полбулочки у ребенка и бросила здесь как раз перед тем, как повстречать Гарриса. При этом она добавила, что весьма сожалеет о том, что это произошло, и озвучила мнение, что он самозванец. Это привело Гарриса в бешенство, и он вытащил план и разъяснил собственную теорию.

— Карта — это, конечно, здорово, — сказал кто-то, — вот только бы знать, где мы на ней сейчас.

Гаррис себе этого не представлял и предложил просто отправиться назад ко входу, чтобы начать все сначала. Предложение начать все сначала большого энтузиазма не вызвало, но в отношении целесообразности возвращения назад ко входу возникло полное единодушие. И они повернулись и опять поплелись за Гаррисом, в обратном направлении. Прошло еще минут десять, и они оказались в центре лабиринта.

Гаррис сначала вознамерился изобразить дело так, что этого и добивался. Но у толпы был такой угрожающий вид, что он решил представить все чистой случайностью.

Так или иначе, теперь у них было с чего начинать. Зная теперь, где находятся, они справились по карте заново. Все дело показалось простым, проще некуда, и они двинулись в третий раз.

И через три минуты снова оказались в центре.

После этого они просто больше никуда не могли попасть. Куда бы они ни пошли, их все равно приводило назад, в середину. Это стало настолько привычным, что кое-кто становился там, дожидаясь, пока остальные обойдут круг и вернутся. Спустя какое-то время Гаррис опять развернул карту, но вид этого документа только привел массы в ярость, и Гаррису посоветовали употребить его на папильотки. По признанию Гарриса, он не мог избавиться от ощущения, что, до известной степени, популярность утратил.

Наконец они все сошли с ума и возвзвали к сторожу. Сторож пришел, взобрался снаружи на лесенку и стал выкрикивать указания. Только к тому времени у них у всех в голове образовался такой сумбур, что они не могли сообразить вообще ничего, и сторож велел им оставаться на месте, заявив, что сейчас придет сам. Они сбились в кучу и стали ждать, а сторож спустился и ступил внутрь.

Как нарочно, сторож оказался юнцом и новичком в своем деле; очутившись внутри, он не смог их найти, бродил вокруг да около, пытаясь до них добраться, а потом потерялся сам. Сквозь изгородь им было видно, как он носится здесь и там. Вот он увидит их и бросится к ним навстречу; они пройдут его минут пять, после чего он снова появится на том же месте и спросит, куда же это они подевались.

Чтобы выбраться, им пришлось дожидаться с обеда кого-то из опытных сторожей. Гаррис сказал, что, насколько он может судить, лабиринт очень занятный, и мы решили, что на обратном пути попробуем затащить туда Джорджа.

* * *

ГЛАВА VII

Темза в воскресном убранстве. — Платье на реке. — Возможности для мужчин. — Отсутствие вкуса у Гарриса. — Спортивная куртка Джорджа. — День в обществе юных модниц. — Надгробие миссис Томас. — Человек, который не обожает могилы, гробы и черепа. — Гаррис приходит в бешенство. — Его взгляды на Джорджа, банки и лимонад. — Он выполняет акробатические номера.

Гаррис рассказывал мне о своих приключениях в лабиринте, пока мы проходили Молсейский шлюз. На это ушло какое-то время, потому что шлюз этот большой, а наша лодка была единственной. Не припоминаю, чтобы мне случалось видеть Молсейский шлюз с одной только лодкой. Этот шлюз, по-моему, на Темзе самый загруженный, включая даже Болтерский.

Я иногда наблюдал такое, что в нем вообще не было видно воды: сплошь пестрый ковер ярких спортивных курток, нарядных шапочек, модных шляпок, разноцветных зонтиков, шелковых шарфов, накидок, струящихся лент, элегантных белых одежд. Когда заглядываешь в шлюз со стены, кажется, что это большая коробка, куда набрасали цветов всякой формы и всяких оттенков, и они рассыпались там радужной грудой по всем углам.

В погожее воскресенье шлюз является собой такую картину весь день. Вверх и вниз по течению стоят, ожидая за воротами своей очереди, долгие вереницы лодок. Их все больше и больше, они подплывают и удаляются, и солнечная река — от дворца до самой Хэмптонской церкви — усеяна желтым, синим, оранжевым, белым, красным, розовым. Все жители Молси и Хэмптона, нарядившись в лодочные костюмы, высыпают на берег и слоныются вокруг шлюза со своими собаками, и флиртуют, и курят, и глазируют на лодки. И все это вместе — куртки и шапочки у мужчин, прелестные разноцветные платья у женщин, радостные собаки, плывущие лодки, белые паруса, приятный пейзаж, сверкающая вода — все это представляет собой одно из наряднейших зрелищ, которые мне известны в окрестностях этого хмурого старого Лондона.

Река дает нам возможность одеться как следует. В кой-то веки мы, мужчины, в состоянии наконец продемонстрировать свой вкус в отношении цвета, и, доложу вам, у нас это выходит весьма щегольски. Лично я в своем костюме предпочитаю немного красного — красного с черным. Должен сказать, что волосы у меня золотисто-каштановые, оттенка, как говорят,

довольно красивого, и темно-красный гармонирует с ними отменно. Кроме того, по-моему, к ним просто здорово идет светло-голубой галстук, башмаки из юфти и красный шелковый шарф вокруг талии (шарф гораздо изящнее, чем просто пояс).

Гаррис питает пристрастие к оттенкам и комбинациям оранжевого и желтого; только я не думаю, что это вполне благоразумно. Для желтого он смугловат. Желтое ему не подходит (в чем никто и не сомневается). Я бы на его месте взял голубое, а по нему для разрядки пустил бы что-нибудь белое или кремовое. Но поди же! Чем меньше у человека в одежде вкуса, тем больше он обычно упрямствует. Ну и жаль. Гаррис и так никогда не будет пользоваться успехом, между тем как есть один-два цвета, в которых он мог бы выглядеть не так жутко (надвинув шляпу).

Джордж специально в нашу поездку купил новых вещей, но я от них просто в расстройстве. Спортивная куртка у Джорджа *вопиющая*. Я не хочу, чтобы Джордж знал, что я так думаю. Но другого слова для этой куртки просто не существует. Он приволок ее домой и показал нам в четверг вечером. Мы спросили, как называется этот цвет. Он сказал, что не знает. Он сказал, что не думает, что этот цвет собственно называется; продавец сказал, что это восточный орнамент.

Джордж надел куртку и спросил, как оно нам. Гаррис сказал, что как предмет, который вешают над грядками ранней весной, чтобы отпугивать птиц, данную вещь он, так и быть, признает; но будучи рассмотрен как предмет собственно туалета для существа человеческого (не в счет негры из Маргейта *), этот предмет вызывает у Гарриса только болезненные ощущения. Джордж надулся, но, как сказал Гаррис, не хочешь знать — зачем спрашивать?

Мы с Гаррисом в этом отношении обеспокоены тем, что, мы опасаемся, куртка Джорджа будет привлекать к лодке внимание.

Барышни также выглядят в лодке недурно, если хорошенъко оденутся. Нет ничего более привлекательного, на мой взгляд, чем спитый со вкусом лодочный костюм. Но «лодочный костюм» (вот бы барышни это понимали) должен быть таким, чтобы в нем можно было собственно кататься в лодке, а не только сидеть под стеклянным колпаком. Ваша прогулка будет совершенно угроблена, если в лодке у вас окажется публика, озабоченная главным образом своим туалетом, а не поездкой. Однажды я имел несчастье отправиться на реку на пикник с двумя такими вот барышнями. Ну и весело же нам было.

Обе расфуфырились в пух и прах — шелка, кружева, цветочки, ленточки, изысканные туфельки, светленькие перчатки. Они были одеты для фотографического салона, а не для пикника на реке. На них были «лодочные костюмы» с модной французской картинки. Увеселяться в таких костюмах по соседству с настоящей землей, водой или воздухом было несерьезно.

Началось с того, что они решили, будто в лодке грязно. Мы протерли для них все скамейки и заверили, что в ней чисто, но они не поверили. Одна из них притронулась пальчиком в перчатке к сиденью и показала результат исследования своей подруге, и они обе вздохнули и уселись с видом мучениц ранних веков христианства, старающихся поудобнее устроиться на костре.

Когда гребешь, нет-нет да и брызнешь, а капля воды, как оказывается, гробит лодочные костюмы напрочь. Пятно не сходит никак, и след остается навеки. Я греб на корме. Я делал все, что мог. Я выносил весла плашмя на два фута и после каждого взмаха делал паузу, чтобы стекла вода, а чтобы погрузить их снова, искал на воде самое спокойное место.

(Мой товарищ, который греб на носу, чуть погодя заявил, что не чувствует себя достаточно квалифицированным гребцом, чтобы грести со мной наравне, и что он пока посидит и, если я не возражаю, поизучает мой метод гребли; он сказал, что его заинтересовал этот метод.) Но, несмотря ни на что, как бы я ни старался, брызги на лодочные костюмы иногда все-таки попадали.

Барышни не жаловались. Они тесно прижались друг к другу, поджав губы, и всякий раз, когда на них падала капля, вздрагивали и съеживались. Это была величественная картина, безмолвные их страдания, но она же совершенно лишила меня присутствия духа. Я слишком чувствителен. Я стал грести судорожно, как попало, и чем больше старался не брызгать, тем больше брызгал.

Наконец я сдался и сказал, что пересяду на нос. Мой партнер согласился, что так будет лучше, и мы поменялись местами. Увидев, что я ухожу, барышни испустили невольный вздох облегчения и на мгновение оживились. Бедняжки! Лучше им было примириться со мной. Теперь им достался удалой, беззаботный, толстокожий малый, чувствительный в такой же степени, в какой, возможно, чувствителен ньюфаундлендский щенок. Смотрите на него волком хоть целый час, и он этого не заметит, а если заметит, это его не смущит. Он зарядил крепким, лихим, удалым гребком, от которого брызги разлетелись по всей лодке фонтаном, и наша компания вытянулась по струнке в мгновение. Каждый раз, проливая на лодочные костюмы пинту воды, он с приятной улыбкой смеялся («Ах, простите, пожалуйста!») и предлагал барышням свой носовой платок, чтобы они обтерлись.

— О, ничего страшного, — шептали в ответ несчастные барышни, украдкой заворачиваясь в накидки и пледы и пытаясь спастись от воды кружевными зонтиками.

За завтраком им пришлось хлебнуть горя. Их приглашали сесть на траву, но трава была пыльная, а стволы деревьев, к которым им предлагали прислониться, никто, как видно, не чистил уже несколько недель. И они расстелили на земле свои носовые платочки и уселись на них так, будто

проглотили кол. Кто-то нес в руках блюдо с мясным пирогом, споткнулся о корень, и пирог вылетел. Ни кусочка, к счастью, на барышень не попало, но происшедшее навело их на мысль о новой опасности; они потеряли покой и теперь, когда кто-нибудь брал в руки что-нибудь, что могло выпасть, со всеми вытекающими отсюда последствиями, наблюдали за ним с возрастающим беспокойством до тех пор, пока он не садился снова.

— А ну-ка, девушки, — весело сказал наш друг, когда этот кошмар закончился, — вперед, мыть посуду!

Сначала они его не поняли. Когда наконец смысл идеи перед ними раскрылся, они сказали, что, как они опасаются, как мыть посуду они не знают.

— О, я вам сейчас покажу! — воскликнул приятель. — Это просто ужас как весело! Ложитесь на... То есть наклонитесь, гм, над берегом и поболтайте тарелки в воде.

Старшая барышня сказала, что, как она опасается, подходящей одежды для подобной работы у них нет.

— О, и эта сойдет! — беззаботно ответил приятель. — Подоткните подолы.

И он таки заставил их это сделать. Он сказал, что привлекательность пикников наполовину заключается как раз в подобных мероприятиях. А они сказали, что это было очень интересно.

Теперь я вот думаю: был ли тот малый так непроходимо туп, как мы считали? Или же он был... Нет, нет, как можно! Ведь на лице у него была такая простота, такая невинность!

Гаррис захотел сойти на берег у Хэмптонской церкви — посмотреть могилу миссис Томас.

— А кто такая миссис Томас? — спросил я.

— Откуда я знаю? — отозвался Гаррис. — Это дама, у которой веселый памятник, и я хочу его посмотреть.

Я запротестовал. Не знаю — может быть, у меня извращенная натура, только я никогда не мечтаю о могильных памятниках.

Я знаю: когда вы приезжаете куда-нибудь в город или деревню, следует немедленно мчаться на кладбище и наслаждаться могилами. Но в таком отдыхе я себе всегда отказываю. Я не нахожу интереса в том, чтобы ползать кругами у мрачных холодных церквей за страдающим одышкой старым грибом и зачитывать эпитафии. Даже кусок медной потрескавшейся доски, вделанной в камень, мне не доставляет того, что я именую подлинным счастьем.

Невозмутимостью, которую я в состоянии сохранять перед лицом волнующих надписей, отсутствием воодушевления в отношении местной генеалогии я привожу в потрясение всех добропорядочных могильщиков, а плохо скрываемое стремление поскорее убраться ранит их чувства.

Одним золотым солнечным утром я стоял, прислонившись к невысо-

кой каменной стенке, ограждавшей небольшую деревенскую церковь, курил и в тихой глубокой радости предавался очаровательному успокоительному пейзажу: старая серая церковь, увитая гроздьями плюща, с деревянным крыльцом в замысловатой резьбе; светлая лента проселка, сбегающая извилинами с холма сквозь высокие ряды вязов; крытые соломой домики, выглядывающие из-за аккуратных изгородей; серебряная речка в долине, за нею поросшие лесом холмы!

Это был чудесный пейзаж. Он был полон идиллии и поэзии, и он вдохновил меня. Я ощутил добродетель и благодать. Я понял, что теперь не хочу быть порочным и грешным. Я перееду сюда, и поселюсь здесь, и не сотворю более зла, и буду вести прекрасную, совершенную жизнь; главу мою, когда я состарюсь, украсят седины и т. д. и т. п.

И в этот миг я простил всех друзей моих и родственников моих, за их порок и упрямство, и благословил их. Они не знали, что я благословил их. Они продолжали вести свой отверженный образ жизни, так и не представляя себе того, что, далеко-далеко, в этом безмятежном селении, я для них делал. Но я это сделал, и мне хотелось, чтобы они узнали о том, что я это сделал, ибо я желал осчастливить их. И я продолжал предаваться всем этим возвышенным благородным мыслям, как вдруг в мой экстатический транс ворвался пронзительный писклявый фальцет. Он голосил:

— Сию минуту, сударь! Бегу, бегу! Погодите-ка, сударь! Сию минуту!

Я посмотрел вверх и увидел лысенского старикашку, ковылявшего по кладбищу в моем направлении. Он волок гигантскую связку ключей, которые тряслись и гремели в такт каждому шагу.

Исполненным безмолвного величия жестом я велел ему удалиться, но он тем не менее приближался, истощно вопя:

— Бегу, сударь, бегу! Я, видите ли, прихрамываю. Старость не радость! Сюда, сударь, сюда, прошу вас!

— Прочь, жалкий старец! — молвил я.

— Я уж и так спешил, сударь. Моя благоверная заприметила вас только сию как минуту. За мной, сударь, за мной!

— Прочь, — молвил я снова, — оставьте меня! Оставьте меня, оставьте!.. Не то я перелезу через стену и убью вас.

Он оторопел.

— Вы что... Вы что, не хотите осмотреть могилы?!

— Нет, — ответствовал я, — не хочу. Я хочу стоять здесь, прислонившись к этой старой замшелой стене. Подите прочь и не тревожьте меня. Я исполнен прекрасных, благородных мыслей и не хочу отвлекаться, ибо испытываю благодать. Не вертитесь тут под ногами, не бесите меня, пугая мои лучшие чувства этим вашим могильным вздором. Убирайтесь, убирайтесь и найдите кого-нибудь, кто похоронит вас нездорого, — я оплачу половину расходов.

Старик на мгновение растерялся. Он протер глаза и уставился на меня. С виду я был человек как человек. Он ничего не понимал.

— Вы приезжий? Вы тут не живете?

— Нет, — ответствовал я, — не живу. Если бы я тут жил, вы бы тут уже не жили.

— Ну, значит, вы хотите осмотреть памятники... Могилки... Покойнички ведь... Гробы!

— Вы прохиндей! — воскликнул я, начиная раздражаться. — Я не хочу осматривать памятники, ваши тем более. Какого черта? У нас есть свои могилки, у нашей семьи. У моего дядюшки Поджера на Кенсал-Грин есть памятник — гордость всего прихода. А у моего дедушки такой склеп в Боу, что туда влезет восемь человек. А у моей двоюродной бабушки Сусанны в Финчли есть кирпичный саркофаг с надгробием, а на нем барельеф с каким-то кофейником, а вокруг могилы — дорожка отборного белого камня, стояла бешеных денег! Когда мне требуются могилы, я отправляюсь туда и там упиваюсь. Чужих мне не надо. Когда вас самого похоронят, я, так и быть, приду посмотреть на вашу. Это все, что я могу для вас сделать.

Старик разрыдался. Он сообщил, что один из памятников увенчан каким-то осколком, о котором кое-кто говорит, будто бы это частица чьих-то останков, а на другом памятнике резана надпись, которую до сих пор не сумел разгадать никто.

Но я был неумолим, и старик дрожащим голосом произнес:

— Но Окно-то поминовения вы посмотрите *?!

Я отказался даже от Окна поминовения. И тогда он выложил свой последний козырь. Он приблизился ко мне вплотную и прошептал, хрипло:

— Там, в склепе, у меня есть парочка черепов. Так и быть, взгляните на них. О-о-о, пойдемте, посмотрим на черепа! У вас ведь каникулы, молодой человек, вам нужно развлечься. Пойдемте, я покажу вам черепа!

Здесь я обратился в бегство, и долго еще до меня доносились его призывы:

— Пойдемте, посмотрим на черепа!!! Вернитесь, взгляните на черепа!!!

Но Гаррис обожает памятники, могилы, эпитафии, надгробные надписи, и мысль о том, что могилу миссис Томас он, может быть, не увидит, привела его в помешательство. Он заявил, что мечтал о посещении могилы миссис Томас с той самой минуты, когда впервые зашла речь о нашей поездке. Он сказал, что никогда бы к нам не присоединился, кабы не чаял надежды увидеть надгробие миссис Томас.

Я напомнил ему о Джордже и о том, что мы должны добраться до Шеппертона к пяти часам, чтобы там его встретить. Тогда Гаррис стал наезжать на Джорджа. Какого черта Джордж валяет целый день дурака, а мы тут таскай вверх-вниз по реке на горбу это старое раздолбанное корыто, чтобы его встречать? Какого черта он там остался, а мы тут без него вкалывай? Ка-

кого черта он сегодня не отпросился и не поехал с нами? Да лопни он, этот банк! Какой там, в банке, от Джорджа толк?

— Как ни зайду, — продолжал Гаррис, — он хоть раз бы там что-нибудь делал. Торчит за стеклом и прикидывается, что занят. Какой толк может быть от человека, когда он торчит за стеклом? Вот я, например, в поте лица зарабатываю свой хлеб. А почему не работает он? Какая там от него польза и какой вообще толк в этих банках? Сначала берут у тебя деньги, а потом, когда хочешь получить по чеку, присылают его назад, да еще исчиркают вдоль и поперек всякими «недостаточно средств на счете», «обращайтесь к чекодателю». Что это за радость такая? На прошлой неделе такую штуку они сыграли со мной два раза. Нет, больше я терпеть этого не собираюсь. Я выну вклад. Был бы он тут, мы бы пошли посмотреть на могилу! Да и вообще я не верю, что он вообще в банке. Развлекается себе где-нибудь, вот что он делает, а мы тут ишачь в три погибели. Мне надо выйти и промочить горло.

Я указал Гаррису, что мы находимся на расстоянии многих миль от какого-либо питейного заведения, и Гаррис принялся поносить Темзу (какой может быть толк от реки, если каждый, кто на нее попал, должен подыхать от жажды?).

Когда Гаррис становится вот таким, всегда лучше дать ему волю. Тогда он сдувается и в дальнейшем сидит спокойно.

Я напомнил ему, что в корзине у нас имеется концентрированный лимонад, а на носу — целый галлон воды, и что обе субстанции только и ждут, когда их смешают, чтобы превратиться в освежающий прохладительный напиток.

Тогда Гаррис окрысился на лимонад и «все эти», по его выражению, «помои для воскресной школы» — имбирное пиво, малиновый сироп и т. д. и т. п. От них случается расстройство пищеварения; они губят как тело, так и душу; они являются причиной половины преступлений в Англии.

Но он тем не менее заявил, что ему нужно выпить хоть что-нибудь, залез на скамейку и нагнулся, чтобы достать бутылку. Бутылка была как раз на самом дне корзины, и найти ее было, видимо, нелегко — Гаррису пришлось наклоняться все дальше и дальше, и он, пытаясь в то же время править лодкой и видя все вверх ногами, дернул за неправильную веревку, и лодка врезалась в берег, и от удара он опрокинулся, и нырнул точно в корзину, и вткнулся в нее головой, вцепившись в борта мертвой хваткой и растопырив в воздухе ноги. Не смея пошевелиться из страха полететь в воду, он был вынужден торчать таким образом, пока я не схватил его за ноги и не выдернул из корзины, отчего он взбесился только сильнее.

ГЛАВА VIII

Вымогательство. — Как следует поступать в таких случаях. — Бесстыдный эгоизм прибрежных землевладельцев. — Доски «объявлений». — Нехристианские чувства Гарриса. — Как Гаррис поет комические куплеты. — Вечер в изысканном обществе. — Скандалная выходка двух молодых негодяев. — Кое-какие бесполезные справки. — Джордж покупает банджо.

Мы пристали под ивами у Кэмптон-парка и устроили завтрак. Местечко там просто милое: вдоль берега тянется веселый зеленый луг, а над ним склоняются ивы. Едва мы приступили к третьему блюду — хлебу с вареньем, как перед нами предстал джентльмен в жилете, с короткой трубкой в зубах, и осведомился: известно ли нам, что мы нарушаем границу чужих владений? Мы ответили, что пока не рассмотрели этот вопрос в той должной степени, которая позволила бы нам прийти к какому-либо определенному заключению на этот счет, но если он поручится честным словом джентльмена, что мы действительно нарушаем границу чужих владений, мы без дальнейших колебаний поверим ему.

Джентльмен предоставил нам требуемые заверения, и мы поблагодарили его, но он продолжал торчать возле нас и явно был чем-то неудовлетворен. Тогда мы спросили, чем бы могли усłużить еще, а Гаррис, человек приятельский, предложил ему кусок хлеба с вареньем.

Как я понимаю, джентльмен принадлежал к какому-то обществу воздержания от хлеба с вареньем, ибо он отверг угощение столь свирепо, будто мы решили его соблазнить, и добавил, что его долг — вытурить нас в шею.

Гаррис сказал, что если таков долг, то долг следует исполнять, и поинтересовался у джентльмена, какими, по его представлению, средствами исполнения этого долга можно добиться наилучшим образом. А Гаррис — мужчина, что называется, хорошо сложенный, носит почти самый большой размер, вид имеет поджарый и крепкий; незнамец смерил Гарриса взглядом и сказал, что сходит посоветоваться с хозяином, после чего вернется и пошвыряет нас в реку обоих.

Разумеется, мы больше его никогда не видели, и, разумеется, ему нужен был просто шиллинг. Существует известное количество речных жуликов, которые сколачивают за лето целое состояние, слоняясь по берегу и вымогая вышеописанным образом деньги у малодушных простаков. Они выдают себя за уполномоченных землевладельца. Поступать же следует так: со-

общить свое имя и адрес и дать возможность собственнику (если он здесь замешан на самом деле) вызвать вас в суд, где он пусть доказывает, какой убыток причинили вы его собственности, посидев на клочке таковой. Но большинство людей так ленивы и трусливы, что предпочитают поощрять мошенничество поддаваясь ему, вместо того, чтобы, проявив известную твердость, его прекратить.

В тех случаях, когда действительно виноваты хозяева, их следует изобличать. Эгоизм хозяев прибрежных участков возрастает год от года. Дай этим людям волю, они перекроют Темзу вообще. А притоки и затоны они фактически уже поперекрывают. Они забивают в дно сваи, с одного берега на другой протягивают цепи, а ко всем деревьям прибивают огромные доски с предупреждениями. Вид таких досок пробуждает во мне всякий порочный инстинкт. У меня так и чешутся руки все эти доски поотрывывать и того, кто их повесил, заколотить такой доской по голове насмерть. А еще потом я бы похоронил его, а доску водрузил на могилу как памятник.

Я поделился этими своими чувствами с Гаррисом, и он заметил, что принимает к сердцу все даже сильнее. Он сказал, что испытывает желание не только убить того, кто распорядился здесь эту доску повесить, но также вырезать всех членов семьи, друзей и родственников и затем предать его дом огню. Такая жестокость показалась мне уже в некоторой степени чрезмерной. Я сообщил это Гаррису, но он возразил:

— Ни капли! Вот так им и надо. А когда они все сгорят, я спою на пепелище комические куплеты.

Меня встревожило, что Гаррис заходит в своей кровожадности так далеко. Мы не должны допускать, чтобы наш инстинкт справедливости вырождался в примитивную мстительность. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось убедить Гарриса принять более христианскую точку зрения на этот вопрос, но в конце концов мне это удалось, и он пообещал мне, что друзей и родственников все-таки пощадит, а комических куплетов на пепелище петь не будет.

Вы просто не слышали, как Гаррис поет комические куплеты. Иначе вам бы стало понятно, какую услугу я оказал человечеству. Одна из навязчивых идей, которые преследуют Гарриса, заключается в том, что он думает, будто умеет петь комические куплеты. Тех же его товарищей, которые слышали, как он пробовал это делать, преследует навязчивая идея, которая заключается в том, что Гаррис этого делать, наоборот, не умеет, уметь никогда не будет и что ему нельзя позволять даже пробовать.

Когда Гаррис бывает в гостях и его просят спеть, он отвечает:

— Но я ведь, в общем, пою только комические куплеты...

При этом становится ясно, что комические куплеты в его исполнении являются тем не менее такой вещью, которую достаточно выслушать один раз — и спокойно почитать.

— Ах, как мило, как мило, — щебечет хозяйка. — Спойте же нам что-нибудь, мистер Гаррис, спойте же!

И Гаррис встает и подходит к фортепиано, с сияющей улыбкой великолодушного благодетеля, который собирается кого-либо чем-либо облагодетельствовать.

— Прошу тишины, пожалуйста, тишины, всем тихо! — восклицает хозяйка, обращаясь к гостям. — Мистер Гаррис сейчас исполнит комические куплеты!

— Ах, как интересно, как интересно! — шепчутся гости. И все спешно покидают оранжерею, и стремятся наверх, и собирают народ со всего дома, и сталпливаются в гостиной, и рассаживаются вокруг, и в предвкушении удовольствия расплываются в дурацких улыбках.

Тогда Гаррис начинает.

Конечно, для исполнения комических куплетов большого голоса не требуется. Вокальной техники и правильной фразировки вы не ожидаете также. Не важно, если певец, взяв ноту, вдруг обнаруживает, что забрался высоковато, и срывается вниз. Темп не имеет значения равным образом. Не важно также и то, что, обогнав аккомпанемент на два такта, исполнитель неожиданно замолкает на середине фразы, чтобы попрепираться с аккомпаниатором, после чего начинает куплет заново. Но вы рассчитываете на текст.

Вы никак не ожидаете, что исполнитель знает только первые три строчки первого куплета и без конца повторяет их до тех пор, пока не начнется припев. Вы не ожидаете, что посреди фразы он может вдруг остановиться, хихикнуть и заявить, что, как это ни забавно, но провалиться ему на этом месте, если он помнит, как там дальше (после чего пытается что-то присочинить от себя, а потом, находясь уже совершенно в другом месте, вдруг вспоминает забытое и безо всякого предупреждения останавливается и начинает сначала). Вы не ожидаете... Впрочем, я сейчас изображу, как Гаррис поет комические куплеты, и вы сможете составить об этом собственное суждение.

ГАРРИС (*стоя у фортепиано и обращаясь к ожидающей публике*). Бьюсь, что это, в общем-то, старовато. Вы все это, в общем, наверно, знаете. Но я ничего другого, собственно, и не знаю. Это песенка судьи из «Слюнявчика»... Нет, я имею в виду не «Слюнявчик»... Я имею в виду... Ну, в общем, вы знаете, что я имею в виду... В общем, не из «Слюнявчика», а... Ну, в общем, вы должны подпевать мне хором.

Шепот восторга и страстное желание подпевать хором. Блестящее исполненное нервным аккомпаниатором вступление к песенке судьи из «Суда присяжных» *. Гаррису пора начинать. Он этого не замечает. Нервный аккомпаниатор начинает вступление снова. В этот момент Гаррис начинает петь и мгновенно вы-

паливает две строчки куплетов адмирала из «Слюнявчика»*. Нервный аккомпаниатор все-таки пытается доиграть вступление, отказывается от этого намерения, пытается следовать за Гаррисом, исполняя аккомпанемент песенки судьи из «Суда присяжных», видит, что дело не клеится, пытается сообразить, что происходит и где он находится, чувствует, что рассудок изменяет ему, и смолкает.

ГАРРИС (*любезно и ободряюще*). Прекрасно, прекрасно! Вы просто молодец, продолжим!

НЕРВНЫЙ АККОМПАНИАТОР. Здесь, кажется, какое-то недоразумение... Что вы поете?

ГАРРИС (*не задумываясь*). Что за вопрос! Песенку судьи из «Суда присяжных». Вы ее что, не знаете?

ОДИН ИЗ ПРИЯТЕЛЕЙ ГАРРИСА (*из задних рядов*). Да сейчас, дурия твоя башка! Ты же поешь песенку адмирала из «Слюнявчика»!

Длительные препирательства между Гаррисом и его приятелем в отношении того, что именно Гаррис поет. Пrijатель наконец соглашается, что это не важно, лишь бы Гаррис продолжал что начал, и Гаррис, с видом человека, истерзанного несправедливостью, просит аккомпаниатора начать сначала. Аккомпаниатор играет вступление к песенке адмирала, и Гаррис, дождавшись подходящего, по его мнению, момента, начинает.

ГАРРИС.

Я в мальчиках почтенным стал судьей...

Общий взрыв хохота, принимаемый Гаррисом за одобрение. Аккомпаниатор, вспомнив о жене и близких, отказывается от неравной борьбы и ретириуется; его место занимает человек с более стойкой нервной системой.

НОВЫЙ АККОМПАНИАТОР (*ободряюще*). Валяйте, дружище, а я буду вам подыгрывать. К черту вступление!

ГАРРИС (*до которого, наконец, доходит суть дела; смеясь*). Боже милостивый! Прошу прощения, прошу прощения... Ну конечно — я перепутал эти две песни! А все это Джленкинс меня запутал. Итак!

Поет. Его голос гудит как из погреба и напоминает рокот приближающегося землетрясения.

Я в мальчиках когда-то
Служил у адвоката...

(*В сторону, аккомпаниатору*.) Возьмем-ка повыше, старина, и начнем сначала еще разок, ничего?

Поет первые две строчки снова, на этот раз высоким фальцетом. В публике удивление. Впечатлительная старушка, сидящая у камина, начинает рыдать; ее приходится увести.

ГАРРИС (*продолжает*).

Я стекла чистил, двери тер,
И...

Нет, нет... Я стекла на парадном мыл... И натирал полы... Тьфу ты, черт подери... Прошу прощения, но я, странное дело, что-то никак эту строчку не вспомню. И я... Я... В общем, давайте к припеву, авось само вспомнится... (*Поет.*)

И я в сраженья, тру-ля-ля,
Теперь веду флот короля.

А теперь, в общем, эти две строчки нужно спеть хором!
ВСЕ (*хором*).

И он в сраженья, тру-ля-ля,
Теперь ведет флот короля.

И Гаррис так и не замечает, какого вытворяет из себя осла и как докучает людям, не сделавшим ему ничего плохого. Он искренне полагает, что доставил им удовольствие, и обещает спеть еще один комический куплет после ужина.

Разговоры о комических куплетах и вечеринках напоминают мне о неком прелюбопытнейшем случае, к которому я однажды оказался причастен. Так как случай этот проливает яркий свет на устройство человеческой натуры вообще, я полагаю, что на этих страницах он должен бытьувековечен.

Собралось общество, фешенебельное и высококультурное. Все блестали лучшими туалетами, изящной речью и чувствовали себя как нельзя лучше — все, кроме двух юных студентов, только что вернувшихся из Германии; двух совершенно заурядных молодых людей, которым было явным образом томительно и тоскливо, как будто мальчикам среди взрослых. На самом деле мы просто были слишком умны для них. Наша блестящая, но пересчур изысканная беседа, наши элитные вкусы находились вне пределов их апперцепции. Здесь, среди нас, они были не к месту. Да и вообще им не следовало быть среди нас... Это признали все, впоследствии.

Мы исполняли *морсеaux* старинных немецких мастеров*. Мы обсуждали философские и этические проблемы. Мы флиртовали — с самым изящным достоинством. И мы остроили — самым элитным образом.

После ужина кто-то продекламировал французское стихотворение, и мы сказали, что это было прекрасно. Потом одна из дам спела чувствительную балладу на испанском, и кое-кто из нас даже прослезился — до того это было трогательно.

И тут вышеупомянутые молодые люди поднялись и спросили, не при-

ходилось ли нам слышать, как герр Слоссенн-Бошен (который только что приехал и сидел внизу в столовой) исполняет некие восхитительные немецкие комические куплеты.

Никому из нас слышать их будто не приходилось.

Молодые люди заверили нас, что эти комические куплеты — самые смешные из всех когда-либо созданных комических куплетов и что, если нам будет угодно, они попросят герра Слоссенна-Бошена, с которым они хорошо знакомы, исполнить их. Это такие смешные комические куплеты, сказали они, что когда герр Слоссенн-Бошен однажды исполнил их в присутствии германского императора, его (германского императора) пришлось отнести в постель.

Они сказали, что никто не поет их так, как герр Слоссенн-Бошен. До самого конца исполнения он сохраняет такую торжественную серьезность, что вам кажется, будто он декламирует трагический монолог, и от этого все, разумеется, становится еще более уморительным. Они сказали, что он ни разу даже намеком не даст вам понять — ни голосом, ни манерой, — что исполняет нечто смешное, — этим бы он все только испортил. Именно благодаря тому, что он напускает на себя такой серьезный, едва ли не патетический вид, комические куплеты становятся такими просто ужасно смешными.

Мы сказали, что просто жаждем услышать эти комические куплеты, что желаем как следует посмеяться, и они сбегали вниз и привели герра Слоссенна-Бошена.

Он, как видно, исполнить нам эти куплеты был только рад, потому что пришел немедленно и, не говоря ни слова, сел за фортепиано.

— Ну, сейчас-то повеселитесь! — шепнули нам молодые люди, проходя через залу, чтобы занять скромную позицию за спиной профессора. — Вот посмеетесь-то!

Герр Слоссенн-Бошен аккомпанировал себе сам. Вступление ничего комического не предвещало. Мелодия была какая-то потусторонняя и волнующая, и от нее по коже пробегали мурашки. Но мы шепнули друг другу, что вот она — немецкая манера смеяться, и приготовились наслаждаться.

По-немецки я не понимаю ни слова. Я изучал этот язык в школе, но через два года после ее окончания забыл все начисто, и с тех пор чувствую себя гораздо лучше. Однако мне не хотелось обнаруживать свое невежество перед присутствующими. Поэтому я выдумал план, который показался мне просто отличным: я не спускал глаз со студентов и делал то же, что и они. Они прыскали — прыскали и я, они гоготали — гоготал и я. Кроме того, время от времени я позволял себе хохотнуть сам, как если бы только сам заметил нечто смешное, ускользнувшее от других. (Этот прием показался мне особенно ловким.)

Я заметил, пока исполнялась песня, что многие из присутствующих не спускали глаз с двух молодых людей — так же, как я. Когда студенты прыскали — прыскали они, когда студенты гоготали — гоготали они. А так как двое молодых людей только и делали, что на всем протяжении комических куплетов прыскали, гоготали и разражались хохотом, все шло самым замечательным образом.

И все же немецкий профессор, казалось, был чем-то неудовлетворен. Вначале, когда мы стали смеяться, на его лице отразилось глубокое удивление, как будто он ожидал чего угодно, только не смеха. Нам это показалось очень забавным; мы говорили, что — да, в этой его серьезности и заключается половина успеха; с его стороны любой намек на то, что он понимает, как все это страшно смешно, погубит все, конечно же, полностью.

Мы продолжали смеяться, и удивление профессора сменилось возмущением и негодованием. Он свирепо оглядел нас (кроме тех двух молодых людей, которых он видеть не мог, так как они сидели у него за спиной), и здесь от смеха с нами случился припадок. Мы говорили друг другу, что эта штука сведет нас в могилу. Одних только слов, говорили мы, хватит, чтобы довести нас до судорог, а тут еще эта шутовская серьезность... Нет, это уже слишком, нет.

Исполняя последний куплет, профессор превзошел самого себя. Он опшарил нас взглядом, исполненным такой сосредоточенной свирепости, что если бы нас не предупредили заранее о немецкой манере исполнения комических куплетов, нам стало бы страшно. Между тем он придал своей странной музыке столько агонизирующей тоски, что если бы мы не знали, какая это веселая песня, то разрыдались бы.

Он закончил просто под визги хохota. Мы говорили, что ничего смешнее не слышали в жизни. Как странно, удивлялись мы: ведь считается, что у немцев нет чувства юмора, когда существуют такие вещицы. И мы спросили профессора, отчего он не переведет песенку на английский, чтобы ее сумели понять и обычные люди и узнать, наконец, что такое настоящие комические куплеты.

И тут герр Слоссенн-Бошен вскочил и взорвался. Он ругался по-немецки (немецкий, я должен сделать вывод, для этой цели подходит особенно), и приплясывал, и размахивал кулаками, и обзывал нас по-английски как только умел. Он кричал, что никогда в жизни еще не был так оскорблен.

Оказалось, что его песня вовсе не представляла собой комических куплетов. Песня была про юную девушку, жившую в горах Гарца, которая отдала свою жизнь ради спасения души возлюбленного. Он умер, и души их встретились в заоблачных сферах, и затем, в последней строфе, он ее душу бросил, а сам уволокся за какой-то другой душой. Я не ручаюсь за подробности, но это было что-то совершенно грустное, я уверен. Герр Бошен сказал, что однажды он исполнял эту песню в присутствии германского импе-

ратора, и он (германский император) рыдал как дитя. Он (герр Бопшен) сказал, что эта песня считается одним из самых трагических и трогательных явлений германской языковой культуры.

Мы оказались в ужасном, совершенно ужасном положении. Что здесь можно было ответить? Мы оглядывались, разыскивая двух молодых людей, устроивших это мероприятие, но те скромным образом покинули дом немедленно после того, как исполнение прекратилось.

На этом вечер и кончился. Первый раз в жизни я видел, чтобы гости расходились так поспешно и тихо. Мы даже не простились друг с другом. Мы спускались поодиночке, ступая неслышно и стараясь держаться неосвещенной стороны лестницы. Шепотом мы просили лакея подать нам пальто и шляпу, сами открывали дверь, выскользывали на улицу и быстро сворачивали за угол, по возможности избегая друг друга.

С тех пор я никогда не проявлял большого интереса к немецким песням.

Мы добрались до Санберийского шлюза в половине четвертого. У шлюза река здесь просто прелестна, а отводный канал удивительно живописен. Но не вздумайте идти здесь на веслах против течения.

Однажды я попытался так сделать. Я был на веслах и спросил у приятелей, которые правили на корме, можно ли подняться здесь вверх по течению? Они ответили, что это, по их мнению, осуществимо, если я приналягу на весла как следует. Мы находились как раз под пешеходным мостом, соединявшим стенки; я уселся, взялся за весла и начал грести.

Греб я просто великолепно. Я сразу вошел в твердый, устойчивый ритм. Я поддерживал этот ритм руками, спиной и ногами. Я работал веслами лихо, энергично, мощно; работал просто в потрясающем стиле. Оба мои товарища говорили, что смотреть на меня — одно удовольствие. Через пять минут я поднял глаза, считая, что мы уже у ворот шлюза. Мы находились под мостом, в том самом месте, где я собственно начал грести, а эти два идиота надрывались от дикого хохота. Я разбивался в лепешку как сумасшедший, и все для того, чтобы наша лодка по-прежнему торчала под этим мостом. Нет уж, теперь пусть другие гребут на быстрине против течения.

Мы добрались до Уолтона, очень даже немаленького прибрежного городка. Как во всех прибрежных местах, к реке выходит только ничтожный уголок города, так что с лодки может показаться, будто это маленькая девочка, в которой всего-то полдюжины домиков. Между Лондоном и Оксфордом, пожалуй, только Виндзор и Эбингдон можно рассмотреть с реки хоть как-нибудь. Все остальные места прячутся за углом и выглядывают на реку только какой-нибудь уличкой. Я благодарю их за то, что они настолько тактичны и уступают берега лесам, полям и водопроводным станциям.

Даже у Рэдинга, хотя он лезет из кожи вон, чтобы испортить, изгадить и изуродовать на реке все докуда может добраться, хватает великодушия, чтобы все-таки не выставлять напоказ свою неприглядную физию.

У Цезаря, разумеется, под Уолтоном что-нибудь было: лагерь, укрепление или какая-нибудь другая штука в подобном роде. Цезарь на реках был завсегдатаем. Еще королева Елизавета — она здесь бывала тоже. (От этой женщины вам не избавиться, куда бы вы ни направились.) Было время, здесь жили Кромвель и Брэдшоу (не тот Брэдшоу, который составил путеводитель, а тот судья, который отправил на плаху короля Карла*). Компания собралась, похоже, — приятнее некуда.

В церкви Уолтона показывают железную «узду для сварливых женщин»*. Такими вещами в старину пользовались для обуздания женских языков. Но теперь от подобных опытов отказались. Я понимаю, железа перестало хватать, а всякий другой материал недостаточно прочен.

В этой церкви также имеются достойные внимания могилы, и я боялся, что мне не удастся отвлечь от них Гарриса. Но он о них как будто не помышлял, и мы двинулись дальше.

Выше моста река становится ужасно извилистой. Это обстоятельство делает ее весьма живописной, однако с точки зрения необходимости грести или тянуть бечеву действует раздражающее и приводит к бесконечной полемике между рулевым и гребцом.

На правом берегу вы видите Аутлэндс-парк. Это знаменитое старинное поместье. Генрих Восьмой его у кого-то украл (я уже забыл, у кого именно) и стал там жить. В парке имеется грот, который можно осмотреть (за плату) и который, как считается, очень красив. Однако, на мой взгляд, там нет ничего особенного.

Покойная герцогиня Йоркская, обитавшая здесь, обожала собак; у нее их была целая куча. Еще у нее было специальное кладбище, где она хоронила этих собак, когда они оклеветали. Всего их там покоится около пятидесяти экземпляров; над каждой собакой — надгробие, на нем — эпитафия.

Впрочем, мне кажется, собаки достойны этого почти в той же мере, что и любой средний христианин.

У Коруэй-Стэйкса — первой излучины выше Уолтонского моста — произошло сражение между Цезарем и Кассивелауном*. Для встречи Цезаря Кассивелаун привел реку в готовность: назабивал в нее колевые и, не остается никаких сомнений, повесил доску с запрещением высаживаться на берег. Но Цезарь, несмотря даже на доску, реку преодолел. Отогнать Цезаря от этой реки было бы невозможно. Цезарь — как раз такой человек, какой нам на реке в наши дни очень нужен*.

Хэллифорд и Шеппертон со стороны реки оба тоже очень милы, но ни в том, ни в другом нет ничего примечательного. В Шеппертоне на кладбище есть, правда, памятник, украшенный стихотворением, и я очень боялся, как бы Гаррис не вздумал выйти на берег, чтобы там послоняться. Когда мы приблизились к пристани и я увидел, каким жадным взором он на нее уставился, я искусственным движением сбросил его шапочку в воду. Добы-

вая ее и негодуя на мою неуклюжесть, Гаррис забыл обо всех своих ненаглядных могилах.

Возле Уэйбриджа река Уэй (славная речушка, по которой на небольшой лодке можно подняться до Гилдфорда; одна из тех, что я постоянно собираюсь исследовать, да все никак не соберусь), река Берн и Бэйзингстокский канал соединяются и все вместе впадают в Темзу. Шлюз здесь находится как раз напротив городка, и первым предметом, который мы заметили, когда городок появился, оказалась спортивная куртка Джорджа на створе шлюза, а ближайший осмотр определил, что в ней находится и собственно Джордж.

Монморанси устроил бешеный лай. Я закричал. Гаррис завопил. Джордж замахал шляпой и заорал нам в ответ. Сторож шлюза выскочил с багром, предполагая, что кто-то свалился в воду, и, как видно, был весьма раздосадован, обнаружив, что в воду никто не падал.

У Джорджа в руках имелся весьма любопытный предмет, завернутый в kleenку. Предмет был круглый, с одной стороны плоский, и из него торчала длинная прямая ручка.

— Это у тебя что? — заинтересовался Гаррис. — Сковородка?

— Нет, — сказал Джордж, и в глазах его появился странный диковатый блеск. — Это последний писк сезона... Его берут на реку все. Это банджо!

— Вот уж не знал, что ты играешь на банджо! — воскликнули мы с Гаррисом в один голос.

— Да я, в общем-то, не играю... Но мне говорили, что это очень просто. Да и потом, у меня есть самоучитель!

* * *

ГЛАВА IX

Джорджа знакомят с работой. — Варварские инстинкты бечевы. — Черная благодарность четырехвесельной лодки. — «Тягачи» и «тягомые». — Как можно пользоваться влюбленными. — Удивительное исчезновение пожилой леди. — Тише едешь — дальше будешь. — Вас тянут девушки: возбуждающее переживание. — Пропавший шлюз, или река с привидениями. — Музыка. — Спасены!

Теперь, когда Джордж оказался в наших руках, мы решили запрячь его в работу. Работать он не хотел, это ясно по умолчанию. Ему, объяснил он, пришлось порядочно потрудиться в Сити. Гаррис, человек по природе черствый и к состраданию не склонный, сказал:

— Ну да! А теперь для разнообразия тебе придется порядочно потрудиться на реке. Разнообразие — оно полезно для каждого. А ну, пшел!

По совести (даже по совести Джорджа), возразить было нечего, хотя Джордж заметил, что, может быть, ему как раз таки лучше остаться в лодке и заняться приготовлением чая, а мы с Гаррисом будем тянуть бечеву. Дело в том, что приготовление чая — работа весьма изнурительная, а мы с Гаррисом, как видно, устали. В ответ мы, однако, только сунули ему бечеву, так что он взял ее и полез на берег.

Бечева — штука странная и непостижимая. Вы сворачиваете ее с таким терпением и осторожностью, с какой стали бы складывать новые брюки, а через пять минут, когда вы снова ее берете, она уже превратилась в какой-то гнусный, тошнотворный клубок. Я не хочу никого обижать, но я твердо уверен, что если взять среднестатистическую бечеву, растянуть ее где-нибудь в чистом поле на ровном месте в струну, отвернуться на тридцать секунд и потом обернуться назад, то окажется, что за это время она собралась на этом ровном месте в совершенную кучу, и скрутилась, и завязалась в узлы, и затеряла оба конца, и превратилась в сплошные петли. И вам потребуется полчаса, чтобы, сидя на траве и без конца чертыхаясь, распутать ее обратно.

Это мой взгляд на бечеву вообще. Конечно, некоторые достойные исключения иметь место могут. Я не утверждаю, что их не бывает. Возможно, такие бечевы существуют, как гордость своего цеха, — сознательные, порядочные бечевы, которые не воображают из себя «кроше» * и не пытаются сплестись в вязаную салфетку, лишь только их предоставят самим себе.

Я говорю, что такие бечевы, может быть, и бывают. Я искренне на это надеюсь. Только лично я таких не встречал.

Нашей бечевой я занялся сам, как раз перед тем, как мы подошли к шлюзу. Гаррису я не позволил бы до нее даже дотронуться — Гаррис человек беспечный. Я смотал ее, медленно и осторожно, и связал посередине, и сложил пополам, и бережно разместил на дне лодки. Гаррис поднял ее, соблюдая все необходимые правила, и вложил в руки Джорджу. Джордж крепко вцепился в нее и, держа от себя на расстоянии, стал разматывать так, как если бы разворачивал пеленки новорожденного. Но не успел он размотать и дюжины ярдов, как вся эта штука стала больше всего похожа на плохо сплетенный веревочный половик. Так бывает всегда, и все происходит по одному и тому же сценарию. Тот, кто на берегу пытается бечеву размотать, уверен, что во всем виноват тот, кто ее укладывал. А когда человек, вышедший на реку, что-нибудь думает, он это и говорит.

— Что ты пытался из нее сделать? Рыболовную сеть? Надо же было так все запутать! Нельзя было просто взять да просто свернуть, тушица! — рычит он время от времени, неистово сражаясь с бечевой, и раскладывает ее по тропе, и топчется вокруг и вокруг, пытаясь отыскать конец.

С другой стороны, тот, кто бечеву сматывал, уверен, что во всем беспорядке виноват тот, кто пытается ее размотать.

— Когда ты ее брал, с ней все было в порядке! — восклицает он негодующе. — Надо, наверно, думать что делаешь! Вечно у тебя все получается на перекосяк! Ты и столб завяжешь узлом, с тебя станется!

И они так злятся, что готовы на этой бечеве друг друга повесить.

Проходит десять минут; распутывающий бечеву издает страшный вопль и сходит с ума. Он топчет веревку, и скачет по ней, и пытается размотать одним разом, хватая первый попавшийся узел и дергая за него. Естественно, бечева затягивается только сильнее. Тогда его товарищ вылезает из лодки и спешит на помощь, и они толкаются и мешают друг другу. Оба хватаются за один и тот же кусок, тянут его в разные стороны и не могут понять, что и где зацепилось. В конце концов они все-таки разбираются, затем оборачиваются и видят, что лодку тем временем унесло и она направляется прямо к плотине.

Однажды я сам был очевидцем подобной истории. Это случилось чуть выше Бовени одним довольно ветреным утром. Мы гребли вниз по реке. И вот, обогнув излучину, мы заметили на берегу двух малых. Они смотрели друг на друга с выражением такого недоумения и беспомощности, каких я ни до, ни после на человеческих лицах не видел. Оба держали в руках концы длинной бечевы. Было ясно, что у них что-то случилось; мы притормозили и спросили в чем дело.

— Нашу лодку унесло, — ответили они с негодованием. — Мы только вылезли, чтобы распутать бечеву, а когда оглянулись, ее унесло!

Они были явно оскорблены поведением собственной лодки, которое очевидно считали актом низости и черной неблагодарности.

Сачкнувшая лодка нашлась на полмили ниже. Она застряла в камышах, и мы привели ее обратно. Бьюсь об заклад, эти двое потом всю неделю держали беглянку в ежовых рукавицах.

Никогда не забуду этой картины — как они бродят по берегу взад и вперед с бечевкой в руках и разыскивают свою лодку.

Когда лодку тянут бечевой, случаются презабавные истории. Картина, какую можно наблюдать чаще всего, такова: двое «тягачей» быстро шагают по берегу, занятые оживленной беседой, тогда как «тягомый» в лодке, в стярдах у них за спиной, безрезультатно пытается доораться, чтобы они остановились, и подает веслом неистовые знаки бедствия. У него что-то случилось — выскоцил руль, или за борт свалился багор, или в воду слетела шляпа и теперь несется вниз по течению.

Он зовет, сначала довольно спокойно и вежливо:

— Эй! Постойте минутку! — кричит он весело. — У меня шляпа упала в воду.

Затем:

— Эй!! Том, Дик! Вы что там, оглохли?

И затем:

— Эй!!! Черт вас подери, болваны! Идиоты! Стойте! Ну стойте же! Нет, ну что за...

Потом он вскакивает, и начинает метаться по лодке, и орет до посинения, и проклинает весь мир. И мальчишки на берегу останавливаются, и глумятся над ним, и швыряют в него камнями, а он проносится мимо на скорости четырех миль в час и не может вылезти.

Подобных неприятностей во многом можно было бы избежать, если бы тянувшие лодку не забывали о том, что они ее тянут, и почаше оглядывались посмотреть, как идут дела у товарища. А лучше тянет пусть вообще кто-то один. Когда этим занято двое, они начинают болтать и обо всем забывают, а сама лодка о себе напомнить не в состоянии — она и так не оказывает почти никакого сопротивления.

Вечером, когда мы после ужина рассуждали на эту тему, Джордж рассказал нам прелюбопытнейшую историю — пример крайней рассеянности, до которой может дойти пара таких «тягачей».

Однажды вечером, как рассказывал Джордж, он со своими тремя приятелями поднимался от Мэйденхеда вверх по реке на веслах. Чуть выше Кукимского шлюза они увидели молодого человека и девушку, бредущих по тропе и углубленных, как видно, в интересную и захватывающую беседу. Они тащили багор; к багру была привязана бечева — она волоклась за ними, и конец ее терялся в воде. Никаких лодок (ни рядом, ни вообще вокруг) не было. В некие времена к бечеве была привязана лодка, вне всяких

сомнений. Но что с нею сталоось, какая страшная участь постигла ее и тех, кто в ней был забыт, — все это было покрыто тайной. Какая бы ни произошла катастрофа, однако, девушку с молодым человеком она никоим образом не беспокоила. У них был багор, и у них была бечева — этого, как видно, чтобы тащить лодку им представлялось достаточным.

Джордж хотел было крикнуть и привести их в чувство, но в этот миг его осенила блестательная идея, и он удержался. Вместо этого он схватил багор, наклонился и выудил конец бечевы. И они сделали на ней петлю и накинули себе на мачту, а потом подобрали весла, уселись на корме и закурили трубы.

И молодой человек с барышней проволокли этих четырех кабанов и тяжелую лодку до самого Марло.

Джордж сказал, что никогда не видел столько задумчивой скорби в одном человеческом взгляде, когда у шлюза юная пара сообразила, что последние две мили лодка была чужая. Джордж полагал, что если бы не тормозящий фактор присутствия очаровательной леди, молодой человек, пожалуй, дал бы волю агрессивному языку.

Первой оправилась от потрясения барышня. Ломая руки, она воскликнула, страстно:

— О, Генри! А где, в таком случае, тетушка?

— Ну и как, нашли они эту старушку? — поинтересовался Гаррис.

Джордж ответил, что это ему неизвестно.

Другой пример опасного недостатка взаимного понимания между «тягачом» и «тягомым» довелось однажды наблюдать мне самому, вместе с Джорджем, около Уолтона. Это было там, где бечевник совсем близко подходит к воде. Мы устроили привал на противоположном берегу и поглядывали вокруг. Тут на реке появилась небольшая лодка. Она неслась на бечеве, влекомая могучей ломовой лошадью, на которой сидел крохотный мальчуган. В лодке в задумчивых созерцательных позах расположились пятеро типов, причем особенно созерцательную позу имел рулевой.

— Вот бы он сейчас заложил руль не в ту сторону, — пробормотал Джордж, когда они проходили мимо.

В тот же миг это произошло; лодка хрястнулась в берег с таким треском, будто кто-то разорвал сорок тысяч простишей. Два пассажира, корзина и три весла немедленно покинули лодку с бакбпорта и разместились на берегу; полторы секунды спустя еще два пассажира высадились со штирибпорта и расселись среди багров, парусов, бутылок и саквояжей. Последний пассажир пропутешествовал еще двадцать ярдов и вылетел на берег головой вперед.

Это в какой-то степени избавило лодку от полезной нагрузки, и она пошла значительно легче; мальчишка закричал во весь голос и помчал скакуна галопом. Народ сел и уставился друг на друга. Прошло несколько

секунд, прежде чем они сообразили, что случилось, а когда сообразили, стали орать мальчишке, чтобы он остановился. Мальчишка, однако, был слишком увлечен скакуном и ничего не слышал. Тогда они помчались за ним, и мы наблюдали эту картину, пока они не скрылись из вида.

Не могу сказать, что мне было их жалко. Больше того, я только мечтаю, чтобы молодых болванов, применяющих подобный буксир (а таких пруд пруди), постигали подобные удары судьбы. Не говоря о риске, которому они подвергают жизни собственные, они подвергают опасности окружающих и действуют на нервы всем лодкам, которые обгоняют. Когда они несутся на такой скорости, то сами не успевают уступить дорогу другим, а другие не успевают уступить дорогу им. Их бечева налетает на вашу мачту и опрокидывает вашу лодку, а то еще цепляет кого-нибудь из пассажиров и либо швыряет его в воду, либо режет ему лицо в клочья. В таких случаях лучше всего не теряться и быть наготове, чтобы встретить их нижним концом мачты.

Но самый возбуждающий опыт при буксировке бечевой — это когда тебя тянут барышни. Таких ощущений не должен упускать никто. Для этого необходимы три барышни: две — чтобы держать веревку, одна — чтобы скакать вокруг и хихикать. Начинают они обычно с того, что запутываются в бечеве. Они обматывают веревкой ноги, и им придется сесть на тропу, чтобы друг друга распутать. Затем они намотают веревку себе на шею и едва не удавляются. В конце концов они все-таки с ней разберутся и помчаться бегом, волоча лодку на угрожающей скорости. Через каких-нибудь сто ярдов они, естественно, выыхают, неожиданно останавливаются, бросаются на траву и хохочут, а вашу лодку относят на середину реки и начинает вертеть, прежде чем вы успеваете что-то сообразить и схватиться за весла. Тогда они встают и начинают удивляться.

— Смотри-ка! — говорят они. — А его снесло в середину!

После этого они какое-то время тянут довольно прилежно; затем вдруг оказывается, что кому-то нужно подколоть платье. Они замедляют ход, и лодка садится на мель.

Вы вскакиваете, сталкиваете лодку и кричите барышням, чтобы они не останавливались.

— Да! Что-то случилось? — кричат они в ответ.

— Нельзя останавливаться! — ревете вы.

— Нельзя чего?

— Нельзя о-ста-на-вли-ва-ться! Идите вперед, идите!

— Вернись, Эмили, и узнай, что им надо, — говорит одна из девиц, и Эмили возвращается и спрашивает, что вам надо.

— Что вам нужно? Случилось что-нибудь?

— Нет, — отвечаете вы. — Все в порядке, но только идите вперед, не останавливайтесь!

— А почему?

— Почему, почему! Когда вы останавливаетесь, мы не можем править. У лодки все время должен быть какой-то ход.

— Какой-то что?!

— Ход... Лодка все время должна двигаться.

— А-а, понятно! Я им скажу. А как — мы хорошо тянем?

— О да, превосходно. Конечно. Только не останавливайтесь.

— Это, оказывается, вовсе не трудно. Я думала, это так тяжело!

— Ну конечно, это совсем просто. Надо только все время тянуть, вот и все.

— Понятно! Дайте мне мою красную шаль. Она под подушкой.

Вы находите шаль и передаете ее; в это время возвращается другая барышня, которой шаль тоже вроде как бы нужна. На всякий случай они берут шаль и для Мэри, но Мэри шаль не нужна, и они несут шаль обратно, а вместо нее берут гребешок. Проходит минут двадцать, прежде чем они, наконец, тронутся с места. Затем у следующего поворота они видят корову, и вы должны выкарабкиваться из лодки и гнать зверя с дороги.

Когда лодку тянут барышни — соскучиться невозможно.

Джордж в конце концов распутал бечеву и прилежно тянул нас до Пентон-Хука. Там мы стали обсуждать важный вопрос ночевки. Мы решили, что эту ночь проведем в лодке. На ночлег мы могли расположиться либо здесь же, либо уже подняться за Стэйнз. Думать о боковой, когда солнце стоит в небесах, было все-таки рановато, и мы решили поднажать и добраться до Раннимида — три с половиной мили вверх по реке; тихий лесистый уголок, где можно обрести пристанище.

Впрочем, потом мы пожалели, что не остановились в Пентон-Хуке. Три-четыре мили вверх по течению само по себе пустяк — когда стоит раннее утро; в конце долгого дня это очень утомительная работа. На протяжении этих последних миль пейзаж вас не интересует. Вы не болтаете и не смеетесь. Каждая полумиля тянется как две. Вам не верится, что вы находитесь там где находитесь, и уверены, что карта врет. И когда вы протащились, как вам кажется, десять миль минимум, а шлюза как не было, так и нет, вы начинаете всерьез опасаться, что его тихонько сняли и уволокли.

Помню, как-то раз на реке я испытал настояще потрясение. Я совершил прогулку с одной барышней — моей кузиной с материнской стороны, — и мы гребли вниз к Горингу. Было уже довольно поздно, и нам хотелось поскорее добраться домой (во всяком случае, ей хотелось). Было уже полседьмого, и кузина начинала нервничать. Она заявила, что ей нужно быть дома к ужину. Я заметил, что хотел попасть к этому же событию сам, и развернул карту, имевшуюся у меня с собой, чтобы прикинуть, сколько именно нам осталось. Оказалось, что до следующего шлюза — Уоллингфордского — осталось всего полторы мили, и пять — оттуда до Клива.

— Все в порядке, — сказал я. — Мы пройдем этот шлюз к семи, а там останется только один, — и я уселся и налег на весла.

Мы прошли мост, и вскоре затем я спросил свою спутницу, не видит ли она шлюз. Она ответила, что нет, никакого шлюза не видит, и я сказал «гм» и продолжил гребсти. Прошло еще минут пять, и я попросил ее посмотреть еще раз.

— Нет, — сказала она. — Ничего похожего на шлюз я не вижу.

— А вы... Вы поймете, что это шлюз, когда его увидите? — спросил я нерешительно, опасаясь ее обидеть.

Она все-таки обиделась и сказала, чтобы я смотрел сам.

Я бросил весла и осмотрелся. В сумерках реку было видно почти на милю, но что касается шлюза, ничего напоминающего шлюз не наблюдалось.

— А мы не заблудились? — поинтересовалась моя спутница.

Я не представлял, как такое могло бы случиться, однако высказал предположение, что мы, может быть, каким-то образом угодили в сливное русло и теперь нас несет к створу.

Это предположение ее ничуть не утешило, и она стала рыдать. Она говорила, что мы оба утонем; это ей божья кара за то, что она поехала со мной кататься.

Такое наказание мне показалось чрезмерным, но кузина считала его справедливым и уповала, что скоро всему настанет конец.

Я попытался ее успокоить и представить все дело простым пустяком. Просто я, значит, гребу медленнее, чем казалось. Теперь-то мы скоро доберемся до шлюза. И я прогреб еще с милю.

Здесь я начал беспокоиться сам. Я снова посмотрел на карту. Вот он, Уоллингфордский шлюз, отмечен самым тебе явным образом, полторы мили ниже Бенсонского. Это была хорошая, надежная карта, и, кроме того, я помнил шлюз сам. Я проходил его два раза. Где мы? Что с нами случилось? Я начинал думать, что все это сон, что я просто сплю у себя в постели, что через минуту я проснусь и мне скажут, что уже начало одиннадцатого.

Я спросил кузину, не кажется ли ей, что это сон, и она ответила, что такой же вопрос как раз собиралась задать мне сама. И тогда мы оба решили, что, может быть, оба спим. Но если так, кто из нас действительно спит и видит сон, а кто только снится другому? Становилось весьма интересно.

Между тем я продолжал гребсти, а шлюз все не появлялся. Река под набегающей тенью ночи становилась загадочной и угрюмой, и вместе с ней все вокруг становилось потусторонним и жутким. Мне стали приходить на ум всякие домовые, духи, блуждающие огоньки, те жуткие девушки, которые сидят по ночам на скалах и завлекают народ в пучину, всякая прочая чертовщина. Я стал сожалеть, что был недостаточно добродетелен, что знаю так мало псалмов. И вдруг во время этих раздумий я услышал благословен-

ный напев «Он разоделся в пух и прах», скверно исполняемый на гармонике, — и понял, что мы спасены.

Как правило, от звуков гармоники в восторг я не прихожу. Но, боже мой, какой прекрасной показалась тогда эта музыка нам обоим! Много, много прекрасней, чем, скажем, голос Орфея, или кифара Аполлона*, или что-нибудь в этом роде. Какая-нибудь небесная гармония в тогдашнем нашем состоянии духа привела бы нас только в полное помешательство. Трогающую мелодию, исполненную надлежащим образом, мы сочли бы зовом небес и оставили бы всю надежду. Но в дерганом судорожном мотивчике «Он разоделся в пух и прах», пиликаемом как придется на хриплой гармонике, было что-то особенно человечное, воодушевляющее.

Сладкие звуки близились, и вскоре лодка, на которой они возникали, стояла бок о бок с нашей. В ней содержалась компания провинциальных Арри-и-Арриет*, которые отправились прокатиться при лунном свете. (Никакой луны, правда, не было, но это уже не их вина.) Никогда в жизни я не видел людей очаровательнее и милее. Я окликнул их и спросил, не могут ли они указать нам дорогу к Уоллингфордскому шлюзу; я объяснил, что ищу его уже битых два часа.

— Уоллингфордский шлюз! — отвечали они. — Да господь с вами, сэр. Его уже год как убрали, больше! Уоллингфордского шлюза больше и нет, сэр! Вы теперь около Клива. Вот те раз, Билл, ты прикинь только, но тут джентльмен ищет Уоллингфордский шлюз!

Такая возможность мне в голову не приходила. Мне хотелось броситься им на шею и осыпать благословениями. Но течение для этого было слишком быстрым, и мне пришлось удовлетвориться банальной благодарностью.

Мы благодарили их снова и снова, и говорили, что сегодня чудесный вечер, и желали приятной прогулки, и я, кажется, даже пригласил их на неделю в гости, а кузина сказала, что ее матушка будет страшно рада их видеть. И мы запели «Хор солдат» из «Фауста» и все-таки успели к ужину*.

* * *

ГЛАВА X

Первая ночевка. — Под парусиной. — Призыв о помощи. — Обскурантизм чайников: как с ним бороться. — Ужин. — Как исполниться добродетели. — Срочно требуется хорошо осушенный необитаемый остров с удобствами, предпочтитель но в южной части Тихого океана. — Забавный случай с отцом Джорджа. — Бессонная ночь.

Мы с Гаррисом уже подумывали о том, что с Белл-Уэйрским шлюзом разделались таким же образом. Джордж тянул лодку до Стэйнза, там мы его сменили, и нам уже стало казаться, что мы прошагали миль сорок, волоча за собой груз тонн в пятьдесят. Было уже полвосьмого, когда мы добрались до места. Здесь мы уселись в лодку, подгребли к левому берегу и стали смотреть, где бы причалить.

Сначала мы предполагали добраться до острова Великой хартии вольностей — очаровательно милого уголка, где река вьется по мирной зеленой долине, — и разбить лагерь в одной из живописных бухточек, которые можно найти на том маленьком побережье. Но, странным образом, теперь мы далеко не так стремились к изысканности пейзажа, как утром. Клочок берега, скажем, между угольной баржей и газовым заводом нас на эту ночь вполне бы устроил. Пейзажей нам не хотелось. Нам хотелось поужинать и отправиться спать. Тем не менее мы дрогнули до мыса — «Мыса пикников», как его называют, — и высадились в просто прелестном местечке, под сенью огромного вяза, к раскидистым корням которого и привязали лодку.

Мы думали, что сразу поужинаем (решив, чтобы сэкономить время, обойтись без чая), но Джордж сказал — нет, сначала нужно поставить тент, пока не совсем стемнело и можно разглядеть что к чему. Потом, сказал он, сделав такое дело, мы со спокойной душой усядемся за еду.

Ставиться просто так тент вовсе не захотел (боюсь, всей трудности дела никто из нас даже не представлял). В абстракции это выглядит проще простого. Берутся пять железных дуг — как будто огромные крокетные воротца — и укрепляются стоймия над лодкой. Поверх натягивается парусина и прикрепляется снизу. Это займет минут десять, думали мы.

Мы просчитались.

Мы взяли дуги и стали совать их в специальные гнезда. Кто бы подумал, что такое занятие может оказаться опасным. Но теперь, оглядываясь назад, я удивляюсь только тому, что мы живы, живы все, и есть кому об этом рас-

сказывать. Это были не дути, а какие-то дьяволы. Сначала они никак не хотели влезать в свои гнезда, и нам пришлось на них прыгать, пинать и заколачивать их багром. А когда они влезли, выяснилось, что влезли не в свои гнезда и теперь их нужно вытаскивать.

Но они не вытаскивались — пока мы, по двое, не вступали с ними в схватку и не сражались в течение пяти минут; после этого они вдруг высакивали и пытались швырнуть нас в реку и утопить. Посередине у них были шарниры, и стоило нам отвернуться, как они прищемляли нам этими шарнирами самые чувствительные части тела. И пока мы боролись с одним концом дуги, убеждая его выполнить собственный долг, другой конец предательски подбирался сзади и бил по затылку.

Наконец мы их укрепили — оставалось только натянуть парусину. Джордж раскатал ее и закрепил конец на носу. Гаррис встал посередине, чтобы взять парусину у Джорджа и отправить дальше ко мне, а я подготовился принимать ее на корме. Чтобы добраться до моих рук, парусине потребовалось немало времени. Джордж справился со своей задачей как надо, но для Гарриса дело было в новинку, и он лопухнулся.

Как он ухитрился так сделать — не знаю (сам он объяснить не сумел), только после десяти минут сверхчеловеческих усилий он, посредством каких-то загадочных манипуляций, обмотал всю парусину вокруг себя. Он оказался так плотно в нее завернут, и закатан, и упакован, что просто не мог из нее выбраться. Он, разумеется, повел неистовую борьбу за свободу — право каждого англичанина по рождению — и в процессе этой борьбы (я узнал об этом впоследствии) повалил Джорджа; здесь Джордж, кляня Гарриса на чем стоит свет, присоединился к баталии и запеленался сам.

В тот момент я ни о чем не догадывался. Я вообще понятия не имел, что творится. Мне было сказано, что я должен стоять куда меня поставили и ждать, пока до меня дойдет парусина. И мы вдвоем с Монморанси стояли и ждали как паиньки. Нам было видно, что парусину дергает и кидает, но мы-то думали, что так должно было быть по инструкции, и не вмешивались.

Нам также было слышно, как под парусиной приглушенно ругаются; мы представляли, что работа, которой были заняты Джордж и Гаррис, была довольно хлопотной, но решили, что лучше пока подождем и, пока они там более-менее не разберутся, вмешиваться не будем.

Мы ждали еще какое-то время, но ситуация, по-видимому, только усугублялась, пока наконец над бортом лодки не возникла голова Джорджа и не заговорила. Она сказала:

— Ты что, не можешь помочь, раззыва?! Стоит как набитое чучело, когда мы тут чуть не задохлись, оба! Болван!

Я никогда не остаюсь глух к призывам о помощи; я подошел и размотал их — как раз вовремя, так как у Гарриса лицо уже покернело.

Нам пришлось вкалывать еще полчаса, прежде чем, наконец, тент был натянут как полагается. Потом мы расчистили палубу и занялись ужином. Мы поставили чайник на носу лодки, а сами ушли на корму, делая вид, что не обращаем на него внимания и готовим к ужину совсем другое.

На реке это единственный способ заставить чайник вскипеть. Если он заметит, что вы ждете и нервничаете, он даже не зашумит. Нужно удалиться и приступить к трапезе, как будто чай вы не собираетесь пить вообще. При этом на чайник ни в коем случае нельзя даже оглядываться. Тогда вы скоро услышите, как он фыркает и плюется, теряя рассудок от стремления напоить вас чаем.

Также, когда вам очень некогда, хорошо помогает, если вы будете очень громко переговариваться между собой в том смысле, что чаю вам вовсе не хочется и вы не собираетесь его пить. Вы располагаетесь невдалеке от чайника — так, чтобы он мог вас подслушать, — и кричите: «Я не хочу чаю; а ты, Джордж?» — на что Джордж в ответ дерет глотку: «Да ну его, этот чай, я его ненавижу! Мы будем пить лимонад; чай совсем не усваивается». После такого чайник немедленно начинает кипеть ключом и заливает спиртовку.

Мы приняли на вооружение эту невинную хитрость, и в результате, когда все остальное было готово, чай нас только и ждал. И тогда мы зажгли фонарь и сели ужинать.

Этот ужин нам был крайне необходим.

В течение тридцати пяти минут на всем протяжении этой лодки, вдоль и поперек, не раздавалось ни звука — за исключением лязга посуды и столовых приборов, а также непрерывного хруста четырех комплектов коренных зубов. Через тридцать пять минут Гаррис сказал «Уф!» и, вынув из-под себя левую ногу, заменил ее правой.

Еще через пять минут Джордж тоже сказал «Уф!» и швырнул свою миску на берег. Три минуты спустя Монморанси впервые после нашего отъезда обнаружил признаки примирения с действительностью, свалился на бок и вытянул лапы. Затем сказал «Уф!» я сам, и откинулся назад, и треснулся головой об одну из этих дурацких дуг, и не обратил на это никакого внимания, и даже не чертыхнулся.

Как хорошо себя чувствуешь на полный желудок, как бываешь доволен собой и всем миром! Чистая совесть — как говорят мне такие, кто проверял ее на себе, — дает ощущение счастья и удовлетворенности; полный желудок делает то же самое ничуть не хуже, причем за меньшие деньги и с меньшими сложностями. Ощущаешь в себе, после основательной и удобоваримой трапезы, столько всепрощения, столько добросердечия, столько духовности, столько великодушия!

Странно, до какой степени органы пищеварения властвуют над нашим рассудком. Нельзя ни работать, ни думать, если наш желудок этого не желает. Он диктует что чувствовать, что переживать. После яичницы с беко-

ном он велит: «Работай!» После бифштекса с портером он говорит: «Спи!» После чашки чая (две ложки на чашку, заваривать не более трех минут) он командует мозгу: «А ну-ка, воспрянь и покажи, на что ты способен. Будь красноречив, и глубок, и тонок, загляни ясным взором в тайны Природы и жизни, прости белоснежные крылья трепещущей мысли и воспари, богоявленный дух, над юдолью сует, направляя свой путь сквозь сиянье бескрайних россыпей звезд к вратам Вечности!» После горячих сдобных пончиков он говорит: «Будь тупым и бездушным, как скотина на пастбище, — безмозглым животным с равнодушным взглядом, в котором нет ни искры надежды, мысли, страха, любви, или жизни».

А после должностной порции бренди он приказывает: «Теперь, придурок, скаль зубы и падай с ног, чтобы твои дружки могли над тобой поглумиться; пускай слюни и вытворяй всяющую чушь, неси околесицу и покажи, каким беспомощным идиотом может стать человек, когда ум и воля его угоплены, как котята, в рюмке спиртного».

Мы всего лишь жалчайшие рабы своего желудка. Друг мой, не домогайся морали и добродетели! Следи неусыпно за своим желудком, питай его с разумением и осторожностью. И тогда к тебе явится добродетель, и явится благодать, и воцарятся они в душе твоей безо всяких усилий. И станешь ты порядочным гражданином, и верным супругом, и нежным отцом — достойным, благочестивым мужем.

До ужина мы с Джорджем и Гаррисом были сварливы, брюзгливы и раздражительны. После ужина мы сидели и блаженно улыбались друг другу и нашей собаке. Мы любили друг друга, мы любили весь мир. Гаррис, передвигаясь по лодке, нечаянно наступил на мозоль Джорджу. Случись такое до ужина, Джордж сформулировал бы такие пожелания и надежды насчет участия Гарриса как на этом, так и на том свете, что вдумчивый человек содрогнулся бы.

Теперь он сказал всего-навсего:

— Ай, старина! Полегче.

А Гаррис, вместо того, чтобы своим самым гадким тоном сделать замечание, что нормальному человеку просто невозможно не наступить на какую-либо часть ноги Джорджа, передвигаясь в радиусе десяти ярдов от места, где Джордж находится; вместо того, чтобы посоветовать Джорджу никогда не садиться в лодки обычных размеров, имея ноги подобной длины; вместо того, чтобы предложить Джорджу развесить их по обоим бортам — перед ужином он так бы и поступил, — вместо всего этого он просто ответил:

— Ох, дружище, прости! Надеюсь, тебе не больно?

И Джордж сказал:

— Пустяки! — и добавил, что виноват сам, а Гаррис сказал, что нет, виноват все-таки он.

Слушать их было одно удовольствие.

Мы закурили трубки и сидели, любуясь тихой ночью, и разговаривали.

Джордж высказал мысль: почему бы нам вообще так не сделать — не оставаться вдали от мира, с его грехом и соблазном, ведядержанную, тихую жизнь, творя добро. Я сказал, что о чем-то в подобном роде часто мечтал сам, и мы принялись обсуждать, нельзя ли нам, всем четверым, удастся на какой-нибудь удобно расположенный, хорошо оборудованный необитаемый остров и жить там среди лесов.

Гаррис заметил, что, как он слышал, проблемой необитаемых островов является сырость; однако Джордж возразил, что это не так, если остров как следует осушить, чтобы не бояться промочить ноги.

Затем мы заговорили о том, что лучше промочить горло, чем ноги, и в связи с этим Джордж вспомнил забавную штуку, которая как-то случилась с его папашей. Его отец путешествовал с приятелем по Уэльсу, и однажды они остановились на ночь в небольшой гостинице, где уже было еще несколько молодых людей, и они (отец Джорджа и его приятель) присоединились к этим молодым людям и провели вечер в их обществе.

Вечер получился крайне веселый, засиделись они допоздна, и когда пришло время отправляться на боковую, оказалось, что оба (отец Джорджа тогда еще был зеленым юнцом) тоже несколько навеселе. Они (отец Джорджа и его приятель) должны были спать в одной комнате, на разных кроватях. Они взяли свечу и стали подниматься к себе. Когда они очутились в комнате, свеча зацепилась за стену, погасла, и им пришлось раздеваться и ложиться во тьме на ощупь. Они разделись, забрались в кровать, причем, сами того не подозревая, в одну и ту же — хотя им казалось, что ложатся в разные. Один устроился головой на подушке, другой заполз на кровать с другой стороны и возложил на подушку ноги.

С минуту царило молчание. Затем отец Джорджа сказал:

— Джо!

— В чем дело, Том? — ответил голос Джо с другого конца кровати.

— Слушай, у меня тут кто-то лежит, — сообщил отец Джорджа. — Его ноги у меня на подушке.

— Странная вещь, — отозвался Джо, — но, черт меня побери, у меня тоже кто-то лежит!

— И что ты собираешься делать? — спросил отец Джорджа.

— Я его скину на пол! — ответствовал Джо.

— Я тоже, — храбро заявил отец Джорджа.

Последовала короткая схватка и за ней два полновесных удара в пол. Затем жалобный голос позвал:

— Том, а Том?

— Да...

— Ты как там?

— Сказать по правде, мой меня скинул...

— А мой — меня! Знаешь, мне эта гостиница что-то не нравится. А тебе?

— А как называлась гостиница? — спросил Гаррис.

— «Свинья со свистулькой», — сказал Джордж. — А что?

— Да нет, значит, не та.

— В смысле?

— Любопытное дело, — пробормотал Гаррис. — Точно такая же штука случилась и с моим папашей в одной деревенской гостинице. Он про это часто рассказывал. Я вот подумал: может быть, в той же самой?

Мы отправились на боковую в десять, и я думал, что, устав за день, сразу усну. Но не тут-то было. Обычно я раздеваюсь, кладу голову на подушку, и потом кто-нибудь ломится в дверь и кричит, что уже полдевятого. Но сегодня, казалось, все было против меня. Новизна обстановки, жесткое дно, скрюченная спина (ноги у меня лежали под одной скамейкой, голова — на другой), плеск воды вокруг лодки, шуршание ветра в листвиях — все это отвлекало и не давало уснуть.

Все-таки я заснул и несколько часов проспал. Потом какая-то часть лодки, отросшая на ночь (ее однозначно не было, когда мы отправлялись в дорогу, и она исчезла к утру), стала буравить мне спину. Какое-то время я таким образом спал, и мне снилось, будто я проглотил соверен, и чтобы его достать, у меня в спине коловоротом сверлят дыру. Я считал это варварством, просил поверить в рассрочку и обещал расплатиться в конце месяца. Но меня не хотели и слушать; злодеи сказали, что деньги лучше достать немедленно, потому что в противном случае вырастут большие проценты. В общем, в конце концов я с ними повздорил и озвучил свое мнение на их счет. И тогда они крутанули бурав с таким изощренным садизмом, что я проснулся.

В лодке было душно; голова у меня болела, и я решил выйти подышать свежим ночным воздухом. Я натянул на себя что нашарил (кое-что было мое, кое-что — Джорджа и Гарриса) и выбрался из-под тента на берег.

Ночь была просто чудесная. Луна уже зашла, оставив притихшую землю наедине со звездами. Казалось, что в тишине и молчании — пока мы, ее дети, спали — звезды вели с ней, сестрой, беседу и поверили великие тайны, голосами слишком вселенскими и бездонными, чтобы младенческий слух человека эти звуки мог уловить.

Они внушают нам трепет — эти необыкновенные звезды, такие яркие, такие холодные. Мы — словно дети, которых крохотные их ножки завели случайно в полуосвещенный храм божества, которому их поклоняться учили, но которого они не познали... И вот они стоят теперь под гулким сводом, простершимся над панорамой призрачного огня, смотрят вверх, на половину надеясь, наполовину боясь узреть в небесах нечто, что приведет их в трепет.

И в то же время Ночь исполнена мощи и умиротворения. Перед ее величием тускнеют и стыдливо прячутся наши маленькие печали. День был полон суеты и волнений, наши души были исполнены зла и горечи, а мир казался таким жестоким и несправедливым. И Ночь, как мать — великая, любящая, — ласково кладет ладонь на наш пылающий лоб и оборачивает к себе заплаканные наши лица и улыбается нам. И пусть она не произносит ни слова — мы знаем все, что она могла бы сказать, и прижимаемся щекой к груди, и боль наша уходит.

Порой наше горе поистине неподдельно и глубоко, и мы безмолвно стоим перед лицом Ночи, ибо у нашего горя нет слов, а есть только стон. И Ночь полна сострадания к нам. Она не может облегчить нам боль, но берет нашу руку в свою, и маленький мир уходит в какую-то даль и теряется у нас под ногами, — а мы несемся на ее темных крыльях, чтобы представать на мгновение перед лицом еще большей Силы, чем даже она сама, и в дивном сиянии этой великой Силы вся жизнь человека ложится перед нами как книга, и мы понимаем, что Боль и Страдание — лишь ангелы божьи.

Только те, что несли в этой жизни мученический венец, могут узреть это неземное сияние. Но они, возвратясь на землю, не смеют говорить о нем, не могут поведать тайну, которую знают.

Случилось давным-давно, что несколько прекрасных рыцарей ехали по незнакомой стране, и путь их лежал по дремучему лесу, заросшему густо колючим терновником, который раздирал в клочья им тело. И листья деревьев в этом лесу были такие темные, плотные, что ни один солнечный луч не проникал сквозь ветви, чтобы смягчить мрак и уныние.

И вот, когда они ехали по этому мрачному лесу, один из рыцарей отдался от своих товарищей и уже не вернулся к ним больше. И они, в жестокой печали, продолжили путь без него, оплакивая как погибшего.

И вот, наконец, рыцари достигли прекрасного замка, который был целью их странствия, и пробыли там много дней, предаваясь веселью. И както вечером, когда, бодрые и беззаботные, сидели они в огромной зале перед пылавшими в очаге бревнами и осушали заздравные кубки, вдруг появился тот рыцарь, которого они потеряли, и приветствовал их. Его платье было в лохмотьях, как платье нищего, на его белом теле зияли глубокие раны, но лицо его сияло светом великой радости.

И спросили они, что за участь его постигла, и он рассказал, как заблудился в дремучем лесу и блуждал много дней и ночей, пока не упал, израненный, истекающий кровью, чтобы расстаться с жизнью.

И вот, когда он был уже на пороге смерти, в глухом мраке подошла к нему величавая дева, и взяла за руку, и повела тайными тропами, каких люди не знают. И вот над мраком леса воссиял лучезарный свет, пред которым свет дня был как лампада перед солнцем. И в этом дивном сиянии явилось измученному нашему рыцарю, словно во сне, видение. И столь удиви-

вительным, столь прекрасным было это видение, что рыцарь, забыв о своих тяжких ранах, стоял зачарованный, и радость его была бездонной, как море, глубин которого не измерил еще никто.

И видение растворилось; и рыцарь, склонив колени, воздал святой благодарность — той, что привела его в этот безрадостный лес, чтобы узрел он сокрытое в нем видение.

И имя этому дремучему лесу — Скорбь. Но о том, что явилось в нем прекрасному рыцарю, говорить и рассказывать мы не смеем.

* * *

ГЛАВА XI

О том, как Джордж однажды встал рано. — Джордж, Гаррис и Монморанси не выносят вида холодной воды. — Героизм и решительность, которые проявляет Джей. — Джордж и его рубашка: история с назиданием. — Гаррис в роли повара. — Взгляд в прошлое: пособие для изучения в школе.

Я проснулся в шесть и увидел, что Джордж тоже не спит. Мы поворочались с боку на бок и попытались снова уснуть, но все без толку. Если бы нам было нужно по какой-то особой причине сейчас же встать и одеться, мы, разумеется, уснули бы мертвым сном, едва поглядев на часы, и проспали бы до десяти. Но вставать нам было совершенно не нужно еще как минимум два часа (и вообще, вставать сейчас, в такое время, было полнейшей глупостью), и мы, в соответствии с общим твердолобым порядком вещей в природе, почувствовали, что если пролежим еще хотя бы пару минут, то умрем на месте.

Джордж рассказал, что нечто подобное — только хуже — случилось с ним полтора года назад, когда он жил сам, на квартире у некой миссис Гиппингс. Однажды вечером у него сломались часы и остановились на четверти девятого. Он этого не заметил, потому что забыл их перед сном завести (такое вообще с ним случается редко), и повесил у изголовья, даже не посмотрев на время.

А случилось это зимой, почти в самый короткий день, и в придачу всю неделю стоял туман. Таким образом факт, что, когда Джордж утром проснулся, вокруг была кромешная тьма, не говорил еще ни о чем. Он приподнялся и снял часы. Они показывали четверть девятого.

— Да охранят нас ангелы господни!*! — вскричал Джордж. — В девять я должен быть в Сити! Почему меня никто не разбудил? Что за безобразие!

И он швыряет часы, и вскакивает с постели, и принимает холодную ванну, и умывается, и одевается, и бреется с холодной водой (потому что греть ее никогда), и снова несется к часам.

Может быть, от сотрясения, когда он швырял часы на постель, может быть, по другой причине, неясной самому Джорджу, но часы, застывшие на четверти девятого, пошли и теперь показывали восемь двадцать.

Джордж схватил часы и скатился по лестнице. В гостиной было темно и тихо; ни огонька в камине, ни завтрака на столе. Джордж подивил-

ся такому чудовищному бесчестью со стороны миссис Г., и решил, что вечером, когда вернется, сообщит ей все соображения на ее счет. Затем он напялил пальто, нахлобучил шляпу, схватил зонтик и бросился к выходу. Дверь была еще на крюке! Джордж предал анафеме эту ленившую перечницу миссис Г. и — удивляясь людям, которые продолжают валяться в постели в такое неподобающее для приличных, почтенных людей время, — откинулся крюк, отпер дверь и выскочил на улицу.

Четверть мили он мчался как угорелый и к концу этой дистанции начал соображать, как все это странно и любопытно, что на улицах так мало народа, а лавки все на замках. Конечно, утро было очень мрачное и туманное, но прекращать по этой причине всю деловую жизнь — дело чрезвычайное. Ему-то нужно идти на работу! Почему другие валяются под одеялом только из-за того, что на улице темнота и туман?

Наконец он добрался до Холборна. Ни омнибуса, ни одного открытого ставня! В поле зрения Джорджа оказались три человека: полицейский, зеленщик с полной капусты тележкой и возница ветхого кэба. Джордж вытащил часы и взорвался на циферблат: без пяти девять! Он остановился и сосчитал пульс. Потом нагнулся и ушипнул себя за ногу. Потом, с часами в руке, подошел к полисмену и спросил, не знает ли тот который час.

— Который час? — переспросил полисмен, окинув Джорджа откровенно подозрительным взглядом. — А вот послушайте, сколько пробьет.

Джордж прислушался, и башенные часы по соседству не заставили себя ждать.

— Как, всего три? — воскликнул Джордж с возмущением, когда удары затихли.

— Ну да. А вам сколько нужно?

— Девять, разумеется, — заявил Джордж, предъявляя часы.

— А вы помните где живете? — строго вопросил блюститель общественного порядка.

Джордж подумал и сообщил адрес.

— Ага, вот, значит, где. Ну, так послушайтесь моего совета. Спрячьте ваши часы подальше и двигайтесь потихоньку домой. И чтобы я больше этого тут не видел.

И Джордж, погруженный в раздумья, вернулся домой.

Оказавшись дома, он сначала решил было раздеться и отправиться спать еще раз, но как только представил, что придется опять одеваться, опять умываться, опять принимать ванну, предпочел устроиться и поспать в мягким кресле.

Но уснуть он не мог: никогда в жизни он не чувствовал себя таким бодрым. Он зажег лампу, достал доску и стал играть сам с собой в шахматы. Но его не взбодрило даже такое занятие — оно было каким-то томительным, — и он бросил шахматы и попытался читать. Какого-либо интереса к чтению

Джордж не сумел испытать равным образом; тогда он снова надел пальто и отправился на прогулку.

На улице была ужасная пустота и мрак; все встречные полицейские глязели на Джорджа с нескрываемым подозрением, провожали лучами фонариков, шли по пятам. От этого Джорджу стало казаться, будто он натворил что-то на самом деле; тогда он начал прятаться в переулках и скрываться в темных подворотнях, как только издали доносились мерное «топ-топ» служителей закона.

Разумеется, в глазах полиции подобный образ действий скомпрометировал Джорджа как никогда больше; они обнаружили его и спросили, что он здесь делает. Когда он ответил «ничего» и что просто вышел подышать воздухом (это было уже в четыре утра), они почему-то ему не поверили; двое констеблей в штатском проводили его до самого дома, чтобы выяснить, правда ли он живет там, где говорит, что живет. Они посмотрели, как он открывает дверь своим ключом, расположились напротив и стали наблюдать за домом.

Вернувшись домой, Джордж решил развести огонь и приготовить завтрак — просто так, убить время. Но за что бы он ни брался — за ведерко с углем, за чайную ложку, — все подряд валялось из рук; сам же он то и дело обо что-нибудь спотыкался. Поднялся такой грохот, что он чуть не умер от страха, представляя, как миссис Г. вскакивает с постели, воображает, что это грабители, открывает окно и визжит «Полиция!», после чего эти сыщики врываются в дом, надевают на него наручники и волокут в участок.

К этому времени нервы у Джорджа были так звинчены, что ему уже мерещилось и судебное заседание, и как он пытается растолковать присяжным обстоятельства дела, и как ему никто не верит, и как его приговаривают к двадцати годам катарги, и как его матушка умирает от разрыва сердца. И тогда Джордж бросил готовить завтрак, завернулся в пальто и просидел в кресле до тех пор, пока в половине восьмого не появилась миссис Г.

Джордж сказал, что с тех пор никогда раньше времени не просыпался. Эта история послужила ему хорошим уроком.

Пока Джордж рассказывал мне свою правдивую повесть, мы оба сидели завернувшись в пледы. Как только он кончил, я взялся за дело: начал будить веслом Гарриса. С третьего тычка Гаррис проснулся; он повернулся на другой бок и сообщил, что сию минуту спустится, пусть только ему принесут тапочки. Пришло брать багор и напоминать ему где он находится; тогда он вскочил, а Монморанси, спавший у него на груди сном праведника, полетел кувырком и растянулся поперек лодки.

Потом мы задрали брезент, все четверо высунули носы по правому борту, поглядели на реку — и затряслись мелкой дрожью. Накануне вечером мы предвкушали, как проснемся чуть свет, сбросим пледы и одеяла, сдернем тент, бросимся с восторженным кликом в реку и предадимся ку-

панию — долгому, упоительному. Сейчас, когда наступило утро, эта перспектива показалась нам почему-то менее соблазнительной. Вода казалась слишком холодной и мокрой, а ветер — зябким.

— Ну, и кто первый? — спросил наконец Гаррис.

Давки не было. Что касается Джорджа, он решил дело тем, что скрылся в лодке и стал натягивать носки. Монморанси завыл, инстинктивно, сам того не желая, — как воют, когда одна лишь мысль о подобном приводит в ужас. Гаррис же пробурчал, что потом будет чертовски трудно забираться в лодку, вернулся и стал выуживать свои штаны.

Идти на попятный мне не очень хотелось, но и купание меня не прельщало. Еще, чего доброго, напорешься на корягу или увязнешь в водорослях. Поэтому я решился на компромисс: спуститься к воде и просто облизнуться водой. Я взял полотенце, выкарабкался на берег и пополз по ветке, уходившей в воду.

Было зверски холодно. Ветер резал кинжалом. Я подумал, что обливаться, пожалуй, не стоит — лучше вернуться в лодку и поскорее одеться. И я уже собирался так сделать, но пока я собирался, дурацкая ветка треснула, я в компании с полотенцем со страшным всплеском грохнулся в воду и с галлоном Темзы в желудке очутился на середине реки — раньше чем сообразил, что собственно произошло.

— Ё-ё-ё! Старина Джей таки это сделал! — услышал я, всплыв на поверхность. — Вот уж не думал, что у него кишки хватит! А ты, Джордж?

— Ну и как? — крикнул Джордж.

— Прелестно, — пробулькал я в ответ. — Вы просто олухи, что не хотите купаться. Я бы ни за что на свете не отказался. Ну, ну, давайте! Нужно только немножко решиться, и все!

Но убедить их мне не удалось.

Во время одевания случилась презабавная штука. Когда я наконец влез в лодку, у меня зуб на зуб не попадал, и я так спешил натянуть рубашку, что выронил ее в воду. Я пришел в полное бешенство, особенно когда Джордж стал гоготать. Лично я ничего смешного в этом не находил; я так об этом Джорджу и заявил, но он загоготал еще больше. Я никогда не видел, чтобы человек столько смеялся. В конце концов я потерял терпение и сообщил ему, что он не просто полуумный придурок, а выживший из ума маньяк, но он ржал все громче и громче. И вот, выудив эту рубашку, я вдруг обнаружил, что рубашка совсем не моя, а Джорджа, и что я по ошибке схватил ее вместо своей. Здесь комизм положения дошел, наконец, до меня, и я начал смеяться сам. И чем дальше я переводил взгляд с мокрой рубашки Джорджа на него самого, умирающего от смеха, тем больше веселился сам, и под конец стал хохотать так, что рубашка свалилась в воду опять.

— Что же ты... Что же ты... Что же ты ее не вытаскиваешь? — спросил Джордж в перерывах между припадками.

Меня разобрал такой смех, что сначала я не мог сказать ему даже слова, но потом, в перерывах между своими припадками, мне удалось выдавить:

— Это не моя рубашка... Это твоя!..

Я никогда в жизни не видел, чтобы веселье на человеческом лице так внезапно сменялось свирепостью.

— Что?! — заорал Джордж, вскакивая. — Нет, что за растыка! Поосторожней нельзя? Какого черта ты не идешь одеваться на берег? Тебе в лодке вообще ничего делать! Давай багор, быстро!

Я попытался обратить внимание Джорджа на забавную сторону происшествия, но тщетно. Джордж порой бывает непроходимо туп и юмора не понимает.

На завтрак Гаррис предложил сделать яичницу-болтунью. Он сказал, что приготовит яичницу сам. По его словам выходило, что в яичницах-болтунях он крупный мастер. Он часто готовил ее на пикниках и во время прогулок на яхтах. Этой яичницей он был просто прославлен. Люди, которые хоть раз попробовали его яичницу-болтунью, какой мы сделали вывод, больше никогда не хотели ничего другого и чахли и умирали, когда не могли ее получить.

В общем, от его рассказов у нас потекли слюнки; мы приволокли ему сковородку, спиртовку и все яйца, которые еще не успели разбиться и размазаться по корзине, и стали заклинать приступить к делу.

Чтобы разбить яйца, Гаррису пришлось потрудиться — потрудиться не столько разбить, но сколько, разбив, попасть ими в сковороду, а не на брюки, и чтобы при этом они не стекли в рукава. Ему все-таки удалось зафиксировать на сковородке штук шесть, и он, присев на корточки у спиртовки, добил их с помощью вилки.

Насколько мы с Джорджем могли судить, работа была изматывающая. Стоило Гаррису приблизиться к сковородке, как он обжигался, ронял все из рук и танцевал вокруг спиртовки, щелкая пальцами и выражаясь. Всякий раз когда мы с Джорджем на него оглядывались, он выполнял эти действия. Сначала мы думали, что это было необходимо с точки зрения кулинарной спецификации.

Мы не знали, что такое яичница-болтунья, и думали, что это, должно быть, какое-то блюдо краснокожих индейцев или туземцев с Сандвичевых островов, приготовление которого требует ритуальной пляски и магических заклинаний. Монморанси как-то раз подошел и сунул в яичницу нос — масло брызнуло, обожгло, и он тоже начал плясать и ругаться. В общем, это оказалось одним из самых интересных и увлекательных предприятий, свидетелем которых мне приходилось бывать. Нам с Джорджем было ужасно жалко, что все так быстро закончилось.

Ожидания Гарриса оправдались не полным образом. Такими усилиями следует добиваться большего. На сковородку попало шесть яиц, а все, что

из них получилось, — чайная ложка горелой, не вызывающей никакого аппетита субстанции.

Гаррис сказал, что беда в сковородке, и объяснил, что все получилось бы лучше, если бы у нас был котел для ухи и газовая плита. И мы решили больше не готовить этого блюда, пока не обзаведемся указанными хозяйственными принадлежностями.

Когда мы закончили завтракать, солнце уже припекало, ветер стих; более славного утра нельзя было пожелать. Вокруг нас почти ничего не напоминало о девятнадцатом веке. Глядя на реку, залитую утренними лучами солнца, нам нетрудно было вообразить, что столетия, отделившие нас от того достопамятного июньского утра 1215-го *, отошли в сторону. И вот мы, молодые английские юноши *, в домотканой одежде — кинжалы за поясом, — теперь ждем, чтобы своими глазами увидеть, как будет начертана эта важнейшая страница истории, значение которой откроется простому народу только спустя четыре столетия — благодаря некоему Оливеру Кромвелю, который глубоко изучил ее.

Прекрасное летнее утро — солнечное, теплое, тихое. Но волнение грядущих событий уже распространяется. Король Джон заночевал в Данкрофт-холле; весь день накануне маленький городок Стэйнз оглашался лязгом доспехов, стуком копыт по булыжникам мостовой, криками военачальников, грубыми шутками и мерзкой божбой бородатых лучников, копейщиков, альбэрдщиков, чудным говором иноземцев, вооруженных пиками *.

В городе появляются группы пестро разряженных рыцарей и оруженосцев, покрытых пылью и грязью дороги. Весь вечер напуганные горожане должны без промедления распахивать двери, чтобы впустить грубых солдат, для которых здесь должен быть приготовлен стол и ночлег, и в самом наилучшем виде, иначе горе дому и его обитателям — ибо в те горячие времена меч был судьей и судом, палачом и истцом, и за все, что брал, расплачивался только тем, что щадил, если было угодно, жизнь того, у кого это брал.

Но вот вокруг бивачных костров на рыночной площади собирается еще больше людей из войска баронов; и они там едят, и пьянятся, и орут во всю глотку буйные хмельные песни, и режутся в кости, и ссорятся, и так далеко за полночь. Пламя костра бросает прихотливые тени на кучи сложенного оружия, на неуклюжие фигуры воинов. Дети горожан подкрадываются к кострам и с интересом глазуют; дюжие деревенские девки, хихикая, подходят ближе, чтобы перекинуться трактирной шуткой с солдатами, которые так непохожи на деревенских кавалеров — те сразу получают отставку, стоят в стороне и таращаются с пустыми ухмылками на своих грубых рожах. А вдали, на полях, окружающих город, мерцают неясные огоньки других биваков — там собраны войском отряды каких-нибудь знатных лордов, и рыщут, как бездомные волки, французские наемники вероломного короля Джона.

И так — пока на каждой темной улице стоит часовой, а на каждом холме вокруг города мерцают огни сторожевых костров — ночь проходит, и над прекрасной долиной старой Темзы занимается рассвет великого дня, который окажется таким важным для судеб еще не родившихся поколений.

Едва начинает светать, как на одном из двух островков, чуть повыше того места, где находимся мы, поднимается шум и грохот. Множество рабочих возводят там большой шатер, привезенный накануне вечером; плотники сколачивают рядами скамьи, а обойщики из Лондона стоят наготове с сукнами, шелками, парчой золотой и серебряной.

И вот — наконец-то! — по дороге, вьющейся берегом от городка Стэйнза, к нам приближаются, смеясь и перекликаясь зычным гортанным басом, с десяток дюжих алебардчиков — конечно, люди баронов. Они становятся на том берегу, всего лишь в сотне ярдов от нас, и, опервшись на алебарды, ждут.

Идет час за часом, все новые и новые отряды вооруженных людей стекаются к берегу; шлемы и панцири сверкают в длинных косых лучах утреннего солнца, и вся дорога, насколько хватает глаз, полна гарцающих скакунов и сияния стали. Скачут орущие всадники, лениво колышутся на теплом ветру маленькие флаги; то и дело поднимается новая суматоха, когда шеренги расступаются по сторонам, пропуская кого-то из знатных баронов, — тот, верхом на боевом коне, окруженный оруженосцами, спешит стать во главе своих крепостных и вассалов.

А на склонах горы Купер-Хилл, точно напротив, собирались любопытные крестьяне и горожане — они примчались из Стэйнза, — и никто толком не знает, что значит весь этот переполох, но каждый толкует по-своему величое то событие, на которое они явились смотреть. Некоторые говорят, что день этот принесет великое благо всему народу, но старики покачивают головами — они слышали подобные басни и раньше.

И вся река до самого Стэйнза усеяна точками лодок, лодочек и плетушек, обтянутых кожей, — сегодня такие уже не в почете и есть только у бедняков. Дюжие их гребцы перетащили и переволокли свои посудины через пороги — там, где спустя годы вырастет нарядный Белл-Уэйрский шлюз, — и теперь они приближаются, насколько хватает смелости, ближе к большим крытым баркам, которые готовы к отплытию и ожидают короля Джона, чтобы отвезти туда, где судьбоносная Хартия ждет его подписи.

Подходит полдень. Мы ждем терпеливо уже который час, и разносится слух, будто коварный Джон снова выскоцизнул из рук лордов, бежал из Данкрофт-холла — наемники у ноги, — и вместо того, чтобы подписывать для народа вольные хартии, заниматься будет делами другими.

Не тут-то было! На этот раз он попал в железную хватку, хитрил и вертелся напрасно. Вдали на дороге клубится облачко пыли; оно приближается и вырастает, все громче становится топот копыт, и сквозь построен-

ные отряды прокладывает свой путь блестящая кавалькада пестро разряженных лордов и рыцарей. И впереди, и сзади, и по каждому флангу скачут их юноши, а посередине — король Джон.

Он скачет туда, где его ожидают барки, и знатные лорды выступают к нему навстречу. Он приветствует их улыбкой и смехом, медоточивой речью, словно прибыл на праздник, устроенный в его честь. Но перед тем, как сойти с коня, он бросает поспешный взгляд на своих французских наемников, построенных позади, и на угрюмые ряды воинов знати, окруживших его.

Может быть, еще не поздно? Свирипый удар по стоящему рядом всаднику (он ничего не подозревает) — крик своим французским войскам — отчаянно рвануться в атаку — застичь врасплох стоящие впереди ряды — и мягкие лорды проклянут тот день, когда дерзнули стать ему поперек! Рука покрепче и сейчас сумела бы изменить ход событий. Был бы здесь Ричард*! Чаша свободы могла бы вылететь из рук Англии, и еще сотни лет вкус этой свободы ей был бы неведом.

Но сердце короля Джона замирает перед суровым лицом английских воинов, и рука короля бессильно падает на поводья, и он сходит с коня и занимает свою скамью на передней барке. И бароны сопровождают его, не снимая стальных рукавиц с эфесов мечей, и вот уже подан сигнал к отплытию.

Медленно покидают тяжелые, ярко украшенные барки берега Ранни-мида; медленно, с трудом они преодолевают стремительное течение и наконец с глухим скрежетом врезаются в берег маленького островка, который отныне будет зваться островом Великой хартии вольностей. И король Джон выходит на берег, и мы, в бездыханном молчании, ждем. И вот, наконец, великий клик сотрясает воздух, и красноголовый камень храма английской свободы, теперь знаем мы, заложен твердо иочно.

* * *

ГЛАВА XII

Генрих Восьмой и Анна Болейн. — О неудобствах проживания в доме с влюбленной парой. — Трудные времена в истории английского народа. — Поиски красот природы в ночное время. — Бездомные и бесприютные. — Гаррис готовится к смерти. — Ангел нисходит с небес. — Действие нечаянной благодати на Гарриса. — Легкий ужин. — Завтрак. — Полцарства за горчицу. — Страшная битва. — Мэйденхед. — Под парусом. — Три рыболова. — Нас предают проклятию.

Я сидел на берегу, воскрешая в воображении эту картину, когда Джордж обратился ко мне и заметил, что если я уже достаточно отдохнул, то не со-благоволю ли принять участие в мытье посуды. И покинув, таким образом, дни героического прошлого, я перенесся в прозаическое настоящее, со всем его ничтожеством и пороком, сполз в лодку, вычистил сковородку щепкой и пучком травы, придав ей окончательный блеск мокрой рубашкой Джорджа.

Мы отправились на остров Великой хартии вольностей и осмотрели камень, который хранится в домике и на котором, как говорят, хартия была подписана. Хотя была ли она подписана здесь на самом деле или, как утверждают некоторые, на другом берегу, в Раннимиде, я установить не возьмусь. Лично я, например, склоняюсь к тому, что общепринятая островная теория более авторитетна. Будь я одним из тогдашних баронов, я, без сомнения, решительно бы указал, что такого ненадежного типа, как король Джон, целесообразно переправить именно на остров, где возможностей для сюрпризов и фокусов меньше.

На землях Энкервикского замка, который стоит недалеко от Мыса пикников, находятся развалины старого монастыря. Как раз в садах этого монастыря, как говорят, Генрих Восьмой назначал свидания Анне Болейн*. Также он встречался с ней у замка Хевер в Кенте и еще где-то поблизости от Сент-Олбенса. В те времена народу Англии было, вероятно, трудно подыскать уголок, где бы эти юные сумасброды не миловались.

Вам не случалось жить в доме, где есть влюбленная пара? Это совсем не-легко. Вам хочется посидеть в гостиной, и вы отправляетесь в гостиную. Вы открываете дверь, до ваших ушей долетает некое восклицание, словно некто вдруг вспомнил нечто важное; когда вы входите, Эмили стоит у окна — ей крайне интересно, что происходит на противоположной стороне улицы;

ваш друг Джон Эдуард находится в другом конце комнаты — он не в состоянии оторваться от фотографий чьих-то бабушек.

— Ax! — говорите вы, застывая в дверях. — Я и не знал, что тут кто-то есть.

— Вот как? — холодно отвечает Эмили тоном, дающим понять, что она вам не верит.

Послонявшись некоторое время по комнате, вы произносите:

— Темно-то как! Почему вы не зажигаете газ?

Джон Эдуард говорит «О!», что он даже и не заметил; Эмили говорит, что папа не любит, когда газ зажигают днем.

Вы сообщаете им одну-другую новость, излагаете свою точку зрения на ирландский вопрос*, но их, как видно, ирландский вопрос не интересует. Замечания по любому предмету сводятся с их стороны только к следующему: «О!», «Неужели?», «Правда?», «Да?» и «Не может быть!» После десятиминутной беседы в таком стиле вы пробираетесь к двери и выскользываете; в следующий миг дверь, к вашему удивлению, хлопнув у вас за спиной, закрывается сама по себе — вы не трогаете ее и пальцем.

Спустя полчаса вы решаете, что можно рискнуть и пойти выкуриТЬ трубку в оранжерею. Единственный стул в оранжерее занят Эмили; Джон Эдуард, если можно доверять языку костюма, явным образом сидел на полу. Они не произносят ни слова, но взгляд их выражает все, что позволительно употреблять в цивилизованном обществе вслух; вы быстренько отступаете и запираете дверь.

После этого вам просто страшно сунуться в этом доме куда-то еще. Прогулявшись вверх-вниз по лестнице, вы отправляетесь к себе в спальню и остаетесь там. Вскоре, однако, это занятие теряет какой-либо интерес; вы надеваете шляпу и тащитесь в сад. Проходя по дорожке, вы заглядываете в беседку — в ней находятся двое тех же молодых идиотов, которые забились в угол; они замечают вас и начинают явным образом подозревать, что вы, с некой бесчестной целью, их преследуете.

— Завели б, что ли, специальную комнату? И держали б их там, — бормочете вы, кидаетесь в холл, хватаете зонтик и убегаете вон.

Нечто совершенно подобное, должно быть, происходило, когда этот ветреный мальчишка Генрих Восьмой ухаживал за своей крошкой Анной*. Народ в Бэкингемшире, когда они слонялись по Виндзору или Рейсбери, то и дело натыкался на них, всякий раз восклицая: «Ax, это вы!» — на что Генрих, покраснев, ответит: «Ну да, мне тут кое-кого нужно было увидеть», а Анна заметит: «Как я рада вас видеть! Подумать только, встречаю я тут на дорожке мистера Генриха Восьмого, а нам, оказывается, по пути!»

Народ отправится прочь, думая: «Пойдем-ка мы лучше отсюда, пусть они тут целуются и воркуют. Пойдем-ка мы в Кент».

Они идут в Кент, и в Кенте первым же делом наблюдают Генри и Анну, болтающихся вокруг замка Хевер.

— Что за дьявол! — говорят бэкингемширцы. — Куда бы нам убраться? Просто смотреть тошно уже. Вот, пойдем-ка мы в Сент-Олбенс. Сент-Олбенс — mestечко просто прелестное.

Оказавшись в Сент-Олбенсе, они заставали всю ту же жуткую парочку, целующуюся у стен аббатства. И тогда они уходили, и поступали в пираты, и занимались морским разбоем, и так продолжалось, пока свадьбу, наконец, не сыграли.

Участок реки между Мысом пикников и Олд-Виндзорским шлюзом очарователен. Тенистая дорога, вдоль которой разбросаны чистые уютные домики, бежит по берегу к гостинице «Узлийские колокола», живописной как большинство гостиниц на Темзе. (Вдобавок там, по словам Гарриса, можно тяпнуть кружку превосходного эля, а в таких вопросах словом Гарриса ручаться можно.) Олд-Виндзор — по-своему знаменитое место. Здесь у Эдуарда Исповедника был дворец*, и здесь же могущественный граф Годвин был, по законам своего времени, осужден и признан виновным в убийстве королевского брата*. Граф Годвин отломил кусок хлеба и взял его в руку.

— Подавиться мне этим куском, — сказал граф, — если я виноват!

Он положил хлеб в рот, проглотил его, подавился и умер.

Дальше за Олд-Виндзором река какая-то неинтересная и становится похожа сама на себя только у Бовени. Мы с Джорджем тащили лодку на бечеве мимо Хоумского парка — он тянется по правому берегу от моста Альберта до моста Виктории, — и когда проходили Дэтчет, Джордж спросил, помню ли я нашу первую речную вылазку, когда мы сошли у Дэтчета и пытались устроиться на ночлег.

Я ответил, что еще как, и забуду не сразу.

Это произошло в субботу, накануне августовских каникул*. Мы — все та же троица — устали и проголодались; добравшись до Дэтчета, мы вытащили из лодки корзину, два саквояжа, пледы, пальто, всякое барахло и отправились на поиски логова. Мы нашли чудесную маленькую гостиницу, увитую ломоносом, но там не было жимолости, а мне по какой-то причине втемяшилась в голову именно жимолость, и я сказал:

— Нет, давайте не будем сюда заходить. Давайте пройдем чуть дальше и посмотрим — может быть, там где-нибудь есть гостиница с жимолостью.

И мы двинулись дальше и вышли к другой гостинице. Эта гостиница была тоже просто чудесная, и к тому же за углом росла жимолость. Но здесь уже Гаррису не понравился вид человека, который стоял прислонившись к входной двери. Гаррис сказал, что этот человек не производит впечатления порядочного и на нем некрасивые туфли. Поэтому мы пошли дальше. Мы прошли изрядное расстояние, но гостиниц нам больше не попадалось. Затем мы увидели человека и попросили его подсказать нам пару-другую.

— Да, но вы же идете в другую сторону! — воскликнул он. — Поворачивайтесь и дуйте обратно. Придете прямо к «Оленю».

Мы сказали:

— Знаете, мы там уже были, и нам не понравилось. Совсем нет жимолости.

— Что ж, — сказал он. — Есть еще «Мэнор-хаус», как раз напротив. Вы там не были?

Гаррис ответил, что туда нам тоже не захотелось, — нам не понравился тип, который стоял у дверей. Гаррису не понравилось, какого цвета у него волосы, и не понравились туфли.

— Ну я не знаю тогда, что вам делать, не знаю! — воскликнул наш информант. — У нас других гостиниц нет.

— Ни одной? — оторопел Гаррис.

— Ни одной.

— И что нам теперь, к черту, делать?! — возопил Гаррис.

Тогда взял слово Джордж. Он сказал, что мы с Гаррисом, если нам будет угодно, можем отстроить гостиницу себе на заказ и отмуштровать постояльцев себе по вкусу. Что касается его самого, он возвращается к «Оленю».

Величайшим гениям человечества не удавалось воплотить своих идеалов никогда и ни в чем; так и мы с Гаррисом, повздыхав о бренности земных желаний, поплелись вслед за Джорджем.

Мы приволокли свои пожитки в «Олень» и сложили в холле. Хозяин вышел и поздоровался:

— Добрый вечер, джентльмены.

— Добрый вечер, — поздоровался Джордж. — Три места, пожалуйста.

— Весьма сожалею, сэр, — отозвался хозяин. — Боюсь, не получится.

— Ну, не беда! — сказал Джордж. — Два тоже сойдет. Двое из нас спят на одном... Поспят? — продолжил он, обернувшись к Гаррису и ко мне.

— Разумеется, — сказал Гаррис, считая, что нам с Джорджем одной кровати хватит за глаза.

— Весьма сожалею, сэр, — повторил хозяин, — но у нас вообще нет ни одного места. Если хотите знать, у нас на каждой кровати и так уже спят по двое, а то и по трое джентльменов.

Сначала такой поворот дела нас несколько обескуражил. Гаррис, однако, как путешественник стреляный, оказался на высоте положения и, весело засмеявшись, сказал:

— Ну ладно, что ж делать. Не треснем. Пристройте нас в бильярдной, как-нибудь.

— Весьма сожалею, сэр. Три джентльмена уже спят на бильярде и двое — в столовой. Так что сегодня я вас, наверно, вряд ли смогу пристроить.

Мы забрали вещи и направились в «Мэнор-хаус». Там было очень уютно. Я сказал, что эта гостиница мне нравится даже больше; Гаррис сказал,

что «Не то слово!», и хрен бы с ним, на этого рыжего можно вообще не смотреть, к тому же бедняга не виноват, что рыжий. Гаррис был настроен вполне разумно и кротко.

В «Мэнор-хаусе» нам просто не дали раскрыть рта. Хозяйка встретила нас на пороге с радушным приветствием — в том смысле, что мы уже четырнадцатая компания, которую она спровоживает за последние полтора часа. Наши робкие намеки на бильярдную, конюшни и угольный подвал она встретила презрительным смехом. Все эти уютные уголки были расхвачаны давным-давно.

Не знает ли она, где в этих местах можно найти приют на ночь? Ну-у, если мы готовы примириться с некоторыми неудобствами... Имейте в виду, она этого вовсе не рекомендует... Но в полумиле отсюда по дороге на Итон есть небольшой трактирчик...

Не дослушав, мы подхватили корзину, саквояжи, пальто, пледы, свертки и побежали. Указанная полумиля смахивала больше на милю, но мы все-таки добрались куда нужно и, запыхавшись, ворвались в буфет.

В трактире с нами обошлись грубо. Они просто подняли нас на смех. Во всем доме было только три кровати, и на них уже спало семеро холостых джентльменов и две супружеские четы. Какой-то добросердечный лодочник, который оказался в пивной, посоветовал попытать счастья у бакалейщика по соседству с «Оленем», и мы вернулись назад.

У бакалейщика все было переполнено. Некая старушенция, встреченная нами в лавке, сжалась и взялась проводить нас к своей знакомой, которая жила в четверти мили от бакалейщика и иногда сдавала комнаты джентльменам.

Старушка едва переставляла ноги, и мы тащились туда двадцать минут. В пути старушка развлекала нас описанием того, как, где и когда у нее ломит в спине. У подружки комнаты оказались сданы. Оттуда нас направили в № 27. № 27 был битком и отправил нас в № 32. № 32 был набит также.

Тогда мы вернулись на большую дорогу, и Гаррис уселся на корзину и объявил, что дальше никуда не пойдет. Он сказал, что здесь вроде спокойно и он хочет умереть здесь. Он попросил нас с Джорджем передать его матушке прощальный поцелуй и сообщить всем его родственникам, что он их простил и умер счастливым.

В этот момент нам явился ангел в образе маленького мальчишки (не могу представить более полноценного образа для преображения ангелов); в одной руке он держал кувшин пива, в другой — какую-то штуку, привязанную к веревочке. Эту штуку он опускал на каждый камень, попадавшийся по дороге, и дергал кверху; при этом возникал необыкновенно тошнотворный звук, наводящий на мысль о мучениях.

Мы спросили этого посланца небес (каковым он впоследствии оказался) — не ведом ли ему какой-либо уединенный кроп, обитатели которого не-

многочисленны и убоги (желательно престарелые леди и парализованные джентльмены), которых нетрудно было бы запугать, чтобы они уступили свою постель, на одну только ночь, трем доведенным до отчаяния джентльменам; или, если не ведом, не порекомендует ли он нам пустой свинарник, или заброшенную печь для обжига извести, или еще что-нибудь в этом роде?

Ничего в этом роде мальчику ведомо не было — во всяком случае, ничего под рукой, — но он сказал, что, если мы пойдем с ним, у его матушки есть свободная комната, и она может пустить нас переночевать.

Мы бросились ему на шею и благословили его, и луна кротко озаряла нас, и это было бы прекраснейшим зрелищем, но мальчик, перегруженный нашими чувствами, повалился под их тяжестью на дорогу, а мы рухнули на него. Гаррис преисполнился такой благодати, что едва не потерял сознание; ему пришлось схватить кувшин с пивом и наполовину осушить его, чтобы вернуться во вменяемое состояние. После этого он пустился бежать, предоставив нам с Джорджем тащить весь багаж.

Мальчик жил в маленьком четырехкомнатном домике, и его матушка — добрейшее сердце! — подала нам на ужин поджаренный бекон, и мы съели все без остатка (пять фунтов), и еще пирог с вареньем, и выпили два чайника чая, и потом отправились спать. В комнате было две кровати: раскладушка шириной два фута шесть дюймов, на которой, привязавшись простынкой друг к другу, улеглись мы с Джорджем, и собственно кровать нашего мальчика, всецело поступившая в распоряжение Гарриса (утром мы обнаружили, как из нее торчат два фута Гаррисовых голых ног, и, пока умывались, вешали на них полотенца).

Когда мы в следующий раз попали в Дэтчет, носом так уже не вертели.

Но вернемся к нашему настоящему путешествию. Ничего увлекательного не происходило, и мы спокойно дотащили лодку почти до острова Обезьянок, где вытащили наше судно на берег и сели завтракать. Мы навалились на холодную говядину, и вдруг обнаружилось, что мы забыли горчицу. Никогда в жизни, ни до этого, ни после, мне не хотелось горчицы так страшно. Вообще-то горчицу я не люблю и почти никогда не ем. Но в тот день я был отдал за нее целый мир.

Я не представляю, сколько во Вселенной насчитывается миров, но если в этот критический момент кто-нибудь предложил бы мне ложку горчицы — он получил бы их все. Когда я не могу раздобыть того, что мне хочется, я готов даже на подобное безрассудство.

Гаррис сказал, что также отдал бы за горчицу весь мир. Если бы в эту минуту кто-то забрел к нам с банкой горчицы, он неплохо нагрел бы руки и обеспечил себя мирами на всю оставшуюся жизнь.

Впрочем, нет. Боюсь, что, получив горчицу, мы попытались бы сделку расторгнуть. Бывает, сгоряча человек несколько начудит, но потом,

немного поразмыслив, разумеется, соображает, насколько его чудачества не соответствуют реальной ценности необходимого. Я слышал, как однажды в Швейцарии один человек, отправившись в горы, тоже наобещал всеменных за стакан пива. Когда же он добрался до какой-то хижины, где ему дали «Басса», то устроил просто ужасный скандал — из-за того, что с него спросили пять франков за бутылку*. Он кричал, что это циничное вымогательство, и даже написал письмо в «Таймс».

Отсутствие горчицы повергло нашу лодку во мрак. Мы молча жевали говядину. Жизнь казалась нам пустой и безрадостной. Вздыхая, мы предавались воспоминаниям о днях счастливого детства. Пересядя к яблочному пирогу, мы несколько воспрянули духом, а когда Джордж выудил со дна корзины банку консервированных ананасов и водрузил ее в центре лодки, мы почувствовали, что жить, в общем-то, стоит.

Мы, все трое, страшно любим ананасы. Мы рассматривали картинку на этикетке. Мы представляли вкус ананасного сока. Мы улыбались друг другу, а Гаррис уже приготовил ложку. Мы принялись искать консервный нож, чтобы открыть банку. Мы вытряхнули все из корзины. Мы вывернули наизнанку все сумки. Мы сняли доски со дна лодки. Мы вытащили все барахло на берег и перерыли его. Консервного ножа не было.

Тогда Гаррис попытался открыть банку складным ножиком, сломал ножик и сильно порезался. Потом Джордж попытался открыть ее ножницами, ножницы разлетелись и чуть не выкололи Джорджу глаз. Пока они перевязывали раны, я сделал попытку проткнуть эту штуку багром. Багор соскользнул, швырнулся за борт, в двухфутовый слой жидкой грязи. Банка, целая и невредимая, укатилась и разбила чайную чашку.

Тогда мы взбесились. Мы перетащили банку на берег, и Гаррис отправился в поле и разыскал здоровенный острый булыжник, а я вернулся в лодку и вытащил из нее мачту, а Джордж схватил банку, а Гаррис острым концом наставил на банку камень, а я взял мачту, воздел ее над головой, собрали все свои силы и трахнули.

В тот день Джорджу спасла жизнь соломенная шляпа. Он хранит ее до сих пор (вернее, то, что от нее осталось), и в зимние вечера, когда дымят трубки и мальчишки плетут небылицы о страшных опасностях, сквозь которые им пришлось пройти, Джордж приносит ее, пускает по кругу, и волнующая история повествуется снова, всякий раз по-новому гиперболизируясь.

Гаррис отделался поверхностными ранениями.

После этого я схватил банку и молотил по ней мачтой, пока не выбился из сил и не пришел в отчаяние, после чего за нее взялся Гаррис.

Мы расплющили эту банку в лепешку. Потом мы сплющили ее обратно в куб. Мы наштамповали из нее всех известных на сегодня стереометрических форм, но не смогли даже проткнуть. Тогда на нее набросился Джордж.

Он сколотил из нее нечто настолько дикое, настолько фантасмагорическое, настолько сверхъестественное в своем кошмаре, что испугался и бросил мачту. Тогда мы уселись вокруг на траве и уставились на нее.

Поперек верхнего донышка образовалась глубокая вмятина, отчего банка стала похожа на глумливую рожу. Это привело нас в такую ярость, что Гаррис вскочил, схватил гадину и зашвырнул на самую середину реки. И когда она утонула, мы прохрипели вдогонку проклятия, бросились в лодку, схватились за весла, покинули это место и без остановки гребли до самого Мэйденхеда.

Мэйденхед слишком много из себя строит, и поэтому место малоприятное. Это притон для курортных щеголей и их расфуфыренных спутниц. Это город безвкусных отелей, которым благоволят в основном хлыщи и девицы из кордебалета. Это та дьявольская кухня, откуда расползаются злые духи реки — паровые баркасы. У всякого герцога из «Лондонского журнала» обязательно найдется в Мэйденхеде «местечко»*; сюда же обычно являются героини трехтомных романов, чтобы покутить с чужими мужьями.

Мы быстро прошли Мэйденхед, потом притормозили и не спеша двинулись по роскошному плесу между Болтерским и Кукэмским шлюзами. Кливлендский лес по-прежнему нес свой изысканный весенний убор и склонялся к реке сплошным рядом всевозможных оттенков сказочно-зеленого цвета. В такой своей нетронутой прелести это, пожалуй, самый замечательный уголок на всей Темзе. Неохотно и не спеша мы уводили свое суденышко из волшебного царства покоя.

В заводи чуть ниже Кукэма мы устроились на привал и сели пить чай. Когда мы прошли Кукэмский шлюз, уже наступил вечер. Поднялся довольно свежий ветер — как ни странно, попутный. Обычно ветер на реке остервенело дует вам навстречу, в какую сторону вы бы ни шли. Он дует вам навстречу утром, когда вы отчаливаете на целый день, и вы долго гребете, представляя, как будет здорово возвращаться назад под парусом. Затем, после обеда, ветер меняет курс, и вам приходится лезть ему наперекор вон из кожи всю дорогу обратно.

Но если вы вообще забываете взять с собой парус, ветер будет попутным в оба конца. Что поделаешь! Наш мир — всего лишь испытательный полигон, на котором люди появляются чтобы нести мучения, так же, как искры — чтобы возноситься ввысь*.

Однако на этот раз там, похоже, что-то напутали и пустили ветер нам в спину, вместо того, чтобы пустить в лицо. Мы, тише воды ниже травы, поставили парус раньше, чем они обнаружили свою ошибку, развалились в задумчивых позах — парус расправился, натянулся, поворчал на мачту — и понеслись.

На руле сидел я.

По-моему, нет ничего более захватывающего, чем ходить под парусом.

Только под парусом человек пока что может летать (и еще во сне). Крылья быстрого ветра уносят вас прочь, в неизвестную даль. Вы больше не жалкая, неуклюжая, бессильная тварь, слепленная из глины, извиваясь ползающая по грязи, — вы теперь часть Природы! Ваши сердца теперь бьются вместе! Она обвивает вас своими удивительными руками и прижимает к сердцу! Вы духовно сливаитесь с нею, ваше тело становится легким как пух! Эфир звучит для вас воздушными голосами. Земля кажется далекой и маленькой; облака, которые едва не касаются головы, — ваши братья, и вы простираете к ним свои руки.

Мы были совсем одни на реке; лишь где-то вдали чуть виднелась стоящая на якоре плоскодонка, в которой сидели три рыболова. И мы неслись над водой, и лесистые берега мчались навстречу, и мы хранили молчание.

Я по-прежнему сидел на руле.

Приблизившись, мы увидели, что рыболовы были пожилые и важные. Они сидели в плоскодонке на стульях и не отрываясь следили за удочками. Багряный закат бросал на воду таинственный свет, и озарял пламенем башни деревьев, и превращал всклокоченные облака в сверкающий золотой венец. Это был час, исполненный глубокого очарования, томления, страстной надежды. Наш маленький парус вздымался к пурпурному небу; вокруг уже опускались сумерки, окутывая мир тенями всех цветов радуги, а сзади уже кралась ночь.

Нам казалось, что мы, как будто рыцари из какой-то старинной легенды, плывем по волшебному озеру в неведомое царство сумерек, в необъятный край заходящего солнца.

Мы не попали в неведомое царство сумерек. Мы со всего хода вмазались в плоскодонку, в которой удили рыбу старцы-удильщики. Сначала мы даже не разобрались, что собственно произошло, потому что из-за паруса ничего не было видно; но по характеру выражений, огласивших вечерний воздух, мы пришли к выводу, что оказались по соседству с человеческими существами, и эти человеческие существа обеспокоены и недовольны.

Гаррис спустил парус, и тогда мы увидели, что случилось. Мы сшибли упомянутых джентльменов со стульев в одну общую кучу на дно лодки, и теперь они медленно и мучительно пытались распутаться и освободиться друг от друга и рыбы. В процессе работы онисыпали нас бранью — не обычной невдумчивой, поверхностной, будничной бранью, но сложными, тщательно продуманными, всеобъемлющими проклятиями, которые охватывали весь наш жизненный путь и распространялись в далёкое будущее, включая при этом всех наших родственников, все предметы, явления и процессы, могущие иметь к нам какое бы то ни было отношение, — добрыми, существенными проклятиями.

Гаррис объяснил джентльменам, что им следует испытывать благодарность за маленькое развлечение, предоставленное после того, как они про-

сидели здесь со своими удочками день напролет. Он также добавил, что переживает великое потрясение и испытывает глубокую скорбь при виде того, как безрассудно предаются гневу джентльмены столь почтенного возраста.

Но это не помогло.

Джордж сказал, что у руля теперь сидет он. Он сказал, что от такого неподъемного интеллекта, как мой, не следует ожидать способности всецело отдаваться управлению лодкой; заботу о лодке следует поручить более заурядной личности, пока мы не пошли на дно ко всем чертям. И он отобрал у меня руль и повел лодку в Марло.

А в Марло мы оставили ее у моста и заночевали в «Короне».

* * *

ГЛАВА XIII

Марло. — Бишемское аббатство. — Монахи из Медменхэма. — Монморанси замышляет убийство старого Котищи. — Но все-таки решает подарить ему жизнь. — Скандалное поведение фокстерьера в универсальном магазине. — Мы отываем из Марло. — Внушительная процессия. — Паровой баркас: полезные советы как привести его в исступление и стать палкой ему в колесе. — Мы отказываемся пить реку. — Покойный пес. — Загадочное исчезновение Гарриса и пудинга.

Марло, по-моему, — одно из самых приятных мест на Темзе. Это кипучий, живой городишко; в целом он, правда, не весьма живописен, но в нем можно найти немало причудливых уголков — уцелевших сводов разрушенного моста Времени, по которому наше воображение перенесется в те дни прошлого, когда замок Марло был владением саксонца Эльгара, еще до того, как его захапал Вильгельм и подарил королеве Матильде*, и еще до того, как оно перешло сперва к графам Уорвикам*, а еще потом — к искусенному в житейских делах лорду Пэджету, советнику четырех монархов подряд*.

Места вокруг здесь тоже замечательные — если после прогулки лодочной вы любите прогуляться по берегу, — а сама река лучше всего. Ближе к Кукэму, за Карьерным лесом и за лугами, раскинулся чудный плес. Мильный старый Карьерный лес! Твои крутые узкие тропки, твои причудливые полянки — как они ароматны памятью о летних солнечных днях! Сколько призраков-лиц смеется в твоих тенистых прогалинах! Как ласково льются голоса далекого прошлого с твоих шепчущих листьев!

От Марло до Соннинга местность еще красивее. Величественное старинное Бишемское аббатство, каменные стены которого звенели кликами тамплиеров и в котором когда-то нашла приют Анна Клевская, а еще когда-то — королева Елизавета*, высится по правому берегу в полумиле выше Марлоусского моста. Бишемское аббатство богато на мелодраматические истории. В нем есть увшанная гобеленами спальня и потайная клетушка, глубоко запрятанная в толстых стенах. Призрак леди Холи, которая заколотила своего маленького сына насмерть*, все еще бродит здесь по ночам, пытаясь смыть кровь с призрачных рук в призрачной чаше.

Здесь покоится Уорвик, «делатель королей»*, которого теперь не беспокоят такие суэтные вещи, как земные короли и царства, а также Солсбери, послуживший как следует в битве при Пуатье*. Перед аббатством, правее

по берегу, стоит бишемская церковь, и если существуют на свете могилы, заслуживающие внимания, — это могилы и надгробия бишемской церкви. Как раз здесь, катаясь на лодке под бишемскими буками, Шелли, который жил в Марло (его дом на Уэст-стрит можно посмотреть и сейчас), сочинил «Восстание ислама» *.

А чуть выше, у Харлейской плотины, я мог бы, как часто думал, жить, наверное, целый месяц и так не испил бы досыта всей прелести этого места. Городок Харли, в пяти минутах ходьбы от шлюза, — одно из древнейших поселений на Темзе и существует, цитируя затейливый слог тех туманных времен, «со времен короля Сэберта и короля Оффы» *. Сразу за плотиной (вверх по течению) начинается Датское поле, где когда-то во времена похода на Глостершир разбили лагерь наступающие датчане *, а еще дальше в прелестной излучине приютилось то, что осталось от Медменхэмского аббатства.

Знаменитые медменхэмские монахи, или «Орден Геенны огненной», как их называли обычно и членом которого был пресловутый Уилкс *, составляли братство, имеющее своим девизом «Делай что хочешь!». Этот антагонизм до сих пор красуется над разрушенными воротами. За много лет до того, как сие липовое аббатство — храм неблагочестивых шутов — было основано, на этом месте стоял монастырь более строгого класса, монахи которого в некоторой степени отличались от бражников, пришедших на смену пятьсот лет спустя.

Монахи-цистерцианцы, аббатство которых стояло здесь в тринадцатом веке *, вместо обычной одежды носили грубую рясу с клобуком, не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц, спали на соломе и служили ночную мессу. Дни свои они проводили в труде, чтении и молитвах; жизнь их была отмечена безмолвием смерти, ибо они давали обет молчания. Мрачную жизнь вело это мрачное братство в благостном уголке, который бог создал таким ярким и радостным! Как странно, что голоса Природы, звучавшие повсюду вокруг — в нежном пении вод, в шелесте прибрежных трав, в музыке шуршащего ветра, — не научили их смыслу жизни более истинному. Они слушали здесь, долгими днями, в молчании, не раздастся ли голос с небес; каждый день и каждую ночь этот голос взывал к ним на тысячу разных ладов — но они ничего не слышали.

От Медменхэма до живописного Хэмблдонского шлюза река полна тихой прелести, но пройдя Гринлэндс, становится скучноватой и голой, и так до самого Хенли. Гринлэндс — совершенно неинтересное место; туда ездят на лето владелец киоска, в котором я покупаю газеты. (Там можно частенько увидеть, как этот тихий, непритязательный джентльмен бодро работает веслами или сердечно беседует с каким-нибудь престарелым смотрителем шлюза.)

В понедельник утром в Марло мы встали более-менее рано и перед

завтраком пошли искупаться. На обратном пути Монморанси повел себя как форменный осел. Единственный предмет, по поводу которого наши с Монморанси мнения серьезно расходятся, — это кошки. Я кошек люблю, Монморанси не любит.

Когда кошка встречается мне, я говорю «Бедная киска!», нагибаюсь и щекочу ее за ушами; кошка задирает хвост чугунной трубой, выгибает спину, начинает вытираять нос мне об брючины, и кругом царит мир и благоволение. Когда кошка встречается Монморанси, об этом узнаёт вся улица, причем на каждые десять секунд расходуется такое количество бранных выражений, которого обыкновенному порядочному человеку хватило бы на всю жизнь (если, конечно, пользоваться осмотрительно).

Я не осуждаю его (как правило, я довольствуюсь просто затрещиной или швыряю камнем), так как считаю, что порок этот — природный. У фокстерьеров этого наследственного греха приблизительно в четыре раза больше, чем у остальных собак, и нам, христианам, со своей стороны требуются годы и годы терпеливых усилий, чтобы добиться сколько-нибудь оптимального исправления в безобразии фокстерьерской природы.

Помню, как-то раз я стоял в вестибюле хэймаркетского универсального магазина, в полном окружении собак, которые дожидались своих хозяев, ушедших за покупками. Там были мастиф, один-два колли, сенбернар, несколько легавых и ньюфаундлендов, гончая, французский пудель (поношенный в середине, но голова кудлатая), бульдог, несколько существ в формате Лоутер-Аркейд* (величиной с крысу), две йоркширские дворняжки.

Они сидели — терпеливые, благообразные, задумчивые. В вестибюле царила торжественная тишина, создававшая атмосферу покоя, смирения и мягкой грусти.

Но вот вошла прелестная молодая леди с кротким маленьким фокстерьером; она оставила его на цепочке между бульдогом и пуделем. Он усился и с минуту осматривался. Затем воздел глаза к потолку и, судя по их выражению, задумался о своей матушке. Затем зевнул. Затем оглядел других собак, молчаливых, важных, полных достоинства.

Он посмотрел на бульдога, безмятежно дремавшего справа. Затем посмотрел на пуделя, надменно застывшего слева. Затем, безо всяких прелиминариев, без намека на какой-либо повод, цапнул пуделя за ближайшую переднюю ногу, и вопль страдания огласил тихий полумрак вестибюля.

Найдя результат первого эксперимента весьма удовлетворительным, песик принял решение продолжать и задать жару всем остальным. Он перескочил через пуделя и мощно атаковал колли. Колли проснулся и немедленно вступил в шумную свирепую схватку с пуделем. Тогда фоксик вернулся на место, схватил бульдога за ухо и попытался его оторвать, а бульдог, существо примечательно безучастное, обрушился на всех, до кого только смог

добраться (включая швейцара), предоставив нашему фокстерьерчику возможность беспрепятственно насладиться дуэлью с йоркширской дворняжкой, исполненной равногого энтузиазма.

Людям, которые разбираются в собачьей натуре, нет нужды объяснять, что к этому времени все остальные собаки в этом вестибюле бились с таким исступлением, будто от исхода сражения зависело спасение их жизни и имущества. Большие собаки дрались между собой сплошной кучей; маленькие также дрались друг с другом, а в перерывах кусали больших за ноги.

Вестибюль превратился в пандемониум. Шум стоял адский. Вокруг здания собралась толпа, и все спрашивали, не происходит ли здесь заседание приходского управления или церковного совета; если нет, тогда кого, в таком случае, убивают и по какой причине? Чтобы растащить собак, принесли колы и веревки; позвали полицию.

В самый разгар бесчинства вернулась прелестная молодая леди и схватила своего прелестного песика на руки (к этому времени он уложил дворнягу на месяц и имел теперь вид новорожденного агнца); она целовала его и спрашивала, жив ли он и что эти огромные, огромные, грубые животные-псы с ним сделали. А он уютно устроился у нее на груди и смотрел ей в лицо, и взгляд его словно бы говорил: «Ah, как я рад, что ты пришла и избавила меня от такого позора!»

А леди сказала, что хозяева магазина не имеют никакого права допускать, чтобы подобных огромных диких существ, как все эти псищи, оставляли вместе с собаками порядочных людей, и что кое на кого она будет подавать в суд.

Такова суть фокстерьеров. Поэтому я не осуждаю Монморанси за его привычку скандалить с кошками. Впрочем, в то утро он пожалел сам, что дал волю своей природе.

Мы, как я уже говорил, возвращались с купания, и на полути, когда мышли по Хай-стрит, из подворотни впереди нас выскочил некий кот и потрусили через улицу. Монморанси издал торжествующий вопль — вопль жестокого воина, который видит, что враг у него в руках; вопль, какой, вероятно, издал Кромвель, когда шотландцы стали спускаться с холма *, — и помчался за своей добычей.

Жертвой его был старый черный Котище. Я никогда не видел котов такой устрашающей величины. Это был не кот, а какой-то головорез. У него не хватало половины хвоста, одного уха и изрядного куска носа. Это был громадный и явно убийственный зверь. Он был исполнен мира, довольства и успокоения.

Монморанси помчался за бедным животным со скоростью двадцати миль в час, но Котище не торопился. По-видимому, он был далек от соображения, что жизнь его повисла на волоске. Он безмятежно трусил по

дороге, пока его предстоящий убийца не оказался на расстоянии ярда. Тогда он развернулся, уселся посередине проезжей части и оглядел Монморанси с ласковым любопытством, как бы спрашивая: «Да! Могу ли я Вам чем-то помочь?»

Монморанси не робкого десятка. Но в Котище было нечто такое, нечто этакое, от чего заледенело бы сердце и не такого пса. Монморанси остановился как вкопанный и уставился на Котищу.

Оба молчали. Но было совершенно ясно, что между ними происходит следующий диалог:

КОТИЩЕ. Могу ли я быть Вам чем-то полезен?

МОНМОРАНСИ. Нет, нет, ничем, покорно благодарю!

КОТИЩЕ. Если Вам тем не менее что-либо необходимо, не стесняйтесь, прошу Вас.

МОНМОРАНСИ (*отступая по Хай-стрит*). Ах нет, что Вы, что Вы!.. Вовсе нет... Прошу Вас, не беспокойтесь. Я... Я, кажется, ошибся. Мне показалось, что мы знакомы. Покорно прошу простить, что я потревожил Вас.

КОТИЩЕ. Пустяки, рад служить. Вам действительно ничего не нужно?

МОНМОРАНСИ (*по-прежнему отступая*). Нет, нет, благодарю... Вовсе нет... Вы очень любезны! Всего доброго.

КОТИЩЕ. Всего доброго.

После этого Котище поднялся и продолжил свой путь, а Монморанси, тщательно спрятав то, что он называет хвостом, вернулся к нам и занял малозаметную позицию в арьергарде.

До сих пор стоит только сказать Монморанси: «Кошки!» — он съеживается и умоляюще смотрит, словно бы говоря:

— Не надо! Пожалуйста.

После завтрака мы отправились на рынок и запаслись провиантом еще на три дня. Джордж объявил, что нам нужно взять овощей — не есть овощи вредно для здоровья. Он добавил, что овощи легко готовить и что об этом он позаботится сам; мы купили десять фунтов картофеля, бушель гороха и несколько кочанов капусты. В гостинице мы нашли мясной пудинг, два пирога с крыжовником и барабанью ногу; а фрукты, и кексы, и хлеб, и масло, варенье, бекон, яйца и все остальное мы добывали в разных концах города.

Наше отбытие из Марло я считаю одним из наших величайших триумfov. Не будучи демонстративным, оно в то же время было исполнено величия и достоинства. В каждой лавке мы требовали, чтобы покупки не задерживались, но отправлялись с нами немедленно. Никаких этих ваших «Да, сэр, отправлю все сию же минуту; мальчик будет там раньше чем вы, сэр!» Сиди потом дурак дураком на пристани, возвращайся в каждую лавку по

два раза и скандал с лавочниками. Нет уж, мы дожидались, пока корзину упакуют, и забирали мальчиков вместе с собой.

Мы обошли порядочно лавок, проводя в жизнь этот принцип в каждой; в результате к концу нашей экспедиции мы стали обладателями такой внушительной коллекции мальчиков с корзинами, которой вообще может по желать душа, и наше заключительное шествие к реке, по самой середине Хай-стрит, превратилось в такое впечатляющее зрелище, какого, надо думать, Марло не видел давно. Порядок процессии был таков:

1. Монморанси, с тростью в зубах.
2. Две дворняги подозрительного вида, приятели Монморанси.
3. Джордж, с трубкой в зубах, под грузом пальто и пледов.
4. Гаррис, пытающийся придать своей походке непринужденное изящество, имея в одной руке пузатый саквояж, в другой — бутылку лимонного сока.
5. Мальчик от зеленщика и мальчик от булочника, с корзинами.
6. Рассыльный из гостиницы, с пакетом.
7. Мальчик от кондитера, с корзиной.
8. Мальчик от бакалейщика, с корзиной.
9. Лохматый пес.
10. Мальчик из сырной лавки, с корзиной.
11. Какой-то старик, с мешком.
12. Приятель старика, с руками в карманах и глиняной трубкой в зубах.
13. Мальчик от фруктовщика, с корзиной.
14. Я сам, с тремя шляпами, парой ботинок в руках и таким видом, будто сие ко мне не относится.
15. Шесть мальчиков и четыре бродячие собаки.

Когда мы спустились к пристани, лодочник спросил:

— Простите, сэр, что вы арендовали: паровой баркас или понтон?

Услышав, что всего лишь четырехвесельный ялик, он был несколько удивлен.

Уйму хлопот доставили нам в это утро паровые баркасы. Дело было как раз за неделю до Хенли *, и они тащились вверх в великих количествах. Некоторые шли в одиночку, некоторые вели на буксире понтонные домики. Паровые баркасы я просто ненавижу. Я думаю, их ненавидит всякий, кому приходилось грести. Стоит мне только увидеть паровой баркас, как мною овладевает желание заманить его в укромный речной уголок и там, в тишине и спокойствии, удавить.

Развязному самодовольству паровых баркасов удается разбудить в моей душе всякий дурной инстинкт, и тогда я жажду старых добрых времен, когда довести до сведения людей свое о них мнение можно было с помощью топора, лука и стрел. Уже само выражение лица субъекта, который, засунув руки в карманы, стоит на корме и курит сигару, может послужить достаточным оправданием нарушения общественного порядка. А барски-

высокомерный гудок, означающий «Прочь с дороги!», я уверен, гарантирует, что любой суд присяжных, набранный из речных жителей, вынесет вердикт «Убийство без превышения пределов необходимой обороны».

Чтобы заставить нас убраться с дороги, им приходилось свистеть до потери сознания. Не опасайся я прослыть хвастуном, я бы честно сообщил, что из-за единственной нашей лодочки в течение данной недели у паровых баркасов, на которые мы натыкались, проблем и отставаний от расписания образовалось больше, чем от всех остальных судов на реке, взятых вместе.

— Паровой баркас! — кричит кто-нибудь из нас, едва только враг покажется вдалеке, и в мгновение ока все уже подготовлено к встрече. Я хватаю рулевые шнурья, Гаррис и Джордж садятся рядом; мы поворачиваемся спиной к баркасу, и лодка тихонько дрейфует прямо на середину реки.

Баркас, свистя, надвигается; мы дрейфуем себе и дрейфуем. Ярдах в ста баркас начинает свиристеть как сумасшедший; народ перевешивается через борт и орет во все горло, но мы их, понятно, не слышим. Гаррис повествует очередную историю про свою матушку, а мы с Джорджем ни за что на свете не хотим упустить ни слова.

Наконец паровой баркас испускает финальный вопль, от которого у него чуть не лопается котел, и дает задний ход, и спускает пары, идет в разворот и садится на мель. Вся палуба целиком бросается на нос и начинает на нас орать, публика на берегу визжит, все проходящие лодки останавливаются и принимают участие в происходящем — и так пока вся река на несколько миль вверх и вниз не приходит в исступленное возбуждение. Тогда Гаррис обрывает свой рассказ на самом интересном месте, оглядывается, с легким удивлением, и обращается к Джорджу:

— Господи боже, Джордж! Уж не паровой ли это баркас?

А Джордж отвечает:

— Эге! То-то я вроде как слышал какой-то шум!

После этого мы начинаем нервничать, теряемся и не можем сообразить, как отвести лодку в сторону; народ на баркасе сбивается толпой и начинает нас поучать:

— Правой, правой греби! Тебе говорят, идиот! Табань левой! Да не ты, а тот, рядом! Оставь руль в покое, слышишь? Теперь оба разом! Да не так! Нет, что за...

Затем они спускают шлюпку и идут нам на помощь, и после пятнадцатиминутной возни все-таки расчищают себе от нас дорогу и могут, наконец, пройти; мы горячо благодарим их и просим взять на буксир. Но они никогда не соглашаются.

Еще один хороший обнаруженный нами способ, чтобы довести этих аристократов до белого каления, заключается в следующем. Мы делаем вид, что принимаем их за участников ежегодной корпоративной попойки,

и спрашиваем, кто их хозяева — «Кьюбиты», или же они из общества трезвости «Бермондси» *, и еще не могли бы они одолжить нам кастрюлю.

Престарелых леди, непривычных к катанию в лодке, паровые баркасы приводят в чрезвычайно нервное состояние. Помню, как-то раз шли мы от Стэйнза в Виндзор — участок реки, прямо кишащий этими механическими чудовищами, — в компании с тремя леди упомянутого образца. Это было очень волнующе. Завидев какой бы то ни было паровой баркас, они начинали требовать, чтобы мы пристали, высадились на берег и ждали, пока он не скроется с виду. Они твердили, что им очень жаль, но долг перед ближними не допускает ненужного риска.

Возле Хэмблдонского шлюза мы обнаружили, что у нас кончается питьевая вода. Мы взяли кувшин и поднялись к домику сторожа. Нашим делегатом был Джордж. Он изобразил обворожительную улыбку и произнес:

— Не будете ли вы так добры дать нам немного воды?

— Да ради бога, — ответил старик. — Берите сколько влезет, и еще останется.

— Бесконечно признателен, — пробормотал Джордж, озираясь вокруг. — Только... Только где она тут у вас?

— Всегда в одном и том же месте, приятель, — был бесстрастный ответ. — Вон, у тебя за спиной.

— Не вижу, — сказал Джордж, оборачиваясь.

— Где у тебя глаза, черт возьми! — разозлился старик, поворачивая Джорджа и широким жестом указывая на поток. — Вон сколько воды-то — не видит!

— О! — восхликал Джордж, начиная что-то соображать. — Но не можем же мы пить реку?!

— Зачем реку? Пей понемногу. Я пью уже пятнадцать лет.

Джордж возразил сторожу, что его внешность, даже после курса такой терапии, вряд ли послужит хорошей рекламой бренду и что он, Джордж, предпочитает колодезную.

Мы достали немного воды в коттедже чуть выше. Скорее всего, если бы мы стали допытываться, эта вода тоже оказалась бы из реки. Но мы не стали допытываться, и все было в порядке. Глаза не видят — желудок не страдает.

Несколько позже тем же летом мы попробовали-таки речную воду. Опыт не удался. Мы шли вниз по течению и налегали на весла, собираясь устроить чаепитие в заводе около Виндзора.

В кувшине у нас ничего не было, и нам предстояло либо остаться без чая, либо набирать воду из реки. Гаррис предложил рискнуть. Он сказал, что если воду мы вскипятим, то все будет хорошо. Он сказал, что все ядовитые микробы, присутствующие в речной воде, кипчением будут убиты. И мы наполнили котелок водой Темзы и вскипятили ее, тщательно проследив за тем, чтобы она действительно прокипела.

Мы приготовили чай и уже уютно устраивались, чтобы за него взяться, когда Джордж, который поднес было чашку к губам, сделал паузу и воскликнул:

— Что это?

— Что это? — переспросили мы с Гаррисом.

— А вот это! — повторил Джордж, глядя на запад.

Мы посмотрели за ним и увидели, как прямо на нас неторопливым течением несет пса. Это был самый беззлобнейший и мирнейший пес из всех, когда-либо мною виденных. Я никогда не встречал собаки настолько ублаготворенной, настолько покойной душой. Она мечтательно плыла на спине, задрав к небесам все четыре лапы. Это была, что называется, упитанная собака, с хорошо развитой грудной клеткой; она приближалась к нам, безмятежная, полная достоинства и умиротворения, и поравнялась с лодкой, и здесь, среди камышей, задержалась и уютно устроилась на ночь.

Джордж сказал, что чая ему не хочется, и выплеснул содержимое чашки в воду. Гаррис также больше не чувствовал жажды и сделал то же самое. Я уже выпил полчашки и теперь раскаивался. Я спросил Джорджа, как он думает: не заболею я тифом?

Он сказал:

— О нет!

По его мнению, у меня были хорошие шансы выжить. Во всяком случае, через две недели станет ясно, заболел я или нет.

Мы прошли к Уоргрейву по каналу, который отходит от правого берега полумиля выше Маршского шлюза. Это прелестный, тенистый кусочек реки, которым стоит ходить, к тому же он сокращает путь почти на полмили.

Вход в канал, разумеется, утыкан столбами, закован цепями и взят в кольцо надписями, угрожающими застенком, пытками и смертью всякому, кто осмелится сунуть весло в эти воды. Остается лишь удивляться, как эти прибрежные наглецы не заявляют прав на речной воздух и не шантажируют всякого, кому придет в голову им подышать, штрафом в сорок шиллингов. Обладая, однако, известным опытом и сноровкой, столбы и цепи можно легко обойти; а что касается этих плакатов, то — если у вас имеется пять минут свободного времени, а proximityи никого нет — вы можете сорвать две-три штуки и пошвырять в реку.

Пройдя половину канала, мы высадились и устроили второй завтрак. За этим вторым завтраком мы с Джорджем испытали тяжелое потрясение.

Гаррис тоже испытал потрясение, но я не думаю, что потрясение, испытанное Гаррисом, могло оказаться таким же тяжелым, как то, которое, в связи с произошедшим событием, испытали мы с Джорджем.

Случилось это следующим образом. Мы расположились на лужайке, приблизительно в десяти ярдах от кромки воды, и собирались принимать

пищу. Гаррис разрезал на коленях мясной пудинг, а мы с Джорджем в нетерпении держали наготове тарелки.

— Ну, и где ложка? — обратился к нам Гаррис. — Мне нужна ложка, для соуса!

Корзина была как раз у нас за спиной; мы с Джорджем одновременно повернулись и полезли за ложкой. Это не заняло и пяти секунд. Когда мы обернулись обратно, Гарриса с пудингом не было.

Мы находились на открытой, непересеченной местности. На несколько сот ярдов вокруг не наблюдалось ни кустика, ни деревца. Свалиться в реку Гаррис не мог, так как между ним и рекой находились собственно мы, и чтобы свалиться в реку, Гаррису пришлось бы перелезть через нас.

Мы с Джорджем огляделись по сторонам. Потом уставились друг на друга.

— Может быть, его забрали на небеса? — предположил я.

— Что, прямо с пудингом? — возразил Джордж.

Возражение показалось веским, и божественная теория была отвергнута.

— По-моему, дело на самом деле вот в чем, — предположил Джордж, нисходя к троюизму банальной практики. — Произошло землетрясение.

И добавил, с ноткой печали в голосе:

— Вот жалко, что он как раз делил пудинг.

Со вздохом мы обратили взоры к тому месту, где Гарриса с пудингом видели на этой планете в последний раз. И вдруг в жилах у нас застыла кровь, а волосы на головах стали дыбом. Мы увидели голову Гарриса — и все, больше ничего, одну только голову — она торчала торчком среди высокой травы, и багровая физиономия на ней имела выражение страшного возмущения!

Первым опомнился Джордж.

— Говори! — заорал он. — Жив ты, умер, и где все остальное?

— Нет, он еще дурака валяет! — сказала голова Гарриса. — Надо же, как все подстроили!

— Подстроили что? — воскликнули мы с Джорджем.

— Что «что»! Чтобы я сюда сел! Тупая, ублюдская шутка! Хватайте свой пудинг...

И тут, прямо из-под земли — так, во всяком случае, нам показалось — возник изуродованный, перепачканный пудинг, а вслед за ним выкарабкался собственно Гаррис, всклокоченный, грязный и мокрый.

Оказалось, что он, сам того не подозревая, сидел на самом краю канавы, скрытой в густой траве; чуть подавшись назад, он грохнулся в эту канаву, а с ним грохнулся пудинг.

Он сказал, что никогда в жизни не был так ошарашен, когда вдруг понял, что падает — непонятно вообще как и куда. Сначала он даже решил, что наступил конец света.

Гаррис по сей день уверен, что мы с Джорджем запланировали акцию заблаговременно. Вот так несправедливые подозрения преследуют даже наиболее непорочных. Ибо, как сказал поэт: «Кто избегнет клеветы?» *

И действительно — кто?

* * *

ГЛАВА XIV

Уоргрейв. — Кабинет восковых фигур. — Соннинг. — Ирландское рагу. — Монморанси в сарказме. — Битва между Монморанси и чайником. — Занятия Джорджа игрой на банджо. — Которые не встречают поддержки. — Препоны на пути музыканта-любителя. — Обучение игре на волынке. — После ужина: Гаррис впадает в уныние. — Мы с Джорджем отправляемся на прогулку. — Возвращаемся голодные и промокшие. — С Гаррисом творится странное. — Гаррис и лебеди: история, заслуживающая внимания. — Гаррис проводит тревожную ночь.

После завтрака мы поймали ветер, который мягко пронес нас мимо Уоргрейва и Шиплейка. Раставший в сонном полуденном летнем солнце, уютно устроившийся в излучине, Уоргрейв напоминает, когда глядишь с лодки, прелестную старинную картину, что надолго запечатлевается на сетчатой оболочке памяти.

Уоргрейвский «Георгий и Дракон» кичится своей вывеской, одну сторону которой расписал член Королевской академии Лесли, другую — Ходжсон, из той же братии*. Лесли изобразил битву, Ходжсон дорисовал сцену «После битвы»: Георгий, закончив работу, отдыхает за пинтой пива*. В Уоргрейве жил Дэй, автор «Сэнфорда и Мертона»*, и — к еще большей чести этого городка — был здесь убит.

В уоргрейвской церкви находится мемориальная доска в честь миссис Сары Хилл. Она завещала капитал, из которого ежегодно на Пасху надлежало делить один фунт стерлингов между двумя мальчиками и двумя девочками, которые «никогда не выходили из повиновения родителям; никогда, насколько это было известно, не бралились, не говорили неправды, не брали ничего без спроса и не разбивали стекол». Только представьте — отказаться от всего этого за пять шиллингов в год! Игра не стоит свеч.

В городе говорят, что некогда, много лет назад, действительно объявлялся мальчик, который действительно не делал ничего подобного (во всяком случае, его ни в чем ни разу не уличили, а это, собственно, все, что от него ожидалось и вообще было нужно) и, таким образом, стяжал венец славы. Его посадили под стеклянный колпак и в течение трех недель показывали в городской ратуше.

Дальнейшая судьба денег никому не известна. Говорят, каждый год их передают в ближайший музей восковых фигур.

Шиплейк — очаровательный городок, но стоит на холме, и с реки его не увидишь. В шиплейской церкви венчался Теннисон *.

Дальше, до самого Соннинга, река вьется сквозь великое множество островков. Здесь она спокойна, тиха и безлюдна. Только в сумерках по берегам гуляют две-три парочки деревенских влюбленных. «Арри» и «lord Фитцнудл» остались позади в Хенли *, а до унылого грязного Рэдинга еще далеко. Эта часть реки предназначена для мечтания об ушедших днях, исчезнувших лицах и образах; о вещах, какие могли бы случиться, но не случились, будь они прокляты.

В Соннинге мы вышли на берег и отправились на прогулку. Это самый волшебный уголок на всей Темзе. Он больше похож на декорацию, чем на настоящий город, выстроенный из кирпича и известки. Каждый дом здесь утопает в розах, которые теперь, в начале июня, расцветали в облаках элегантного великолепия.

Если вы попадете в Соннинг, останавливайтесь в «Быке», за церковью. Это настоящая старинная деревенская гостиница: зеленый квадратный дворик перед фасадом (где на скамейках под деревьями собираются в вечерний час старики — хлебнуть эля и обсудить местные политические события), низкие чудные комнатки, решетчатые окошки, неуклюжие лесенки, петляющие коридорчики.

Побродив по милому Соннингу около часа, мы решили вернуться на какой-нибудь островок под Шиплейком и устроиться там на ночлег — торопиться к Рэдингу было поздно. Когда мы устроились, было тем не менее рано, и Джордж заметил, что, так как времени остается уйма, нам представляется превосходный случай приготовить дивный, сказочный ужин. Он сказал, что продемонстрирует нам высший класс речной кулинарии, и предложил состряпать из овощей, остатков холодной говядины и всяких прочих объедков рагу по-ирландски.

Мысль показалась пленительной.

Джордж набрал хвороста и развел костер, а мы с Гаррисом уселись чистить картошку. Никогда бы не подумал, что чистка картошки — такое сложное предприятие. Это оказалось самой в своем роде серьезной работой, в которой мне когда-либо доводилось принимать участие. Мы взялись за дело бодро, можно даже сказать — игриво, но когда покончили с первой картофелиной, от нашей беспечности не осталось следа. Чем больше мы ее чистили, тем больше шелухи на ней оставалось. Когда мы срезали всю шелуху и вырезали все глазки, собственно картофелины как таковой не осталось (во всяком случае, ничего достойного упоминания).

Джордж подошел и посмотрел: она была величиной с орешек. Он сказал:

— Это никуда не годится. Вы только все гробите. Ее нужно скоблить.

Мы начали скоблить, но оказалось, что скоблить еще труднее, чем чи-

стить. У этих картошек такие необычайные формы — сплошные шишки, бородавки и дупла. Мы усердно трудились двадцать пять минут и отскоблили четыре штуки. Затем мы объявили забастовку. Мы сказали, что остаток вчера у нас уйдет на то, чтобы отскоблить самих себя.

Чтобы превратить человека в помойку, лучшего способа, чем отскабливание картошки, я не видел. Было трудно поверить, что шелуха, в которой мы с Гаррисом едва не задохлись, происходит от четырех картофелин. Это показывает, как много значат экономия и аккуратность.

Джордж сказал, что класть в ирландское рагу только четыре картофелины — курят на смех, поэтому мы вымыли еще с полдюжины и сунули их в кастрюлю не чистя. Еще мы положили кочан капусты и фунтов десять гороха. Джордж все это перемешал и сказал, что остается еще пропасть места. Тогда мы тщательно осмотрели обе корзины, выковыряли все остатки, объедки, огрызки и высыпали весь хлам в рагу. У нас были еще полпирога со свининой и кусок холодной вареной грудинки; их мы сунули тоже. Потом Джордж нашел полбанки консервированной лососины и опорожнил ее в котелок.

Он сказал, что в этом состоит преимущество ирландских рагу: можно избавиться от целой кучи ненужных вещей. Я выудил из корзины два треснувших яйца, и они тоже пошли в дело. Джордж сказал, что от яиц становится гуще соус.

Я уже забыл остальные ингредиенты; знаю только, что ничего не пропало даром. Еще помню, как, уже ближе к концу, Монморанси (который проявлял к происходящему, во всех аспектах, значительный интерес) куда-то ушел, с серьезным задумчивым видом, и вернулся спустя пару минут, имея в зубах дохлую водяную крысу. Явным образом он хотел внести в трапезу собственный вклад, но с искренним ли стремлением или намереваясь поиздеваться — сказать не могу.

Мы провели обсуждение вопроса о том, класть крысу в рагу или не класть. Гаррис сказал, что с крысой все будет нормально, если она перемешается со всем остальным, и что сгодится каждая мелочь. Однако Джордж уперся в отсутствие precedента. Он говорил, что не слышал, чтобы в ирландские рагу клали водяных крыс, и что он, на всякий случай, от экспериментов бы воздержался. Гаррис возразил:

— Если ты не будешь пробовать ничего нового, как ты узнаешь, что это такое? Вот такие, как ты, и тормозят мировой прогресс. Подумай — ведь кто-то однажды попробовал немецкую сосиску!

Ирландское рагу имело ошеломляющий успех. Кажется, никогда в жизни я так не наслаждался едой. В этом рагу было что-то такое свежее, такое пикантное. Наши вкусовые рецепторы устают от старого и зажеванного, а здесь было блюдо с изюминкой, с таким вкусом, равного которому на Земле не существовало.

И вдобавок оно было такое питательное! Как сказал Джордж, здесь было что пожевать. Горох и картошка могли быть, конечно, помягче, но зубы у нас всех хорошие, так что это было не страшно. Что же касается соуса, соус был целой поэмой — для слабых желудков, может быть, несколько витиеватой, но калорийной.

В заключение мы пили чай с вишневым пирогом. Тем временем Монморанси открыл военные действия против чайника и был разбит наголову.

В течение всего путешествия он проявлял к чайнику существенный интерес. Он часто садился и наблюдал, с озадаченным видом, как тот кипит и булькает, и постоянно рычал на него, подстрекая. Когда тот начинал сплюснуть и плеваться, он принимал это как вызов на поединок и готовился к драке, только в этот самый момент кто-нибудь возникал и уносил добычу раньше, чем он успевал ее схватить.

Сегодня он принял меры заблаговременно. Едва чайник начал шуметь, как Монморанси взрычал, вскочил и с угрожающим видом двинулся в сторону оппонента. Чайник был маленький, но это был чайник, исполненный мужества, — он взял и плонул в него.

— Ах так! — взрычал Монморанси, оскалив зубы. — Я т-те покажу, как дерзить почтенным трудолюбивым псам! Жалкий, длинноносый ты грязный засранец. Выходи!!!

И он бросился на бедный маленький чайник и цапнул его за носик.

Вслед за этим вечернюю тишину нарушил душераздирающий вопль. Монморанси выскочил из лодки и предпринял оздоровительный мотцион, в программу которого вошли три круга по острову на скорости тридцати пяти миль в час, с регулярными остановками для зарывания носа в холодную грязь.

С этого дня Монморанси стал относиться к чайнику со смесью благовейного трепета, осмотрительности и ненависти. Всякий раз только увидев чайник, он поджимал хвост и, рыча, пятился прочь, а когда чайник ставили на спиртовку, быстро вылезал из лодки и отсиживался на берегу, пока чай не заканчивался.

После ужина Джордж вытащил банджо и собрался попрактиковаться, но Гаррис запротестовал. Он сказал, что у него разболелась голова и что этого он не перенесет. Джордж полагал, что музыка, напротив, пойдет только на пользу — он сказал, что музыка часто успокаивает нервы и излечивает головную боль, и для примера брякнул несколько нот.

Гаррис сказал, что пусть лучше у него болит голова.

Джордж не научился играть на банджо до сих пор. Он встретил слишком мало поддержки у окружающих. Два или три раза, по вечерам, пока мы шли по реке, он пытался поупражняться, но успеха не имел. Гаррис комментировал его игру в выражениях, способных лишить мужества кого угодно;

вдобавок к этому Монморанси всякий раз садился рядом и, пока Джордж играл, выл не переставая. Шансов у человека в таком случае немного.

— Какого хрена он так воет, когда я играю? — бесился Джордж, прицепливаясь в Монморанси ботинком.

— А какого хрена ты так играешь, когда он воет? — возражал Гаррис, подхватывая ботинок. — Оставь его в покое! Как же ему не выть? У него музыкальный слух, вот он и воет, когда ты играешь.

Тогда Джордж решил отложить изучение банджо до возвращения домой. Но и тут шансов у него оказалось немного. Миссис Поппетс являлась к нему и говорила, что ей очень жаль — лично она слушать Джорджа любит, — но леди, живущая наверху, в интересном положении, и доктор боится, как бы такое не повредило ребенку. Тогда Джордж попытался уносить банджо из дома глубокой ночью и практиковаться в соседнем квартале. Но жители пожаловались в полицию; однажды ночью за Джорджем установили слежку, и он был схвачен. Улики не вызывали никаких сомнений, и его приговорили к соблудению тишины в течение шести месяцев.

После этого руки у Джорджа, похоже, опустились совсем. Когда эти шесть месяцев истекли, несколько слабых попыток возобновить занятия он все-таки сделал, но встретил все то же — всю ту же холодность, все то же бесчувствие со стороны света, которым приходилось противостоять. В конце концов он отчаялся совершенно, подал объявление о продаже инструмента, почти за копейки, «виду отсутствия необходимости» и обратился к изучению карточных фокусов.

Какое, должно быть, беспросветное это занятие — учиться играть на музыкальном инструменте! Казалось бы, Обществу для его же собственного блага следует изо всех сил содействовать человеку в обретении искусства игры на музыкальном инструменте. Так нет же!

Я знал молодого человека, который учился играть на волынке. Просто удивительно, какое сопротивление ему приходилось преодолевать. Даже его собственная семья не оказала ему, как это называется, активной поддержки. Его отец с самого начала был решительно против и отзывался о предприятии без должного чувства.

Обычно мой приятель вставал спозаранку и занимался, но от такого графика ему пришлось отказаться — из-за сестры. Она была слегка набожна и считала, что начинать утро подобным образом — большой грех.

Тогда он стал играть по ночам, когда семейство ложилось спать, но от этого пришлось отказаться, так как дом приобрел очень плохую репутацию. Запоздалые прохожие останавливались под окнами, слушали, а наутро распространялись по всему городу, что прошлой ночью у мистера Джейфферсона было совершено зверское убийство. Они описывали вопли жертв, грубые ругательства и проклятия убийцы, мольбы о пощаде и последний, предсмертный хрип мертвеца.

Тогда моему знакомому разрешили упражняться днем на кухне при плотно закрытых дверях. Однако, несмотря на предосторожности, наиболее удачные пассажи все-таки проникали в гостиную и доводили его матушку почти до слез.

Она говорила, что при этом вспоминает своего несчастного батюшку (бедняга был проглочен акулой во время купания у берегов Новой Гвинеи; что общего между акулой и волынкой — она объяснить не могла).

Наконец ему сколотили небольшую хибарку в самом конце сада, за четверть мили от дома, и заставили таскать туда свое оборудование всякий раз, когда он собирался его задействовать. Но случалось, что в доме появлялся гость, который ничего об этом не знал и которого забывали предупредить. Гость отправлялся прогуляться по саду и вдруг попадал в радиус съышимости волынки, не будучи к этому подготовлен и не представляя, чем сие может являться. Если это был человек сильный духом, он просто падал в обморок. Люди с обычным, среднестатистическим интеллектом обычно сходили с ума.

Следует признать, что первые шаги любителя игры на волынке крайне нерадостны. Я понял это сам, когда услышал игру моего юного друга. По-видимому, волынка — инструмент очень тяжелый. Прежде чем начать, нужно запастись воздухом на всю мелодию (во всяком случае, наблюдая за Джейфферсоном, я пришел к такому выводу).

Начинал он блистательно — страстной, глубокой, воинственной нотой, которая просто воодушевляла вас. Но потом он все больше и больше катился в пиано, и последний куплет обычно погибал в середине, агонизируя в бульканье и шипении.

Надо обладать завидным здоровьем, чтобы играть на волынке.

Юный Джейфферсон сумел выучить на этой волынке только одну песню, но я никогда не слышал жалоб на бедность его репертуара — ни одной. Это была, по его словам, мелодия «То Кэмпбеллы идут, ура, ура!» — хотя отец уверял, что это «Колокольчики Шотландии» *. Что же все-таки это было такое — никто не знал, но все соглашались, что нечто шотландское в мелодии есть. Гостям разрешалось отгадывать трижды, причем отгадки почти у всех всегда были разные.

После ужина Гаррис стал невыносим; видимо, рагу повредило ему — он не привык жить на широкую ногу. Поэтому мы с Джорджем оставили его в лодке и пошли послоняться по Хенли. Гаррис сказал, что выпьет стакан виски, выкурит трубку и приготовит все для ночлега. Мы условились, что когда вернемся, ему покричим, а он подгребет с острова и заберет нас.

— Только смотри не усни, старина, — сказали мы на прощание.

— Этого можно не опасаться... Пока это рагу действует, я не усну, — проворчал он, отгребая назад к острову.

В Хенли готовились к гребным гонкам, и там царило оживление. Мы

встретили кучу знакомых, и в их приятном обществе время пронеслось быстро; было уже почти одиннадцать, когда мы собирались в обратный четырехмильный путь «домой» (как к этому времени мы стали называть наше суденышко).

Стояла унылая холодная ночь, моросил дождь, и, пока мы тащились по темным молчаливым полям, тихонько переговариваясь и совещаясь — не заблудились ли, нам представлялась уютная лодка — струйки яркого света сквозь плотно натянутую парусину, и Гаррис, и Монморанси, и виски — и хотелось быстрее оказаться в ней.

Нам представлялось, как мы влезаем внутрь, усталые и голодные, и как наша старая дорогая лодка, такая уютная, такая теплая, такая радостная, сверкает словно огромный светляк на мрачной реке под расплывчатой сенью листвы. Нам виделось, как мы сидим за ужином, жуем холодное мясо и передаем друг другу ломти хлеба; нам слышалось бодрое звяканье ножей и веселые голоса, которые, заполнив наше жилище, вырываются в ночную тьму. И мы торопились, чтобы воплотить эти образы в действительность.

Наконец мы выбралисъ на бечевник и были ужасно рады, потому что до сих пор не знали наверняка, куда идем — к реке или наоборот, а когда вы устали и хотите в кровать, подобная неопределенность доставляет муки.

Когда мы прошли Шиплейк, пробило без четверти полночь, и тут Джордж задумчиво произнес:

— Ты, конечно, не помнишь, что это был за остров?

— Нет, — ответил я, также впадая в задумчивость, — не помню. А сколько их было вообще?

— Только четыре. Все будет в порядке... Если он не уснул.

— А если уснул? — предположил я, но мы остановили подобный ход мысли.

Поравнявшись с первым островом, мы закричали, но ответа не последовало. Тогда мы пошли ко второму, повторили попытку и получили точно такой результат.

— А, вспомнил! — воскликнул Джордж. — Это был третий.

В надежде мы бросились к третьему острову и заорали.

Никакого ответа!

Дело принимало серьезный оборот. Было уже за полночь. Гостиницы в Шиплейке и Хенли были битком. Не могли же мы шататься среди ночи по округе и ломиться в дома и коттеджи с вопросом не сдадут ли нам комнату. Джордж предложил вернуться в Хенли, напасть на полисмена и заручиться, таким образом, ночевкой в участке. Но здесь возникло сомнение: «А если он не захочет нас забрать и просто даст сдачи?» Не могли же мы всю ночь драться с полицией. Кроме того, мы побоялись пересолить и загудеть на шесть месяцев.

В отчаянии мы побрали туда, где, как нам казалось во мраке, находился четвертый остров. Но результат был не лучше. Дождь полил еще сильнее и, видимо, собирался лить дальше. Мы вымокли до костей, пророгли и пали духом. Мы начали переживать: а четыре ли там было острова или больше? А находимся ли мы рядом или хотя бы в радиусе мили от нужного места? Или вообще в другой части реки? В темноте ведь все такое странное и незнакомое. Мы начали понимать, как жутко детям в лесу, когда они потеряются*.

И вот, когда мы уже потеряли всякую надежду... Да, да, я знаю: как раз в этот момент в романах и повестях все случается. Но я ничего не могу по-делать. Приступая к этой книге, я твердо решил строго придерживаться истины во всем и этому не изменю, даже если придется привлекать затасканные обороты.

В общем, это случилось, когда мы уже потеряли всякую надежду, я так и обязан об этом сказать. Как раз когда мы уже потеряли всякую надежду, я вдруг заметил некое странное таинственное мерцание, чуть ниже, среди деревьев на противоположном берегу. Сначала я подумал, что это были духи (свет был такой призрачный и таинственный). В следующий миг меня осенило, что это была наша лодка, и я огласил воды таким пронзительным воплем, что сама Ночь, вероятно, вздрогнула на своем ложе.

С минуту мы, затаив дыхание, ждали, и вот — о! божественная музыка ночи! — до нас донесся ответный лай Монморанси. Мы подняли дикий рев, от которого пробудились бы Семеро спящих* (кстати, никогда не мог понять, почему чтобы разбудить семерых, требуется больше шума, чем чтобы разбудить одного), и через, как нам показалось, час (на самом деле, я думаю, минут через пять) мы увидели залитую светом лодку, едва ползущую к нам во мраке, и услышали сонный голос Гарриса, вопрошающий где мы.

С Гаррисом творилось нечто необъяснимо странное. Это была не просто усталость. Он подвел лодку к берегу в таком месте, где мы совершенно не могли в нее перелезть, и тут же уснул. Потребовалась чудовищная порция проклятий и воплей, чтобы снова его разбудить и как-то вправить мозги. В конце концов нам это удалось, и мы благополучно попали на борт.

Вид у Гарриса был плачевный; мы заметили это, едва очнувшись в лодке. Так должен выглядеть человек, переживший тяжелое потрясение. Мы спросили у него, что случилось. Он сказал:

— Лебеди.

Похоже, мы зашвартовались неподалеку от гнезда лебедей, и вскоре после того, как мы с Джорджем ушли, вернулась лебедиха и подняла тарам. Гаррис прогнал ее; она удалилась и привела своего благоверного. Гаррис сказал, что ему пришлось выдержать с этой четой настоящую битву, но в конце концов отвага и гений одержали победу, и он обратил их в бегство.

Через полчаса они вернулись и привели с собой еще восемнадцать! Судя по рассказу Гарриса, сражение было чудовищным. Лебеди попытались вытащить Гарриса и Монморанси из лодки и утопить. Гаррис защищался как настоящий герой, целых четыре часа, убил всех подряд, и они куда-то отправились умирать.

— Сколько, ты говоришь, было лебедей? — спросил Джордж.
— Тридцать два, — отвечал Гаррис сонно.
— Ты ведь только сказал — восемнадцать!
— Ничего подобного, — пробормотал Гаррис. — Я сказал двенадцать. Я что, по-твоему, не умею считать?

Подлинных фактов про тех лебедей мы так никогда не установили. Утром мы расспросили Гарриса на этот счет, он сказал: «Какие лебеди?» — и, видимо, решил, что нам с Джорджем что-то приснилось.

О, как восхитительно было снова очутиться в нашей надежной лодке после всех испытаний и страхов! Мы сътно поужинали — Джордж и я — и глотнули бы пунша, если бы нашли виски. Но виски мы не нашли. Мы допросили Гарриса насчет того, что он с ним сделал, но он, похоже, перестал понимать, что значит «виски» и о чем мы вообще говорим. Монморанси сидел с таким видом, будто ему кое-что известно, но ничего не сказал.

В эту ночь я спал хорошо и мог бы спать еще лучше, если бы не Гаррис. Смутно припоминаю, что ночью он будил меня как минимум раз двенадцать, путешествуя по лодке с фонариком в поисках своей одежды. По-видимому, в тревоге за ее сохранность он провел всю ночь.

Дважды он стаскивал нас Джорджем с постели, чтобы выяснить, не лежим ли мы на его брюках. Во второй раз Джордж совершенно взбесился.

— Какого черта тебе нужны брюки посреди ночи?! — спросил он свирепо.
— Какого черта ты не спишь?!

Проснувшись в следующий раз, я обнаружил, что Гаррис снова в беде — он не мог разыскать носки. Последнее, что я смутно помню, это как меня ворочают с боку на бок и Гаррис бормочет — самое странное дело, но куда только мог подеваться зонтик.

* * *

ГЛАВА XV

Хлопоты по хозяйству. — Любовь к работе. — Ветеран весла: как он работает руками и как языком. — Скептицизм молодого поколения. — Воспоминания о первых шагах в гребном спорте. — Катание на плотах. — Джордж демонстрирует образец стиля. — Старый лодочник: его метод. — Так спокойно, так умиротворенно. — Новичок. — Плавание на плоскодонках с шестом. — Печальный случай. — Отрады дружбы. — Плавание под парусом: мой первый опыт. — Возможная причина тому, что мы не утонули.

На следующее утро мы проснулись поздно и, по настоятельному требованию Гарриса, позавтракали скромно, «без изысков». После этого мы устроили уборку, привели все в порядок (нескончаемое занятие, начиナющее понемногу вносить некую ясность в нередко занимавший меня вопрос: каким образом женщина, имеющая на руках всего лишь одну квартиру, ухитряется убивать время) и часам к десяти выступили в поход, который, как мы решили, сегодня проведем на совесть.

Для разнообразия мы решили не тянуть сегодня лодку бечевой, а пойти на веслах. При этом Гаррис считал, что наилучшее распределение сил получится, если мы с Джорджем будем грести, а он будет рулить. Такая точка зрения не соответствовала моей совершенно. Я сказал, что, как я считаю, Гаррис обнаружил бы гораздо больше сообразительности, взявшиясь за работу с Джорджем, а мне дав немного передохнуть. Мне казалось, что в нашей поездке я работаю гораздо больше, чем мне полагается по справедливости, и начинал по этому поводу нервничать.

Мне всегда кажется, что я работаю больше чем следует. Это не значит, что я противлюсь работе, прошу отметить; работу я люблю, она меня увлекает. Я способен сидеть и смотреть на нее часами. Я люблю, когда у меня есть работа; мысль о том, чтобы с нею расстаться, почти разбивает мне сердце. Перегрузить меня работой нельзя: набирать ее стало моей страстью. Мой кабинет так ею набит, что для новой почти не осталось ни дюйма свободного места. Мне скоро придется пристраивать новый флигель.

К тому же я обращаюсь со своей работой очень бережно. Еще бы: часть работы, которая у меня сейчас есть, находится у меня уже долгие годы, а на ней нет даже пятна от пальца! Я очень горжусь своей работой; временами я достаю ее с полки и вытираю от пыли. Нет человека, у которого работа была бы в лучшей сохранности, чем у меня.

Но, хотя я и жажду работы, я все-таки предпочту справедливость. Я не прошу больше, чем мне полагается.

Но мне достается больше, пусть я этого не прошу (во всяком случае, так мне кажется), и это меня беспокоит.

Джордж говорит, что, как он думает, мне не нужно беспокоиться на этот счет. Он считает, что лишь по причине излишней порядочности натуры я опасаюсь, что мне достается больше положенного, тогда как на самом деле я не получаю и половины того, что следует. Только подозреваю, он говорит так только чтобы утешить меня.

В лодке, я всегда замечал, каждого члена команды преследует навязчивая идея, будто он единственный делает все за всех. Точка зрения Гарриса, например, заключалась в том, что во всей лодке работает только он, а мы с Джорджем оба просто упали ему на хвост. Джордж, со своей стороны, считал смехотворным любое предположение в смысле того, что Гаррис занимался в лодке чем-либо кроме сна и принятия пищи, и имел железное убеждение, что весь стоящий упоминания труд выполнил он, Джордж.

Он заявил, что никогда еще не связывался с такими отъявленными бездельниками, как Гаррис и я. Гарриса это позабавило.

— Подумать только! Старина Джордж что-то говорит о работе, — рассмеялся он. — Да ведь полчаса работы его доконают. Ты хоть раз видел, чтобы Джордж работал? — обратился Гаррис ко мне.

Я подтвердил, что ни разу — с той минуты, как сели в лодку, уж точно.

— Не понимаю, откуда ты знаешь, так или так, — парировал Джордж. — Чтобы мне сдохнуть, но ведь ты проспал полдороги! Ты когда-нибудь видел, чтобы Гаррис просыпался до конца? — спросил Джордж, обращаясь ко мне. — Когда он ест, не считается.

Любовь к истине заставила меня поддержать и Джорджа. В смысле помочь от Гарриса толку в лодке не было почти никакого, с самого начала.

— Сдохнуть мне на этом месте, — огрызнулся Гаррис, — но уж я-то сделал побольше, чем старина Джей.

— Ну да, ведь сделать меньше было просто нереально, — присовокупил Джордж.

— Я понял, Джей считает себя пассажиром, — продолжил Гаррис.

И это была благодарность за то, что я тащил их самих и это их несчастное старое корыто от самого Кингстона, и за всем присматривал, и все устраивал, и заботился о них, и надрывался для них, и разбивался для них в лепешку. Так устроен мир.

В данном случае мы вышли из затруднения договорившись, что Джордж с Гаррисом будут грести до Рэдинга, а оттуда я потащу лодку на бечеве.

Вести тяжелую лодку против течения меня сейчас привлекает уже не очень. Было время, давно, когда я рвался к тяжелой работе; теперь я предпочитаю давать шанс молодым.

Я заметил, что большинство просоленных речных волков сходят с дистанции таким же образом, едва лишь возникает необходимость принадель на весла. Вы всегда узнаете старого речного волка по его расположению среди подушек и ободряющим гребцов рассказам о блистательных подвигах, которые он совершил прошлым летом.

— Это, по-вашему, называется вкалывать? — жантильно вытягивает речной волк, выпуская блаженные колечки дыма и обращаясь к двум взмокшим новичкам, которые уже полтора часа выкладываются против течения. — Вот мы-ы с Джеком и Джимом Биффлзом прошлым летом прошли от Марло до самого Горинга и ни разу не остановились. Помнишь, Джек?

Джек, устроивший на носу постель из всех пледов и пиджаков, которые сумел насобирать, и спящий уже в продолжение двух часов, при обращении частично пробуждается, припоминает все обстоятельства дела и также припоминает, что всю дорогу было просто ужас какое течение и такой же просто ужас какой сильный ветер навстречу.

— По-моему, мы прошли тогда тридцать четыре мили, — продолжает рассказчик, подкладывая себе под голову еще одну подушку.

— Ну, ну, Том, не преувеличивай, — укоризненно бормочет Джек. — От силы тридцать три.

Затем Джек и Том, выдохвшись от коммуникативных усилий полностью, снова погружаются в сон. А два простодушных молокососа на веслах, страшно гордые тем, что им позволено везти таких дивных мастеров гребли, как Джек и Том, надрываются пуще прежнего.

Когда я был молод, я часто выслушивал такие истории от своих старших, и разжевывал их, и проглатывал, и переваривал каждое слово, и потом еще шел за добавкой. Новая смена, похоже, не обладает бесхитростной верой былых времен. Мы — Джордж, Гаррис и я — как-то раз прошлым летом брали с собой какого-то желторотика и всю дорогу питали его стандартными врачами о чудесах, которые сотворили.

Мы преподнесли ему все положенное — освященные временем басни, долгие годы верой и правдой прослужившие мастерам лодки, — и в дополнение сочинили семь целиком оригинальных историй, одна из которых была совершенно правдоподобна и основана, до определенной степени, на подлинном происшествии (случившемся, хотя и в смягченном виде, с нашим приятелем несколько лет назад — история, в которую простой ребенок поверил бы без вреда для здоровья, почти).

А наш новичок только над всем этим глумился и требовал, чтобы мы тут же повторили все подвиги, иставил десять против одного, что у нас ничего не получится.

Сегодня утром мы завели беседу о собственной гребной практике и пустились в рассказы о своих первых шагах в искусстве весла. Мои наиболее ранние воспоминания — это как мы, впятером, собирали по три пенса с каж-

дого и на посудине необыкновенной конструкции вышли на озеро в Риджентс-парке, после чего обсыхали в сторожке смотрителя.

После этого, приобретя вкус к воде, я немало походил на плотах по затопленным кирпичным карьерам* — занятие гораздо более интересное и увлекательное, чем можно представить, особенно когда вы находитесь на середине водоема, а владелец материала, из которого ваш плот изготовлен, неожиданно появляется на берегу с большой палкой в руке.

При виде этого джентльмена у вас прежде всего появляется чувство, что вы так или иначе не подготовлены к его обществу и к переговорам и что — если можно будет так поступить, не показавшись невежливым, — встречи предпочитаете избежать. Таким образом, вы ставите перед собой цель высадиться на берегу противоположном тому, где находится он, и тихо и быстро вернуться домой, притворившись, что вы его не заметили. Он же, наоборот, испытывает стремление взять вас за руку и побеседовать.

Выясняется, что он знает вашего батюшку и близко знаком лично с вами; но вас не привлекает к нему даже это. Он говорит, что покажет вам, как таскать у него доски и сколачивать из них плоты. Но поскольку вам это и так хорошо известно, предложение (сделанное, без сомнения, от всего сердца) кажется вам с его стороны излишним, и вам не хочется обременять хозяина беспокойством, приняв его.

Тем не менее стремление данного джентльмена встретиться с вами не пасует перед вашей незаинтересованностью, и энергичная расторопность, с которой он носится туда-сюда вдоль всего водоема, чтобы поспеть к месту вашей высадки и приветствовать вас, кажется вам действительно лестной.

Если он гружен и страдает одышкой, вам будет нетрудно избежать его авансов; если он нестарый и длинноногий — свидание неизбежно. Беседа, однако, заканчивается крайне быстро, причем разговор ведет главным образом он, а ваши реплики носят большей частью восклицательный и монологический характер. Как только вам предоставляется возможность удратить, вы ею пользуетесь.

Плаванию на плотах я посвятил около трех месяцев и, овладев таким профессионализмом, какой в данном искусстве был необходим вообще, решил перейти к настоящей гребле и вступил в один из лодочных клубов на реке Ли.

Катание по реке Ли, особенно в субботу после обеда, быстро научает вас стильному владению лодкой и споровке — чтобы вас не перевернуло волной и не утопило баржей. Также перед вами открывается масса возможностей овладеть изящным скоростным методом распластывания на дне лодки — чтобы чья-нибудь бечева не швырнула вас в реку.

Но стиля вам так не выработать. Стиль я приобрел только на Темзе. Мой стиль гребли вызывает теперь всеобщее восхищение. Говорят, стиль у меня просто невиданный.

Джордж до шестнадцати лет к воде не подходил вообще. Но вот однажды он и еще восьмеро джентльменов приблизительно такого же возраста явились всей толпой в Кью, намереваясь нанять лодку и пройти на веслах до Ричмонда и обратно (один из них, патлатый юнец по фамилии Джоскинз, пару раз катался на лодке по Серпентайну и уверял, что кататься на лодке ужасно весело*).

Когда они добрались до лодочной станции, оказалось, что течение довольно быстрое и дует сильный боковой ветер, но это их не смущило никако, и они приступили к выбору лодки.

На пирсе находилась гоночная восьмерка, которая их и пленила. «Вот эту, пожалуйста», — сказали они. Лодочник отсутствовал, и за старшего был только его сынишка. Мальчик попытался охладить их страсть к аутригеру и показал пару-тройку премиальных лодок уютнейшего семейного типа, но это было совсем не то. Они считали, что наилучшим образом будут выглядеть именно в гоночной восьмерке.

Тогда мальчик спустил ее на воду, а они сняли пиджаки и подготовились занимать места. Мальчик порекомендовал, чтобы Джордж, уже тогда лидер-тяжеловес в любой компании, сел под четвертым номером. Джордж сказал, что будет счастлив сесть под четвертым номером, и быстренько уселся на носовую скамью спиной к корме. В конце концов его усадили как следует, и тогда расселись остальные.

Какого-то особенно слабонервного юнца назначили рулевым, и Джоскинз преподал ему принципы управления. Сам Джоскинз сел загребным. Остальным он сказал, что ничего сложного нет — пусть только все всё повторяют за ним.

Они объявили, что готовы, и тогда мальчик на пристани взял багор и оттолкнул лодку.

Что последовало за этим, Джордж описать детально не в состоянии. У него сохранилось неотчетливое воспоминание, что едва они отошли от пристани, как он получает страшный удар в поясницу рукояткой весла номера пятого; в тот же миг скамья под ним словно по волшебству исчезает, и он оказывается на досках. Он также отметил, как любопытное обстоятельство, что номер второй в этот момент лежит на спине, задрав к небу обе ноги, предположительно в судороге.

Кьюзский мост они прошли, бортом, на скорости восьми миль в час; на веслах оставался только собственно Джоскинз. Джордж, восстановившись на месте, попытался пройти на помощь, но не успел опустить весло в воду, как оно, к его глубокому удивлению, исчезло под лодкой, едва не утянув за собой. Тем временем «рулевой» бросил за борт оба рулевых шнуря и разразился рыданиями.

Каким образом им удалось вернуться, Джордж так и не выяснил, только на это потребовалось сорок минут. Зрелищем самозабвенно любовалась

большая толпа с моста; выкрикивались самые противоречивые указания. Три раза лодку удавалось вывести из-под арки, и три раза ее затягивало обратно; всякий раз когда «рулевой» смотрел вверх и видел над головой мост, он разражался рыданиями с новой силой.

По словам Джорджа, он почти не думал в тот день, что полюбит лодочный спорт вообще.

Гаррис больше привык работать веслом на море, чем на реке; он говорит, что в качестве моциона предпочитает море. Я — нет. Помню, как прошлым летом в Истборне я взял лодочонку; когда-то я немало упражнялся в гребле на море и полагал, что все будет хорошо. Но оказалось, что я растерял мастерство полностью. Стоило одному веслу глубоко погрузиться в воду, как другое начинало дико метаться в воздухе. Чтобы зацепиться за воду обоими веслами одновременно, мне пришлось грести стоя. Вокруг собралось светское общество, титулованное и нетитулованное, и мне пришлось дефилировать перед ними в этой дурацкой позе. На полдороге я пристал к берегу и заручился услугами старого лодочника, который и доставил меня обратно.

Люблю смотреть, как гребет старый лодочник (особенно нанятый по часам). Его работа отличается таким превосходным спокойствием, такой невозмутимостью! Насколько далек он от этой лихорадочной спешки, от этих бешеных искусств, которые с каждым днем становятся все большим и большим проклятием девятнадцатого столетия! Он никогда не рвется в обгон; если его обгоняет другая лодка, он не испытывает досады (собственно говоря, его обгоняют все, что плывут в ту же сторону). Некоторых такое раздражает и бесит; возвышенное самообладание наемного лодочника перед лицом искушений может послужить нам превосходным уроком в борьбе с гордыней и высокомерием.

Научиться обычной, утилитарной гребле, когда нужно просто грести и грести без затей, не так уж трудно. Но вот чтобы чувствовать себя в своей тарелке, когда гребешь мимо девушек, — требуется огромная практика. Новичков сбивает с толку «такт». «Это просто смешно! — жалуется новичок, в двадцатый раз на протяжении пяти минут выпутывая свои весла из вахших. — У меня ведь все получается, когда я один!»

Наблюдать двух новичков, пытающихся попасть друг другу в такт, весьма развлекательно. Баковый считает, что попасть в такт загребному просто невозможно, потому что загребной гребет каким-то просто феноменальным способом. Загребной этим возмущен до чрезвычайности и объясняет, что последние десять минут только и пытается приспособить свой способ к ограниченным способностям гребца на баке. Баковый, в свою очередь, оскорбляется и советует загребному не утруждаться заботой о нем, баковом, а сосредоточить свои умственные способности на том, чтобы грести вменяемо самому.

— Или, может быть, сесть загребным мне? — добавляет он, явным образом намекая, что это сразу исправит дело.

Следующую сотню ярдов они продолжают барахтаться с тем же скромным успехом, после чего на загребного в порыве наития снисходит секрет всего бедствия.

— Я понял, в чем дело! — восклицает он, оборачиваясь. — У тебя мои весла! Давай их сюда!

— Ну да, ну да! А я тут себе все мозги вывихнул — какого черта у меня ничего не получается с этими! — отвечает баковый, просто просияв и с энтузиазмом приступая к обмену. — Вот теперь у нас все получится!

Но оно не получается — даже теперь. Загребному, чтобы теперь достать до весел, приходится так вытягивать руки, что они почти выскакивают из суставов; в то же время баковый при каждом взмахе получает смертельный удар в грудь. Тогда они снова меняются и заключают, что лодочник всучил им какие-то не такие весла. Объединив, таким образом, по адресу этого человека свои проклятия, они достигают любви и согласия.

Джордж сообщил, что ему часто очень хотелось поплавать на плоскодонке, для разнообразия. Плавать на плоскодонке с шестом не так легко, как кажется. Как и в гребном спорте, вы скоро научаетесь двигаться и контролировать судно, но чтобы научиться делать это с достоинством и не зачерпывая рукавами воду, требуется большая практика.

С одним молодым человеком, моим знакомым, произошел крайне прискорбный случай во время первого же катания.

Дело у него пошло так здорово, что он вообще оборзел и стал расхаживать по плоскодонке взад-вперед, с непринужденной грацией, любо-дорого посмотреть. Он маршировал на нос, втыкал в воду шест, а потом бежал на корму как заправский плоскодонщик. О! Как это было роскошно.

Так же роскошно все было бы дальше, если бы он, к несчастью, огляделась, чтобы насладиться пейзажем, не сделал одного шага больше, чем требовалось, и не перемахнул через борт. Шест прочно засел в иле, и он остался на нем висеть, а лодка продолжила дрейф. Его поза была лишена достоинства полностью. Невоспитанный мальчишка на берегу немедленно закричал своему отставшему товарищу:

— Быстрее сюда! Тут на палке настоящая обезьяна!

Прийти на выручку я не мог, потому что мы, как назло, не озабочились захватить с собой запасной шест. Мне оставалось только сидеть и смотреть на беднягу. Никогда не забуду его лица, когда шест, вместе с ним, плавно опускался в воду, — оно было исполнено глубокого созерцания.

Я следил, как он медленно погружается в воду, и видел, как он, грустный и мокрый, карабкается на берег. Он представлял собой такую уморительную фигуру, что я не мог удержаться от смеха. Какое-то время я продолжал хихикать, после чего мне вдруг пришло в голову, что смеяться, на

самом деле, если подумать, не над чем. Вот он я, один в плоскодонке, без шеста, беспомощно несусь по течению — может быть, на плотину.

Я страшно разозлился на своего приятеля — за то, что он махнул в воду и сбежал таким образом. Шест, во всяком случае, мог бы оставить.

С четверть мили меня несло течением, а потом я увидел рыбачий ялик, на якоре посередине реки, и в нем — двух пожилых рыбаков. Они заметили, что я двигаю прямо на них, и стали орать, чтобы я убирался.

— Не могу! — закричал я в ответ.

— Ты хоть бы пальцем пошевелил!..

Оказавшись ближе, я разъяснил положение дел; они поймали меня и одолжили шест. До плотины оставалось с полсотни ярдов. Я был рад, что они там оказались.

Первый раз плавать на плоскодонке я отправился в компании с тремя друзьями; они собирались показать мне, как это делается. Мы не смогли выйти вместе, поэтому я сказал, что приду первым, найду плоскодонку и поболтаюсь у берега, немного попрактикуюсь до их прихода.

Плоскодонки я в тот день не достал, все уже было разобрано; мне оставалось только сидеть на берегу, глязеть на реку и ждать друзей.

Вскоре мое внимание привлек человек в плоскодонке, на котором, как я заметил с некоторым удивлением, были точно такие же куртка и шапочка, как у меня. В плоскодонках он явно был новичком, и его выступление было весьма увлекательно. Нельзя было угадать, что случится, когда он втыкал шест, — очевидно, он не знал этого сам. Он толкал лодку то по течению, то против; порой он просто начинал крутиться волчком на месте, облезжая вокруг шеста. И независимо от результата всякий раз одинаково сердился и удивлялся.

Народ на реке этим зрелищем вскоре не на шутку увлекся; зрители стались биться об заклад, каков будет исход следующего толчка.

В конце концов на противоположном берегу появились мои друзья; они остановились и также стали наблюдать за несчастным. Он стоял к ним спиной, и им было видно только куртку и шапочку. Тем самым они немедленно сделали скоропалительный вывод, что это я, их возлюбленный друг, устроил здесь показательное выступление, и радость их не имела границ. Они стали безжалостно глумиться над ним.

Сначала я не осознал их ошибки и подумал: «Как неучтиво с их стороны вести себя подобным образом, да еще по отношению к совершенно постороннему человеку!» Я уже собирался крикнуть и упрекнуть их, но сообразил в чем дело и удалился за дерево.

Ах, как они веселились, как дразнили бедного юношу! Добрых пять минут они торчали там, выкрикивая непристойности, издеваясь над ним, глумясь над ним, унижая его. Они усыпали его затхлыми шуточками; они придумали даже несколько новых и запустили в него. Они выложили ему

весь запас неофициальных семейных приколов, принятых в нашем кругу и ему, разумеется, полностью непонятных. Наконец, не в силах более выносить жестокие издевательства, юноша обернулся, и они увидели его лицо!

Я был счастлив отметить, что у моих приятелей сохранились остатки приличия, чтобы почувствовать себя круглыми дураками. Они объяснили ему, что думали, что его знают. Они сказали, что они надеются, что он не считает, что они способны нанести подобные оскорблении кому бы то ни было кроме ближайших друзей.

Разумеется, факт, что они приняли его за друга, снимает с них всю вину. Помню, Гаррис как-то рассказывал мне один случай, приключившийся с ним в Булони во время купания. Он плавал недалеко от берега, как вдруг кто-то схватил его за шею и потащил под воду. Гаррис начал неистово отбиваться, но овладевший Гаррисом был, видимо, подлинным Геркулесом; все попытки вырваться оказались бесплодны. Гаррис уже перестал брыкаться и попытался обратить мысли к серьезным вещам, когда злодей отпустил его.

Гаррис снова встал на ноги и огляделся в поисках своего потенциальногубийцы. Душегуб стоял рядом и от души хохотал, но, увидев лицо Гарриса, всплывшее из-под воды, отшатнулся и ужасно сконфузился.

— Прошу прощения, честное слово... — пробормотал он растерянно. — Я принял вас за своего друга!

Как считал Гаррис, ему повезло, что его не приняли за родного. Тогда бы его утопили на месте.

Плавание под парусом также требует знания и тренировки, хотя когда я был мальчишкой, я так не думал. Я был уверен, что сноровка придет сама собой — как в лапте или в пятнашках. У меня был товарищ, державшийся тождественных взглядов, и вот однажды, в один ветреный день, мы решили попробовать. Мы гостили тогда в Ярмуте и решили выйти в рейс по реке Яр. На лодочной станции возле моста мы наняли парусный шлюп — и вышли.

— Денек-то свежий, — напутствовал лодочник, когда мы собирались отчалить. — Лучше возьмите риф, а пройдете излучину — двигайте в крутой байдевинд.

Мы ответили, что а как же он еще думал, и на прощание бодро пожелали ему «счастливо оставаться», недоумевая про себя, что значит «двигать в крутой байдевинд», откуда брать этот «риф» и что с ним делать, когда мы его возьмем.

Пока город не скрылся, мы шли на веслах, и затем, выбравшись на простор, над которым носился уже не ветер, а целый ураган, решили, что пора начинать операцию.

Гектор — кажется, его звали так — продолжал грести, а я начал раска-

тывать парус. Хотя задача оказалась нелегкой, я в конце концов с ней справился, и тут появился вопрос — где у паруса верх?

Руководствуясь неким природным инстинктом, мы, понятное дело, решили, что верхом был низ, и начали крепить парус наоборот, вверх ногами. Чтобы его поставить (пусть даже так), все равно ушла прорва времени. По-видимому, у паруса создалось впечатление, что мы играемся в похороны, причем я — труп, а он — погребальный саван.

Обнаружив, что это не так, он треснул меня по голове гиком и решил больше ничего не делать.

— Намочи его, — сказал Гектор. — Сунь в воду и намочи.

Он объяснил, что люди на кораблях всегда мочат паруса, прежде чем их поставить. Я намочил парус, но стало только хуже. Когда парус липнет к вашим ногам и обворачивается вокруг головы даже сухой, это неприятно; когда мокрый — это просто непереносимо.

Все-таки, вдвоем, мы его поставили. Мы натянули его — не совсем вверх ногами, а больше наперекосяк — и привязали к мачте куском фалиня, который для этого пришлось отрезать.

То, что лодка не перевернулась, я просто сообщаю как факт. Почему она не перевернулась — объяснить я не в состоянии. Впоследствии я часто задумывался над этим, но так и не сумел прийти к сколько-нибудь удовлетворительному объяснению данного феномена.

Возможно, в этом сказался тот естественный обскурантизм, который вообще присущ всем явлениям в этом мире. Возможно, лодка, на основании поверхностных наблюдений за нашей активностью, пришла к заключению, что мы вышли на реку с целью утреннего самоубийства, и решила таким образом расстроить наш план. Это единственное объяснение, которое я могу предложить.

Вцепившись в планшир мертвой хваткой, мы кое-как удержались в пределах лодки, и это был настоящий подвиг. Гектор сказал, что пираты и прочие мореплаватели во время тяжелых шквалов привязывают куда-нибудь руль и выбирают кливер, и считал, что нам также следует попытаться сделать нечто подобное. Но я был за то, что пусть уж лодка идет по ветру сама как ей придется.

Так как моему совету последовать было легче всего, мы на нем и остановились. Ухитряясь не выпускать планшира, мы предоставили лодке право самоопределения.

Порядка мили лодка неслась вверх по течению с такой скоростью, с которой я больше никогда под парусом не ходил и более не желаю. Затем на повороте она пошла в крен, пока полпаруса не оказалось в воде. Потом она выпрямилась, каким-то чудом, и понеслась на банку вязкого ила.

Эта илистая отмель нас и спасла. Лодка пропахала ее до середины и там встала. Убедившись, что мы снова в состоянии передвигаться по собствен-

ной воле и что нас больше не трясет и не швыряет как горошины в баночке, мы подползли и отрезали парус.

Мы уже довольно походили под парусом. Мы не хотели переборщить и пресытиться. Мы прошли под парусом — под превосходным, полновесным, интересным, увлекательным парусом — и теперь решили, для разнообразия, пройтись на веслах.

Взявшись за весла, мы попытались снять лодку с отмели, и тем самым сломали весло. Мы повторили попытку, с большой осторожностью, но весла были вообще никуда не годные, и второе сломалось еще быстрее, чем первое, оставив нас совершенно беспомощными.

Перед нами ярдов на сто шла отмель, сзади была вода. Осталось только сидеть и ждать, пока кто-нибудь пройдет мимо.

Денек был не тот, чтобы народ валил на реку; прошло целых три часа, прежде чем на горизонте появилось человеческое существо. Это был старый рыбак, который с колossalным трудом нас таки освободил и с позором отбуксировал обратно к пристани.

За доставку домой, за поломанные весла, за четыре с половиной часа пользования лодкой нам пришлось выложить все карманные деньги, которые копились не одну неделю. Но зато мы приобрели опыт, а за опыт, как говорят, сколько ни плати — не переплатишь.

* * *

ГЛАВА XVI

Рэдинг. — Нас тянет паровой баркас. — Раздражающее поведение маленьких лодок. — Как они путаются под ногами у паровых баркасов. — Джордж и Гаррис снова увиливают от работы. — Весьма банальная история. — Стратли и Горинг.

Часам к одиннадцати появился Рэдинг. Река здесь грязна и уныла. По соседству с Рэдингом обычно никто не задерживается. Сам город — место старинное и знаменитое; он стоит здесь еще со смутных времен короля Этельреда *, когда датчане поставили свои корабли в бухте Кеннет и отправились из Рэдинга грабить Уэссекс. Именно здесь Этельред и брат его Альфред дали датчанам бой и разбили их; Этельред при этом молился, а Альфред сражался *.

В позднейшие годы Рэдинг, по-видимому, считался удобным местом, куда можно было улизнуть, когда в Лондоне становилось скверно. В Рэдинг, как правило, сматывался парламент, как только в Вестминстере появлялась чума *. В 1625-м туда же устремился закон, и все процессы велись тоже в Рэдинге *. Пожалуй, иногда в Лондоне можно было и потерпеть какую-то там чуму, чтобы избавиться разом от законников и от парламента.

Во время борьбы парламента с королем Рэдинг был осажден графом Эссексом *, а четверть века спустя принц Оранский разбил там войско короля Джеймса *. В Рэдинге покоятся Генрих Первый *, в бенедиктинском аббатстве, которое он же и основал; развалины аббатства сохранились до наших дней. В том же аббатстве достославный Джон Гонт сочетался браком с леди Бланш *.

У Рэдингского шлюза мы догнали паровой баркас, принадлежащий моим друзьям; они взяли нас на буксир и дотащили почти до Стратли. Идти на буксире у парового баркаса — сущее удовольствие. По-моему, гораздо приятнее, чем грести самому. И было бы еще приятнее, если бы не толпа проклятых лодочонок, которые постоянно путались под ногами, — чтобы их не передавить, нам без конца приходилось травить пар и стопорить ход. Это просто какое-то безобразие — как они путаются под ногами у баркасов, эти гребные шлюпки; необходимо принимать какие-то меры.

И к тому же они такие ужасно нахальные! Вы гудите так, что у вас чуть не лопается котел, а они и в ус не подают. Будь моя воля, я регулярнотопил бы лодку-другую, просто чтобы их поучить.

Чуть выше Рэдинга река снова очаровательна. Около Тайлхерста ее здорово портит железная дорога, но от Мэйплдэрхема до самого Стратли она великолепна. Чуть выше шлюза стоит Хардвик-хаус, где Карл Первый играл в шары *. Окрестности Пенгборна, где находится курьезная крошечная гостиница «Лебедь», должно быть, так же здорово примелькались *habitués* картинных выставок *, как и обитателям самого Пенгборна.

Перед самой пещерой паровой баркас моих друзей бросил нас на произвол судьбы, и тут Гаррис вознамерился повернуть дело так, якобы грести теперь была моя очередь. Это показалось мне совершенно необоснованным. С утра мы условились, что я дотащу лодку до трех миль выше Рэдинга. Так вот, мы уже на целых десять миль выше Рэдинга! Понятное дело, что теперь снова их очередь.

Однако мне не удалось склонить ни Джорджа, ни Гарриса к надлежащему взгляду на этот предмет, и я, чтобы не спорить без толку, взялся за весла. Не прошло минуты, как Джордж заметил что-то черное, плывущее по воде, и мы направили лодку туда. Когда мы приблизились, Джордж перегнулся через борт, схватил этот предмет и тут же отпрянул, с криком и бледный как полотно.

Это был труп женщины. Она легко покоилась на воде; лицо ее было спокойно и нежно. Его нельзя было назвать прекрасным — оно слишком рано состарилось, было слишком худым, изможденным. Но, несмотря на печать нужды и страданий, оно все-таки было кротким, милым; на нем застыло то выражение расслабленного покоя, которое, случается, снисходит на лица больных, когда наконец боль покидает их.

К счастью для нас — у нас не было никакого желания здесь застремляться и околачиваться по следственным кабинетам — какие-то люди на берегу тоже заметили тело и избавили нас от заботы о нем.

Впоследствии мы узнали историю этой женщины. Разумеется, это была старая как мир, банальнейшая трагедия. Женщина любила и была обманута — или обманулась сама. Так или иначе, она согрешила — с нами это временем случается; семья и друзья, как и следовало ожидать, возмущенные и негодующие, захлопнули перед ней свои двери.

Брошенная бороться с судьбой одна, с ярмом позора на шее, она опускалась все ниже и ниже. Какое-то время она, вместе с ребенком, жила на двенадцать шиллингов в неделю, которые получала работая по двенадцать часов в день; шесть шиллингов она платила за содержание ребенка и пыталась удержать душу в теле на остальное.

Шесть шиллингов в неделю связывают душу с телом не очень крепко. Соединенные только такими непрочными узами, они все время норовят друг от друга избавиться. И вот в один день, наверное, боль и угрюмая беспросветность представали перед ней как никогда ярко и ясно, и этот глумливый призрак испугал ее. Она обратилась к друзьям с последним призывом,

но за холодной стеной благоприличия голос заблудшей парии услышан не был. Тогда она отправилась повидать ребенка; она взяла его на руки и поцеловала, безжизненно и безотрадно, не выдавая никаких чувств, а потом, вложив в ручонку коробку грошовых конфет, купила на последние деньги билет и уехала в Горинг.

Может быть, самые горькие воспоминания ее жизни были связаны с лесистыми берегами и ярко-зелеными лугами у Горинга; но женщины странным образом всегда прижимают к сердцу нож, который нанес им рану. А может быть, к горечи примешались солнечные воспоминания о самых сладких часах, проведенных здесь в тени зарослей, где деревья склоняют ветви к земле так низко.

Весь день она бродила по прибрежным лесам, а когда наступил вечер и серые сумерки раскинули над водой свою печальную мантию, она простила руки к молчаливой реке, которая знала ее печали и радости. И река приняла ее в нежные свои объятия, и приютила ее истомленную голову у себя на груди, и уголила боль.

Так согрешила она во всем — и в жизни, и в смерти. Боже, помилуй ее! И всех других грешников, будь таковые еще.

В Горинге, на левом берегу, или в Стритли, на правом, или в обоих сразу — очень мило провести несколько дней. Водный простор здесь, до самого Пенгборна, так и манит пуститься в солнечный день под парусом или пройтись под луной на веслах; места здесь повсюду вокруг исполнены очарования. В этот день мы собирались добраться до Уоллингфорда, но прелестный улыбчивый лик реки соблазнил нас, чтобы чуть задержаться. И мы, оставив лодку у моста, отправились в Стритли и позавтракали у «Быка», чьем Монморанси оказался весьма удовлетворен.

Говорят, что холмы с обеих сторон реки здесь некогда соединялись и преграждали дорогу тому, что сегодня является Темзой, и что река тогда заканчивалась у Горинга, образуя огромное озеро. Я не в состоянии ни опровергнуть, ни подтвердить эту версию. Я ее просто сообщаю.

Стритли — старинный город, возникший, как большинство прибрежных городов и деревень, еще в саксонские и бриттские времена. Если вы можете выбирать где остановиться, то Горинг совсем не такое славное место, как Стритли; однако по-своему он тоже сойдет, и он ближе к железной дороге (на случай, если вы собираетесь улизнуть из гостиницы не заплатив по счету).

ГЛАВА XVII

Стирка. — Рыба и рыболовы. — Об искусстве ловить рыбу на удочку. — Честный удильщик на муху. — Рыболовная история.

Мы задержались в Стратли на два дня и отдали вещи в стирку. Сначала мы попробовали постирать их сами в реке, под управлением Джорджа, но потерпели провал. Провал — это еще мягко сказано, потому что после стирки проблема только усугубилась. До стирки наши вещи были очень, очень грязны; что правда — то правда. Однако их еще можно было носить. А после... В общем, река между Хенли и Рэдингом после того, как мы постирали в ней платье, стала намного чище. Всю грязь, которая содержалась в реке между Хенли и Рэдингом, во время той стирки нам удалось собрать и упаковать в одежду.

Как сказала нам прачка в Стратли, она чувствует себя просто обязанной просить тройную цену за такую стирку. Она сказала, что это была уже не стирка, а какие-то земляные работы.

Мы безропотно оплатили счет.

Окрестности Стратли и Горинга — крупный центр рыболовства. Рыбаку здесь просто раздолье; река просто кишит щукой, плотвой, ельцом, пескарем и угрем; здесь можно сидеть и удить с утра до вечера.

Многие так и делают. Только ничего не ловят. Я не знаю ни одного человека, который смог бы в Темзе что-то поймать, кроме головастиков и дохлых кошек (но это к собственно рыбной ловле уже не относится). Местный «Спутник рыболова», кстати, о возможности здесь что-то выловить даже не заикается. «Ареал благоприятен для рыбной ловли» — все, что там сказано; и я, судя по тому, что здесь видел, готов это заявление поддержать.

В мире больше нет такого места, где можно было бы столько удить. Есть рыболовы, которые приезжают сюда на весь день; есть такие, кто остается здесь на весь месяц. Если хотите, можете здесь поселиться и удить целый год — результат будет тот же.

«Руководство по рыбной ловле на Темзе» гласит, что «в этих местах ловятся также молодые щуки и окунь», но в этом руководство неправо. Щуки и окунь в этих местах водятся, это я знаю наверняка. Вы можете наблюдать, как они носятся косяками; когда вы гуляете по берегу, они наполовину высываются из воды и разевают рты в надежде получить печенье. А если вы

идете купаться, они толкуются вокруг, путаются под ногами и выводят вас из терпения. Но чтобы они «ловились» — будь то на червяка или еще как-нибудь подобным образом — сейчас.

Сам я рыболов неважный. В свое время я уделил немало внимания данной проблеме и, как мне казалось, добился определенных успехов. Но бывалые люди сказали, что настоящего рыболова из меня не получится, и посоветовали мне это дело бросить. Они сказали, что у меня в высшей степени точный бросок и я, как видно, обладаю нужной смекалкой и ленью в той степени, которая требуется. Но они были убеждены, что никакого рыбака из меня не получится никогда. Для этого у меня не хватает воображения.

Они говорили, что для поэта, сочинителя бульварных романов, репортера или еще чего-нибудь в этом роде я мог бы сойти. Но для того, чтобы занять какое-либо положение среди рыболовов на Темзе, требуется куда больше фантазии, смелости и изобретательности, чем есть у меня.

Некоторые люди находятся под впечатлением, будто для того, чтобы стать хорошим рыбаком, необходима только способность бегло врать не краснея. Это заблуждение. Простая, голая фальсификация здесь бесполезна; она под силу даже самому желторотому. Малосущественные детали, рельефные вероятностные приемы, общая атмосфера доскональной скрупулезности, почти педантичной ортодоксальности — вот качества, по которым узнаётся подлинный рыболов.

Каждый может войти и сказать «Вчера вечером я поймал пятнадцать дюжин окуней» или «В прошлый понедельник я вытащил пескаря весом в восемнадцать фунтов и длиной в три фута».

Здесь нет ни мастерства, ни искусства, необходимых для данного дела. Это свидетельствует о мужестве и не более.

Нет. Квалифицированный рыболов гнушается лжи, вот такой лжи. Его метод — сам по себе предмет научного интереса.

Он преспокойно входит, не снимая шляпы, выбирает самое удобное кресло, набивает трубку и, не произнося ни слова, начинает курить. Он дает молодежи вволю похвастаться и, дождавшись мимолетной паузы, вынимает трубку изо рта, выколачивает золу о решетку камина и замечает:

— Ладно, о том, что я поймал во вторник вечером, лучше вообще никому не рассказывать.

— А что? — спрашивают его.

— Потому что все равно никто не поверит, — спокойно отвечает он, без малейшего оттенка горечи в голосе. Затем снова набивает трубку и заказывает на три шиллинга шотландского виски со льдом.

После этого наступает молчание; никто не уверен в себе настолько, чтобы вступить со старым джентльменом в полемику, и тот вынужден продолжать, не дожидаясь компаний.

— Нет, — задумчиво произносит он. — Я бы и сам не поверил, рассказжи мне такое. И все-таки это факт! Я просидел там весь день и не поймал вообще ничего. Половину плотвишек и два десятка щученышей в счет, разумеется, не идут... Я уж было решил, что клев никуда не годится, и хотел было бросить, как вдруг чувствую — кто-то здорово тяпнул лесу. Ну, думаю, опять какая-то мелочь, и подсекаю. Пусть меня повесят, но удилище точно завязло! Только через полчаса — полчаса, сэр! — я смог вытащить эту рыбку, и каждую секунду я так и ждал, что оно треснет! Наконец я ее вытащил, и как вы думаете, что это было? Осетр! Сорокаглавый осетр, на удочку, сэр! Да, да, понимаю ваше удивление, понимаю... Хозяин, еще шотландского!

Потом он рассказывает, как все были поражены, что сказала жена, когда он добрался домой, и что подумал об этом Джо Багглз.

Я спросил хозяина одного трактира на берегу, не осточертело ли ему выслушивать все эти рыбакские басни. Он ответил:

— О нет, сэр, теперь уже нет. Сначала было, конечно, тяжеловато... Но теперь, слава Господи, ничего — теперь мы с хозяйкой можем слушать их день напролет. Ко всему привыкаешь, знаете ли. Ко всему привыкаешь.

Знал я одного юношу. Это был честнейший паренек; пристрастившись к ловле на мууху, он взял за правило никогда не преувеличивать свой улов больше чем на двадцать пять процентов.

— Когда я поймаю сорок штук, — говорил он, — то всем буду рассказывать, что поймал пятьдесят, и так далее. Но больше я лгать не стану, потому что лгать грешно.

Однако двадцатипятипроцентный план не заработал вообще. Им просто не удалось воспользоваться. Самый большой улов паренька выражался цифрой три, а добавить к трем двадцать пять процентов нельзя (во всяком случае, в рыбах).

Ему пришлось повысить процент до тридцати трех с третью; но опять же, это было совсем неудобно в тех случаях, когда он ловил одну или две. Таким образом, в целях рационализации он решил количество просто удваивать.

В течение двух месяцев он честно следовал этой системе, но потом разочаровался и в ней. Никто не верил, что он преувеличивает улов только в два раза, и он, таким образом, не заработал себе никакой репутации, причем такая умеренность только ставила его в невыгодное положение среди коллег. Поймав три маленькие рыбешки и уверяя всех, что поймал шесть, он только испытывал зависть к тому, кто достоверно выловил однунединственную, а сообщал, что натаскал пару дюжин.

В итоге он заключил с собой окончательное соглашение, которое свято с той поры соблюдал. Оно состояло в том, что каждая пойманная рыбешка считалась за десять, а еще десять добавлялось для старта. Например, если

он не ловил вообще ничего, то говорил, что поймал десяток (по этой системе вам никогда не удастся поймать меньше десятка, на этом она базируется).

А дальше, если ему и на самом деле случалось поймать одну рыбку, такая считалась за двадцать, в то время как две — за тридцать, три — за сорок и т. д.

Эта система элементарна и проста в применении; позже говорили о том, что ее следует принять к использованию среди рыболовов вообще. Действительно, около двух лет назад Комитет ассоциации рыбной ловли на Темзе рекомендовал внедрение этой системы*, но некоторые из старейших членов ассоциации выдвинули протест. Они заявили, что готовы рассмотреть проект, если коэффициент будет удвоен — так, чтобы каждая рыба считалась за двадцать.

Если у вас как-нибудь найдется на реке свободный вечер, я посоветовал бы заглянуть в какой-нибудь прибрежный трактирчик и занять место в распивочной. Там вам почти наверняка встретится пара-тройка старых удильщиков, которые, потягивая пунш, заставят вас проглотить такую порцию рыболовных историй, что диспепсия вам будет гарантирована на месяц.

Мы с Джорджем — не знаю, куда подевался Гаррис, но среди бела дня он вышел побриться, потом вернулся, потом целых сорок минут наводил глянец на башмаки, и с тех пор мы его не видели — так вот, мы с Джорджем и собакой, предоставленные в собственное распоряжение, на второй вечер отправились прогуляться в Уоллингфорд, а на обратном пути забрали в маленький прибрежный трактир, чтобы отдохнуть, перекусить и так далее.

Мы вошли в зал и уселись. Там был какой-то старик, куривший длинную глиняную трубку, и мы, конечно, разговорились.

Он сообщил, что сегодня был славный денек, а мы сообщили, что и вчера был славный денек, а потом мы все сообщали друг другу, что и завтра, наверно, тоже будет славный денек. Джордж заметил, что урожай, как представляется, будет отличный. После этого каким-то образом выяснилось, что мы здесь проездом и завтра утромдвигаем дальше.

Затем в беседе произошла пауза, во время которой наши глаза блуждали по комнате. В конце концов они остановились на пыльном старом стеклянном шкафчике, высоко над каминной полкой. В нем содержалась форель. Эта форель меня просто загипнотизировала: рыба была просто чудо-вищной величины. На первый взгляд я даже принял ее за треску.

— А! — сказал джентльмен, проследив за направлением моего взгляда. — Славная штука, да?

— Просто необыкновенная, — пробормотал я, а Джордж спросил старика, сколько, по его мнению, она весит.

— Восемнадцать фунтов и шесть унций, — ответил наш друг, поднимаясь и снимая с вешалки плащ. — Да, — продолжил он, — третьего числа будуще-

го месяца стукнет шестнадцать лет с того дня, как я ее вытащил. Я поймал ее на малька, чуть ниже моста. Люди мне рассказали, что она завелась в реке, а я говорю — поймаю! — и поймал. Сейчас такой рыбы в наших местах, наверно, уже немного. Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи.

И он вышел, и мы остались одни.

После этого мы не могли оторвать от рыбины глаз. Это была действительно замечательная форель. Мы все еще смотрели на нее, когда у трактира остановилась повозка, в дверях возник местный извозчик с кружкой в руке и тоже воззрился на рыбу.

— Здоровенная форель, а? — сказал Джордж, оборачиваясь.

— Что говорить, немаленькая, — ответил возчик и, отхлебнув пива, добавил: — Вас тут, наверно, не было, когда ее поймали?

— Нет. Мы проездом.

— А! — сказал возчик. — Тогда, конечно, не было. Уже лет пять, как я ее поймал.

— О! Значит, это вы ее поймали? — восхитился я.

— Да, сэр, — ответил наш приветливый собеседник. — Как раз под шлюзом — тогда там еще шлюз был, — как-то в пятницу, после обеда. И поймал-то на мууху, обалдеть просто. И пошел-то щук половить — ей-богу, какая форель, даже не думал, — а как увидел на леске это чудище — чуть не упал, ей-богу. Еще бы, в ней как-никак двадцать шесть фунтов. Спокойной ночи, джентльмены, спокойной ночи.

Спустя пять минут пришел третий и описал, как поймал эту форель одним ранним утром на уклейку. Затем ушел и он; на смену ему явился флегматичный, важно выглядящий джентльмен средних лет и уселся у окна. Сперва все молчали; потом, наконец, Джордж обернулся к вновь прибывшему и сказал:

— Прошу прощения и надеюсь, вы простите нам нашу смелость — мы тут у вас совершенно чужие, — но мы с моим другом были бы весьма приятельны, если бы вы рассказали нам, как вам удалось поймать эту форель.

— А кто вам сказал, что эту форель поймал я?! — последовал удивленный ответ.

Мы ответили, что никто, но мы как-то инстинктивно чувствуем, что это сделал именно он.

— Вот уж поразительный случай, совершенно поразительный! — рассмеялся флегматичный незнакомец. — Ведь да, ведь так, вы правы! Ее поймал я. Надо же, как вы так угадали? Нет, нет, это совершенно поразительно, поразительно!

И он рассказал нам, как потратил полчаса, чтобы ее вытащить, и как при этом у него сломалось удилище. Он сообщил, что когда пришел домой, тщательно ее взвесил, и она потянула на тридцать четыре фунта.

Потом ушел он, в свою очередь, а к нам заглянул хозяин. Мы рассказали все, что услышали про форель; он пришел в страшный восторг, и мы от души хохотали.

— Выходит, Джим Бейтс, и Джо Маггл, и мистер Джонс, и старина Билли Мандерс — все рассказывали, что ее поймали они? Ха-ха-ха! Да-а, здорово! — воскликнул честный старик, от души веселясь. — Ну да, сами поймали и повесили тут у меня в гостиной, да? Ха-ха-ха!

И тогда он рассказал нам подлинную историю этой форели. Оказывается, он поймал ее сам, много лет назад, когда был совсем мальчишкой. Для этого не потребовалось никакого мастерства или искусства; ему просто повезло, как всегда везет мальчугану, который сачкует с урока, чтобы в солнечный день поудить на веревочку, привязанную к пруту.

Он сказал, что, когда притащил домой этакую форелину, его даже не стали пороть, и даже сам учитель признал, что она стоит тройного правила арифметики со всеми упражнениями вместе взятыми.

Тут его позвали из комнаты, а мы с Джорджем снова уставились на рыбью.

Это была воистину изумительная форель. Чем больше мы на нее смотрели, тем больше восхищались.

Она привела Джорджа в такой трепет, что он взобрался на спинку кресла, откуда ее было лучше видно.

Кресло шатнулось; Джордж, чтобы удержаться, в смятении схватился за шкафчик, шкафчик с грохотом полетел вниз, а за ним слетел вместе с креслом и Джордж.

— Рыбу не уграбил?! — вскричал я в страхе, бросаясь к нему.

— Надеюсь, — ответил Джордж, осторожно поднимаясь на ноги и осматриваясь.

Но он ошибся. Форель разлетелась вдребезги на тысячу кусков. (Я сказал — тысячу, но их, может быть, было только девятьсот. Я не считал.)

Нам показалось странным и непонятным, как это чучело форели могло рассыпаться на такие маленькие кусочки.

Это действительно было бы странно и непонятно, если бы это было чучело. Но это было не чучело.

Форель была гипсовая.

ГЛАВА XVIII

Шлюзы. — Мы с Джорджем фотографируемся. — Уоллингфорд. — Дорчестер. — Эбингдон. — Семейственный человек. — Хорошее место, где можно утонуть. — Трудный участок реки. — Развращающее влияние речного воздуха.

Рано утром мы покинули Стратли, прошли на веслах до Калэма, стали в затоне и, натянув тент, легли спать.

Река между Стратли и Уоллингфордом выдающегося интереса не представляет. За Кливом у вас будет участок в шесть с половиной миль, где нет ни одного шлюза. Это, пожалуй, самый длинный свободный участок реки выше Теддингтона, и этим пользуется Оксфордский гребной клуб для своих отборочных соревнований среди восьмерок*. Но, как бы ни радовало такое отсутствие шлюзов человека с веслом, любителю развлечений остается об этом только жалеть.

Мне, например, шлюзы нравятся. Они приятно разнообразят скучищу гребли. Мне нравится сидеть в лодке и медленно возноситься из прохладных глубин к новым горизонтам и новым пейзажам; или погрузиться в бездну, как бы покинув мир, а потом ждать, когда заскрипят мрачные створы и полоска дневного света начнет расширяться. И вот перед вами простирается во всю гладь улыбающаяся река, и вы освобождаете свою лодочку из недолгого плена и вновь выбираетесь на приветливый простор Темзы.

Они такие живописные, эти шлюзы! Бравый старик-сторож, веселая жена и ясноглазая дочка — как приятно перекинуться с ними парой слов!¹ Здесь встречаешься с другими лодками и обмениваешься речными сплетнями. Без этих обсаженных цветами шлюзов Темза перестанет казаться страной чудес.

Разговоры о шлюзах напоминают мне о катастрофе, в которую чуть не попали мы с Джорджем однажды летом около Хэмптон-Корта.

День был чудесный, шлюз был забит, и, как водится на реке, пока мы

¹ Вернее, было приятно. Комитет по регулированию судоходства и рыбных промыслов превратил себя в агентство по найму идиотов. Большинство новых шлюзовых смотрителей, особенно на оживленных участках реки, — легковозбудимые невротики, совершенно не подходящие для этой должности.

стояли, а вода поднималась, некий хваткий фотограф нас фотографировал. Я не сразу сообразил в чем дело, и поэтому был весьма удивлен, когда заметил, как Джордж лихорадочно поправляет брюки, ерошит волосы, залихватски сдвигает шапочку на самый затылок и затем, изобразив благодушие, тронутое печалью, принимает грациозную позу и пытается куда-нибудь спрятать ноги.

Сначала я подумал, что он заметил какую-нибудь знакомую девушку; я стал оглядываться, чтобы выяснить кого именно. Тут я увидел, что все вокруг одеревенели. Все застыли в таких затейливых и прихотливых позах, какие я видел только на японском веере. Девушки улыбались. О, как они были милы! А молодые люди хмурились, и лица их выражали величие и суровость.

Тут, наконец, истина постигла меня, и я испугался, что не успею. Наша лодка была впереди всех, и я рассудил, что с моей стороны испортить фотографа снимок будет просто невежливо.

Я быстро повернулся лицом и занял позицию на носу, опершись на багор с небрежным изяществом, — принял такой аттитюд, по которому бы стало понятно, какой я сильный и ловкий. Я поправил прическу, выпустил на лоб прядь и придал лицу выражение ласковой грусти с легким оттенком цинизма, что, как говорят, мне идет.

Пока мы стояли так в ожидании решительного момента, сзади раздался голос:

— Эй! Посмотрите на нос!

Я не мог оглянуться и выяснить, что там случилось и чей это был нос, на который следовало смотреть. Я бросил украдкой взгляд на нос Джорджа. Нос как нос (во всяком случае, исправлять там было нечего). Тогда я покосился на свой, но и там все было вроде как надо.

— Посмотрите на нос, осел вы этакий! — крикнул тот же голос громче.

Затем другой подхватил:

— Вытаскивайте скорее свой нос, эй, там! Вы, двое с собакой!

Ни Джордж, ни я оглянуться не решались. Фотограф уже взялся за крышечку, и снимок мог быть сделан в любую секунду. Это нам так орут? Ну и что там такое у нас с носами? Почему их надо вытаскивать?

Но тут завопил уже весь шлюз, и зычный глас откуда-то сзади возвзвал:

— Да гляньте же на свою лодку, сэр! Эй, вы, в черно-красных шапках! Быстрей, а то на снимке получатся ваши трупы!

Тогда мы оглянулись и увидели, что нос нашей лодки застрял между брусьями стенки, а вода прибывает, и лодка кренится. Еще секунда — и мы опрокинемся. С быстротой молнии мы схватились за весла; мощный удар в борт шлюза освободил лодку, а мы полетели вверх тормашками.

На этой фотографии мы с Джорджем получились плохо. Как и следовало ожидать — это была судьба, — фотограф пустил в ход свою бесовскую

машину как раз в тот момент, когда мы лежали на спинах, болтая ногами как сумасшедшие, а на наших физиономиях было написано «Где мы?» и «Что случилось?»

Главным композиционным элементом на фотографии оказались, без сомнения, наши четыре ноги. Потому что больше почти ничего не было видно. Они заняли передний план целиком. За ними можно было разглядеть очертания других лодок и фрагменты окружающего пейзажа; все остальное, однако, в сравнении с нашими ногами имело настолько безнадежно несущественный и жалкий вид, что пассажиры других лодок просто устыдились собственного ничтожества и карточки заказывать не стали.

Владелец одного парового баркаса, заказавший шесть штук, отменил заказ как только увидел негатив. Он сказал, что возьмет карточки, если ему покажут, где его паровой баркас. Но никто показать не смог, потому что баркас находился где-то за правой ногой Джорджа.

С этой фотографией вышло вообще много неприятностей. Фотограф считал, что мы должны были взять по дюжине штук каждый, поскольку заняли девять десятых площади снимка. Но мы отказались. Мы сказали, что не прочь фотографироваться во весь рост, но предпочитаем делать это в корректной ориентации.

Уоллингфорд, который на шесть миль выше Стратли, — городок очень древний; он являлся активным центром по производству английской истории. Во времена бриттов это был примитивный, вылепленный из грязи поселок; бритты жили здесь до тех пор, пока римские легионы не прогнали их и не заменили глиняобитные стены мощными укреплениями, следы которых Время не смогло уничтожить до наших дней — так здорово умели строить каменщики тех древних времен.

Но Время, пусть и споткнулось о римские стены, вскоре обратило в прах самих римлян, и после них дикари-саксы дрались здесь с мамонтами-датчанами, пока не пришли норманны.

Город, укрепленный и обнесенный стенами, простоял до самой Парламентской войны, когда Фэйрфакс подверг его долгой и жестокой осаде*. Уоллингфорд наконец пал, и стены его были разрушены до основания.

От Уоллингфорда к Дорчестеру окрестность реки становится гористее, разнообразнее и живописнее. Дорчестер стоит в полукиле от берега. Если лодка у вас небольшая, к городку можно подобраться на веслах по Тему, но лучше все же причалить у Дэйского шлюза и пройтись пешком по лугам. Дорчестер — обворожительно мирный старинный городок, уютно дремлющий в безмятежности и покое.

Дорчестер, как и Уоллингфорд, был городом уже в древности; он назывался тогда Кайр Дорен, «город на воде». Позднее римляне поставили здесь огромный лагерь; окружающие укрепления видно до сих пор, как не высокие слаженные холмы.

В саксонские дни Дорчестер был столицей Уэссекса. Город этот очень древний и когда-то был велик и мощен. А теперь он стоит себе в стороне от шумного света, тихонько дремлет и видит сны.

Вокруг Клифтон-Хэмпдена — деревушка просто прелестная, старомодная, покойная, вся в изящном цвету — речной пейзаж роскошен и великолепен. Если вам придется заночевать в Клифтоне, лучше всего остановиться в «Ячменной скирде». Это, бесспорно, на реке самая чудная, самая старинная гостиница. Она стоит справа от моста, довольно далеко от деревни. Маленькие фронтончики, соломенная крыша и решетчатые окна придают ей совершенно сказочный вид, а внутри там и вообще как «в некотором царстве, в некотором государстве».

Героине современного романа, однако, останавливаться в этой гостинице не стоит. Героиня современного романа, как правило, «царственно высока» и постоянно «выпрямляется в полный рост». В «Ячменной скирде» она бы каждый раз билась головой в потолок.

Для пьяного эта гостиница — место также неподходящее. Слишком здесь много сюрпризов в виде всяких нежданных ступенечек — то вниз из одной комнаты, то вверх в другую. Что подняться в спальню, что, поднявшись, отыскать постель — ничто из таких предприятий ему не осуществить никогда.

Наутро мы встали рано, потому что хотели попасть в Оксфорд к полуночью. Просто удивительно, как рано встаешь, когда ночуешь на открытом воздухе. Как-то не особо хочется полежать «еще пять минут», когда лежишь завернувшись в плед на дне лодки, с саквояжем вместо подушки, — как обычно хочется на перине. Мы покончили с завтраком и прошли Клифтонский шлюз уже к половине девятого.

От Клифтона до Калэма берега тянутся плоские, нудные и неинтересные, но после Калэмского шлюза — это самый холодный и глубокий шлюз на реке — пейзаж оживляется.

В Эбингдоне река подходит прямо к улицам. Эбингдон — типичный провинциальный городок: спокойный, чрезвычайно респектабельный, чистенький и отчаянно скучный. Он гордится своей древностью, но ему вряд ли сравниться с Уоллингфордом и Дорчестером. Когда-то здесь стояло знаменитое аббатство, и теперь в том, что осталось от священных стен, варят горькое.

В эбингдонской церкви св. Николая стоит памятник Джону Блэкгулу и его жене Джейн, которые после долгой и счастливой супружеской жизни скончались в один и тот же день, 21 августа 1625-го года. А в церкви св. Елены есть запись о мистере У. Ли, умершем в 1637-м году, который «имел в жизни своей от чреспы своих потомства двести без трех». Если попробовать посчитать, получится, что семейство мистера Ли насчитывало сто девяносто семь человек. Мистер У. Ли (пять раз избирающийся мэром Эбинг-

дона) был, без сомнения, благодетелем своего поколения; но я надеюсь, что в наш перенаселенный девятнадцатый век таких осталось уже немного.

Между Эбингдоном и Ньюэм-Кортни Темза очаровательна. В Ньюэм-парке побывать весьма стоит. Он открыт по вторникам и четвергам. Во дворце собрана богатая коллекция картин и редкостей, а сам парк очень красив.

Бьеф под Сэнфордской перемычкой, сразу под шлюзом, — очень подходящее место для того, чтобы утопиться. Подводное течение здесь просто страшное; стоит вам туда угодить — и дело в шляпе. Здесь установлен обелиск, отмечающий место, где уже утонули двое купальщиков. Ступеньки этого обелиска обычно служат трамплином для молодых людей, которые стремятся проверить, как здесь на самом деле опасно.

Иффлийский шлюз с «Мельницей», в миle от Оксфорда *, — излюбленный сюжет среди братьев по кисти, обожающих речную сцену. Реальный объект, однако, после картин вызывает значительное разочарование. Вообще, я заметил, в этом мире мало что как-то соответствует своему изображению на картинке.

Иффлийский шлюз мы прошли около половины первого и затем, приведя лодку в порядок и приготовив все к высадке, двинулись на приступ по следней мили. Чтобы разобраться в этом участке реки, на нем нужно родиться. Я бывал здесь неоднократно, но освоиться так и не смог. Человек, способный пройти прямым курсом от Иффли до Оксфорда, вероятно, сумеет ужиться под одной крышей с женой, тещей, старшей сестрой и старой семейной служанкой его младенческих лет.

Сначала течение тащит вас к правому берегу, потом к левому, потом выносит на середину, разворачивает три раза, снова уносит вверх и заканчивает, как правило, попыткой распллющить вас о дебаркадер со студентами.

Все это, разумеется, послужило причиной того, что на протяжении данной мили мы постоянно становились поперек дороги другим лодкам, а они — нам; а это, разумеется, послужило причиной того, что в ход былопущено внушительное количество ненормативной лексики.

Не знаю, почему оно так, но на реке все становятся просто до крайности раздражительны. Пустяковые казусы, которые на суще проходят почти незаметно, доводят вас практически до исступления, если случаются на воде. Когда Джордж с Гаррисоном разыгрывают из себя ослов на суще, я снисходительно улыбаюсь. Когда они идиотничают на реке, я употребляю такие ругательства, от которых кровь стынет в жилах. Если наперерез моей лодке лезет другая, мне хочется схватить весло и поубивать там всех.

Тишайшие, кротчайшие на берегу люди, попав в лодку, становятся буйными и кровожадными. Однажды я совершил плавание с молодой леди. Это была самая ласковая и славная девушка, сама по себе, но слушать, как она выражается на реке, было просто страшно.

— Чтоб ты сдох! — вопила она, когда какой-нибудь злополучный гребец попадался ей на пути. — Надо смотреть, куда прешься!

А если парус не становился как следует, она хватала его, дергала просто зверски и с возмущением объяняляла:

— Нет, вот ведь гаденыш!

И тем не менее, как я уже говорил, на берегу она была мила и добросердечна.

Речной воздух оказывает разворачивающее влияние на характер; и это, я думаю, та причина, по которой даже грузчики с барж иной раз нагрубят друг другу, допустив выражения, о которых, не сомневаюсь, в спокойную минуту жалеют.

* * *

ГЛАВА XIX

Оксфорд. — Рай в представлении Монморанси. — Лодка, которая берется напрокат в верховьях Темзы: ее привлекательность и преимущества. — «Гордость Темзы». — Погода меняется. — Река в разных аспектах. — Нерадостный вечер. — Тоска по недостижимому. — Ободрительная беседа. — Джордж играет на банджо. — Траурная мелодия. — Еще один мокрый день. — Бегство. — Скромный ужин и тост.

В Оксфорде мы провели два очень приятных дня. В Оксфорде навалом собак. В первый день Монморанси дрался одиннадцать раз, во второй — четырнадцать и определенно считал, что попал в рай.

Среди людей по природе своей слишком хилых (или слишком ленивых, с кем как), чтобы наслаждаться греблей против течения, распространен обычай нанимать в Оксфорде лодку и спускаться оттуда вниз. Для энергичных, однако, путешествие вверх по течению однозначно более предпочтительно. Все время плыть по течению не полезно. Гораздо больше удовлетворения — бороться с ним, распрямляя спину, и наперекор ему прокладывать дорогу вперед. Во всяком случае, так мне кажется, когда Гаррис с Джорджем гребут, а я сижу на руле.

Тем же, кто все-таки предполагает стартовать в Оксфорде, я рекомендую запастись собственной лодкой (если, конечно, не получится запастись чужой без риска попасться). Лодки, которые дают напрокат за Марло, в общем, очень хорошие лодки. Они почти не текут и, если с ними обращаться бережно, разваливаются на куски или тонут нечасто. В них есть на что сесть, и есть все необходимое — или почти все необходимое, — чтобы грести и править.

Но они не эффектны. Лодка, которая берется напрокат за Марло, не та лодка, в которой можно рисоваться и пускать в глаза пыль. Лодка, которая берется напрокат в верховьях Темзы, очень скоро кладет конец всяkim подобного рода глупостям со стороны своих пассажиров. Это ее главное — и, пожалуй, единственное — достоинство.

Человек в лодке, которая берется напрокат в верховьях Темзы, склонен к скромности и уединению. Он предпочитает держаться в тени, под деревьями, и путешествует большей частью либо рано утром, либо поздно вечером, когда людей на реке немного.

Когда человек в лодке, которая берется напрокат в верховьях Темзы, видит знакомого, он вылезает на берег и прячется за деревом.

Однажды летом я был в компании, которая взяла напрокат лодку в верховьях Темзы на несколько дней. Никто из нас до тех пор не видел лодки, которая берется напрокат в верховьях Темзы, и когда мы ее увидели, то не поняли, что это такое.

Мы заказали по почте четырехвесельный скиф. Когда с чемоданами мы спустились на пристань и назвали себя, лодочник воскликнул:

— Как же, как же! Это вы заказали четырехвесельный скиф. Все в порядке. Джим, тащи сюда «Гордость Темзы».

Мальчик ушел и через пять минут возвратился, с трудом волоча за собой фрагмент ископаемой древесины, по всей видимости откопанный совсем недавно, причем откопанный неосторожно, с нанесением в процессе раскопок неоправданных повреждений.

Лично я при первом взгляде на данный предмет решил, что это какой-то реликт эпохи Древнего Рима. Реликт чего именно — я не понял; скорее всего гроба.

Верховья Темзы изобилуют римскими древностями, и мое предположение показалось мне весьма вероятным. Однако один из нас, серьезный юноша, смысливший кое-что в геологии, мою древнеримскую теорию осмеял. Он сказал, что даже наиболее посредственному интеллекту (категория, к которой он, к его глубокому сожалению, мой собственный откровенно причислить не может) совершенно ясно, что предмет, обнаруженный мальчиком, является окаменелым скелетом кита. И он указал нам на ряд признаков, свидетельствовавших о том, что ископаемое должно принадлежать к додедниковому периоду.

Чтобы урегулировать конфликт, мы обратились к мальчику. Мы сказали, чтобы он не боялся и сообщил правду как есть. Была ли окаменелость китом пребиблейских времен или гробом эпохи раннего Рима?

Мальчик сказал, что это была «Гордость Темзы».

Подобный ответ со стороны мальчика мы сначала нашли весьма остроумным, и за такую тонкую сообразительность кто-то даже выдал ему два пенса. Но когда он уперся и шутка, как нам показалось, стала переходить границы, мы разозлились.

— Ладно, юноша! — оборвал его наш капитан. — Хватит нам тут болтать. Тащи это корыто обратно к мамаше, а сюда давай лодку.

Тогда к нам вышел сам шлюпочник и заверил нас, своим словом специалиста, что данный предмет на самом деле является лодкой; больше того, это и есть тот самый «четырехвесельный скиф», выбранный для нашего сплава по Темзе.

Мы разворчались. Мы считали, что он мог бы, по крайней мере, ее побелить или просмолить — в общем, сделать хоть что-нибудь, чтобы она

отличалась от обломка кораблекрушения хоть как-нибудь. Но он не находил в ней никаких изъянов.

На наши замечания он даже обиделся. Он сказал, что выбрал для нас лучшую лодку из всего своего фонда и что мы еще должны сказать спасибо. Он сказал, что «Гордость Темзы», как она тут стоит (или, вернее, находится), так прослужила верой и правдой сорок лет только на его памяти; никто никогда на нее не жаловался, и он вообще не поймет, с чего бы нам теперь вздумалось.

Мы больше не спорили.

Мы связали части этой так называемой лодки веревочками, раздобыли немного обоев, налепили их на самые обтрепанные места, сотворили молитву и ступили на борт.

За шестидневный прокат останца с нас содрали тридцать пять шиллингов. На любом складе, где продается плавник, мы приобрели бы такой предмет, со всеми потрохами, за четыре шиллинга и шесть пенсов.

На третий день погода испортилась (простите, я говорю уже о теперешнем путешествии), и из Оксфорда в обратный путь мы вышли под самым дождем, мелким и нудным.

Река — когда солнце блестит в танцующих волнах, красит золотом серозеленые стволы буков, сверкает во тьме прохладных лесных троп, прогоняет с мелководья тени, швыряется с мельничных колес алмазами, шлет по целуи кувшинкам, резвится в пенистых запрудах, серебрит мшистые мости и стены, ласкает всякий крохотный городишко, озаряет каждую лужайку и тропку, прячется в тростниках, смеется и подглядывает из бухточек, блистаает радостно на парусах, наполняет воздух нежностью и сиянием — это волшебный золотой поток.

Но река — холодная и безрадостная, когда нескончаемые капли дождя падают на сонные темные воды, как будто где-то в мрачном покое плачет женщина, а леса, угрюмые и молчаливые, стоят в своих мглистых саванах по берегам как некие привидения, как безмолвные духи, с укоризной взирающие на зло, как духи забытых друзей, — это призрачные воды в стране пустых сожалений.

Солнечный свет — это горячая кровь Природы. Какими тусклыми, какими безжизненными глазами взирает на нас мать-Земля, когда солнечный свет покидает ее. Тогда нам тоскливо с нею; она как будто не узнает нас и не любит нас. Она подобна вдове, потерявшей любимого мужа: дети трогают ее за руки, заглядывают в глаза, но она даже не улыбнется им.

Целый день мы гребли под дождем — тоска просто ужасная. Сначала мы делали вид, что нам это нравится. Мы говорили, что вот оно, разнообразие, и нам интересно познакомиться с Темзой во всех аспектах. Нельзя же расчитывать, что солнце будет сиять все время, да нам этого и не хотелось. Мы уверяли друг друга, что природа прекрасна даже в слезах и т. д. и т. п.

Мы с Гаррисом, первые несколько часов, были просто в восторге. Мы за-тянули песню о цыганской жизни — как она восхитительна, открыта грозе, солнцу и каждому ветру! — и как цыган радуется дождю, и какая дождь для него благодать, и как он смеется над всеми, кому дождь не нравится.

Джордж веселился болеедержанно и не расставался с зонтиком.

Перед завтраком мы натянули брезент и так плыли до самого вечера, оставив лишь узкий просвет на носу, чтобы можно было шлепать веслом и нести вахту. Таким образом мы прошли девять миль и остановились на ночлег чуть ниже Дэйского шлюза.

Если честно, что вечер мы провели славный, я сказать не могу. Дождь лил с молчаливым упорством. В лодке все отсырело и липло к рукам. Ужин не удался. Холодный пирог с телятиной, когда есть не хочется, тошнотворен. Мне хотелось отбивной и сардин. Гаррис пробормотал что-то насчет палтуса под белым соусом и отдал остатки своего пирога Монморанси (который от них отказался и, будучи таким предложением явным образом оскорблён, отошел и усился в конце лодки, один).

Джордж потребовал прекратить разговоры о подобных вещах — во всяком случае, до тех пор, пока он не покончит с холодной отварной говядиной без горчицы.

После ужина мы сыграли в «Наполеон»*. Мы играли часа полтора, причем Джордж выиграл четыре пенса (Джорджу всегда везет в картах), а мы с Гаррисом проиграли ровно по два.

Тогда мы решили прекратить азартные игры. Как сказал Гаррис, они порождают нездоровые чувства, если переувлечься. Джордж предложил продолжить, чтобы мы смогли отыграться, но мы с Гаррисом в поединок с Судьбой предпочли не вступать.

После этого мы приготовили пунша, уселись и завели беседу. Джордж рассказал об одном знакомом, который два года назад поднимался вверх по реке, ночевал в сырой лодке (точно в такую погоду) и схватил ревматизм. Спасти его не удалось никак; через десять суток он умер в страшных мучениях. Джордж сказал, что его знакомый был совсем молод и как раз собирался жениться. По словам Джорджа, это был один из наиболее скорбных случаев, ему известных.

Это навеяло Гаррису воспоминания о приятеле, который служил в волонтерах и, будучи в Олдершоте*, однажды ночевал в палатке («точно в такую погоду», отметил Гаррис); утром он проснулся калекой на всю жизнь. Гаррис сказал, что, когда мы вернемся в город, он познакомит нас с этим приятелем; у нас обольются кровью сердца, когда мы увидим его.

Естественным образом завязалась увлекательная беседа о радикулитах, лихорадках, простудах, бронхитах и пневмониях. Гаррис заметил, что если кто-то из нас посреди ночи вдруг разболеется, это будет весьма неприятно, учитывая, как далеко мы от доктора. Нам не хотелось кончать беседу на

такой невеселой ноте, и я, недолго думая, предложил Джорджу вытащить банджо и исполнить нам, что ли, комические куплеты.

Должен сказать, Джордж не заставил себя упрашивать. Он не стал лепетать вздор вроде того, что «забыл ноты дома» и так далее. Он немедленно выудил свой инструмент и заиграл «Волшебные черные очи» *.

Я всегда считал «Волшебные черные очи» вещью довольно банальной — до этого самого вечера. Джордж обнаружил в ней такие залежи скорби, что я был попросту изумлен.

По мере того как траурная мелодия развивалась, нас с Гаррисом одолевало желание броситься друг другу в объятия и зарыдать. Огромным усилием воли мы подавили подступающие к глазам слезы и внимали страстному, душераздирающему напеву в молчании.

Когда подошел припев, мы даже сделали отчаянную попытку развеселиться. Снова наполнив стаканы, мы затянули хором; Гаррис запевал, дрожащим от волнения голосом, а мы с Джорджем за ним:

Волшебные черные очи,
Я вами сражен наповал!
За что вы меня погубили,
За что я так долго...

Тут мы не выдержали. Непередаваемый пафос, с которым Джордж прокомпанировал слова «за что», в нашем теперешнем состоянии мы вынести не смогли. Гаррис рыдал как ребенок, а собака так выла, что я испугался, как бы дело не кончилось разрывом сердца или голосовых связок.

Джордж захотел продолжить и исполнить еще куплет. Он считал, что когда лучше овладеет мелодией и сможет вложить в исполнение больше «энергии», она будет звучать не так грустно. Большинство, однако, оказалось настроено против эксперимента.

Делать было больше нечего, и мы отправились спать — то есть разделись и начали ворочаться на дне лодки. Часа через три-четыре нам удалось забыться каким-то сном, а в пять утра мы уже поднялись и позавтракали.

Второй день как две капли воды был похож на первый. Дождь лил не переставая, и мы, закутавшись в макинтоши, сидели под брезентом и медленно дрейфовали.

Кто-то из нас — точно не помню, вроде даже как я — предпринял, по мере того как продолжалось утро, несколько убогих попыток снова понести вчерашнюю цыганскую чепуху (мы, мол, дети Природы, у которой нет плохой погоды, и т. д. и т. п.). Но это не встретило одобрения целиком и полностью. Строчка:

Льет дождь — ну что ж, и пусть!

с такой мучительной очевидностью выражала наши чувства, что ее можно было просто не петь.

В одном мы были единодушны: будь что будет, но мы будем стоять до последнего. Мы собирались наслаждаться двухнедельным плаванием по реке, и мы намерены наслаждаться двухнедельным плаванием по реке. Пусть мы при этом погибнем! Что ж, это будет грустная новость для наших друзей и родственников, но ничего не поделаешь. Мы чувствовали, что отступить перед погодой в климате, подобном нашему, значит создать самый губительный прецедент.

— Осталось только два дня, — сказал Гаррис, — а мы молоды и сильны. В конце концов, мы, может быть, это переживем.

Около четырех мы приступили к обсуждению планов на вечер. Мы как раз прошли Горинг и решили добрести до Пенгборна, чтобы стать там на ночь.

— Еще вечерок на славу, — пробурчал Джордж.

Мы сидели и размышляли о том, что нас ждет. В Пенгборне мы будем часов в пять. С обедом можно управиться, скажем, к половине седьмого. Потом мы будем бродить под проливным дождем по деревне, пока не придет время спать, или, устроившись в полуутенном баре, изучать календарь.

— В «Альгамбре» и то было бы веселее*, — сказал Гаррис, отважившись на секунду высунуть голову и обозревая небо.

— А потом бы мы поужинали у ***¹, — добавил я машинально.

— Да, я почти жалею, что мы решили не бросать лодку, — ответил Гаррис, после чего воцарилось молчание.

— Если бы мы не решили обречь себя на верную смерть в этом гнусном старом гробу, — заметил Джордж, окинув лодку взглядом, исполненным глубокой ненависти, — то стоит заметить, что в начале шестого, насколько я помню, из Пенгборна отходит поезд. Мы успели бы в Лондон как раз вовремя, чтобы перекусить, а потом отправиться в заведение, о котором ты говоришь.

Ему никто не ответил. Мы поглядели друг на друга, и, казалось, каждый прочел на лице остальных свои собственные низкие и греческие мысли. Не говоря ни слова, мы вытащили и проверили кожаный саквояж. Мы оглядела реку вверх и вниз по течению. Кругом — ни души!

Двадцать минут спустя можно было увидеть, как трое мужчин, сопровождаемые сконфуженным псом, крадучись пробираются от лодочной станции у гостиницы «Лебедь» в направлении станции железнодорожной. Одежда их не отличалась ни элегантностью, ни экстравагантностью: черные

¹ Замечательный ресторанчик на отшибе неподалеку от ***, где можно заказать легкий ужин или обед по-французски, несравненный по изысканности и дешевизне, с бутылкой превосходного «Бюно» за три с половиной шиллинга. Только я не такой идиот, чтобы его рекламировать.

кожаные башмаки — грязные; фланелевые лодочные костюмы — чрезвычайно грязные; коричневые фетровые шляпы — совершенно измятые; плащи — насквозь промокшие; зонтики.

Лодочника в Пенгборне мы обманули; у нас не хватило духу сознаться, что мы бежим от дождя. Лодку со всем, что в ней содержалось, мы оставили на его попечение и велели приготовить к девяти утра. *Если же, сказали мы, случится что-либо непредвиденное, отчего мы не сможем вернуться, мы сообщим ему почтой.*

Мы прибыли на Паддингтонский вокзал в семь часов и помчались в тот ресторан, о котором я говорил. Там мы разделили легкую трапезу, оставили Монморанси, вместе с указаниями насчет ужина, который следовало приготовить к половине одиннадцатого, и продолжили путь в направлении Лестер-сквер.

В «Альгамбре» мы стали центром внимания. Когда мы подошли к кассе, нас невежливо перенаправили на Касл-стрит за угол, сообщив, что мы опаздываем на полчаса.

Мы все-таки убедили кассира, с некоторым трудом, что мы вовсе не «всемирно известные акробаты с Гималайских гор»; он принял деньги и позволил войти.

Внутри нас ждал еще больший успех. Наши бронзовые физиономии и живописный костюм привлекали восхищенные взоры всюду. Мы произвели сенсацию.

Это был великий момент для всех нас.

После первого балетного номера мы удалились и направились в ресторан, где нас уже поджидал ужин.

Должен признаться, ужин доставил мне удовольствие. Целых десять дней мы пробовались, в общем-то, только холодным мясом, кексами и хлебом с вареньем. Диета простая и питательная, но совершенно неувлетательная. Поэтому аромат бургундского, запах французских соусов, длинные ломти хлеба и сияющие салфетки как долгожданные гости возникли в дверях наших душ.

Сперва мы упивались в полном молчании, выпрямившись и крепко ухватив ножи с вилками; но вот наступила минута, когда мы откинулись и задвигали челюстями медленно и лениво. Вытянув под столом ноги и уронив на пол салфетки, мы окинули критическим взглядом закопченный потолок, которого до этого не замечали, отставили подальше бокалы и преисполнились доброты, глубокомыслия и всепрощения.

Тогда Гаррис, который сидел у окна, отдернул штору и посмотрел на улицу.

Мостовая мрачно мерцала в сырости, тусклые фонари мигали при каждом порыве ветра, струи дождя хлестали по лужам и устремлялись по желобам в канавы. Прохожие, немногочисленные и насквозь промокшие, сгор-

бившись под зонтиками, с которых лила вода, торопились прочь; женщины высоко подбиравали юбки.

— Что ж, — молвил Гаррис, протягивая руку к бокалу, — путешествие вышло на славу, и я от души благодарен старушке Темзе. Но я думаю, мы правильно сделали, что смотали все-таки удочки. Итак, за Троих, благополучно выбравшихся из лодки!

И Монморанси, стоя на задних лапах перед окном и глядя во тьму, тявкнул в знак решительной солидарности с тостом.

* * *

«Тroe за границей» критиковали как слабое приложение к «Трем в лодке...». Критиковали незаслуженно — «велосипедисты» написаны с той же яркостью и энергией.

Книга вышла в 1900 году — время расцвета викторианской «велосипедной мании», возникшей с распространением двухколесных «безопасных велосипедов» после изобретения надувных шин в 1888-м. Велосипеды только что стали таким же привычным предметом в жизни, каким мы их видим сегодня. Несмотря на минувший век, многие замечания Джерома по поводу велосипедов и велосипедных изобретений по-прежнему актуальны и смешны.

Такого, однако, нельзя сказать о наблюдениях Джерома о немце и немецком характере: и то и другое изменилось так же, как изменился со времен викторианской эпохи сам англичанин. Комические стереотипы Джерома в отношении страны и ее жителей объективно устарели вместе с «кайзеровской Германией» — и тем более интересны с социально-исторической точки зрения.

Таким наблюдениям за характером немца в общем и в частности Джером (к самодовольству читателя-англичанина) уделяет много места. Его замечания ироничны и проникнуты немалой симпатией (стоит отметить, что школа имперской Германии, со всей свойственной ей серьезностью, на многие годы приняла книгу для хрестоматийного чтения). Удивляют прорицания Джерома в отношении социальных потрясений, которые начали происходить в стране вскоре после выхода книги.

За всем этим не стоит терять из вида поездку — *raison d'être* самой книги. Книга, и в частности само путешествие, замечательна и считается «почти таким же» шедевром, как «Тroe в лодке...».

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

ТРОЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ГЛАВА I

Троим необходимо сменить обстановку. — Случай, демонстрирующий превратность обмана. — Нравственное малодушие Джорджа. — У Гарриса есть идеи. — Сказ о бывалом моряке и неискоренном яхтсмене. — Душевная команда. — Опасность плавания под береговым ветром. — Невозможность плавания под морским ветром. — Дух противоречия у Этельберты. — Сырость на реке. — Гаррис предлагает тур на велосипедах. — Джордж опасается насчет ветра. — Гаррис предлагает тур по Шварцвальду. — Джордж сомневается насчет гор. — План, который принимает Гаррис для восхождения в горы. — Миссис Гаррис вмешивается.

— Нам нужно, — сказал Гаррис, — сменить обстановку.

В это мгновение открылась дверь, и миссис Гаррис просунула голову, чтобы сообщить: Этельберта послала ее напомнить, что засиживаться нам нельзя — из-за Кларенса.

Этельберта, как мне кажется, нервничает насчет детей больше нужного. На самом деле ничего такого с ребенком, собственно, не случилось. Просто сегодня утром он ходил гулять с тетушкой. А та, только он бросит задумчивый взгляд на витрину кондитера, заводит его внутрь и пичкает пирожными с кремом и «фрейлинками»* — пока он не начнет утверждать, что наелся, и вежливо, но твердо откажется съесть «ну еще капельку». После этого, разумеется, за завтраком он съедает только одну порцию пудинга. А Этельберта решает, что ребенок при смерти.

Миссис Гаррис добавила, что нам тоже нужно пойти наверх, а то мы пропустим, как мисс Мириэль читает «Безумное чаепитие» из «Алисы в стране чудес». Мириэль — второе чадо Гарриса; ей восемь, способная и умница, только я люблю, когда она читает серьезные вещи. Мы сказали, что сейчас докурим сигареты и сразу придем, и пусть Мириэль до нашего прихода не начинает. Миссис Гаррис пообещала, что попробует ей помешать, насколько возможно, и Гаррис, когда дверь закрылась, возобновил свою речь.

— В общем, понятно, — сказал он. — Переменить обстановку полностью.

Вопрос был в том, как это сделать. Джордж предложил уехать «по делу». Больше ничего Джордж предложить, конечно, не мог. Холостяк думает, что замужняя женщина даже не сообразит, как перейти дорогу перед паровым катком. Однажды я знал юного типа, инженера, который тоже собирался поехать в Вену «по делу». Его жена захотела узнать, по «какому» такому «делу». Он сказал, что ему необходимо осмотреть рудники в окрестностях

австрийской столицы и написать о них отчет. Она сказала, что поедет с ним (она была из таких). Он пытался ее отговорить. Он заверял, что на рудниках прелестным молодым женщинам делать нечего. Она сказала, что догадывается об этом сама. (Поэтому она не собирается спускаться с ним в шахты; утром она будет его туда провожать, а потом, пока он не возвратится, будет коротать досуг прогуливаясь по венским магазинам и делая, быть может, кое-какие покупки.) Затеявшую эту катафасию, деваться ему уже было некуда. В продолжение десяти долгих летних дней он посещал рудники в окрестностях Вены и каждый вечер составлял отчеты, которые супруга собственно-ручно отправляла в контору, где они были никому не нужны.

Я буду расстроен, если окажется, что Этельберта и миссис Гаррис при надлежат к подобной разновидности жен. Но «делом» лучше все-таки не злоупотреблять. Его следует приберечь действительно на черный день.

— Нет, — сказал я. — Нужно быть искренним и мужественным. Я скажу Этельберте так: я пришел к заключению, что человеку никогда не оценить счастья, пока оно преследует его неоступно. Я скажу: чтобы научиться ценить это счастье — так, как ценить его следует, — я намереваюсь разлучить себя с ней и с детьми как минимум на три недели. Я скажу, — продолжил я, обернувшись к Гаррису, — что это ты указал мне на мой в этом долг, что это тебе мы обязаны такой...

Гаррис опустил стакан, едва не поперхнувшись.

— Если ты не против, стариk, — перебил он, — то лучше не надо. Она обсудит все это с моей половиной... В общем, на мою долю выпадет слишком много чести.

— Но ты ее заслуживаешь, — подчеркнул я. — Это было твое предложение.

— Да, но с твоей-то подачи, — перебил Гаррис снова. — Помнишь, как ты это сказал... Человеку не стоит входить в колею — это ошибка; от сплошного семейного счастья залипают мозги?

— Я говорил в общем, — стал оправдываться я.

— Но как метко! Я думал сообщить это Кларе. Я знаю, она высоко ценит твой интеллект... Я уверен, если...

— Лучше не пробовать, — перебил я в свою очередь. — Вопрос щепетильный, но я знаю, что делать. Мы скажем, что это предложил Джордж.

Джорджу, как я иногда с огорчением замечаю, не достает отзывчивости и участия. Можно было ожидать, что он обрадуется возможности помочь двум старым друзьям разобраться с дилеммой, но вместо этого он заартачился:

— Да пожалуйста. А я скажу им обеим, что сначала предлагал поехать всем вместе, с детьми и со всеми... И что я взял бы тетушку, и что я знаю в Нормандии прелестный старинный замок, который можно снять, на морском берегу, где климат для слабых детей подходит особенно, а молоко —

какого в Англии не достать. И еще я скажу, что вы такого предложения не одобрили и решили, что нам будет веселее одним.

На такого человека, как Джордж, обходительность не действует; необходимо проявлять жесткость.

— Да пожалуйста, — сказал Гаррис. — А я, например, и соглашусь с предложением. Мы и снимем твой замок. Ты привезешь тетушку — я за этим прослежу сам, — и мы будем услаждаться так целый месяц. Дети от тебя просто без памяти — мы с Джоем будем просто отдыхать. Ты обещал научить Эдгара ловить рыбу; а еще тебе придется играть в зоопарк. Мириэль с Ди-ком только и трещат, с прошлого воскресенья, какой ты гиппопотамище... Мы будем устраивать в лесах пикники — ведь нас будет только одиннадцать человек... А по вечерам мы будем устраивать музыкально-поэтические вечера. Мириэль хорошо знает уже шесть стихотворений — о чем ты, может быть, в курсе, — и остальной народ — шустрый.

Джордж сдулся (он не обладает подлинным мужеством), и сдулся не-красиво. Он сказал, что если мы такие подлые и коварные, настолько вероломные, чтобы опуститься до такой мелочной выходки, ему, конечно, ничего другого не остается, и что, если я не собираюсь кончать всю бутылку кларета единолично, он попросил бы об одолжении оставить ему стаканчик. Он также добавил, несколько нелогично, что да и ради бога; принимая во внимание, что Этельберта и миссис Гаррис — обе женщины с головой, они все равно не поверят, что такое предложение могло изойти от него, Джорджа, и останутся о нем лучшего мнения.

Выяснив этот незначительный момент, оставалось решить вопрос: какого рода обстановку нам выбрать для перемены?

Гаррис, как обычно, стоял за море. Он сказал, что знает яхту — как раз что надо; с ней можно будет управляться самостоятельно, без толпы криворуких лентяев, которые будут слоняться вокруг, на которых придется вдобавок тратиться и которые всю романтику дела только угроют. Дайте ему проворного мальчишку, и он вообще сам ее поведет.

Эту яхту мы знали, о чем ему прямо и заявили. Как-то раз мы на ней уже ходили. Она провоняла трюмной водой и водорослями, больше никаких запахов на ней не было; обычный «морской воздух» там не валялся рядом (чтобы подышать «морским воздухом» с таким же успехом, проще было отправиться на ту же неделю в лаймхаусский док*). От дождя там укрыться негде: кают-компания там — десять футов на четыре (причем половину занимает плита, которая, когда вы пытаетесь ее зажечь, распадается на фрагменты). Ванну вам приходится принимать на палубе (причем всякий раз когда вы вылезаете из лоханки, полотенце улетает за борт). Всю заслуживающую интереса работу выполняют Гаррис с мальчишкой (они тянут парус, берут рифы, отдают якорь, кренгают яхту и все такое), а мы с Джорджем — скобли картошку да драй посуду.

— Ну что ж, — сказал Гаррис. — Возьмем тогда нормальную яхту, со шкипером, и шиканем как следует.

Против этого я запротестовал также. Я такого шкипера знаю. По представлению такого шкипера, «ходить на яхте» — значит лежать в дрейфе (как он это называет, «в виду берега»), где он без затруднений мог бы сообщаться с женой и семейством, не говоря о любимой пивной.

Несколько лет назад, когда я был зелен и неискушен, я как-то нанимал яхту. На этот дурацкий поступок меня толкнуло стеченье трех обстоятельств: мне неожиданно повезло; Этельберта выразила желание подыщать «морским воздухом»; как раз на следующее утро, прихватив случайно в клубе номер «Спортсмена», я наткнулся на следующее объявление:

Любителю парусного спорта. Редкий случай! «Бродяга», 28-тонный ял. Владелец сдает свою «борзую моря» внаем, в связи со срочной командировкой. Срок любой длительности. Две каюты и кают-компания; пианино «Воффенкоф»; новая медь. Условия: 10 гиней в неделю. Обращаться: Пертви и К°, 3-А Баклебери.

Для меня это было как ответ на молитву. «Новая медь» меня не интересовала (если будет какая-то стирка, думал я, она может и подождать*). А вот «пианино „Воффенкоф“» звучало соблазнительно. Я вообразил Этельберту, играющую по вечерам — что-нибудь такое, с припевом (к которому, возможно, после некоторой тренировки могла бы присоединиться команда), — покуда наш стремительный дом несся бы, «как борзая», по серебристым волнам.

Я взял кэб и поехал прямо в Баклебери, 3-А. Господин Пертви оказался скромным на вид джентльменом, с неприхотливой конторой на четвертом этаже. Он показал мне акварель «Бродяги», шедшего крутым галсом. Палуба была наклонена к воде под углом 95 градусов. Человеческих существ на изображении представлено не было; скорее всего, они попадали за борт (я не представляю, как там вообще можно было удержаться не приколотив себя гвоздями). Я указал на это неудобство хозяину, который, однака, разъяснил мне, что на изображении «Бродяга» представлен как раз в тот момент, когда он обходит кого-то во время гонок на приз Медуэй Челлендж* (которую он, как хорошо известно, выиграл). Господин Пертви, таким образом, положил, что об этом событии мне все известно, и задавать вопросы я постеснялся. Два пятнышка около рамы, которые я сначала принял за мотыльков, представляли собой, как выяснилось, второго и третьего призеров этой знаменитой регаты.

Фотография яхты, стоящей на якоре около Грэйвсендса, производила меньшее впечатление, хотя и вызывала ощущение большей остойчивости. Получив удовлетворительные ответы на все вопросы, я нанял яхту на две недели. Как сказал господин Пертви, мне повезло, что яхта требуется только на две недели (позже мне пришлось согласиться): срок просто замечал-

тельно совпадал с броней, следовавшей после меня. Потребуй я не две недели, а три, господин Пертви был бы просто вынужден мне отказать.

Договорившись об условиях найма, господин Пертви спросил, есть ли у меня на примете шкипер. Шкипера у меня не было, что оказалось просто как по заказу (счастье, похоже, само шло ко мне в руки): господин Пертви был уверен, что лучше господина Гойлза, на чьем попечении яхта в данный момент находится, мне просто не найти. Господин Гойлз, как заверил меня господин Пертви, шкипер просто превосходный; человек, знающий море как собственную жену и не утопивший пока никого.

Было еще рано, «Бродяга» стоял в Харидже; я сел на поезд 10:45 с Ливерпуль-стрит и около часа уже был на борту, беседуя с господином Гойлзом. Это был тучный человек с отеческими повадками. Я рассказал ему, что мой план — обогнать внешние Голландские острова и подойти к Норвегии, на что он ответил «Есть, сэр!» и, как показалось, воспринял его просто с энтузиазмом; он сказал, что ему самому такое плавание по душе.

Вопрос о запасе продовольствия, к обсуждению которого мы приступили, он воспринял с еще большим энтузиазмом. Количество провианта, по рекомендованное господином Гойлзом, признаться, меня удивило. Если бы мы жили во времена Дрейка и Испанских завоеваний*, я начал бы опасаться, что он затевает нечто противозаконное. Но он рассмеялся, своим отеческим образом, и заверил меня, что «лишку» в этом нет. А все, что останется, команда поделит между собой и заберет по домам (такой, кажется, был морской обычай). Мне показалось, что «лишку» хватило бы команде на целую зиму, но я не хотел прослыть скаредом и больше ничего не сказал. Затребованное количество спиртного меня удивило также. Я заказал столько, сколько, по идеи, должно было хватить нам самим, но здесь господин Гойлз выступил уже в защиту команды. (К его чести отмечу, со своими людьми он считался.)

— Нам ведь не нужно никаких вакханалий, господин Гойлз, — откликнулся я.

— Вакханалий! — отвечал господин Гойлз. — Да вы что! Им этих жалких капель как раз и хватит, что в чай.

Он объяснил, что его девиз: «Набери хороших людей и обращайся с ними по-хорошему».

— Они будут и лучше работать, — сказал господин Гойлз, — и вернутся еще раз.

Я не хотел, чтобы они возвращались. Мне они и так уже разонравились, еще до того, как я их увидел. Это была команда просто каких-то прожорливых алкоголиков. Но господин Гойлз был такой пылкий и ревностный, а я был такой неопытный, что снова пошел у него на поводу. Он заверил, что эту статью он возьмет под свой персональный контроль и проследит, чтобы ничего не было разбазарено.

Набор команды я предоставил также господину Гойлзу. Он сообщил, что со всем делом может справиться сам, и (ради меня) сам и справится, с помощью двух матросов и мальчика. Если он имел в виду уборку спиртного и провианта, то, я думаю, он предприятие недооценивал (хотя, возможно, он имел в виду управление яхтой).

По дороге домой я зашел к своему портному и заказал прогулочный морской костюм с белой шляпой. Портной обещал подсуетиться и приготовить все вовремя. Затем я поспешил домой и рассказал Этельберте обо всем, что устроил. Ее восторг был омрачен только единственным: успеет ли портниха сшить прогулочное морское платье для нее самой? (Как это было по-женски.)

Наш медовый месяц, который недавно закончился, пришлось нескользко сократить, так что мы решили — приглашать никого не будем и яхта останется исключительно в нашем распоряжении. И я благодарен Небу, что мы так решили. В понедельник мы забрали костюмы и вышли. Не помню, что было на Этельберте, но смотрелось оно просто очаровательно. У меня был темно-синий костюм, отделанный узкой белой тесьмой, что, как я думаю, смотрелось также весьма эффектно.

Господин Гойлз встретил нас на палубе и сообщил, что завтрак готов. Должен заметить, с работой кока онправлялся великолепно. Судить о способностях прочего экипажа возможности мне не выпало. (Теперь, давно успокоившись, могу сказать, что ребята вроде как попались с желанием.)

Мне представлялось, что, как только люди покончат с обедом, мы снимемся с якоря, и я, дымя сигарой, с Этельбертой, стоящей рядом, облокотясь на планшир и буду смотреть на белые скалы отчины, медленно исчезающие за горизонтом. Мы с Этельбертой осуществили свою часть программы и стали ожидать на палубе, предоставленной в наше распоряжение полностью.

— Они вроде как не торопятся, — заметила Этельберта.

— Если за четырнадцать дней, — сообщил я, — они собираются съесть хотя бы половину запасов на этой яхте, у них уйдет масса времени на каждый обед. Лучше не торопить, а то они не осилият и четверти.

— Они, наверно, отправились спать, — заметила Этельберта позже. — Скоро и чай пить пора.

Тишина стояла полная. Я прошел на ют и позвал капитана Гойлза. Звать пришлось три раза, после чего он неторопливо поднялся. С тех пор как мы виделись в последний раз, он как-то постарел и обрюзг. Во рту у него находилась потухшая сигара.

— Когда будете готовы, капитан Гойлз, — сообщил я, — мы выходим.

Капитан Гойлз вытащил изо рта сигару.

— С вашего позволения, сэр, — отвечал он, — сегодня ничего не получится.

— Почему? Чем вас не устраивает сегодня? — удивился я. (Я знаю, матросы люди суеверные; должно быть, понедельник считается у них днем невезучим.)

— Да нет, день сегодня как день, — отвечал капитан Гойлз. — Я про ветер. Похоже, он не собирается меняться.

— А нам что, нужно, чтобы он поменялся? Он ведь дует вроде как раз куда надо, в самую спину?

— Вот-вот, сэр, — сказал капитан Гойлз. — «Куда надо» — это вы правильно, сэр... Все мы там будем, спаси Господи... Если выйдем по этому ветру. Понимаете, сэр, — стал объяснять он в ответ на мой удивленный взгляд, — это то, что у нас называется «береговой ветер». То есть он дует, можно сказать, прямо с берега.

Поразмыслив, я пришел к выводу, что он прав. Ветер дул с берега.

— Может, к утру он и переменится, — обнадежил капитан Гойлз. — Все равно, ветер не сильный, да и яхта ходкая.

Капитан Гойлз вернулся к сигаре, я вернулся на бак и объяснил Этельберте причину задержки. Этельберта, которая была уже не так воодушевлена, как утром, когда мы ступили на борт, пожелала узнать, почему мы не можем отойти от берега, когда ветер с берега дует.

— Если бы он дул не с берега, — сказала Этельберта, — то дул бы с моря и, конечно, придул бы нас к берегу. А сейчас, мне кажется, как раз такой ветер, который нам нужен?

— Это отсутствие опыта, любимая, — сказал я. — Тебе кажется, что это как раз такой ветер, который нам нужен. Но это не так. Это то, что у нас называется «береговой ветер», а ветер с берега всегда очень опасен.

Этельберта пожелала узнать, почему береговой ветер очень опасен.

Ее упрямство привело меня в некоторое раздражение. Возможно, я был несколько не в настроении — монотонная качка небольшой яхты, стоящей на якоре, пылкую натуру угнетает.

— Не могу тебе объяснить, — сказал я (чистую правду), — но поставить парус по такому ветру было бы верхом безрассудства. А ты мне чересчур дорога, дорогая, чтобы я стал подвергать твою жизнь излишнему риску.

Заключение показалось мне весьма изящным, но Этельберта просто отвертила, что в таком случае сожалеет о том, что мы поспешили подняться на борт не подождав до вторника, и ушла вниз.

Утром ветер переменился и задул с севера. Я, будучи на ногах спозаранку, указал на это капитану Гойлзу.

— Да-да, сэр, — высказался он, — просто жалость, сэр, но ничего не делаешь.

— По-вашему, нам и сегодня не выйти? — рискнул я задать вопрос.

Он не разозлился на меня, он только рассмеялся.

— Что же, сэр, если бы вам нужно было идти на Ипсвич, то, конечно,

лучше и не придумаешь. Но нам-то, как вы знаете, нужно идти на голландское побережье. Ничего не поделаешь, сэр.

Я сообщил новости Этельберте, и мы решили провести день на берегу. Харидж — город не бойкий; под вечер, можно сказать, тоскливыи. В Да-веркорте мы взяли по салату и по чашке чая, после чего вернулись на набережную, чтобы найти капитана Гойлза. Мы прождали его целый час. Когда он вернулся, ему было явно веселее, чем нам. (Если бы он лично не заверил меня, что не пьет ничего, кроме стакана грата перед сном, я подумал бы, что он пьян.)

На следующее утро ветер был южный, что привело капитана Гойлза в совершенное беспокойство. Было ясно — и передвигаться, и оставаться на прежнем месте равным образом небезопасно. Нам оставалось лишь уповать, что прежде чем ветер переменится, страшного не произойдет. К этому времени Этельберта прониклась к яхте нерасположением. Она сказала, что предпочла бы лучше провести неделю в пляжной машине: пляжную машину, во всяком случае, не мотает.

Мы провели еще один день в Харидже, еще одну ночь и день следующий. Ветер по-прежнему оставался южным, и мы заночевали в «Голове короля». В пятницу ветер задул строго с востока. Я встретил капитана Гойлза на пристани и предложил, при таких обстоятельствах, выйти. Явным образом моя настойчивость привела его в раздражение.

— Если бы вы в этом больше понимали, — сказал он, — то сами бы знали, что этого делать нельзя. Ветер же дует прямо с моря!

Я сказал:

— Капитан Гойлз, скажите мне, что за предмет я нанял? Это яхта или дебаркадер?

Мой вопрос его, как видно, ошеломил. Он сказал:

— Это ял.

— Я вот что имею в виду, — продолжил я. — Может ли этот ял передвигаться, вообще? Или он здесь на вечном приколе? Если на вечном приколе, скажите мне прямо. Тогда мы возьмем немного плюща в горшках, пустим его по иллюминаторам, подсадим цветов, а на палубе поставим навес, чтобы стало уютней. Если, с другой стороны, он может передвигаться...

— Передвигаться! — перебил капитан Гойлз. — Дайте мне нормальный ветер...

— А что значит «нормальный ветер»?

Капитан Гойлз озадачился.

— За эту неделю, — продолжил я, — у нас был ветер и с севера, и с юга, и с востока, и с запада — во всех сочетаниях. Если на компасе имеется еще какая-нибудь часть света, откуда он может подуть, так и скажите, я буду ждать. Если нет, а якорь не врос в океанское дно, мы сегодня же его поднимаем и смотрим, что будет.

До него дошло, что шутить я не собираюсь.

— Ну что ж, сэр, — сказал он, — вы хозяин, я работник. У меня, слава богу, лишь один несовершеннолетний ребенок. Ваши душеприказчики, надо думать, обойдутся с моей старухой как полагается.

Его серьезность потрясла меня.

— Господин Гойлз, — сказал я. — Будьте со мной откровенны. Есть ли надежда, что наступит такая погода, когда мы сможем убраться из этой проклятой дыры?

К капитану Гойлзу возвратилось сердечное благодушие.

— Понимаете, сэр, — сообщил он, — берег-то весьма хитрый. Если мы выйдем, все пойдет как по маслу, но вот только выйти на такой скорлупке, как эта... В общем, сэр, если быть откровенным... Это дело нешточное.

Я покинул капитана Гойлза, получив заверения, что он будет следить за погодой как мать следит за спящим младенцем (это было его собственное сравнение; я им был весьма тронут). В двенадцать я увидел его опять: он следил за погодой из окна пивной «Якорь и цепь».

Этим вечером, в пять часов, мне улыбнулась удача. На Хай-стрит я встретил двух товарищей-яхтсменов, которым пришлось зайти в Харидж — у них повело руль. Я поведал им свою историю, их больше развеселившую, чем удивившую. Капитан Гойлз и двое его людей по-прежнему вели наблюдение за погодой. Я помчался в «Голову короля» и привел Этельберту в готовность. Вчетвером мы тихонько прокрались на набережную, где нашли нашу шлюпку. На борту находился только юнга; двое моих приятелей взяли яхту под свое начальство, и к шести часам мы весело шли под ветром вдоль берега.

На ночь мы стали под Олдборо, а на следующий день дошли до Ярмута, где (моим друзьям нужно было ехать) я решил яхту бросить. Провиант мы распродали на берегу, рано утром, с аукциона. Я понес убыток, но «сделав» капитана Гойлза, получил удовлетворение. «Бродягу» я оставил на попечение местного морехода, который взялся доставить ее обратно в Харидж за пару соверенов. В Лондон мы вернулись на поезде. Наверно, бывают и не такие яхты, как «Бродяга», и не такие шкиперы, как капитан Гойлз. Но этот случай предубедил меня против тех и других.

Джордж также считал, что яхта потребует немало возни, и мы отбросили эту идею.

— Как насчет реки? — предложил Гаррис. — Как-то раз мы весьма мило провели на ней время.

В наступившей тишине Джордж затянулся сигарой, а я расколол новый орех.

— Река сейчас уже не такая... — сказал я. — Не знаю что, но с речным воздухом что-то творится... Какая-то сырость, что ли... У меня всегда ломит поясницу.

— У меня то же самое, — откликнулся Джордж. — Не знаю как, но я теперь что-то никак не могу уснуть, если рядом река... Как-то раз весной я прогостили недельку у Джо... Каждый раз поднимаешься в семь и потом вообще глаз не сомкнешь...

— Да я так, предложил просто, — отозвался Гаррис. — Я сам тоже не думаю, что мне это подойдет... У меня разыгрывается подагра.

— Вот для меня, — сказал я, — лучше всего горный воздух. Что скажете насчет похода по Шотландии?

— В Шотландии всегда мокро, — сказал Джордж. — Я был в Шотландии... Три недели, в прошлом году, и ни разу не просыхал... Не в том смысле, конечно.

— Вполне сухо в Швейцарии, — заметил Гаррис.

— Если мы отправимся в Швейцарию сами, они этого не перенесут, — возразил я. — Вы знаете, что случилось в прошлый раз. Это должно быть такое место, где тонко воспитанные женщины и дети, по возможности, просто не выживут. Страна плохих гостиниц и неудобных дорог, где придется вкалывать в поте лица, ругаться... Может быть, голодать...

— Тише, тише, — перебил Джордж. — Не забывай, что я тоже еду.

— Придумал! — воскликнул Гаррис. — Велосипедный поход!

На лице Джорджа отразилось сомнение.

— Значит, постоянно тащиться в гору, — сказал он. — И ветер в лицо.

— Точно так же катиться под горку, — сказал Гаррис, — и ветер в спину.

— Что-то я никогда такого не замечал, — уперся Джордж.

— Лучше велосипедного похода ты все равно ничего не придумаешь, — не отставал Гаррис.

Я был склонен согласиться с ним.

— И я скажу где, — продолжил он. — В Шварцальде!

— То есть всегда в гору, — сказал Джордж.

— Не всегда, — отозвался Гаррис. — Скажем, две трети. И еще вы кое про что забыли.

Он опасливо оглянулся и снизил голос до шепота.

— Там есть такие маленькие железные дороги, такие фуникулерчики...

Открылась дверь, и показалась миссис Гаррис. Она сказала, что Этельберта уже надевает капор и что Мириэль, не дождавшись, продекламировала «Безумное чаепитие» без нас.

— Завтра в четыре в клубе, — шепнул Гаррис мне, вставая.

Поднимаясь по лестнице, я передал это Джорджу.

ГЛАВА II

Тонкое дело. — Что могла бы сказать Этельберта. — Что она сказала. — Что сказала миссис Гаррис. — Что сказали Джорджу мы. — Мы отправляемся в среду. — Джордж предоставляет возможность расширить наш кругозор. — Мы с Гаррисом сомневаемся. — Кто на tandemе трудится больше? — Мнение человека на переднем сидении. — Мнение человека на заднем сидении. — Как Гаррис потерял жену. — Багажный вопрос. — Мудрость покойного дядюшки Поджера. — Начало истории о человеке с сумкой.

С Этельбертой я приступил к делу в этот же вечер. Я начал с того, что стал как бы раздражаться по пустякам. По моему расчету Этельберта должна была в этом отношении высказаться. Я это признаю и отнесу на счет умственного переутомления. Это естественным образом приведет к разговору о моем здоровье вообще, где возникнет очевидная необходимость принять безотлагательные и энергичные меры. Я подумал, что, с известным тактом, даже смогу повернуть дело так, что Этельберта сама предложит мне куда-нибудь съездить. Я представлял, как она скажет:

— Да нет, дорогой. Тебе просто нужно сменить обстановку. Не спорь со мной и пожеzzай куда-нибудь, пусть на месяц. Нет, не проси, я с тобой не поеду. Хотя ты бы, конечно, хотел. Общество тебе нужно мужское. Попробуй уговорить Джорджа и Гарриса. Поверь, такой возбудимый мозг, как твой, временами требует передышки от тягот домашних хлопот. Забудь ненадолго о том, что детям нужны уроки музыки, ботинки, велосипеды, настойка ревеня три раза в день... Забудь, что в жизни есть такие вещи, как кухарки, обойщики, соседские псы, счета от мясника... Отправляйся в какой-нибудь зеленый уголок планеты, где для тебя все ново и необычно, где твой перетрудившийся ум обретет мир и свежесть идей. Поеzzай на простор, и дай мне время соскучиться по тебе, поразмыслить о твоей добродетели, о твоем целомудрии. Ведь когда они постоянно рядом, я, по своим качествам, могу позабыть о них — подобно тому, как кто-либо, погрязнув в рутине, теряет внимание к благодати солнца и очарованию луны. Поеzzай и возвращайся отдохнувший душой и телом, возвращайся человеком светлее и лучше, если только это возможно, чем ты был, уезжая.

Но даже сбываясь наши желания никогда не являются в том облачении, которого мы вожделеем. Для начала Этельберта как бы не заметила, что я

стал как бы раздражаться по пустякам. Ее внимание пришло к этому привлекать. Я сказал:

— Прости, дорогая. Что-то я сегодня себя чувствую не особо.

Она сказала:

— О! Что-то я ничего не заметила. Что случилось?

— Не могу сказать что. Но это уже несколько недель вроде.

— А все этот виски, — покивала Этельберта. — Сам-то его не трогаешь, но у Гаррисов... И знаешь ведь, что не переносишь. Тебе вообще много не выпить.

— Это не виски, — отвечал я. — Это гораздо глубже. Подозреваю, это скорее душевное, чем телесное.

— Опять читал свои критические статьи, — произнесла Этельберта уже с большим сочувствием. — Почему ты меня не послушаешь и не выбросишь их в огонь?

— И не критические статьи, — отвечал я. — В последнее время отзывы были вполне лестные... Один или два.

— Тогда в чем дело? — удивилась Этельберта. — Должна ведь быть какая-нибудь причина?

— А ее нет, — отвечал я. — Вот это и удивительно. Могу описать это как просто какое-то странное чувство неуспокоенности — оно овладело мной...

Этельберта оглядела меня с выражением, как мне показалось, некоторого любопытства. Но сказать ничего не сказала, и я продолжил развивать тему сам.

— Эта саднящая монотонность жизни... Эти дни мирного, лишенного событий блаженства... Они пугают.

— Я бы на них ворчать не стала. Могут наступить другие, которые понравятся еще меньше.

— Я не уверен, — отвечал я. — Могу представить, что в жизни, сплошь исполненной радости, даже боль появляется как желанное разнообразие. Мне иногда интересно — не считают ли святые в раю неизменную безмятежность подчас обузой? Для меня самого жизнь, исполненная бесконечного счастья, не нарушенная ни единой нотой противоречия, начнет превращаться, я ощущаю, в безумие. Полагаю, — продолжал я, — я человек странный. Иногда я себя едва понимаю. Бывают моменты, — присовокупил я, — когда я себя ненавижу.

Небольшая речь подобного рода, намекающая на потаенную глубину смутных переживаний, Этельберту часто, бывало, трогала. Сегодня же Этельберта была странным образом неотзычивая. Насчет рап и его возможного на меня действия она предложила не беспокоиться (заметив, что забегать навстречу несчастью, которое, возможно, никогда не случится, было глупо всегда). Насчет же того, что я человек странный, ничего, как она

полагает, не поделаешь, и если люди готовы с этим мириться, то и ладно. А от однообразия жизни, присовокупила она, страдает всякий; в этом она мне посочувствует.

— Ты даже не знаешь, как мне хочется, — сказала она, — куда-нибудь иногда убраться, даже от тебя. Но я знаю, что такого никогда не случится, так что даже и не мечтаю.

Прежде я никогда не слышал, чтобы Этельберта заводила такой разговор. Он удивил и опечалил меня сверх всякой меры.

— Не очень приятное замечание, — хмыкнул я. — Особенно со стороны жены.

— Не очень. Поэтому раньше я всегда молчала. Вам, мужчинам, никогда не понять, — продолжила Этельберта, — что женщина может любить мужчину сколько угодно, но бывают моменты, когда он ей надоедает. Ты даже не знаешь, как мне хочется, чтобы можно было иногда надеть шляпку и убежать, и чтобы никто не спрашивал, куда я иду, зачем я иду, надолго и когда буду обратно. Ты даже не знаешь, как мне иногда хочется заказать обед для себя и детей — чтобы нам понравилось, а ты чтобы раз посмотрел, напялил шляпу и убежал в клуб. Ты даже не знаешь, как мне иногда хочется пригласить какую-нибудь подругу, которую я люблю, а ты, я понимаю, не переносишь; повидаться с людьми, с которыми хочу повидаться я; идти спать, когда хочу спать я; просыпаться, когда хочу просыпаться я. Если двое живут вместе, обоим приходится постоянно жертвовать собственными желаниями ради другого. Так что иногда полезно расслабиться.

Впоследствии, обдумав слова Этельберты, я осознал их мудрость, но тогда, признаюсь, был оскорблен и рассержен.

— Если твое желание, — молвил я, — это отделаться от меня...

— Не петушишься, — ответила Этельберта. — Я хочу отделаться от тебя совсем ненадолго. Как раз чтобы успеть забыть, что в тебе есть пара острых углов... Как раз чтобы успеть вспомнить, какой ты славный в других отношениях... И ждать твоего возвращения, как ждала обычно в прежние дни. Когда не видела тебя постоянно — отчего, наверно, стала к тебе слегка равнодушна, как становишься равнодушен к сиянию солнца только потому, что сияет оно каждый день.

Такой тон Этельберты мне не понравился. В этом с ее стороны проявилось некоторое легкомыслие, не подобающее тому предмету, которого мы коснулись. Чтобы женщина с оптимизмом взирала на возможность трех- или четырехдневной разлуки с мужем — подобное, на мой взгляд, было не совсем красиво; совсем не так, как (в моем представлении) было прилично женщине. На Этельберту это было совсем не похоже. Я пришел в беспокойство. Мне расхотелось ехать в эту поездку. Если бы не Джордж и не Гаррис, я бы от нее отказался. (В любом случае, я не представлял, как можно было сейчас отказаться не потеряв достоинства.)

— Отлично, Этельберта, — отвечал я. — Пусть будет так, как ты хочешь. Если тебе нужен отдых от моего присутствия, отдохай на здоровье. Не будь такое любопытство со стороны мужа наглостью... Я хотел бы узнать, чем ты предполагаешь заняться в мое отсутствие?

— Мы возьмем тот домик в Фолкстоне, — отвечала Этельберта, — и поедем туда с Кейт. И если ты хочешь уdragить Кларе Гаррис, — прибавила Этельберта, — то уговоришь Гарриса, чтобы он поехал с тобой, и тогда Клара сможет к нам присоединиться. Когда-то мы очень славно проводили время втроем, когда вас, мужчин, еще не было, и было бы так здорово теперь тряхнуть стариной! Как ты думаешь, — продолжила Этельберта, — ты сможешь уговорить Гарриса?

Я сказал, что попробую.

— Вот милый! — воскликнула Этельберта. — Уж постараитесь! Джордж тоже мог бы с вами поехать.

Я ответил, что в поездке от Джорджа особого толка не будет: он холостяк, и, таким образом, его отсутствие никому на пользу особо пойти не сможет. Только женщины никогда не понимают сатиры. Этельберта просто заметила, что если мы его не возьмем, это будет невежливо. Я обещал, что скажу ему.

После обеда я встретился в клубе с Гаррисом и спросил, как у него дела. Гаррис сказал:

— О, все нормально. Уехать вовсе не трудно.

Однако, судя по его тону, что-то было не так, и я настоял на подробностях.

— Она была просто лапочка, — продолжил Гаррис. — Сказала, что у Джорджа замечательная идея и что поездка пойдет мне на пользу.

— Ну, и что? — сказал я. — Что здесь не так?

— Все так, — вздохнул Гаррис, — только это не все. Она завела разговор кое о чем другом.

— Понимаю...

— Этот ее бзик насчет ванной, — продолжил Гаррис.

— В курсе, — покивал я. — Она насчет этого спорила с Этельбертой.

— Ну вот, пришлось соглашаться, раз уж начал... Не мог же я спорить, говорю. Она ведь была просто лапочка насчет поездки. Попал на сто фунтов, как минимум.

— Так дорого?!

— До последнего пенни, — покивал Гаррис. — Одна ванна шестьдесят.

Мне стало его жалко.

— И еще на кухне плита, — продолжил Гаррис. — Все, что последние два года в доме не так, — это все плита на кухне.

— Знаю, — сказал я. — Мы, как поженились, переезжали семь раз, и каждый раз плита была еще хуже, чем предыдущая. А нынешняя не просто не

умеет печь — она вообще какая-то сволочь. Угадывает, когда у нас гости, и лезет из кожи вон, чтобы подгадить.

— Мы вообще собираемся покупать новую, — сказал Гаррис, но как-то без гордости. — Клара считает, что можно здорово сэкономить, если сделать все сразу. Я уверен, — вздохнул Гаррис, — что если женщина захочет бриллиантовую диадему, она скажет, что ее нужно купить, чтобы сэкономить на шляпке.

— Ты прикинул, во сколько тебе обойдется плита? — спросил я. (Вопрос начал меня интересовать.)

— Без понятия, — отвечал Гаррис. — Еще фунтов двадцать, надо думать. В общем, потом разговор зашел насчет пианино. Ты хоть раз замечал, — поинтересовался Гаррис, — чем одно пианино отличается от другого?

— Некоторые вроде как громче. Но ведь привыкаешь.

— У нашего совсем беда с дискантами, — вздохнул Гаррис. — Кстати, что это за дисканты такие?

— Это то, что свербит в конце справа, — объяснил я. — Часть клавиш, которая визжит, как будто ты наступил им на хвост. По ним всегда свиристят в конце эффектных вещей.

— Они хотят, чтобы дискантов было больше, — вздохнул Гаррис. — У нашей старушки их не хватает. Ее придется поставить в детскую, а в гостиную поставить новое.

— А еще что?

— Все... Больше она, кажется, ничего не смогла придумать.

— Вернешься домой — увидишь, что уже придумала, — успокоил я Гарриса, — кое-что.

— В смысле?

— Домик в Фолкстоне.

— И зачем ей домик в Фолкстоне, интересно?

— Чтобы там жить, — предположил я, — летом.

— Да, но она же едет к своим в Уэльс? — озадачился Гаррис. — С детьми, на каникулы, ее приглашали.

— Может быть, — предположил я, — она сначала поедет в Уэльс, а потом поедет в Фолкстон. А может быть, в Уэльс заедет на обратной дороге. Но она желает домик в Фолкстоне, и все тут. Я, может быть, ошибаюсь... Надеюсь, ради твоего блага, что ошибаюсь... Только есть у меня дурное предчувствие, что я не ошибаюсь.

— Эта поездка, — произнес Гаррис, — вылетает в копеечку.

— Идиотская затея, — кивнул я, — с самого начала.

— Мы были дураками, что его послушались, — кивнул Гаррис. — Мы с ним еще влипнем.

— Он всегда был растыкой, — согласился я.

— Тупоголовый чурбан, — приободрил Гаррис.

В эту секунду мы услышали голос Джорджа в прихожей; он спрашивал, нет ли писем.

— Лучше ему ничего не говорить, — предложил я. — На попятный идти слишком поздно.

— Да и смысла нет, — кивнул Гаррис. — Мне так и так теперь делать ванную и покупать пианино.

Вошел Джордж. Он был в отличном настроении.

— Ну как? — спросил он. — Все нормально? Получилось?

Такая его интонация мне не понравилась совершенно (Гарриса, как я заметил, она покоробила также).

— Получилось что? — переспросил я.

— Что что? Отпроситься.

Я почувствовал, что настала пора посвятить Джорджа в сущность вещей.

— В женатой жизни, — сообщил я, — мужчина делает предложение, женщина его принимает. Таков ее долг. Вся религия учит ему.

Джордж сложил руки и заморозил взгляд на потолке.

— Над такими вещами можно и пошутить, и поиздеваться, — продолжил я, — но когда оно происходит, оно происходит так. Мы известили своих жен, что уезжаем. Естественно, они огорчились. Они бы хотели поехать с нами. За невозможностью этого они просили бы нас остаться. Но мы разъяснили им свою волю на этот счет, и... И хватит об этом.

Джордж сказал:

— Извиняюсь, но я что-то не понял. Я всего лишь холостяк. Люди мне говорят одно, другое, третье — я слушаю.

— Вот это и плохо. Когда захочешь что-то узнать, приходи к Гаррису или ко мне. По этим вопросам мы сообщим тебе правду.

Джордж поблагодарил нас, и мы перешли к делу.

— Когда выезжаем? — спросил Джордж.

— Что касается меня, — ответил Гаррис, — чем скорее, тем лучше.

Я понимаю, Гаррис предполагал убраться прежде, чем миссис Г. придумает еще что-нибудь. Мы назначили следующую среду.

— Так что за маршрут? — спросил Гаррис.

— Есть идея, — сообщил Джордж. — Я полагаю, друзья, вы, естественным образом, горите желанием совершенствовать свои умственные способности?

— Монстрами интеллекта нам становиться не нужно, — сказал я. — В разумной степени — да, если этого можно добиться без особых затрат и не сильно себя беспокоя.

— Можно, — сказал Джордж. — Голландию и Рейн мы знаем. Вот и отлично, и мое предложение таково. Берем пароход до Гамбурга, смотрим Берлин и Дрезден, там двигаем в Шварцвальд через Нюрнберг и Штутгарт.

— В Месопотамии, как мне говорили, есть совершенно милые уголки, — пробурчал Гаррис.

Джордж сказал, что Месопотамия нам несколько не по пути, а вот маршрут Берлин — Дрезден вполне реален. К счастью или к несчастью, но он убедил нас.

— Велосипеды, я полагаю, — продолжил Джордж, — берем те же. Я с Гаррисом на tandemе, Джей...

— Ну уж нет, — решительно перебил Гаррис. — Ты с Джоем на tandemе, а я — на одиночке.

— Мне без разницы, — согласился Джордж. — Я с Джоем на tandemе, Гаррис...

— Я не против того, что мне причитается, — перебил я, — но тащить Джорджа всю дорогу я не собираюсь. Груз следует распределить.

— Ну что ж, — согласился Гаррис, — мы распределим его. Но при четком условии, что он *будет работать*.

— Что он *что*? — переспросил Джордж.

— Что он *будет работать*, — повторил Гаррис сурово. — Во всяком случае, в гору.

— Черт возьми! — воскликнул Джордж. — А вам самим что, жир растрясти уже не надо, никак?

Этот tandem всегда является предметом размолвки. Человек на переднем сидении полагает, что человек на заднем ничего не делает. Равным образом, человек на заднем сидении полагает, что движущей силой является он один, а человек на переднем сидении в основном просто пыхтит. Тайна размолвки не раскроется никогда. Когда в одно ухо Благоразумие нашептывает не перетруждаться и не зарабатывать себе порок сердца, в другое Справедливость замечает: «Почему ты должен делать все сам? Это не кэб, а *он* не твой пассажир», *он* же сам ворчит: «Что случилось? Потерял педали?» — это бесит и раздражает.

Гаррис на заре супружеской жизни как-то раз попал в серьезную неприятность — от подобной невозможности знать, чем занимается человек на заднем сидении. Они с женой путешествовали по Голландии. Дорога была каменистой, и велосипед здорово прыгал.

— Держись! — сказал Гаррис, не оборачиваясь.

Миссис Гаррис показалось, что он сказал «Прыгай!». (Почему ей показалось, что он сказал «Прыгай!», когда он сказал «Держись!», никто из них объяснить не может. Миссис Гаррис считает, что «Если бы ты сказал „Держись”, зачем бы я стала прыгать?». Гаррис считает, что «Если бы я хотел, чтобы ты прыгнула, зачем бы я стал говорить „Держись”?». Горечь тех дней миновала, но на этот счет они спорят по сегодняшний день.)

Как бы то ни было, факт остается фактом: миссис Гаррис спрыгнула, а Гаррис продолжил усердно давить на педали, полагая, что супруга по-

прежнему находится у него за спиной. Сначала ей показалось, что он помчался таким образом в гору, чтобы просто порисоваться. Они оба в те времена были молоды, и он, бывало, вытворял подобные вещи. Она думала, что наверху он спрыгнет на землю и, облокотившись на велосипед в изящной небрежной позе, будет ее дожидаться. Когда она увидела, как он, ми новав вершину подъема, помчался, наоборот, дальше по долгому и крутому спуску, она сперва удивилась, потом возмутилась и наконец испугалась.

Она забежала наверх и стала кричать, но он так и не обернулся. Она посмотрела, как он исчез в роще, на расстоянии полутора миль, опустилась на землю и расплакалась. Утром они немного поспорили, и она подумала — может быть, он обиделся по-настоящему и решил ее бросить?!

Денег у нее не было, голландского она не знала. Подошли люди и стали ее жалеть; она попыталась объяснить им, что случилось. Они поняли, что она что-то потеряла, но что именно — понять не смогли. Они привели ее в ближайшую деревеньку и нашли полицейского. Полицейский, руководствуясь жестикуляцией, пришел к заключению, что какой-то человек угнал ее велосипед. К операции был привлечен телеграф, и в какой-то деревне на расстоянии четырех миль был обнаружен молодой горемыка, управляющий дамским велосипедом допотопной конструкции. Его доставили к ней на телеге, но так как никакого интереса ни к велосипеду, ни к мальчику девушка не проявляла, голландцы его отпустили и растерялись.

Между тем Гаррис с большим наслаждением продолжал давить на педали. Ему показалось, что он стал вдруг сильнее, вообще куда более совершенным велосипедистом. Он сказал, обращаясь к воображаемой миссис Гаррис:

— На этом велосипеде мне уже несколько месяцев не было так легко. Я думаю, это все здешний воздух. Он идет мне на пользу.

Потом он сказал, чтобы она не боялась и что сейчас он покажет, как быстро умеет ездить. Он пригнулся к рулю и нажал от души. Велосипед полетел по дороге как птица; фермы и церкви, собаки и цыплята так и мелькали мимо. Старики останавливались и глазели вслед. Дети хлопали ему в ладоши.

Таким образом он несся вперед миль пять. Затем, как он сообщает, ему стало казаться, что что-то неладно. Молчание его не удивляло: ветер свистел в ушах, велосипед гремел. Но некое ощущение пустоты овладело Гаррисом. Он протянул руку назад, однако там ничего не нашлось. Он спрыгнул, вернее, даже свалился с велосипеда и оглядел дорогу. Белой прямой лентой она протянулась по темному лесу, и на ней — ни души. Он снова вскочил в седло и помчался обратно. Через десять минут он оказался на перекрестке, где дорога разделялась на четыре ветви. Он спешился и попытался припомнить, каким рукавом спускался.

Пока он соображал, появился голландец, сидевший на коне по-женски.

Гаррис остановил его и стал объяснять, что потерял жену. Тот не проявил ни удивления, ни сочувствия. Пока они говорили, появился другой фермер, которому первый изложил дело так, будто произошел не несчастный случай, а смешная история. Второго фермера больше всего, как видно, удивил тот факт, что Гаррис устраивал такой шум по таким пустякам. Гаррис не смог добиться толку ни от первого, ни от второго. Проклиная их, он взобрался на свою машину снова и выбрал, наудачу, средний рукав дороги.

На середине подъема ему встретилась компания — две молодые барышни и между ними один молодой человек (причем дамы, похоже, решили использовать этакий шанс до конца). Гаррис спросил, не видели ли они его жену. Они спросили, как она выглядит. Он не знал голландского так хорошо, чтобы объяснить как следует; он мог только сообщить, что это очень красивая женщина среднего роста. Понятно, что такое описание их не удовлетворило, как слишком обыкновенное: так может заявить любой мужчина, намереваясь, возможно, таким образом вступить во владение не прилежащей ему женой. Они спросили, во что она была одета. Хоть убей, но этого он не помнил.

Я сомневаюсь, что существуют мужчины, которые могут сказать, как была одета женщина, с которой они расстались десять минут назад. Он припомнил, что на ней была синяя юбка и еще что-то сверху, от талии и до шеи. Может быть, это была блузка. Ему вроде как запомнился пояс — но какая блузка? Была она зеленая, желтая или голубая? С воротником или крепилась лентой? Что было на шляпке — перья или цветы? И вообще, была ли это шляпка? Он не рискнул отвечать, опасаясь, что ошибется и его зашлют неизвестно куда совсем не по адресу. Обе молодые барышни хихикали, что в текущем расположении духа привело Гарриса в раздражение. Молодой человек, который, как видно, стремился от него поскорее избавиться, посоветовал в ближайшем городке обратиться в полицию.

Гаррис направился в полицейский участок. Полиция выдала ему клочок бумаги и заставила привести полное описание своей жены вместе с подробностями — где и когда он ее потерял. Он не знал, где и когда он ее потерял. Все, что он смог сообщить, — название деревеньки, где они завтракали. Там он еще имел ее при себе, и выезжали они оттуда вместе.

Полиция стала что-то подозревать. Они пришли в сомнение по поводу трех вещей. Во-первых, была ли это его жена на самом деле? Во-вторых, потерял ли он ее на самом деле? В-третьих, почему он ее потерял? С помощью хозяина гостиницы, который немного говорил по-английски, Гаррис тем не менее с сомнительностью полиции совладал. Они пообещали, что делом займутся, и вечером привезли ее в крытом фургоне, в сопровождении счета. Встреча была не сладкой. Миссис Гаррис — актриса никудышная и скрывает чувства всегда с большим затруднением. В этом же случае, как она искренне признаёт, скрыть их она даже не попыталась.

Когда колесный вопрос разрешился, возник неизбывный вопрос багажный.

— Список обычный, я полагаю, — сказал Джордж, приготовившись писать.

Этой мудрости научил их я. А сам я много лет назад научился ей у дядюшки Поджера.

— Всегда, — говорил, бывало, мой дядюшка, — перед тем, как паковать вещи, составь список.

Он был человек методичный.

— Возьми лист бумаги, — всегда начинал он, — и запиши туда все, что тебе только может понадобиться. Потом пройди его заново и посмотри, чтобы там не осталось ничего такого, без чего можно обойтись. Представь, ты в кровати — что на тебя надето? Записывай, и добавь смену белья. Ты встаешь — что ты делаешь? Умываешься. Умываешься чем? Мылом — записывай мыло. И так до конца. Потом берешь одежду. Начинаешь с ног — что ты надеваешь на ноги? Ботинки, туфли, носки — записывай их. И так до головы. Что тебе нужно еще, кроме одежды? Немножко бренди — его тоже записывай. Штопор — записывай. Записывай все, тогда ничего не забудешь.

Этого плана он придерживался неукоснительно. Составив список, он внимательно перечитает его, как всегда советовал, — убедиться, что ничего не забыто. Потом он перечитает его еще раз, чтобы вычеркнуть то, без чего можно и обойтись.

Потом список он потеряет.

Джордж сказал:

— На велосипедах с собой будем брать только то, чтобы хватило на пару дней. Основной багаж из города в город будем пересыпать.

— Нужно быть осторожным, — сказал я. — Я однажды знал человека, который...

Гаррис посмотрел на часы.

— Про него послушаем на пароходе, — сказал он. — Мне через полчаса нужно встречать Клару на Ватерлоо.

— Полчаса не потребуется. Это случилось на самом деле, и...

— Вот и прибереги, — сказал Джордж. — Мне говорили, там в Шварцвальде по вечерам дождливо, вот, может, как раз развлечемся. А сейчас нам нужно закончить список.

Я сейчас вспоминаю, что так и не смог выложить эту историю. Кто-нибудь меня обязательно перебивал. А ведь она случилась на самом деле!

ГЛАВА III

Единственный недостаток Гарриса. — Гаррис и ангел. — Патентованная велосипедная фара. — Идеальное седло. — Специалист по капитальному ремонту. — Его орлиный взор. — Его метод. — Его энергичная самонадеянность. — Его простой не-притязательный вкус. — Его внешний вид. — Как от него избавиться. — Джордж в роли пророка. — Тонкое искусство сварливости на чужом языке. — Джордж как исследователь человеческого естества. — Он предлагает эксперимент. — Его благородие. — Содействие Гарриса гарантируется, на определенных условиях.

В понедельник после обеда ко мне зашел Гаррис. В руке у него была газета. Я сказал:

— Послушай моего совета и оставь все это в покое.

— Оставь все это что в покое?

— Все это новейшее, патентованное, производящее подлинный переворот, не имеющее современных аналогов. Одурячивание, неважно какое, реклама которого сейчас у тебя в руке.

— Ну, не знаю. Там будут крутые горы, которые нужно будет преодолевать. Хороший тормоз, я понимаю, нам пригодится.

— Тормоз нам пригодится, согласен. Но вот какая-нибудь механическая диковина, недоступная нашему разумению, которая никогда не действует когда надо, нам *не* пригодится.

— Эта штука, — сообщил Гаррис, — действует автоматически.

— Можешь не объяснять. Я знаю, как она действует, инстинктивно. На подъеме она заклинит колесо, и так прочно, что нам придется тащить велосипед на горбу. Горный воздух на перевале повлияет на нее благотворно, и она вдруг придет в сознание. На спуске она станет припоминать, какой палкой была в колесе, почтвует угрызения совести и, наконец, впадет в отчаяние. Она скажет себе: «Какой из меня тормоз? Толку от меня этим ребятам — ноль. Я только им гажу. Я дрянь, вот что я такое». И потом, не предупредив ни словом, она зажмет колесо. Тормоз — он и будет тормозить. Оставь его в покое. Ты человек хороший, — заключил я, — но у тебя есть один недостаток.

— Какой же? — отозвался Гаррис озлобленно.

— В тебе слишком много веры. Если ты читаешь рекламное объявление, ты веришь ему изо всех сил. Какой дурак ни придумает что-нибудь для

велосипеда, ты все испробуешь. Твой ангел-хранитель, похоже, дух компетентный и добросовестный и продолжает пока с тобой копаться. Послушай моего совета и не пытай его слишком долго. Ему, должно быть, пришлось потрудиться немало — с тех пор, как ты сел на велосипед. Прекращай себя так вести, а то он рассердится.

— Если бы каждый так рассуждал, жизнь бы стояла на месте во всем. Если бы никто никогда не пробовал новых вещей, мир бы засторился. Только благодаря...

— Я знаю все аргументы, которые может привести спорящая сторона, — перебил я. — Я согласен экспериментировать с новым, когда тебе не исполнилось тридцати пяти. После тридцати пяти, я считаю, человеку дается право подумать и о себе. Мы свой долг в этом отношении выполнили, особенно ты. Ты подорвался на патентованной газовой фаре...

— Ты знаешь, тут я, похоже, сам виноват. Я, похоже, слишком сильно затянул винты...

— Охотно верю. Если где-то что-то можно сделать неправильно, ты как раз так и сделаешь. Эту свою склонность тебе нужно учитывать, это обстоятельство не в твою пользу. Я, кстати, и не заметил, что ты там натворил. Я только помню, что мы тихо-мирно катили по Уитби-роуд, беседуя о Тридцатилетней войне*, как вдруг твоя лампа грохает как пистолетный выстрел и улетает. Я в шоке валяюсь в канаву, а лицо твоей жены, когда я сказал, что ничего страшного не произошло и волноваться не следует... Поэтому что тебя уже несут наверх в спальню, двое... А врач с сестрой будут с минуты на минуту... Лицо твоей жены не изгладилось из моей памяти до сих пор.

— Жалко, что ты ее не подобрал. Хотелось бы знать, почему она так вот грохнула.

— Подбирать лампу было некогда. По моим подсчетам, чтобы ее сорвать, потребовалось бы два часа. А почему она так вот грохнула... Уже один факт, что она рекламировалась как самая безопасная фара в мире сам по себе, — кому угодно, только не тебе — предполагал катастрофу. А потом, — продолжил я, — была еще фара электрическая.

— Да, но она на самом деле здорово светила. Ты же сам говорил.

— Она светила просто блестяще на Кинг-роуд, в Брайтоне, и напугала лошадь. Как только нас застали сумерки за Кемп-тауном, она потухла, и тебя вызывали в полицию за езду без света. Может, ты помнишь все свои послеобеденные катания? Солнце в небе — лампа светит во все свои деньги, а когда наступает время зажигать свет, она естественным образом выдыхается и требует отдыха.

— Да, она несколько раздражала, эта лампа, — пробормотал Гаррис, — я помню.

— Раздражала она меня. А тебе вообще оставалось повеситься. Потом

эти седла, — продолжил я (я хотел, чтобы лекция обрела в душе Гарриса подобающий отклик). — Ты можешь припомнить такое седло из рекламы, которое ты *не* испробовал?

— Но ведь можно, я понимаю, найти нормальное седло!

— И не думай. Нас окружает несовершенный мир, в котором отрада разбавлена скорбью. Возможно, существует обетованный край, в котором велосипедные седла творятся из радуги и набиваются облаками. Но в этом мире проще просто привыкнуть к чему пожестче... Помнишь седло, которое ты купил в Бирмингеме? Развоенное посередине, похожее на пару почек?

— Ты про то, сделанное по анатомическим принципам?

— Очень возможно. На коробке была картинка, а на картинке — скелет. Точнее, та часть, посредством которой сидят.

— Там все было как надо. Там было показано действительное положение...

— Не будем вдаваться в подробности. Эта картинка всегда казалась мне нетактичной.

— С точки зрения медицинской все было правильно...

— Может быть. Человеку, на котором нет ничего кроме костей. Я только знаю, что пробовал его сам и что для человека, на котором есть тело, — это пытка. Каждый раз, когда ты наезжаешь на камешек или борозду, оно тебя... Тяпает. Все равно что едешь на озлобленном раке. А ты ездил так целый месяц.

— За месяц как раз можно оценить вещь по достоинству.

— За этот месяц и твои домашние как раз сумели оценить тебя по достоинству. Если позволишь так выразиться... Твоя жена говорила мне, что ты никогда за всю вашу семейную жизнь не был таким склочником, таким болохульником, как за этот месяц. А помнишь, было еще другое седло, с пружиной внизу?

— Ты имеешь в виду «Сpirаль»?

— Я имею в виду то самое, из которого ты вылетал как чертик из табакерки. Иногда ты падал вниз куда следует, иногда мимо. Я не для того обращаюсь к этим примерам, чтобы пробудить в тебе болезненные воспоминания, нет... Я просто хочу убедить тебя, что заниматься в твоем возрасте экспериментами — безрассудство.

— Я хочу, чтобы ты не заводил волынку насчет моего возраста. Мужчины тридцати четырех лет...

— Мужчине скользки-скользки лет?

— Не хочешь тормозить — не надо. Но если велосипед понесет на спуске и вы с Джорджем пролетите через церковную крышу, то я ни при чем.

— За Джорджа я не ручаюсь. Пустяки его иногда раздражают, как ты знаешь. Если что-нибудь вроде такого произойдет, он может вспылить, да. Но я берусь объяснить ему, что это была не твоя вина.

— Ну, а как с железкой?

— Тандем, — сказал я, — в порядке.

— Ты его осмотрел?

— Я его не осматривал. И никто осматривать его не будет. В данный момент устройство находится в рабочем состоянии и будет находиться в рабочем состоянии до отъезда.

Я имел опыт подобных «осмотров». В Фолкстоне был мастер (я встречался с ним на реке). Как-то вечером он предложил на следующий день прокатиться, и я согласился. Проснулся я ни свет ни заря (ни свет ни заря в моем понимании; для этого пришлось потрудиться, и я был горд собой). Он опоздал на полчаса, и я дожидался его в саду — день занимался чудесный. Он сказал:

— У вас вроде как хороший велосипед. Как он идет?

— Да как все, — ответил я. — Утром нормально, после обеда тяжеловато. Он схватил его спереди за вилку и колесо и жестоко встряхнул.

— Осторожно! Сломаете!

Я не понимал, зачем ему понадобилось встряхивать велосипед (который ему ничего не сделал). Да и потом, если велосипеду требовалась встряска, то трясти должен был я. Я почувствовал себя так, словно он стал лупить мою собаку.

— На переднем колесе восьмерка.

— А вы его не дергайте, и не будет никакой восьмерки.

Никакой восьмерки на колесе не было, ничего такого вообще.

— Это опасно! У вас есть ключ?

Мне следовало проявить твердость, но я подумал, что он, может быть, на самом деле в этом соображает. Я пошел в сарай посмотреть, что там можно было найти. Когда я вернулся, он сидел на земле, зажав переднее колесо между коленями, и болтал его пальцами. Остатки велосипеда валялись рядом на дорожке. Он сказал:

— С вашим передним колесом что-то случилось.

— Похоже на то, — ответил я. (Но он был из тех, что вообще не понимают юмора.)

— Мне кажется, что подшипник совершенно испортился.

— Хватит... Не переживайте на этот счет — это вас утомит... Давайте поставим колесо обратно — и в путь.

— Давайте тогда уж посмотрим, что с ним случилось, раз оно слезло.

Он говорил так, будто колесо отвалилось случайно. Я не успел его остановить, как он что-то где-то открутил, и на дорожку выкатилось с дюжину шариков.

— Ловите их! — воскликнул он. — Ловите! Нельзя потерять ни одного шарика!

Он очень развелновался насчет этих шариков.

Мы проползали ниц около тридцати минут и нашли шестнадцать.

— Будем надеяться, — сказал он, — что шарики мы нашли все. Если шарики мы нашли не все, велосипед, возможно, будет работать совсем по-другому.

Он сказал, что когда разбираешь велосипед на части, наибольшую осторожность следует проявлять именно в отношении шариков. Нужно проследить за тем, чтобы не потерялось ни одного шарика. Он объяснил, что когда шарики вынимаешь, их следует пересчитывать. Следует проследить за тем, чтобы в каждый подшипник вернулось строго исходное их количество. Я пообещал, что если когда-либо буду разбирать велосипед на части, его совет помяну.

Для большей безопасности я положил шарики в шляпу, а шляпу положил на крыльцо. Признаю, это было неблагоразумно. Собственно говоря, это было глупо. Как правило, мозги у меня работают; должно быть, этот тип каким-то образом повлиял на меня.

Затем он сказал, что заодно (пока уж он здесь) сделает мне одолжение и осмотрит цепь, и начал снимать коробку скоростей.

Я пытался отговорить его. Я сообщил ему то, что однажды внушительно заявил мой бывалый товарищ: «Если с коробкой скоростей что-то случается, продавай велосипед и покупай новый — выйдет дешевле». Он сказал:

— Так говорят те, кто ничего не понимает в велосипедах. Нет ничего легче, чем снять коробку скоростей.

Должен признать, он был прав. Меньше чем за пять минут он, разделив коробку скоростей на две половинки, уже лежал на дорожке и разыскивал винтики. Он сказал, что не понимает, как они так исчезают.

Мы по-прежнему искали винтики, когда вышла Этельберта. Она была, как видно, удивлена, обнаружив нас по соседству. Она думала, что мы уехали несколько часов назад. Он сказал:

— Теперь мы уже недолго. Я вот тут помогаю вашему мужу осматривать велосипед. Машина хорошая, но их все нужно иногда осматривать.

Этельберта сказала:

— Когда закончите и захотите умыться, ступайте на кухню. В комнатах только что прибрали.

Она сказала мне, что если увидит Кейт, то, возможно, они поедут с ней покататься под парусом; в любом случае, к завтраку она вернется. Я бы отдал соверен, чтобы поехать с ней. Мне уже стало просто надоедать стоять и смотреть здесь, как этот кретин курочит мой велосипед.

Здравый смысл продолжал напоминать мне: «Останови его, пока он не натворил беды еще больше. Ты обладаешь правом защищать собственное имущество от разорения экстремистами. Возьми его за шкирку и вышвырни за ворота».

Но я проявляю безволие, когда дело доходит до оскорблении чувств ближнего, и он продолжил копаться.

На поиски оставшихся винтиков он махнул рукой. Он сказал, что винтики обладают коварством находиться в такой момент, когда ты этого ожидаешь меньше всего, и что сейчас он будет осматривать цепь. Он затянул ее так, что она не двигалась. Затем отпустил ее вдвое слабее, чем было сначала. Потом он решил, что все-таки следует заняться передним колесом и поставить его на место.

Я раздвигал вилку, а он мучился с колесом. Через десять минут я предложил, чтобы он взял вилку, а я взялся за колесо, и мы поменялись местами. Еще через минуту он бросил велосипед и отправился на прогулку вокруг крокетной площадки, зажав ладони между бедер. В продолжение прогулки он объяснял, что особую осторожность необходимо проявлять в отношении собственных пальцев. Необходимо избегать их попадания между вилкой и спицами колеса.

Я ответил, что, исходя из собственного опыта, убежден, что его слова содержат изрядную долю правды. Он перевязал раны тряпками, и мы снова приступили к делу. В конце концов мы все-таки вставили колесо на место; в тот момент, когда оно там оказалось, он разразился смехом.

— Что здесь смешного? — спросил я.

— Я просто осел!

Это была первая реплика с его стороны, которая вызвала во мне уважение. Я спросил, что привело его к такому открытию.

— Мы ведь забыли шарики!

Я оглянулся — моя шляпа валялась посреди дорожки, а любимый пес Этельберты поспешно подбирал и поедал шарики.

— Он ведь себя угробит! — воскликнул Эббсон (с того самого дня я, слава Создателю, больше его не видел, но помню, что его звали Эббсон). — Ведь они литой стали!

— Насчет этой собаки я не переживаю, — возразил я. — На этой неделе он уже съел шнурок и пачку иголок. Природа — лучший советчик... Щенкам, похоже, требуются стимуляторы подобного рода. Я переживаю насчет велосипеда.

По нраву он был оптимистом. Он сказал:

— Ну что ж, нам нужно вставить обратно всё, что найдем, и довериться Провидению.

Мы нашли одиннадцать шариков. Шесть мы вставили с одной стороны, пять — с другой, и через полчаса колесо снова оказалось на месте. Вряд ли стоит упоминать, что теперь у него на самом деле появилась восьмерка — это заметил бы и ребенок. Эббсон сказал, что пока сойдет так. Похоже, он и сам уже немного устал. Если бы я ему позволил, он, надо думать, ушел бы теперь домой. Но я твердо считал, что он должен оставаться и закон-

чить начатое (кататься я уже и не думал). Мою гордость моим велосипедом он просто убил. Теперь мне хотелось только смотреть, как он режется, бьется и прищемляет пальцы. Я оживил его павший дух стаканом пива и рассудительным одобрением:

— Мне очень полезно смотреть, как вы тут занимаетесь. Меня пленяет не ваше умение и мастерство, нет, но ваша неунывающая самоуверенность, ваш непостижимый оптимизм... Вот что действует на меня благотворно.

Воодушевленный таким образом, он принялся крепить коробку скреплей. Он прислонил велосипед к дому и трудился с одной стороны. Потом он прислонил велосипед к дереву и трудился с другой. Затем велосипед держал я, а он лег на землю, просунул голову между колесами и работал снизу, капая на себя маслом. Затем он забрал машину, сложился через нее пополам, как вьючное седло, и так, потеряв равновесие, съехал на голову. Три раза он говорил:

— Слава Небу! Наконец-то.

А два раза:

— А, ч-черт! Опять.

Что он сказал в третий раз, я стараюсь забыть.

После этого он вышел из равновесия и решил действовать страхом. Велосипед, как я был рад отметить, проявил дух. Последующие мероприятия выродились в обыкновенный бой без правил между ним и устройством. Иной раз на дорожке окажется велосипед, а он сверху; иной раз положение изменится на противоположное — на дорожке окажется он, а велосипед на нем. Вот, упоенный победой, он стоит, зажав велосипед между ног. Но триумф мимолетен: велосипед быстрым внезапным маневром освобождается, оборачивается вокруг и лупит его по голове ручкой руля.

Без четверти час, грязный и растрепанный, израненный, истекающий кровью, он сказал «Ну, вроде бы все», поднялся и утер пот со лба.

Велосипед также получил на орехи. Кто из них претерпел больший урон, сказать было трудно. Я отвел Эббсона на кухню, где он привел себя в порядок (насколько это было возможно без помощи углекислого натрия и подобающих инструментов), и отправил его домой.

Велосипед я погрузил в кэб и отвез в ближайшую мастерскую. Мастер вышел и посмотрел на него.

— Что вы хотите, чтобы я с этим сделал? — спросил он.

— Я хочу, — сказал я, — насколько это возможно, чтобы вы это отремонтировали.

— Уже как бы поздно, — покачал головой он. — Но я постараюсь.

Его старания вышли в два фунта и десять шиллингов. Но машина была уже не та, и в конце сезона я оставил ее у скупщика на продажу. Я не хотел кого-то обманывать. Я попросил агента указать в объявлении, что велоси-

педом год уже пользовались. Агент посоветовал вообще не указывать никакой даты. Он сказал:

— В нашем деле вопрос не в том, что — правда, а что — неправда... Вопрос в том, во что ты заставишь людей поверить. На вид, между нами, велосипеду года не дашь. На вид, если уж на то пошло, ему можно дать все десять. Про год выпуска не будем вообще ничего говорить. Что выручим, то и выручим.

Я доверил дело ему, и он выручил целых пять фунтов (по его словам, больше, чем он рассчитывал сам).

Существует два способа, чтобы получать моцион с помощью велосипеда: его можно «осматривать», а можно просто на нем кататься. В целом я не уверен, что человек, который находит удовольствие в осмотрах велосипеда, попадает пальцем в небо. Он не зависит ни от погоды, ни от ветра; состояние дорог его не тревожит. Дайте ему ключ, узел тряпья, масленку, на что-нибудь сесть — и он будет счастлив в продолжение всего дня. Ему, конечно, придется мириться с определенными недостатками (счастья, чем-то не омраченного, не существует). Сам он всегда выглядит как бродячий лудильщик, а велосипед своим внешним видом приводит к соображению, что его угнали и пытались закамуфлировать (но так как хозяин редко заезжает на нем дальше первого верстового столба, это, возможно, не имеет большого значения).

Ошибка, которую допускают некоторые, заключается в том, что они думают, будто с помощью одного устройства можно заниматься двумя разными видами спорта. Вам следует принять решение, кем вы собираетесь быть: мастером по отладке велосипедов или собственно велосипедистом. Лично я предпочитаю кататься и поэтому забочусь о том, чтобы рядом не возникало никаких искушений его «отлаживать». Если с моей машиной что-то случается, я веду ее в ближайшую мастерскую. Если до города или до деревни идти далеко, я сажусь на обочину и жду какую-нибудь повозку. В этом случае, я всегда считаю, главной угрозой для меня являются странствующие знатоки. Сломанный велосипед для знатока — то же самое, что для стервятника — труп в придорожной канаве. Он падает на него камнем с дружеским воплем триумфа. Сначала я пытался обходиться вежливостью. Я говорил:

— Ничего страшного, не переживайте. Езжайте себе на здоровье, умоляю, сделайте такое мне одолжение. Езжайте своей дорогой, прошу вас.

Опыт, однако, научил меня, что в таком отчаянном положении от обходительности толка нет. Теперь я говорю:

— Убирайтесь подальше и оставьте велосипед в покое. Иначе я размозжу вам вашу тупую голову.

И если на вашем лице решительность, а в руках — добная крепкая дубинка, вам, как правило, удается его отвадить.

Джордж появился позже. Он сказал:

- Ну как, все будет готово?
- Все будет готово к среде, кроме, возможно, тебя и Гарриса.
- Как тандем?
- Тандем, — сказал я, — в порядке.
- Ты его осмотрел?

Я ответил:

— Возраст и опыт научили меня, что существует совсем немного вещей, в которых человек может быть совершенно уверен. Таким образом, в настоящее время для меня остается лишь ограниченное количество вопросов, в отношении которых я могу испытывать ту или иную степень уверенности. Среди таких по-прежнему непоколебленных убеждений, однако, находится и такое, что тандем осмотров не требует. Также предчувствую, что, если останусь в живых, ни единое человеческое существо с настоящего момента и до срены осматривать его не будет.

— Я бы на твоем месте так не кипятился, — сказал Джордж. — Придет день, не такой, может быть, и далекий, когда этот велосипед, несмотря на твое упорное стремление к отдыху, осмотра *потребует*, а до ближайшей мастерской будет пара горных перевалов. Тогда ты начнешь всех дергать — куда, мол, я положил масленку и куда задевал ключ. Потом ты будешь пыжиться, стараясь удержать велосипед у дерева, и требовать, чтобы кто-нибудь почистил цепь и накачал заднее колесо.

Упрек Джорджа был справедлив и содержал определенную долю вещей мудрости.

— Прости, прости мою неотзывчивость... Видишь ли, утром заходил Гаррис...

— Молчи, молчи... Я все понимаю, все... Да и вообще, я зашел поговорить совсем не об этом. Вот посмотри.

Джордж вручил мне книжечку в красном переплете. Это был английский разговорник для немецких туристов. Он начинался разделом «На пароходе» и заканчивался разделом «У доктора». Самый большой раздел был посвящен общению в железнодорожном вагоне. Купе при этом, очевидно, должно будет быть набито склонными и неблаговоспитанными душевнобольными: «Не могли бы вы отодвинуться от меня подальше, сэр?» — «Увы, это невозможно, мадам, мой сосед весьма тучен» — «Не попробуем ли мы расположить наши ноги?» — «Пожалуйста, имейте великодушие держать ваши локти внизу» — «Молю вас, не стесняйте себя, мадам, если мое плечо может оказаться для вас удобным» (как это следует произносить, с сарказмом, или нет, там не указывалось) — «Мадам, я требую, чтобы вы отодвинулись, так как я едва дышу».

По представлению составителя, должно быть, всё купе к этому времени уже будет свалено вперемешку на пол. Раздел заканчивался фразой «Бла-

годарение богу (*Gott sei Dank!*), мы в пункте нашего назначения!» — искреннее восклицание, которое в таких обстоятельствах должно будет произноситься хором.

В конце книги шло приложение; в нем немецкому путешественнику давались полезные советы в том плане, как, пребывая в английском населенном пункте, сохранить покой и здоровье (самым главным советом был следующий: всегда брать с собой достаточный запас дезинфицирующего порошка, всегда запирать на ночь дверь и всегда тщательно пересчитывать сдачу мелкой monetой).

— Издание не блестящее, — заметил я, возвращая книжечку Джорджу. — Такую книгу я бы не стал рекомендовать немцу, который собирается ехать в Англию. С такой книжкой его в Англии не полюбят. Но я читал книжки, изданные в Лондоне для англичан, которые едут за границу... Ничуть не хуже, такая же чушь. Это какой-нибудь как бы образованный идиот, который как бы говорит на семи языках, лезет писать эти книжки и провоцирует дезинформацию и ложное представление о современной Европе.

— Нельзя отрицать, что эти книги пользуются большим спросом. Их покупает тысяча человек, я знаю. В каждом европейском городе должны быть люди, которые изъясняются таким образом.

— Может быть. Но их, к счастью, не понимают. Я и сам видел людей, которые стоят на платформах и на перекрестках и глаголят по этим книжкам. Никто не знает, на каком языке они говорят, и никто даже не представляет, о чем они говорят. Может быть, это и хорошо... Если их поймут, то, возможно, побьют.

— Может быть, ты и прав. Я хочу посмотреть, что случится, если их поймут. Мое предложение: в среду утром приехать в Лондон пораньше. Походим часок-другой с этой книгой по магазинам. Мне, среди прочего, кое-что нужно — шляпу и пару тапочек. Наш корабль отходит от Тилбери в двенадцать, и у нас как раз будет время. Я хочу испробовать этот способ общения, чтобы оценить его действие должным образом. Я хочу понять, что чувствует иностранец, когда с ним говорят вот так.

Мне показалось, идея имела все шансы. Меня охватил энтузиазм, и я предложил Джорджу пойти с ним и подождать у входа в магазин. Я сказал, что Гаррис также будет не против присоединиться — ко мне.

Джордж сказал, что его замысел не совсем таков. По его плану мы с Гаррисом должны сопровождать его и внутри магазина. Если Гаррис, который внушительно выглядит, обеспечит ему поддержку (а я стану у входа, чтобы, в случае необходимости, позвать полицию), он хотел бы рискнуть.

Мы пошли к Гаррису и вынесли предложение на рассмотрение. Он исследовал книжку, особенно главы, имеющие отношение к покупке шляп и тапочек. Он сказал:

— Если Джордж в любом обувном или шляпном магазине озвучит сие написанное... Моя поддержка ему не потребуется. Ему потребуется сани-тарная карета.

Здесь Джордж рассердился:

— Ты говоришь, будто я какой-то бестолковый мальчишка, сорвиголова! Я буду выбирать то, что более-менее вежливо и не так возмутительно. Серьезных оскорблений я буду избегать.

При таком условии Гаррис предоставил свое согласие, и отъезд был назначен на среду рано утром.

* * *

ГЛАВА IV

Почему Гаррис считает, что в доме будильник не нужен. — Социальный инстинкт юного поколения. — Что думает ребенок об утренней поре. — Бдительный страж. — Его непостижимость. — Его чрезмерное рвение. — Мысли, приходящие ночью. — Чем человеку можно заняться до завтрака. — Хорошая овца и дурная овца. — Невыгодное положение добродетели. — Новая плита Гарриса начинает за упокой. — Как мой дядюшка Поджер выходил каждый день из дома. — Почтенный джентльмен в роли скаковой лошади. — Мы прибываем в Лондон. — Мы говорим на языке путешественников.

Джордж приехал во вторник вечером и остался ночевать у Гарриса. Такой вариант устраивал нас больше, чем его собственный, когда нам пришлось бы захватывать его по дороге. «Захватывать» Джорджа утром — значит для начала извлекать его из постели и трясти, пока не проснется (занятие утомительное само по себе, и еще не хватало начинать с него деньги). Затем нужно помогать ему разыскивать вещи, заканчивать за него упаковку, после чего ждать, пока он позавтракает (мероприятие с точки зрения очевидца утомительное, выполненное цепенящего однообразия).

Вот если Джордж останется у Гарриса, то проснется вовремя. Я у Гарриса ночевал и знаю, чем такое кончается.

В районе полуночи, как вам кажется (хотя в действительности, возможно, и позже), вы, только уснув, в страхе вылетаете из постели — по коридору, как раз напротив вашей двери, бросается в бой, судя по грохоту, кавалерийский отряд. Вы, наполовину во сне, наполовину проснувшись, растеряны — то ли это грабители, то ли настал Судный День, то ли просто взорвался газ. Вы садитесь и внимательно вслушиваетесь. Долго ждать не приходится: секунду спустя на дверь обрушивается свирепый удар; кто-то (или что-то), очевидно, слетает с лестницы на чайном подносе.

— Вот видишь! — раздается голос.

Тотчас же нечто упругое (судя по звону, голова) бьет рикошетом от двери. Тем временем вы в смятении мечетесь по комнате, пытаясь одеться. Там, где вы побросали все накануне, ничего нет; самые существенные предметы вашего туалета исчезли без остатка; между тем убийство — или восстание, или что бы там ни было — беспрепятственно продолжается. На секунду вы замираете, засунув голову под шифоньер, где, по вашему предположению, могут обнаружиться тапочки, — тогда доносится мощный бой

в какую-то далекую дверь. Жертва, заключаете вы, спряталась за этой дверью. Сейчас они его выволокут и прикончат. Только успеть!

Удары смолкают, и кроткий голосок, сладко-вкрадчивый в своей мягкой скорби, вопрошает:

— Папочка, мне можно вставать?

Что говорит другой голос — не слышно, но первый отвечает:

— Нет, это просто ванночка... Нет, совсем не ушиблась, ни капельки...

Промокла только немножко. Да, мамочка, хорошо, я им скажу, скажу. Нет, ну мы-то ведь не нарочно! Да, да, спокойной ночи, папочка!

Затем тот же голосок, напрягаясь так, чтобы его было слышно в другом конце дома, сообщает:

— Все, возвращайтесь наверх!!! Папа сказал, что вставать еще рано.

Вы возвращаетесь в постель и лежите, прислушиваясь к тому, как кого-то волокут наверх, очевидно против воли волокомого. Комнаты для гостей у Гаррисов рассудительно устроены как раз под детской. Тот же самый волокомый, делаете заключение вы, по-прежнему проявляя самое похвальное сопротивление, укладывается обратно в постель.

Вы в состоянии отследить состязание с большой точностью, так как всякий раз когда тело обрушивается на пружинный матрац, кровать — у вас прямо над головой — как бы подпрыгивает; и всякий раз когда телу удается вырваться снова, вы догадываетесь об этом посредством глухого удара в пол.

Спустя какое-то время схватка стихает (или, может быть, ломается кровать), и вы погружаетесь в сон. Но в следующий миг (или как вам спросонья покажется) вы снова открываете глаза, чувствуя, что на вас смотрят. Дверь приоткрыта, и четыре серьезных лица, нагромоздившись одно над другим, глазеют на вас, как будто вы некая загадка природы, находящаяся на хранении в специализированном помещении. Заметив, что вы проснулись, верхнее лицо, невозмутимо растолкав трех прочих, проходит и непринужденно присаживается на постель.

— О! — говорит оно. — А мы и не знали, что вы не спите. Я вот уже не сплю.

— Я так и понял, — отвечаете вы кротко.

— Папа не любит, когда мы просыпаемся рано, — продолжает оно. — Он говорит, что когда мы встаем, в доме никому нет покоя. Так что нам, конечно, нельзя.

В словах сквозит спокойная покорность судьбе. Это чувство одухотворенное целомудренной гордостью, исходящее из осознанного самопожертвования.

— То есть вы еще как бы не встали? — предполагаете вы.

— Нет, еще не совсем. Видишь, мы еще не совсем одеты. (Факт очевиден сам по себе.) Папа по утрам очень всегда устает, — продолжает голос. —

Конечно, он ведь страшно много работает днем. А ты вообще устаешь по утрам?

Здесь чадо оборачивается и замечает, что трое остальных ребят также вошли за ним в комнату и сидят на полу полукругом. Выражение физиономий присутствующих сообщает, что происходящее они принимают за не особо увлекательное мероприятие, некую комедийную лекцию или представление фокусника, и терпеливо ожидают момента, когда вы, наконец, выберетесь из постели и займетесь, наконец, делом.

Их присутствие в спальне гостя вашего посетителя возмущает. Он властно приказывает им удалиться. Они ему не отвечают, они не спорят с ним. В мертвой тишине и единственным порывом они набрасываются на него. С постели вам виден только беспорядочный клуб перевитых с ногами рук, напоминающий пьяного осьминога, пытающегося нашупать дно. Если вы спите в пижаме, вы высказываете из постели, тем самым добавляя сумятицы. Если на вас менее притязательное одеяние, вы остаетесь на месте и выкрикиваете команды, игнорируемые целиком и полностью.

Проще всего оставить все на усмотрение старшего. Спустя какое-то время он таки выпроваживает их и закрывает дверь. Она немедленно открывается, и кто-нибудь (как правило, Мюриэль) снова влетает в комнату — девочкой словно выстреливают из катапульты. Мюриэль имеет физический недостаток — длинные волосы, которые можно использовать как удобный темляк. Будучи, по видимости, осведомлена об этом своем естественном недостатке, одной рукой она крепко хватает их, другой наносит удары. Старший брат открывает дверь снова и искусно использует девочку как таран против стенки обороныющихся, подобным преимуществом не обладающих. Вам слышен глухой удар — голова Мюриэль разбивает ряды и разносит их. Когда победа одержана, братец возвращается и снова занимает место на вашей постели. Он не горит возмущением — инцидент предан забвению.

— Я люблю утро, — объясняется он. — А ты?

— Иногда, — соглашаетесь вы, — вполне себе ничего. Иногда не все так спокойно...

Ваше замечание он игнорирует. Он смотрит куда-то вдаль, и лицо его просветляется.

— Я бы хотел умереть утром, — вздыхает он. — Утром ведь так все прекрасно.

— Что ж, — соглашаетесь вы. — Если твой папа разок оставит здесь на ночь злобного дядю... И не предупредит ни о чем заранее...

Созерцательность покидает его, и он становится самим собой снова:

— А вот в саду весело! Вставай и пошли играть в крикет, ну!

Ложась спать, вы строили другие планы на утро. Однако сейчас, когда дело приняло такой оборот, вам все равно — что принять приглашение, что лежать и безнадежно таращиться в потолок; вы соглашаетесь.

Позже вы узнаёте, что, утомившись, как оказалось, бессонницей, вы поднялись ни свет ни заря и подумали: не сыграть ли мне в крикет? Дети, воспитанные в духе обходительности к гостям, посчитали своим долгом ублажить вас. За завтраком миссис Гаррис заметит, что вы могли, по крайней мере, проследить, чтобы дети были нормально одеты, прежде чем тащить их на улицу. Гаррис же скорбно даст вам понять, что только одним этим утренним мероприятием вы, потворствуя, угробили месяцы воспитательного труда.

Утром в среду Джордж пожелал быть на ногах, кажется, уже в четверть шестого, и навязал детям уроки велосипедного мастерства в огурцовых парниках на новой машине Гарриса. Даже миссис Гаррис, однако, не стала обвинять Джорджа в этом случае. Она интуитивно почувствовала, что целиком такая идея от него исходить не могла.

Дело не в том, что дети Гаррисов имеют определенное представление, как можно уйти от вины за счет ближнего. (Принимая ответственность за собственные злодеяния, они, все как один, сама бесспорочность.) Дело просто в том, каким образом вешь формируется в их представлении. Когда вы объясняете им, что на самом деле не собирались вскакивать в пять утра и мчаться к газону играть в крикет (или разыгрывать сцену из истории ранней церкви, расстреливая привязанные к дереву куклы из арбалета), что на самом деле, вообще-то, будь предоставлены собственной инициативе, предпочли бы спокойно поспать, пока вас не разбудят, по-христиански, в восемь утра с чашкой чая, — сначала они изумятся, затем начнут извиняться, затем будут искренне каяться.

В настоящем случае (не настаивая на уточнении чисто академического вопроса — проснулся ли Джордж почти в пять утра по велению естественного инстинкта или от случайно залетевшего в окно самодельного бumerанга) милые дети искренне признали, что винить в раннем подъеме следует их самих. Как сказал старший:

— Ведь нам говорили, что у дяди Джорджа был трудный день. Мы должны были отговорить его, чтобы он не вставал так рано. Это я во всем виноват.

Но случайный перерыв в системе никому не вредит; к тому же, как сказались мы с Гаррисом, для Джорджа это явилось неплохой тренировкой. В Шварцвальде нам придется быть на ногах в пять каждое утро — так мы договорились. (Разумеется, сам Джордж предлагал попяятого. Мы с Гаррисом, однако, возразили, что пяти будет вполне достаточно в любом случае; к шести мы уже будем в седле и успеем по холодку одолеть самую тяжелую часть пути. Иногда можно вставать и раньше — только не превращая это в привычку.)

Сам я в то утро был на ногах уже в пять. Раньше, чем собирался — ложась спать, я сказал себе: «В шесть ноль-ноль».

Я знаю — есть люди, которые могут просыпаться в любое время с точностью до минуты. Положив голову на подушку, они говорят себе, буквально: «Четыре тридцать; четыре сорок пять; пять пятнадцать» — в общем, во сколько надо вставать. Когда часы бьют, они открывают глаза. Вопрос удивительный; чем больше его разбираешь, тем больше в нем обнаруживается загадки. Некое *ego* внутри нас, действуя вполне независимо от нашего сознательного «я», должно быть, умеет вести счет времени пока мы спим. Без помощи часов или солнца, или прочих средств, известных нашим пяти чувствам, оно стоит во мраке на страже. В некий момент оно шепчет: «Пора!» — и мы просыпаемся.

Одному человеку, жившему на реке, по службе требовалось подниматься каждое утро за полчаса до прилива. Этот человек говорил, что ни разу не проспал ни минуты. Под конец он вообще перестал себя утруждать, подсчитывая когда начнется прилив. Он ложился, усталый, спал без снов; и каждым утром, в разное время, этот неведомый страж, постоянный как сам прилив, безмолвно будил его. Блуждал ли дух этого человека во тьме по илистым берегам реки? Или ему были открыты тайны Природы? Неважно что, но для самого человека это оставалось тайной.

В моем же случае моему внутреннему дозорному, возможно, не хватает практики. Он старается изо всех сил, но старается чересчур. Он волнуется и сбивается со счета. Скажу ему, например: «Будьте добры, пять тридцать» — он будет меня, для начала, полтретьего. Я смотрю на часы. Возможно, он посчитал, что я их забыл завести. Я прикладываю часы к уху — они тикают. Нет, он, скорее, подумал, что с ними что-то не так (он-то уверен, что сейчас полшестого, если даже не позже). Чтобы успокоить его, я надеваю тапочки и спускаюсь в столовую посмотреть на часы.

Что случается с человеком, когда он блуждает по дому посреди ночи в халате и тапочках, подробно излагать не требуется. Большинство это знает по опыту. Всякая вещь (особенно если у нее есть острый угол) в малодушном восторге поражает блуждающего. Когда у вас на ногах пара крепких ботинок, предметы расступаются перед вами. Когда вы рискнете появиться у мебели в вязанных шерстяных тапочках, без носков, она является и нападает на вас.

Я возвращаюсь в постель злой как черт и отвергаю его дальнейшее предположение, что все часы в этом доме составили против меня заговор. Чтобы заснуть заново, мне требуется полчаса. Затем я жалею, что с ним связался вообще — с четырех до пяти он будет меня каждые десять минут. В пять часов он, утомившись, отправляется спать сам, препоручив дело служанке, которая будет меня на полчаса позже обычного.

В эту среду он надоел мне до такой степени, что я вскочил в пять просто чтобы от него отделаться. Я не знал, куда себя деть. Поезд отходил после восьми. Весь багаж был упакован и отправлен в Лондон еще накануне,

вместе с велосипедами. Я пошел в кабинет, надеясь с часок поработать. Раннее утро натощак, я делаю вывод, — не весьма подходящее время для эпистолярных усилий. О моих трудах, бывало, отзывались не слишком почтительно, но ничего, достойного трех этих параграфов, никогда еще сказано не было. Я порвал их, бросил в корзину, уселся и попытался припомнить, нет ли у нас какого-нибудь благотворительного фонда по выплате пенсий исписавшимся авторам.

Чтобы спастись от потока таких размышлений, я положил в карман мячик для гольфа, выбрал клюшку и побрел на газон. Там паслась пара овец; они увязались за мной и проявили недюжинный интерес к моим упражнениям. Одна из них оказалась сердечной сочувственной душкой. Я не думаю, что она разбиралась в правилах; я думаю, ей просто импонировало такое невинное развлечение в такое раннее утро. После каждого удара она блеяла:

— Бра-а-а-во, про-о-о-сто бра-а-а-во!

Она была так довольна, будто била сама.

Что касается другой, та оказалась вздорной сварливой штукой и смущала меня так же, как ее подруга воодушевляла.

— Кошма-а-а-р, про-о-о-сто кошма-а-а-р! — комментировала она почти каждый удар. Некоторые удары на самом деле были, вообще говоря, превосходны, но она издевалась просто из духа противоречия, просто чтобы меня побесить. Я это видел.

По самой досадной случайности один из самых ловких мячей угодил хоршой овечке в нос. Здесь плохая овца расхохоталась — расхохоталась явно, бесспорно, хриплым непристойным хохотом. Пока ее подруга стояла как вкопанная, не в силах двинуться от изумления, плохая овца в первый раз сменила пластинку и заблеяла:

— Бра-а-а-во, про-о-о-сто бра-а-а-во! Са-а-а-мый лу-у-у-чший уда-а-а-р!

Я бы отдал полкроны, чтобы под мяч угодила не хорошая овечка, а эта овца. В данном мире страдают всегда добрые и любезные.

Я заигрался в гольф больше чем собирался, и когда Этельберта спустилась сообщить, что уже полвосьмого и что завтрак уже на столе, я вспомнил, что еще не побрился. (Этельберту нервирует, когда я бреюсь на скользкую руку. Как она опасается, посторонних такое бритье может навести на мысль о малодушной попытке самоубийства, и, как следствие, по соседству могут подумать, что мы несчастливы вместе. Кроме того, она намекала также, что мой внешний вид не из таких, с которыми можно шутить.)

В целом я был даже рад, что долгого прощания с Этельбертой не получилось: я не хотел подвергать риску ее здоровье. Но с детьми я был должен попрощаться более основательно (особенно в отношении моих удочек, настойчиво употребляемых ими в качестве крокетных столбиков).

В общем, я ненавижу бегать за поездом. За четверть мили до станции я нагнал Джорджа и Гарриса, которые также спешили. В их случае, как проинформировал меня Гаррис, урывками, пока мы мчались ноздря в ноздрю, винить следовало новую кухонную плиту. Этим утром они опробовали ее в первый раз, и по какой-то причине она взорвала почки и обварила кухарку. Гаррис выразил надежду, что, когда мы вернемся, к плите как-то привыкнут.

На вокзале мы едва успели вскочить на подножку. Пока я сидел, задыхаясь, в купе и переваривал утренние события, перед моим умственным взором предстал яркий образ дядюшки Поджера, который двести пятьдесят дней в году ездил в город поездом 9:13.

От дома дядюшки Поджера до железнодорожной станции восемь минут пешком. Что всегда говорил мой дядюшка:

— Выходи за пятнадцать минут и не торопись.

Что он всегда делал: выходил за пять минут до отправления поезда и мчался как угорелый. Не знаю почему, но в пригородах это обыкновенно. В то время в Илинге проживало немало солидных джентльменов из Сити (многие, надо думать, живут до сих пор), и все ездили в город ранними поездами. Все опаздывали, у всех был черный портфель с газетой в одной руке, зонтик — в другой, и последнюю четверть мили до станции они, посуху или в слякоть, все неслись.

Народ, которому было нечем заняться (главным образом няньшки и рассыльные, по временам в компании с фруктовщиком), собирается обычно ясным утром и глазеет на них, и воодушевляет самых достойных. Вообще же зрелище было не блеск. Бегали они абы как, даже не быстро. Но относились к вопросу серьезно и делали все, что могли. Представление вызывало не столько к чувству прекрасного, сколько к естественному восхищению добросовестным прилежанием.

Иногда в толпе заключались пари, маленькие и безобидные.

— Два к одному против того джентльмена в белом жилете!

— Десять к одному на Паяльную лампу, если не слетит сам по дороге!

— Столько же на Пурпурного императора!*! — (прозвище, дарованное неким юнцом энтомологической склонности некому офицеру в отставке, соседу моего дядюшки, мужчине импозантной наружности в состоянии покоя, но уходящему в глубокий цвет под нагрузкой).

Мой дядюшка сотоварищи направлял в «Илинг Пресс» горькие жалобы о халатности местной полиции; редактор помещал одухотворенные передовицы о падении нравов среди лондонского простонародья, особенно в западных пригородах. Но ни к чему хорошему это не привело.

Причина была не в том, что мой дядюшка вставал недостаточно рано. Причина была в бедствиях, которые сыпались на него в последний момент. Первым делом после завтрака он потеряет газету. Мы всегда знали, когда

дядюшка Поджер что-то терял: следовал возмущенно-разгневанный фразеологизм, посредством которого в подобных случаях дядюшка выражал свое отношение к миру вообще. Не было такого случая, чтобы дядюшка Поджер сказал себе:

— Я беспечный старик. Теряю все подряд и никогда не помню, где что лежит. Сам найти ничего вообще не могу. Всех вокруг я уже просто достал. Я должен взяться за ум и перевоспитать себя.

Наоборот, посредством неких неординарных умозаключений он убеждает себя, что когда что-то теряет, в этом виноват кто угодно в доме, только не он собственно сам.

— Минуту назад я держал ее в этой руке! — закричит он.

По его тону следует сделать суждение, что он живет в окружении чародеев, которые похищают у него предметы просто чтобы поиздеваться над ним.

— Может быть, ты оставил ее в саду? — предположит тетушка.

— Какого-такого мне оставлять газету в саду? В саду мне газета не нужна, газета нужна мне в поезде!

— А в карман ты ее не положил?

— Пощади, матушка! Ты что, думаешь, я бы торчал тут сейчас, без пяти девять, и искал бы ее? А она все это время у меня в кармане? Я дурак, по-твоему, да?

Тут кто-нибудь крикнет:

— А это что? — и протянет ему откуда-то аккуратно сложенную газету.

— Я бы попросил никого не трогать моих вещей, — прорычит дядюшка, свирепо выхватывая газету.

Он откроет портфель, собираясь положить газету, но взглянув на число, остылбенеет, онемев от оскорбления.

— Что-то не так? — спросит тетушка.

— Она позавчерашняя! — ответит дядюшка, в душевной боли не способный даже повысить голос, и швырнет газету на стол.

Будь газета хотя бы однажды просто вчерашней, это внесло бы некоторое разнообразие. Однако газета всегда будет строго позавчерашней (кроме вторника, когда она будет субботней).

Наконец газету для него мы разыщем. Очень часто он на ней просто сидит; в таком случае он улыбнется — не добродушно, но в измаждении, которое одолевает человека, который понимает, что по горькой воле судьбы заброшен в толпу безнадежных кретинов.

— И все это время... У вас перед носом...

Он не закончит (он вообще гордится собственным самоконтролем).

Разобравшись с газетой, он полетит в прихожую, где тетушка Мария ввела в обыкновение держать детвору наготове прощаться с дядюшкой.

Сама тетушка никогда не покидала дом (если только не забежать к со-

седке) не попрощавшись сердечно с каждым членом семьи. «Откуда ты знаешь, — говорила она, — что может произойти».

Кого-нибудь одного, разумеется, не хватает; выявив недостачу, остальные шестеро тотчас, улюлюкая, бросятся врассыпную на поиски. Как только они исчезнут, пропажа обнаружится сама по себе; она находилась где-нибудь совсем рядом, всегда в состоянии обосновать наиболее уважительную причину, по которой отсутствовала; она тотчас устремляется вслед остальным, чтобы довести до сведения, что нашлась.

Таким образом, пять минут уходит на поиски всеми всех. (Этого как раз хватает, чтобы дядюшка нашел зонтик и потерял шляпу.) Затем, наконец, компания собирается в прихожей снова. Часы в гостиной начинают бить девять. У часов холодный пронзительный звон, всегда приводящий дядю в смятение. В ажитации он поцелует кого-нибудь дважды, кого-нибудь пропустив; забудет, кого целовал, кого нет, и ему придется начинать сначала. (Он всегда говорил, что они путаются нарочно, и я не готов утверждать, что обвинение было полностью лишено оснований.) Вдобавок ко всем неприятностям кто-то обязательно в чем-то измажется, и этот кто-то всегда обожает дядюшку больше всех.

Если все пройдет слишком гладко, старшее чадо начнет сочинять, что все часы в доме опаздывают на пять минут, отчего накануне ему пришлось опаздывать в школу. Дядюшка пулей понесется к воротам, где обнаружит, что забыл как портфель, так и зонтик. Все, кого тетушка не успевает схватить, несутся за ним; двое сражаются из-за зонтика, прочие боятся вокруг портфеля. Они возвращаются; на столике в прихожей мы замечаем самый важный из забытых предметов — газету, и нам весьма интересно, что дядюшка скажет по этому поводу возвратившись.

Мы прибыли на Ватерлоо в начале десятого и безотлагательно приступили к осуществлению Джорджева эксперимента. Открыв раздел, озаглавленный «На бирже извозчиков», мы вступили на экипаж, подняли шляпы и пожелали извозчику «Доброе утро!».

В предмете куртуазности этого человека не смог бы превзойти никакой иностранец (ни живой, ни липовый). Крикнув товарищу по имени «Чарльз!» «Придержи коня!», он соскочил с козел и ответил поклоном, какой сделал бы честь самому г-ну Тервейдропу*. От лица, очевидно, всей нации, он поприветствовал нас в Англии, выразив сожаление, что Ее Величество в данный момент пребывает в загородной резиденции.

Ответить ему по достоинству мы не смогли. Ничего подобного в книге предусмотрено не было. Мы назвали его «возничим» (на что он вновь поклонился до тротуара) и спросили, не окажет ли он нам любезность отвезти нас на Вестминстер-Бридж-роуд.

Он положил руку на сердце и заверил, что это будет для него честью.

Выбрав третью фразу в разделе, Джордж поинтересовался о «стоимо-

сти проезда». Этот вопрос, обозначивший корыстный элемент нашей беседы, по-видимому, чувства извозчика оскорбил. Он сообщил, что с высоких гостей денег никогда не берет. Он бы предпочел простой сувенир — бриллиантовую булавку, золотую табакерку, какой-нибудь подобный пустяк на добрую о нас память.

Так как вокруг уже собралась небольшая толпа, а шутка со стороны кэбмена стала переходить границы, мы поместились внутрь без дальнейших переговоров и укатили, напутствуемые восторженными восклицаниями. Мы остановились у обувной лавки сразу за театром «Эстли»; с виду лавка была как раз что нам надо. Это был один из таких переполненных магазинчиков, которые, отворив утром ставни, извергают товар повсюду вокруг. Коробки с туфлями были свалены на мостовой и в сточной канаве напротив. Туфли висели гирляндами вокруг дверей и на окнах. Ставни, словно грязной виноградной лозой, были увиты черными и коричневыми туфлями. Внутри была туфельная резиденция. Хозяин, когда мы вошли, был занят с молотком и стамеской, вскрывая новую тару с туфлями.

Джордж поднял шляпу и произнес «Доброе утро!».

Хозяин даже не обернулся. С первого раза он показался мне неприветливым человеком. Он проворчал что-то похожее на «Доброе утро!» (а может, и не похожее) и продолжил свое занятие. Джордж сказал:

— Ваш магазин был порекомендован мне моим товарищем, господином N.

В ответ человек должен был заявить:

— Господин N. — человек, заслуживающий наибольшего уважения; окказать услугу какому-либо из его друзей будет для меня величайшей честью.

Что он сказал:

— Не знаю. Никогда не слыхал.

Это сбило нас с толку. В книге давалось три или четыре метода приобретения туфель; Джордж осмотрительно выбрал тот, который фокусировался на «господине N.» (так как представлялся наиболее куртуазным; вы долго беседуете с хозяином об этом «господине N.» и затем, когда таким образом согласие и взаимопонимание установлены, вы, элегантно и непринужденно, касаетесь непосредственной цели визита, а именно: желания приобрести пару туфель, «недорогих и хороших»).

Этот вульгарный, невозвышенный человек не придавал, очевидно, никакой цены тонким достоинствам розницы. Бизнес с подобными экземплярами следовало вести грубо и прямолинейно. Джордж предал «господина N.» забвению и, перевернув страницу, выбрал предложение наугад.

Жребий не оказался счастливым. Применительно к хозяину обувной лавки подобное обращение могло показаться избыточным. В данных же обстоятельствах, когда туфли душили и давили со всех сторон, оно приобретало оттенок явного идиотизма. Оно гласило:

— Мне сказали, что вы держите на продажу туфли.

Здесь человек в первый раз отложил молоток и стамеску и удостоил нас взглядом. Он говорил не спеша, густым хриплым голосом. Он сказал:

— А зачем, по-вашему, я их держу? Нюхать?

Хозяин был из таких, кто начинает спокойно и распalaется постепенно; ярость растет у них как на дрожжах.

— Я что, по-вашему, — продолжил он, — их собираю? Зачем, по-вашему, у меня магазин? Себе на здоровье? Я что, по-вашему, так обожаю туфли, что заснуть без них не могу? Я что, по-вашему, развесил их тут вокруг для пользы зрения? Их что, и так не хватает? Куда, по-вашему, вы попали? На международную выставку туфель? Что, по-вашему, здесь все эти туфли? Музей обуви? Вы когда-нибудь слышали, чтобы человек держал обувную лавку, где не продается обувь? Я что, по-вашему, украшаю свой магазин ботинками, чтобы здесь было уютнее? Я что, по-вашему, полный кретин?

Я всегда считал, что настоящей пользы от подобных разговорников не бывает. Сейчас нам был просто необходим английский эквивалент известного немецкого выражения «Behalten Sie Ihr Haar auf*». Пролистав книгу до последней страницы, ничего подобного мы не нашли. Однако я отдал Джорджу должное: он выбрал наиболее подходящее предложение, которое в издании можно было найти, и применил его на практике:

— Я зайду в другой раз, когда ваш выбор станет богаче. До тех пор — прощайте!

На этом мы вернулись к нашему кэбу и укатили, бросив нашего человека в дверях, разукрашенных обувью. Его замечаний я не рассыпал, но прохожие, как видно, обнаружили в них интерес.

Джордж был за то, чтобы остановиться у другой обувной лавки и повторить эксперимент сначала. Он сказал, что ему на самом деле нужна пара шлепанцев. Но мы убедили его отложить покупку до прибытия в какой-нибудь заморский город, где сословье торговцев, без сомнения, более приспособлено к беседам подобного рода (или просто по природе более дружелюбно). В отношении шляпы, однако, Джордж был тверд как металл. Он заверил, что без шляпы в дороге находиться не может, и, таким образом, мы остановились у магазинчика на Блэкфрейрз-роуд.

Владелец этого магазина оказался оживленным приветливым коротышкой, и не только нам не мешал, но наоборот помогал. Когда Джордж озвучил ему фразу из книги:

— Имеете ли вы в продаже какие-либо шляпы? — он не разозлился, он только замер и задумчиво почесал подбородок.

— Шляпы, — проговорил он. — Дайте подумать... Да, — здесь его приветливый лик озарился улыбкой открытого удовлетворения. — Да, да, да! Вроде бы есть — шляпы! Но скажите, скажите мне, почему вы спрашиваете об этом?

Джордж разъяснил, что ему необходимо дорожное кепи, причем не просто так — ему необходимо «хорошее кепи».

Лицо человека потухло.

— Ах! — воскликнул он. — Тогда, боюсь, вам не ко мне. Если бы вам было необходимо плохое кепи... Да еще за тройную цену... Которым только и можно что вытираять окна... Тогда я бы нашел как раз то, что нужно. Но хорошее кепи... Нет, таких мы не держим. Хотя минуточку, — продолжил он, заметив, как разочарование расплзается по выразительному лицу Джорджа. — Не торопитесь. Есть у меня одно кепи, — он подошел к ящику и открыл его. — Это, конечно, не хорошее кепи... Но и не такая дрянь... Как весь остальной мой товар, — он протянул на ладони кепку. — Ну как?.. Сойдет?..

Джордж примерил ее перед зеркалом и, выбрав еще одну фразу, ответил:

— Эта шляпа подходит мне достаточно хорошо. Однако скажите, считаете ли вы, что она мне к лицу?

Коротышка отступил и оглядел Джорджа орлиным оком.

— Откровенно, — сообщил он, — что это так, сказать не могу.

Он отвернулся от Джорджа и обратился к нам с Гаррисом.

— Красоту вашего друга, — сказал он, — я бы назвал ускользающей... Она присутствует, но как бы и не заметна. В этом кепи, мне представляется, она не заметна.

Здесь Джордж решил, что с коротышкой шутки пора заканчивать. Он заключил:

— Сойдет. Еще опоздаем на поезд. Сколько?

— Цена этого кепи, сударь... Хотя, по-моему, оно и половины того не стоит... Четыре шиллинга шесть пенсов. Прикажете завернуть в желтую бумагу, сударь? Или в белую?

Джордж сказал, что заберет товар в явном виде, заплатил четыре шиллинга шесть пенсов серебром и вышел. Мы вышли за ним.

На Фенчерч-стрит мы сторговались с нашим возничим на пяти шиллингах. Он отвесил нам еще один подобострастный поклон и попросил напомнить о себе австрийскому императору.

В поезде мы сопоставили свои наблюдения и согласились, что проиграли со счетом 1:2. Джордж, который был явно разочарован, выбросил книгу в окно.

Багаж с велосипедами благополучно был на борту, и ровно в полдень, с отливом, нас понесло по течению.

ГЛАВА V

Необходимое отступление, предваряемое историей с назиданием. — Привлекательный аспект этой книги. — Журнал, который не пользовался успехом. — Его хвастливый девиз: «Поучение с развлечением». — Вопрос: где поучение, где развлечение? — Популярная игра. — Экспертное заключение по английскому законодательству. — Еще один привлекательный аспект этой книги. — Избитый мотив. — И еще один привлекательный аспект этой книги. — В каком лесу жила дева. — Описание Шварцвальда.

Есть история про одного шотландца, который влюбился в девушку и захотел взять ее в жены. Как весь свой народ, он, однако, был осмотрителен. В своем кругу он отметил, что многие в целом обещающие союзы приводили к беспокойству и разочарованию целиком по причине ложной оценки женихом или невестой воображаемого совершенства партнера. Он вынес решение, что в его собственном случае никакого крушения идеалов не произойдет. Поэтому его предложение приобрело такой вид:

— Я гол как сокол, Дженнни. У меня нет для тебя ни денег, ни земли.

— Ах, но ведь есть ты сам, Дэви!

— Сам-то, Дженнни, сам, да вот сам — нищий бестолковый чурбан.

— Нет, нет, а сколько других еще хуже тебя, Дэви!

— Не знаю, милая, не знаю... И знать не хочу.

— Пусть муж не красавец, Дэви, зато не будет болтаться по девкам, и дома все будет спокойно.

— Даже не думай, Дженнни, даже не думай. Не всё же одним индюкам пестрым кур топтать! Я с детства за каждой юбкой таскаюсь. Ты от меня напершишься, так и знай.

— Но у тебя доброе сердце, Дэви! И ты ведь меня любишь, я знаю!

— Люблю-то, Дженнни, люблю, да вот не знаю, сколько еще пролюблю. Да и сердце-то у меня доброе только когда все по-моему и никто меня не выводит. А так я просто как черт — спроси вон у матушки у моей, это у меня в отца, видать, бедного. И чем дальше, тем хуже.

— Ну, это ты слишком так про себя, Дэви. Ты парень честный. Я тебя лучше тебя самого знаю, ты и хозяин хороший.

— Может быть, Дженнни, может быть, да вот водится за мной кое-что... Несладко жене придется, когда муж только и смотрит в бутылку. Чуть виски запахнет — у меня глотка как у лосося. Лезет, лезет, и все мне мало.

- Но ты ведь такой милый трезвый-то, Дэви!
- Милый-то, Дженнини, милый — если не лезет никто.
- Но ты ведь не бросишь меня, Дэви? Будешь работать?
- Бросить-то вроде не брошу, только насчет работы даже не заикайся — я про работу даже думать не могу.
- Но ты ведь постараешься, Дэви?.. Священник вон говорит — выше себя не прыгнешь...
- Постараться-то постараюсь, да вот толку что, Дженнини? Даже если и постараюсь, много не выйдет, не думай. Мы все слабые грешные твари, Дженнини, а что до меня — таких поискать еще.
- Ну ладно, ладно, зато на язык ты не врун, Дэви! Вон сколько парней, наврут девчонке бедной с три короба, а потом — слезы! Ты со мной, Дэви, честный, я, наверно, пойду за тебя... А там будет видно.

О том, что там оказалось видно, история умолчала, но понятно: пенять на товар женщина не имела права ни при каких обстоятельствах. Пытаясь она или нет — женщины не всегда распоряжаются языком в соответствии с логикой (да и мужчины, коли на то пошло) — сам Дэви должен был быть спокоен, сознавая, что ни один упрек им не заслужен.

Я хочу быть столь же искренним с читателем этой книги.

Я хочу добросовестно выложить все ее недостатки. Я не хочу, чтобы кто-нибудь пребывал в заблуждении насчет этой книги.

Никакой полезной информации в этой книге не будет.

Всякий, кто подумает, что с помощью этой книги сможет совершить турне по Германии и по Шварцвальду, скорее всего, потерянется еще не добрашившись до Нора. И это не самое страшное, что с ним может случиться. Чем дальше от дома он окажется, тем только в большие неприятности попадет.

Быть источником полезной информации — не мой конек. Это убеждение досталось мне не от природы, оно явилось ко мне с опытом.

На заре своей карьеры журналиста я работал в одной газете, предтече многих очень популярных современных изданий. Мы гордились тем, что совмещали поучение с развлечением. Что надо было считать поучением, а что развлечением — читатель определял сам.

Мы давали советы людям, собирающимся жениться, — серьезные, обстоятельный советы, которые, если бы им кто-то следовал, превратили бы наших читателей в предмет зависти всего женатого мира.

Мы сообщали подписчикам, как нажить состояние разводя кроликов, давали факты и цифры. (Подписчиков, должно быть, несколько удивлял тот факт, что сами мы не бросили журналистику и не ударились в кролиководство.) Я неоднократно, привлекая строго авторитетные источники, информировал наших читателей, что человек, начиная с двенадцати кроликов селекционных пород, к концу третьего сезона будет должен, без особых

затей, обладать доходом в две тысячи фунтов годовых, и этот доход будет быстро расти. Человеку от этого дохода просто некуда будет деться. Таких денег ему, может быть, вообще не захочется; он, может быть, вообще не сообразит, что ему делать с этим доходом, когда тот на него свалится. Но вот он, доход, только бери. Сам я никогда не встречал кроликовода с доходом в две тысячи годовых (хотя знал, как многие начинали с этих двенадцати требуемых кроликов селекционных пород). Что-то в чем-то всегда было не так. (Возможно, неизбытная атмосфера крольчатника истощала здравомыслие и рассудительность.)

Мы информировали наших читателей о количестве лысых мужчин в Исландии (кто его знает, может быть, их действительно было столько); как много копченых сельдей нужно будет уложить от Лондона до Рима, если их укладывать в линию, голова к хвосту (эта информация оказалась бы незаменимой для всякого, кто захотел бы выложить линию копченых сельдей от Лондона до Рима, так как он смог бы заказать необходимое количество в самом начале); сколько лексем использует в течение светового дня среднестатистическая женщина — в общем, много подобного материала, рассчитанного на то, чтобы просветить наших читателей и возвеличить их над читателями прочих журналов.

Мы сообщали читателям, как лечить кошек от эпилепсии. Лично я не считаю (и тогда не считал), что кошек можно вылечить от эпилепсии. Если бы у меня была кошка, склонная к эпилепсии, я бы дал объявление о ее продаже (а то и вообще подарил). Но нашим долгом было предоставлять информацию по первому требованию. Какой-то дурак написал, требуя данных, и я потратил лучшие утренние часы в поисках сведений по указанному предмету. В конце концов я нашел что хотел — в конце старой поваренной книги.

(Что это средство там делало, я не мог понять никогда. К профилю сборника оно не имело никакого отношения вообще; в книге не упоминалось, что кошки обладают приятным вкусом, даже если их вылечить от эпилепсии. Автор поистине вставила этот параграф из чистого великодушия. Могу только сказать, лучше бы она его не трогала: из-за него нам пришлось вступить в тяжелую гневную переписку и потерять четырех подписчиков, если не больше. Один читатель сообщил, что наш совет обошелся ему в два фунта — такова была сумма ущерба, нанесенного кухонной посуде, не говоря о разбитом окне и возможном заражении крови у него самого, вдобавок к тому, что эпилепсия у его кошки приобрела еще более тяжелую форму. Хотя рецепт был достаточно прост. Вы берете кошку и зажимаете ее между ног — осторожно, чтобы ей не было больно, — и ножницами делаете быстрый точный надрез на хвосте. Отрезать от хвоста кусок не следует; нужно проявить аккуратность и сделать только надрез. Как мы объяснили читателю, операцию следовало проводить в саду или в угольном подвале;

оперировать кошку на кухне, да еще без помощи ассистентов, стал бы только идиот.)

Мы давали подсказки по этикету. Мы сообщали читателям, как обращаться к пэрам и архиепископам, как надо есть суп. Мы наставляли застенчивых юношей, как добиваться непринужденного стиля в салонах. Мы учили танцам кавалеров и дам с помощью чертежей. Мы разрешили все духовные метания наших подписчиков и снабдили их кодексом такой морали, какой позавидует любой церковный витраж.

В финансовом отношении газета не удавалась; она опередила свое время, и, как следствие, штат был сокращен. Моя вотчина, помню, включала «Советы матерям» (в каких мне помогала моя хозяйка, которая, будучи однажды разведена и похоронив четырех детей, была, я полагал, испытанным авторитетом во всех домашних вопросах), «Мебель и интерьер — советы и чертежи», колонку «Советы начинающим литераторам» (искренне надеюсь, что мое руководство принесло начинающим литераторам пользы больше, чем мне самому) и еженедельную рубрику «С молодым — откровенно», подписанную «дядюшка Генри».

(Этот «дядюшка Генри» был добродушным общительным стариком с обширным и разнообразным жизненным опытом, исполненный к подрастающему поколению благожелательности и сострадания. Когда-то давно, в ранней молодости, с откровенным у него были проблемы, и в этом он разбирался. Я до сих пор перечитываю кое-что из советов «дядюшки Генри», и, хотя самому о себе так говорить не пристало, мне по-прежнему кажется, что советы эти хорошие, просто отличные советы. И часто думаю: если бы я следовал им более тщательно, то был бы сейчас мудрее, совершил бы меньше ошибок и вообще был больше доволен собой — не то что сейчас.)

Тихая изнуренная женщина, снимавшая комнатенку за Тоттенхэм-Корт-роуд (и муж у которой был в сумасшедшем доме), вела у нас «Кулинарные рецепты», «Советы по воспитанию» (советы из нас просто лезли) и полторы полосы «Светских сплетен». Писала она развязным интимным стилем, который, как вижу, даже сегодня не покидает современную прессу полностью: «Должна рассказать вам о просто божественном платье, которое я надевала на Глориос-Гудвуд на прошлой неделе*. Князь С... Ах, уместно ли мне повторять все подряд за глупцами? Но он *чересчур* безрассуден... А наша дорогая графиня, я представляю, ревнует просто *ужас как...*» — и так далее.

Бедняжка! Вижу ее как тогда, в поношенном шерстяном балахоне в чернильных пятнах. Возможно, день на Глориос-Гудвуд или где-нибудь на свежем воздухе и навел бы какой-то румянец на ее щеки.

Наш хозяин (один из наиболее бессовестно невежественных людей, вообще мне известных; помню, он со всей серьезностью информировал какого-то адресата, что Бен Джонсон написал «Рабле», чтобы оплатить по-

хороны своей матушки*; когда его заблуждения изобличались, он только добродушно смеялся) вел раздел «Общие сведения» и вел его, в целом, с помощью дешевой энциклопедии, замечательно хорошо. А наш курьер, имея в ассистентах пару превосходных ножниц, нес ответственность за материал для «Сатиры и юмора».

Работа была тяжелая, платили мало; поддерживало нас понимание того факта, что мы наставляли и совершенствовали своего ближнего. Одна из самых повсеместно и неизменно популярных игр, которые существуют в мире, — игра в школу. Вы собираете шестерых ребят, сажаете их на пороге, сами прохаживаетесь взад-вперед с книгой и розгами. Мы играем так в детстве, играем в отрочестве, играем в зрелом возрасте, играем, когда, сгорбившись и шаркая тапочками, ковыляем к могиле. Игра эта не приедается, игра эта никогда не утомляет нас. Ее портит только одно: эти шестеро все как один стремятся занять ваше место с книгой и розгами.

Я уверен, журналистика оттого такой популярный род занятий, несмотря на все свои недостатки, что всякому журналисту кажется, будто он — тот самый мальчишка, который ходит туда-сюда с розгами. А Правительство, Классы, Массы, Общество, Искусство и Литература — дети, которые сидят на ступеньках. Он наставляет их и совершенствует.

Но я отвлекся. Я вспомнил все эти факты, чтобы объяснить, почему теперь так постоянно нерасположен быть средством распространения полезных сведений. Теперь снова к делу.

Какой-то читатель, подписавшийся «Аэронавтом», написал с вопросом: как добывается водород? Водород добывался очень легко (во всяком случае, я сделал такой вывод, изучив этот предмет в Британском музее*), но я все-таки предупредил «Аэронавта», кто бы он ни был: пусть предпримет все необходимые меры предосторожности. Что мне оставалось делать? Спустя десять дней в редакции появилась краснолицая дама; она тащила за руку существо, которое, как она объяснила, являлось ее сыном возраста двенадцати лет. Лицо мальчика было просто поразительно невыразительно. Матушка толкнула его вперед, сдернула шапку, и тогда я понял почему. Бровей у него не было вообще, а от волос остался жалкий прах, сообщивший голове вид крутого яйца, очищенного от скорлупы и посыпанного черным перцем.

— Неделю назад это был милый мальчик с кудрявыми волосами, — заметила дама. (Судя по тону, это было только начало.)

— И что с ним случилось? — поинтересовался наш шеф.

— А вот что, — резко ответила дама. Она вытащила из муфты экземпляр нашего прошлого выпуска, где моя статья о водороде была обведена карандашом, и швырнула ему под нос. Шеф взял журнал и прочитал статью до конца.

— Это и есть «Аэронавт»? — спросил шеф.

— Это и есть «Аэронаут», — не стала запираться мамаша. — Бедное, до-верчивое дитя! А теперь посмотрите на него!

— Может, еще отрастет? — предположил шеф.

— Может, отрастет, — фыркнула дама, продолжая вскипать, — а может, и нет! И мне хотелось бы знать, что вы собираетесь для ребенка сделать.

Шеф предложил помыть ему голову. Сначала мне показалось, что она на него кинется, но она сдержалась и ограничилась репликой. Как оказалось, она подразумевала не мытье головы, а материальную компенсацию. Попутно она поделилась своими наблюдениями в отношении направления журнала в целом, его практической ценности, претензий на неравнодущие общества, эрудиции и образованности его сотрудников.

— Вообще-то не понимаю, в чем здесь наша вина, — возразил шеф (он был человек мягкий). — Он просил информации — он ее получил.

— Только давайте без шуточек, — ответила дама. (Шутить, я уверен, шеф не собирался; легкомыслie не входило в число его недостатков.) — А то получите чего *не* просили! — воскликнула вдруг женщина так, что мы, как трусливые зайцы, отскочили и спрятались каждый за свое кресло. — В два счета! Я вам еще устрою, устрою на *вашу* голову!

Как я понял, она имела в виду произошедшее с головой мальчишки. К этому она присовокупила наблюдения насчет внешности самого шефа (которые были определенно бес tactны). В общем, неприятная была это женщина.

Лично я полагаю, что исполни она свою угрозу, ее дело было бы проиграно за отсутствием прецедента. Но шеф был человеком, который сталкивался с законом и придерживался принципа — закона всегда сторониться. Я слышал от него такое:

— Если меня кто-нибудь остановит на улице и потребует отдать часы, я откажусь. Если он станет угрожать силой, я, хотя драться не умею, буду защищаться как могу. Ну, а если он заявит на них права по суду, я вытащу их из кармана и отдам. И еще буду считать, что отдался дешево.

Вопрос с краснолицей мамашей он уладил посредством пятифунтовой купюры (месячный доход нашей газеты), и мамаша ушла, забрав своего испорченного отпрыска. Затем шеф доброжелательно обратился ко мне. Он сказал:

— Не думайте, я нисколько не обвиняю вас. Это не ваша вина, это — судьба. Занимайтесь моралью и критикой — это ваш бесспорный конек. Но больше не трогайте «Полезных сведений». Как я сказал, это не ваша вина. Сведения ваши вполне корректны, против тут ничего не скажешь... Просто с этим вам не везет.

Я жалею, что не всегда следовал его совету — я бы избавил себя и многих вокруг от многих проблем. Не знаю как, но оно так. Если я кому-нибудь посоветую, как лучше добраться из Лондона в Рим, человек потеряет ба-

гаж в Швейцарии или едва не погибнет в кораблекрушении сразу за Дувром. Если я помогаю ему выбрать фотографический аппарат, в Германии его арестуют по подозрению в шпионаже.

Как-то раз мне стоило большого труда объяснить одному человеку, как ему жениться на сестре покойной жены, проживающей в Стокгольме. Я узнал, когда из Гулля отходит пароход и в каких отелях лучше всего остановиться. Сведения, которыми я его снабдил, с начала до конца были безукоризненны. Все прошло без сучка и задоринки, но он со мной больше не разговаривает.

По этой причине свою страсть к полезным советам мне пришлось обуздять. По этой причине на данных страницах никто (если, конечно, получится) в смысле практических указаний не найдет ничего. Здесь не будет описания населенных пунктов, здесь не будет исторических отступлений, никакой архитектуры, никаких нравоучений.

Как-то раз я спросил одного просвещенного иностранца, что он думает о Лондоне. Он сказал:

— Это очень большой город.

Я спросил:

— А что вас в нем больше всего поразило?

Он ответил:

— Люди.

Я спросил:

— По сравнению с другими городами — Париж, Лондон, Берлин — что вы о нем думаете?

Он пожал плечами:

— Он больше. Что еще сказать?

Один муравейник как две капли воды похож на другой. Сколько дорожек, узких или широких, где маленькие создания роятся в причудливой неразберихе! Эти куда-то спешат, деловые; эти остановились потрепаться. Эти согнуты непосильной ношей; эти просто греются на солнышке. Сколько кладовок, забитых кормом; сколько норок, где крохотные существа спят, питаются, любят — вот в уголке лежат их белые косточки. Этот улей — побольше; тот — поменьше. Это гнездо лежит на песке; другое спрятано под камнями. Это сделано только вчера; это свили, говорят, еще в допотопные времена — кто знает.

Также в этой книге не будет народных преданий.

Во всякой долине, где имеется какая-то крыша, имеется и своя песня. Я сообщу фабулу, вы можете передать ее стихами и переложить на свою собственную музыку: жила-была девушка, появился парень, полюбил ее и уехал.

Это однообразная песня, существующая во многих языках (молодой человек, должно быть, объехал весь свет). Его хорошо помнят в сентимен-

тальной Германии; обитатели голубых Эльзасских гор также помнят его среди своих; побывал он, если память не изменяет мне, и на берегах Аллан-Уотер. Ни дать ни взять — Вечный Жид; глупые девчонки до сих пор, так рассказывают, прислушиваются к затихающему стуку его копыт.

В наших краях, где так много развалин, бывших когда-то давно много-голосым жильем, сохранилось немало легенд. И опять же я передам вам суть, а вы готовьте блюдо себе по вкусу. Возьмите одно-два человеческих сердца (одного сорта), добавьте пучок человеческих страстей (их не так много, полдюжины максимум), заправьте смесью добра и зла, приправьте все это соусом смерти и подавайте когда и где пожелаете. «Келья святого», «Башня с привидениями», «Могила в темнице», «Гибель влюбленного» — называйте как вам угодно, жаркое все то же самое.

Наконец, в этой книге не будет описаний природы. С моей стороны это не лень. Это самоконтроль. Нет ничего легче, чем описывать природу. И нет ничего труднее (и бессмысленнее), чем это читать. Когда Гиббону*, описывая Геллспонт, приходилось полагаться на выдумки путешественников, а Рейн английским студентам был знаком главным образом по «Запискам» Цезаря*, каждому бродяге надлежало, по мере своих способностей, описывать, неважно как далеко это было, все, что он увидит. Д-р Джонсон, который ничего кроме пейзажа Флит-стрит, в общем-то, и не знает, прочтет описание торфяного болота в Йоркшире с удовольствием и практической пользой. Кокни, который никогда не забирался выше Ка-баньего хребта в графстве Суррей, описание Сноудона прочитает с замирающим сердцем.

Но мы — вернее, паровой двигатель и фотографический аппарат для нас — все это переменили. Человек, каждый год играющий в теннис у подножия Маттерхорна, а в бильярд — на вершине Риги, не скажет спасибо за доскональное скрупулезное описание Грампианских гор. Среднему обывателю, какой знаком с дюжиной картин маслом, сотней фотографий, тысячию журнальных иллюстраций и парой панорам Ниагарского водопада, образное описание данного объекта утомительно.

Один мой друг-американец, человек образованный, любящий поэзию просто и без затей, как-то сказал мне, что посредством фотоальбома за восемнадцать пенсов приобрел такое точное и исчерпывающее представление об Озерном kraе, какое не получил из сочинений Кольриджа, Саути и Вордсвортса, взятых вместе*. Так же помню его замечание насчет всего предмета литературных описаний природы: за такое он будет признателен автору так же, как за многоговорящее описание блюд, только что бывших у автора на обед. Правда, это имело отношение к другому вопросу — именно к вопросу о компетенции каждого вида искусства. Точка зрения моего друга была такова: как краски и холст представляют собой средства, непригодные для написания романа, так же образное описание, даже в лучшем

виде, — не более чем неуклюжая попытка передать впечатление, какое гораздо лучше получить глазами.

Что касается этого вопроса, в моей памяти отчетливо сохранился один жаркий школьный день. Был урок английской литературы. Вначале нам дали читать какое-то длинное, но в остальном терпимое стихотворение. Как звали автора, я, к своему стыду, забыл (так же как забыл название стихотворения). Мы закончили чтение, захлопнули книги, и учитель, добродушный седой джентльмен, предложил своими собственными словами пересказать только что нами прочитанное.

— Расскажите мне, — предложил учитель воодушевляюще, — о чем же здесь говорится?

— Здесь, сэр, — сказал первый мальчик (набычившись и с явным конфузом, словно вопрос был такой, какого сам бы он никогда не затронул), — говорится о деве.

— Верно, — согласился учитель. — Только расскажи своими словами. «Дева» у нас, в общем-то, не говорят... Скажем «девушка». Итак, здесь говорится о девушке.

— О девушке, — повторил наш первый ученик (от нового слова смущившись только сильнее), — которая жила в лесу.

— И что это был за лес?

Мальчик исследовал свою чернильницу, затем посмотрел в потолок.

— Ну, ну, — напустился учитель, теряя терпение, — вы читали про этот лес целых десять минут. Что-то ты ведь можешь про него рассказать?

— Кривые деревья, сплетенные их ветви, — отозвался наш лучший ученик.

— Нет, нет, — перебил учитель. — Не надо мне повторять текст! Перескажи своими собственными словами, что это был за лес, где жила девушка.

Учитель в раздражении топнул, отчего первый ученик чуть не подпрыгнул:

— Лес как лес, сэр.

— Скажи ему, что был за лес, — учитель вызвал второго ученика.

Второй мальчик сказал, что это был «зеленый лес». Это привело учителя в еще большее раздражение. Он обозвал второго ученика болваном (хотя я, вообще говоря, не понимаю, за что) и обратился к третьему, который в течение последней минуты, очевидно, сидел на раскаленной сковороде, размахивая правой рукой как испорченный семафор. (Секунду спустя он бы не вытерпел, независимо от того, вызвал бы его учитель или не вызвал, — он уже покраснел от натуги, унимая свою эрудицию.)

— Лес был темный и мрачный! — воскликнул третий мальчик, испытав огромное облегчение.

— Лес был темный и мрачный, — повторил учитель с нескрываемым одобрением. — А почему он был темный и мрачный?

Третий мальчик и здесь оказался на высоте:

— Потому что туда не попадало солнце!

Учитель понял, что открыл классу поэта.

— Потому что туда не попадало солнце, или, вернее, потому что солнечные лучи не могли проникнуть туда. А почему солнечные лучи не могли проникнуть туда?

— Потому что, сэр, листва была слишком плотной!

— Превосходно! — кивнул учитель. — Девушка жила в темном и мрачном лесу, сквозь сень листвы которого солнечные лучи не могли проникнуть. Так, а что в этом лесу росло?

Он вызвал четвертого мальчика.

— Деревья, сэр.

— А еще что?

— Поганки, сэр. (После паузы.)

Насчет поганок учитель был не вполне уверен. Однако, сверившись с текстом, убедился, что мальчик был прав — поганки упоминались.

— Ну ладно, — согласился учитель, — поганки там росли. А еще что? Что бывает в лесу под деревьями?

— Земля, сэр!

— Да нет, нет! Что в лесу под деревьями растет?

— Растет, сэр?.. Кусты, сэр?..

— Кусты! Превосходно. Идем дальше. В этом лесу росли кусты и деревья. А еще что?

Он вызвал малыша с первой партии, который, решив, что данный лес был слишком далеко, чтобы из-за него беспокоиться, коротал досуг за партией крестиков-ноликов сам с собой. Сбитый с толку и раздосадованный, но чувствуя, однако, необходимость пополнить каталог лесной флоры, он рискнул предложить ежевику. Это была ошибка: ежевики у поэта не было.

— У Клобстока, понятное дело, на уме только еда, — пояснил учитель, гордившийся своим остроумием. Клобстока осмеяли; учитель был счастлив.

— А ну, — продолжил он, вызывая мальчика в среднем ряду, — что еще было в этом лесу, кроме кустов и деревьев?

— Там был поток, сэр.

— В общем, да. А что поток делал?

— Журчал, сэр.

— Нет, нет! Журчат ручейки, а потоки...

— Ревут, сэр?

— Он ревел. А отчего он ревел?

Вопрос был завальный. Один мальчик (умом, надо сказать, у нас не блеставший) предположил, что поток ревел от девушки. Чтобы как-то помочь нам, учитель изменил постановку вопроса:

— Когда он ревел?

Здесь третий мальчик поспешил на помощь опять, объяснив, что поток ревел когда падал на камни. (Кое-кому из нас, наверно, подумалось, что поток был просто сопляк — поднимать такой шум по такому ничтожному поводу. Более мужественный поток, как нам казалось, поднялся бы и потек себе дальше, и словом бы не обмолвился. Поток, который ревет всякий раз упав на камень, в наших глазах был малодушным потоком; но учитель, судя по всему, был доволен и этим.)

— А кто жил в этом лесу? С девушкой? — был следующий вопрос.

— Птички, сэр.

— Да, птички жили в этом лесу. А еще кто?

Птички, похоже, истощили нашу фантазию.

— Ну, ну, — напустился учитель, — что это за такие животные с хвостами, которые бегают по деревьям?

Мы задумались. Затем кто-то предложил котов.

Это была ошибка. Про котов у поэта ничего не упоминалось; учитель пытался добиться от нас белок.

Ничего особенного вспомнить про этот лес больше я не могу. Я только помню, что там еще появлялось небо. В таких местах, где между деревьями возникали просветы, посмотрев наверх, можно было увидеть небо. В этом небе очень часто бывали тучи, и время от времени, если я ничего не путаю, девушка намокала.

Я остановился на этом казусе потому, что он кажется мне характерным в смысле вопроса литературных описаний природы вообще. Я не мог понять тогда, я не могу понять сейчас — почему конспекта, данного первым учеником, было недостаточно. Со всем должным почтением к поэту (что за поэт — неважно), приходится только признать, что его лес был «лес как лес» и никаким другим быть не мог.

Теперь, наконец, я мог бы описать вам Шварцвальд. Я мог бы перевести Гебеля*, воспевшего Шварцвальд. На многих страницах я мог бы сообщать и сообщать о его скалистых тесницах и ярких долинах, о поросших соснами склонах, об увенчанных скалами пиках, о пенных потоках (там, где аккуратные немцы не обрекли их чинно струиться по деревянным желобам и водосточным трубам), о белых деревнях, об одиноких фермах.

Но меня преследует подозрение, что вы всё это пропустите. Если вы достаточно добросовестны (или слабохарактерны) и будете читать все подряд, я в конечном итоге смог бы донести до вас только образ, намного лучше сформулированный простыми словами непрятязательного путеводителя:

«Живописный горный район, с юга и запада ограниченный долиной Рейна, в направлении которого круто спускаются отроги гор. Геологическая формация представляет главным образом различные породы песча-

ника и гранита. Подошвы массива покрыты обширными хвойными лесами. Район достаточно орошен многочисленными потоками. Густонаселенные долины плодородны и хорошо возделаны. Гостиницы отличаются высоким уровнем обслуживания, однако к дегустации местных вин иностранцу следует подходить с осторожностью».

* * *

ГЛАВА VI

Почему мы оказались в Ганновере. — Что за границей делают лучше. — Искусство беседы с иностранцем: как его преподают в английской школе. — Подлинная история; рассказывается впервые. — Французский юмор, в обработке на потеху британской молодежи. — Отеческие инстинкты Гарриса. — Поливальщик улиц как художник своего дела. — Патриотизм Джорджа. — Что Гаррис должен был сделать. — Что он сделал. — Мы спасаем Гаррису жизнь. — Город, в котором не спят. — Лошадь-критик.

Мы прибыли в Гамбург в пятницу; плавание было спокойным и без особых происшествий. Из Гамбурга мы направились в Берлин — через Ганновер. Путь не самый прямой. Объяснить, что нас занесло в Ганновер, я могу только словами одного негра, который объяснял суду, как очутился в курятнике пастора.

— Ну?

— Да, сэр, полицейский не врет, сэр, я там был, сэр.

— Был-таки. И что ты там делал, скажи на милость, с мешком? В курятнике у пастора Абрахама — в двенадцать ночи?

— Так вот, сэр, как раз хотел рассказать, сэр. Отнес я масса Джордану мешок дынь. А масса Джордан, сэр, он добрый такой, значит, заходи, говорит.

— Ну, и что?

— Да, сэр, да, очень уж масса Джордан добрый. Потом сидим мы, значит, болтаем-болтаем...

— Вполне возможно. Но нам надо знать, что ты делал в курятнике пастора.

— Так вот, сэр, я ж и хочу рассказать-то. Когда я от масса Джордана уходил, уже очень поздно было. Ну, Улисс, говорю себе, надо же было так постараться. Теперь-то старуха тебе точно перцу задаст. Язык у нее — не язык, сэр, сущее помело, просто...

— Да господь с ней. У нас в городе таких языков хватает, кроме твоей жены. Но от дома Джордана до дома пастора тебе крюк в полмили. Как же ты оказался у пастора?

— Так вот, сэр, я ж и хочу рассказать-то!

— Я рад. Ну и что ты расскажешь?

— Да видать заплутал, сэр, маленько.

Как я понял, мы заплутали маленько.

На первый взгляд, так или иначе, Ганновер кажется неинтересным городом, но потом захватывает. По сути дела, это не один, а два города. Город красивых широких современных улиц, устроенных со вкусом садов живет бок о бок с городом шестнадцатого столетия, где старые бревенчатые дома нависли над узкими переулками, где сквозь низкие подворотни можно заглянуть во дворики с галереями — где когда-то, без сомнения, толпились всадники или теснились громоздкие экипажи, запряженные шестерками лошадей, в ожидании богатого торговца-хозяина и его безмятежной дородной фрау, и где сейчас копошатся, как им заблагорассудится, только цыплята и дети, а над резным парапетом балконов сохнет выцветшее белье.

Над Ганновером царит необычно английское настроение, особенно по воскресеньям, когда со своими закрытыми лавками и бренчащими колоколами он напоминает солнечный Лондон. Такую воскресную британскую атмосферу заметил не только я (иначе отнес бы ее к работе воображения); ее почувствовал даже Джордж. Мы с Гаррисом, вернувшись в воскресенье после обеда с небольшой прогулки, вышли покурить и увидели, как Джордж мирно дремлет в курительной, в самом удобном кресле.

— Все-таки, — сказал Гаррис, — есть в английском воскресенье нечто такое, к чему неравнодушен человек, в котором течет английская кровь. Мне будет жаль, если оно совершенно исчезнет, и пусть молодое поколение болтает что ему вздумается.

И, разместившись по краям большого дивана, мы составили Джорджу компанию.

Говорят, в Ганновер следует ехать чтобы выучить самый правильный немецкий. Недостаток здесь в том, что за пределами Ганновера, который все-го лишь небольшой район страны, никто этого правильного немецкого не понимает. Таким образом, вам придется решать: или говорить по-немецки правильно и застрять в Ганновере, или говорить по-немецки неправильно и путешествовать по стране. В Германии, которая на протяжении многих столетий была раздроблена на дюжину княжеств, на беду немцев существует целое множество диалектов. Немцу из Позена, пожелавшему пообщаться с немцем из Вюртемберга, нередко приходится говорить по-французски или по-английски. Молодые барышни, получившие дорогое образование в Вестфалии, к удивлению и разочарованию своих родителей не в состоянии понять даже слова в Мекленбурге.

Иностранец, знающий английский язык, в захолустьях Йоркшира или на задворках Уайтчепела окажется в подобном затруднительном положении — это так*. Но здесь дело другое. В случае с Германией по-своему говорят не только в деревне или среди безграмотных. В каждом районе есть

фактически свой собственный язык, которым гордятся и который поддерживают. Образованный баварец признаёт, что с академической точки зрения северо-немецкий более правилен. Но будет по-прежнему говорить на южно-немецком и учить ему своих детей.

С течением времени, я думаю, Германия разберется с этой проблемой — начнет говорить по-английски. В Германии говорит по-английски любой мальчик и любая девочка (кроме крестьянских). Будь английское произношение не таким капризным, нет никакого сомнения, что в течение буквально нескольких лет английский, можно утверждать, превратился бы в международный язык. Все иностранцы признают, что английскую грамматику учить проще всякой другой. Немец, сравнивая английскую грамматику со своей, где каждое слово в каждом предложении подчиняется по меньшей мере четырем разным независящим друг от друга правилам, утверждает, что в английском языке грамматики нет вообще. (Немало англичан, похоже, пришли к такому же заключению, но они ошибаются. На самом деле в английском языке грамматика есть, и когда-нибудь наша школа сей факт признает; грамматику станут преподавать, и она, возможно, проникнет даже в круги писателей и журналистов.)

В настоящее же время нам, как видно, приходится соглашаться с иностранцами, что эта грамматика — величина пренебрежимо малая. Камень преткновения на пути к прогрессу — произношение. Английская орфография, как представляется, создавалась главным образом с целью скрывать истинное произношение. Это талантливая идея, рассчитанная на то, чтобы обуздить самоуверенность иностранца (иначе он выучил бы всю английскую орфографию в течение года).

В Германии языки преподают совсем не так, как у нас, и как следствие, когда немецкий юноша или немецкая девушка оканчивает в возрасте пятнадцати лет гимназию или среднюю школу, чадо в состоянии понимать тот язык, которому обучалось, и на нем разговаривать. У нас же в Англии практикуется метод, которому, в смысле того, как добиться минимально возможного результата при максимально возможных затратах денег и времени, равных, может быть, нет.

Мальчик-англичанин, окончив приличную среднюю школу, в состоянии поведать французу (медленно и с большим трудом) о тетушках и садовницах (беседа, которая человека, не имеющего, возможно, ни того ни другого, скорее всего, утомит). Не исключено, что такой мальчик (если он семи пядей во лбу) сможет сообщить который час или сделать несколько осторожных замечаний насчет погоды. Он, без сомнения, в состоянии повторить наизусть внушительное количество неправильных глаголов (только, по правде сказать, не всякого иностранца заинтересуют собственные неправильные глаголы, озвученные устами молодого британца). Также он, возможно, припомнит стопку абсурдно подобранных французских идиом

(каких ни один современный француз никогда не слышал и не поймет, если услышит).

Объясняется это в девяти случаях из десяти тем, что французский он изучал по учебнику Ана «Французский язык для начинающих». История этой известной работы занята и поучительна. Книга изначально была написана ради потехи одним остроумным французом, прожившим несколько лет в Англии. Он задумал ее как пародию на коммуникативные способности британского общества. С этой точки зрения книга удалась бесспорно. Он послал ее в одно лондонское издательство. Редактор там оказался ушлым. Он внимательно прочитал книгу. Затем пригласил автора.

— Эта ваша книга, — сообщил он автору, — весьма талантлива. Лично я смеялся до слез.

— Я очень рад это слышать, — отвечал польщенный француз. — Я старался быть честным, никого не оскорбляя без необходимости.

— Книга весьма интересна, — согласился редактор, — и все-таки, если ее напечатать, она, боюсь, не пойдет.

Лицо автора потускнело.

— Ваш юмор, — продолжил редактор, — сочтут натянутым и несуральным. Человека думающего и созерцательного она увлечет. Только с точки зрения бизнеса эту часть общества брать в расчет не следует, никогда... Но у меня есть идея, — продолжил редактор. Он оглядел комнату, как бы проверяя, нет ли свидетелей, наклонился и снизил голос до шепота. — Я думаю издать ее как серьезный труд — как школьный учебник.

От изумления автор лишился дара речи.

— Я знаю нашего учителя, — продолжил редактор. — Эта книга ему понравится. Она как раз впишется в его метод. Ничего глупее и бесполезнее для своего дела он не найдет. Он будет облизываться над ней как щенок над ваксы.

Автор, решив принести искусство в жертву наживе, согласился. Они поменяли название, добавили словарь — и больше ничего не трогали.

Результат известен каждому школьнику. Ан стал библией английского филологического образования. Если он уже не пользуется таким же повсеместным спросом, то лишь потому, что были созданы методические пособия, еще менее приспособленные для своего дела.

Если же, несмотря ни на что, британский ученик все-таки приобретет, пусть посредством какого-нибудь Ана, какое-нибудь представление о французском языке, британская система образования приготовит ему дальнейшие препоны, предоставив в поддержку нечто, в проспектах учебного заведения обозначаемое «носителем языка». Этот французский «носитель языка» (который обычно, к слову, бельгиец), без сомнения, человек достойный и в состоянии — это на самом деле так — понимать свой родной язык и говорить на нем более-менее бегло. На этом его квалификация за-

канчивается. Носитель языка неизменно оказывается человеком, поразительно неспособным кого-либо чему-либо научить. Надо полагать, носителя языка подбирают не столько для обучения молодежи, сколько для ее развлечения.

Носитель языка — постоянный комический персонаж. Ни одна английская школа никогда не примет на работу француза с чувством собственного достоинства. Если у носителя языка окажется несколько безобидных странностей, над которыми можно поиздеваться, тем в большем почете он будет у работодателя.

В классе он естественным образом воспринимается как ходячий анекдот. Те два-три-четыре часа в неделю, которые преднамеренно расходуются на этот античный фарс, с нетерпением предвкушаются мальчиками как радостная интерлюдия к невыразительному, во всем прочем, существованию. Затем, когда гордый родитель берет с собой сына и наследника в Дьепп (просто чтобы узнать, что парень не в состоянии даже позвать извозчика), он поносит не систему образования, а ее непорочную жертву.

Свои замечания я ограничиваю французским, потому что это — единственный язык, которому мы пытаемся учить детей в школе. (На английского мальчика, умеющего говорить по-немецки, посмотрят как на врага отечества.) Почему мы тратим время, обучая таким образом хотя бы даже французскому, постичь я никогда в состоянии не был. Полное незнание языка заслуживает уважения; но это вот якобы знание французского, которым мы так гордимся (оставим в покое журналистов из юмористических журналов и романристок, для кого оно — кусок хлеба), только выставляет нас на посмешище.

В немецкой школе методика немного иная. Каждый день один час посвящается одному языку. При этом принцип не в том, чтобы за каждым уроком дать парню время забыть выученное в прошлый раз, — принцип в том, чтобы ученик успевал. Развлекать чудаком-иностранцем его не будут. Нужный язык преподается учителем-немцем, который знает его вдоль и поперек, — так же, как собственный. Возможно, подобная система не дает немецкому ученику такого совершенства в произношении, по которому туриста из Англии сразу узнают где бы то ни было. У нее есть другие преимущества. Мальчик не называет учителя «лягушатником» или «немцем-перцем-колбасой» и не готовится к уроку английского или французского как к соревнованию доморощенных остроумцев. Он просто сидит и старается, себе на благо, овладеть иностранным, не напрягая (насколько это возможно) близких и окружающих. Окончив школу, он в состоянии говорить не только о перочинных ножах, тетушках и садовниках, но также о европейской политике, об истории, о Шекспире, о стеклянной арфе* — смотря о чем завяжется разговор. Рассматривая немцев с точки зрения англосакса, в этой книге, может быть, я и найду лишний случай к ним прицепиться.

Но с другой стороны, нам есть немало чему у них поучиться. Что же касается здравого смысла, применительно к образованию, они дадут нам сто очков вперед и положат на лопатки одной левой.

С юга и запада Ганновер окружен великолепным лесом — Айленриде; здесь развернулась трагедия, в которой Гаррис сыграл ведущую роль.

В понедельник после обеда мы каталась по этому лесу, в компании многих велосипедистов — в солнечный день для ганноверцев это излюбленное место отдыха, и тенистые тропы здесь заполняются счастливым беззаботным народом. Среди прочих каталась красивая молодая девушка на новеньком велосипеде. В велосипедном спорте она явно была новичком. Как подсказывала интуиция, должен был наступить момент, когда ей потребуется помочь, и Гаррис, со свойственным ему благородством, предложил нам держаться к ней ближе.

У Гарриса, как он иногда объясняет нам с Джорджем, есть дочери — или, говоря вернее, дочь, которая с годами, без сомнения, перестанет ходить «колесом» на газоне у дома и превратится в достойную прекрасную леди. Этот факт естественным образом сообщает Гаррису интерес к прекрасным молодым девушкам в возрасте до тридцати пяти лет (или около того; они, как он утверждает, напоминают ему о доме).

Мы проехали пару миль и увидели перекресток, где сходились пять дорожек. На перекрестке стоял рабочий со шлангом и поливал дорожки водой. Кишка, поддерживаемая на каждом стыке парой колесиков, вилась за ним огромным червем. Поливальщик двумя руками крепко держал червяка за шею — направляя то в одну сторону, то в другую, то задирая, то опуская, — а из пасти червя в объеме одного галлона в секунду била могучая струя воды.

— Насколько лучше технология, чем у нас, — заметил Гаррис с воодушевлением. (Гаррис склонен к неизменной и суровой пристрастности в отношении всего британского.) — Насколько проще, быстрее и экономичнее! Смотрите, таким методом один человек за пять минут обработает такую площадь, на что у нас, с нашими колымагами, уйдет полчаса.

Джордж, сидя на tandemе за мной, сказал:

— Ну да, а еще он, если чуть зазевается, таким методом так обработает целую толпу, что никто не успеет просто убраться.

Джордж, в отличие от Гарриса, британец до мозга костей. (Помню, Гаррис как-то раз привел Джорджа в глубокое патриотическое возмущение, предложив ввести в Англии гильотину. «Это гораздо аккуратнее», — заметил Гаррис. «Да и хрен с ним, — ответил Джордж. — Я англичанин, меня вполне устроит виселица».)

— У нашей тележки могут быть свои недостатки, — продолжил Джордж, — но ты рискуешь только вымочить ноги, и от нее можно еще увернуться. А с такой вот машиной он достанет тебя и за углом, и на чердаке.

— На них смотреть — одно удовольствие! — продолжал Гаррис. — Какой профессионализм! Я видел, как в Страсбурге человек поливал площадь. Народу была просто толпа; он полил каждый булыжник, и ни у кого даже шнурок не намок. Просто удивительно, как они высчитывают расстояние. Они пускают струю прямо под ноги, потом над головой, и так, что вода падает сразу за пятками, потом...

— Тормозни-ка, — сказал Джордж.

— Зачем? — обернулся я.

— Хочу слезть и досмотреть представление из-за дерева. В этом деле могут быть виртуозы, как говорит Гаррис, но нашему исполнителю, мне кажется, чего-то не достает... Он только что окатил собаку, а сейчас поливает столб. Я хочу подождать, пока он закончит.

— Ерунда, — отозвался Гаррис. — Он тебя не замочит.

— Так вот я и хочу убраться, — отозвался Джордж, спрыгнул с велосипеда и, заняв позицию за стволом на редкость могучего вяза, вытащил трубку и принял ее набивать.

Мне не хотелось оставаться с tandemом один на один; я спрыгнул и присоединился к Джорджу, прислонив велосипед к дереву. Гаррис прокричал что-то насчет того, каким бесчестием являемся мы для страны, подарившей нам жизнь, и покатил дальше.

В следующий момент я услышал отчаянный женский крик. Выглянув из-за ствола, я сообразил, что крик исходил от упомянутой ранее молодой элегантной дамы, про которую, заинтересовавшись поливальщиком, мы забыли. Медленно и неотвратимо она катила сквозь проливной дождь, бьющий из шланга. Как видно, она пришла в такой ужас, что не догадалась ни спрыгнуть, ни отвернуть. С каждой секундой она промокала все больше, а человек с кишкой (который был либо пьян, либо слеп) продолжал поливать ее с конченым хладнокровием. Проклятия сыпались на него со всех сторон, но он не обращал на них никакого внимания, ровным счетом.

Здесь Гаррис, в котором отцовские чувства просто вскипели, поступил так, как и следовало поступить при сложившихся обстоятельствах. Действуй он с таким же хладнокровием и рассудительностью до конца, он вышел бы из воды героем дня, и ему не пришлось бы спасать свою жизнь под градом угроз и оскорблений. Не мешкая ни секунды, он бросился к поливальщику и, схватив кишку за наконечник, попытался ее отобрать.

Что он должен был сделать — что сделал бы любой здравомыслящий человек, овладев наконечником шланга, — это закрыть кран. Затем он смог бы сыграть поливальщиком в футбол, или в бадминтон, по выбору, и двадцать или тридцать человек, которые прибежали бы на подмогу, только разразились бы аплодисментами. Он же задумал, как объяснил нам впоследствии, отобрать у негодяя кишку и в наказание окатить его самого. Сам негодяй, как представлялось, задумал то же самое, а именно — сохранить

кишку как оружие, посредством которого Гарриса измочить. В результате, разумеется, оказалось, что все живое и неживое в радиусе пятидесяти ярдов вымокло насквозь (кроме самих Гарриса с поливальщиком).

Один взбешенный джентльмен, вымокший так, что своя дальнейшая судьба его уже не интриговала, выскочил на арену и вступил в схватку. Все втроем они продолжили выметать кишкой перекресток. Они возносили ее в небеса, и вода обрушивалась на присутствующих муссонным ливнем. Они обращали ее к земле, и вода устремлялась бурливым потоком, сбивая каждого с ног, или мочила струей в живот, сгиная каждого пополам.

Никто из троих не ослабил хватки и не оставил кишк; никто из троих не выключил воду. Казалось, они сражались с некой слепой стихией. Через сорок пять секунд, как сообщал Джордж, который засек время, они полностью зачистили прилегающую территорию от всего живого (за исключением одной собачонки, которая, соччас как водяная нимфа, каталась под струей с боку набок, все же храбро пытаясь и пытаясь вскочить на ноги, вызывая на поединок силы ада, восставшие, как ей, по-видимому, показалось, из преисподней).

Мужчины и женщины, побросав велосипеды, бросились в лес. Из-за каждого мало-мальски подходящего дерева выглядывало по мокрой разгневанной голове.

Наконец на поле битвы появился здравомыслящий человек. Бросив вызов Смерти, он дополз до гидранта и завинтил кран. Затем из-за четырех десятков стволов начали выползать человеческие существа; кто вымок больше, кто меньше, но выраженьице про запас было у каждого.

Сначала я даже начал прикидывать, как будет сподручнее транспортировать в гостиницу останки Гарриса — на носилках или просто в бельевой корзине. В данном случае, я считаю, жизнь Гаррису спасла расторопность Джорджа. Оставшись сухим и будучи потому в состоянии бегать быстрее, он опередил толпу. Гаррис хотел было начать объяснения, но Джордж его оборвал.

— Садись, — приказал Джордж, вручая ему велосипед, — и дуй. Они не знают, что мы с тобой. Можешь нам полностью доверять. Мы не сдадим тебя. Мы будем болтаться сзади и путаться у них под ногами. Начнут стрелять — езжай зигзагами.

Я хочу, чтобы эта книга оставалась строгим перечнем фактов, нетронутых никакой фантазией, и, таким образом, предоставил описание инцидента Гаррису — дабы в повествование не вкраплось ничего постороннего; чтобы оно оставалось правдой, только правдой и одной лишь правдой.

Гаррис считает, что описание гиперболизировано, но тем не менее признаёт, что один или два человека действительно могли быть «обрызганы». Тогда я предложил ему встать под струю воды, направленную из шланга с расстояния двадцати пяти ярдов, после чего попытать у него дополнни-

тельно, насколько корректен мог оказаться термин «обрызганы». Но он эксперимент отклонил. Далее Гаррис настаивает, что в катастрофе не могло попасть более шести человек максимум и что число сорок — нелепое преувеличение. Я предложил вернуться с ним вместе в Ганновер и навести по этому вопросу конкретную справку, но сие предложение он отклонил равным образом. Таким образом я считаю, что мой рассказ является корректным и сдержанным изложением события, о котором известное число ганноверских жителей с горечью вспоминает по сегодняшний день.

Мы уехали из Ганновера в тот же вечер и прибыли в Берлин как раз во-время, чтобы поужинать и пройтись перед сном. Берлин разочаровывает: в центре от людей некуда деться; окраины безжизненны; единственная достопримечательность, улица Унтер-ден-Линден — попытка совместить Оксфорд-стрит с Елисейскими Полями — не производит никакого впечатления ровным счетом (для своих размеров широковата); берлинские театры изысканны и очаровательны, игре актера в них придается большее внимание, чем костюму и декорациям, репертуар часто меняется, успешные вещи идут снова и снова (только не каждый день, так что вы можете неделю подряд ходить в один и тот же берлинский театр и каждый вечер смотреть новую пьесу); опера не заслуживает внимания; оба мюзик-холла отличаются пустой пошлостью и банальностью, устроены плохо (слишком просторные и потому неуютные). В берлинских кафе и ресторанах самое оживленное время — с полуночи до трех утра. Причем большинство завсегдатаев в семь снова уже на ногах. Или берлинец разрешил величайшую проблему современности — как обходиться без сна, или, вместе с Карлейлем*, взгляд его устремлен в Вечность.

Лично я больше не знаю такого города, где позднее время в такой же моде, — за исключением Санкт-Петербурга. Но петербуржцы не встают рано утром. В Санкт-Петербурге представления в мюзик-холлах, которые принято посещать после театров (половина езды в быстрых санях), фактически не начинаются раньше полуночи. В четыре утра через Неву приходит буквально протискиваться, и в Санкт-Петербурге самые удобные поезда — которые ходят в районе пяти утра. Эти поезда и спасают русского от необходимости рано вставать. Он желает своим друзьям «спокойной ночи» и после ужина со спокойной совестью едет на вокзал, не доставляя лишних хлопот домашним.

Потсдам, берлинский Версаль, — прелестный городок, расположенный среди лесов и озер. Здесь, на тенистых дорожках обширного спокойного парка Сан-Суси, легко можно представить, как тощий высокомерный Фридрих прогуливался со строптивым Вольтером*.

Следуя моему совету, Джордж с Гаррисом согласились не задерживаться в Берлине, а поспешить в Дрезден. Почти все, что может предложить Берлин, лучше смотреть не в Берлине, и мы решили удовлетвориться

просто поездкой по городу. Портъе порекомендовал нам извозчика, который, так заверил портье, в два счета покажет нам все, что можно здесь показать. Сам извозчик, заехавший за нами наутро в девять, был сущим кладом. Это был умный, интеллигентный человек, хорошо знающий город; его немецкий мы без труда понимали, он сам знал немного английского, которым при необходимости можно было заполнять наши провалы в немецком. Словом, извозчик был безупречен, но вот лошадь его оказалась самой черствой скотиной, на каких мне вообще доводилось ездить.

Она невзлюбила нас с первого взгляда. Первым из гостиницы вышел я. Она обернулась и осмотрела меня холодным стеклянным глазом. Затем переглянулась с другой лошадью, своей подругой, стоявшей рядом. Я знаю, что она сказала. Морда у нее была выразительна, и она ничего не пыталась скрыть. Она сказала:

— Летом у нас попадаются такие клоуны — вообще просто.

В следующий момент появился Джордж и подошел ко мне. Лошадь снова обернулась и посмотрела. (Я ни разу не видел, чтобы лошади могли так выворачиваться. Я видел, какие штуки проделывает со своей шеей жираф, глаз просто не оторвешь, но наше животное больше смахивало на кошмар, который приснится после пыльного дня в Эскоте*, подкрепленного обедом с шестеркой старых друзей. Если бы оно просунуло морду между своих задних ног и посмотрело на меня оттуда, я бы, наверно, не удивился.) Похоже, Джордж произвел на нее еще большее впечатление, чем я сам. Она опять повернулась к своей подруге:

— Вообще просто. Наверно, где-то их специально выращивают.

И она продолжила слизывать мух со своего левого плеча. (Я подумал, что она, должно быть, в юности утратила мать, и ее воспитала кошка.)

Мы с Джорджем забрались в экипаж и стали ждать Гарриса. Он появился чуть позже. Лично мне показалось, что вид у него был весьма изящный. На нем был белый фланелевый костюм с бриджами, заказанный специально для езды на велосипеде в жару. Шляпа его, возможно, была несколько незаурядной, но от солнца защищала как следует.

Лошадь окинула его единственным взглядом, сказала «*Gott in Himmel!*»¹ (едва ли какая лошадь когда-нибудь выражалась так недвусмысленно) и припустилась по Фридрихштрассе, а Гаррис с извозчиком остались на тротуаре. Хозяин приказал лошади остановиться, но она не повела ухом. Они побежали за нами и нагнали на углу Доротеенштрассе. Я не разобрал полностью, что сказал лошади человек, — он говорил быстро и в возбуждении, но несколько фраз уловил, вроде:

— Мне деньги зарабатывать надо, или как? А тебя-то кто спрашивал? Вот и замолчи, пока кормят.

¹ Боже праведный!

Лошадь оборвала беседу, без спроса свернув на Доротеенштрассе. Она вроде сказала:

— Да ладно, ладно, хватит болтать. Работа — значит работа. Только держись подальше от центра где только можно.

Напротив Бранденбургских ворот наш возница подвязал вожжи к кнуту*, спрыгнул с козел и подошел к нам. Сообщив о Тиргартене, он подробно рассказал о Рейхстаге*, приведя точную высоту, длину, ширину — как настоящий экскурсовод. Затем он перешел к воротам. Он сообщил, что они построены из песчаника, как имитация «проперлеев» в Афинах*.

Здесь лошадь, от нечего делать лизавшая себе ноги, повернула голову. Она ничего не сказала, она просто взглянула. Наш гид, нервничая, начал снова. На этот раз он сказал, что они построены из песчаника, как имитация «профиleev» в Афинах.

Тогда лошадь потрусила по Линдену; остановить ее не смогло бы ничто на свете. Хозяин пытался ее образумить, но она трусила себе вперед. Судя по тому, как она презрительно пожимала на бегу плечами, я понял, что она сказала:

— Ворота они уже посмотрели, или как? Ну и хороши с них. Про остальное ты сам не знаешь, что несешь. А они и так не поймут. Ты ведь говоришь по-немецки.

Пока мы ехали по Линдену, все оставалось без изменений. Лошадь соглашалась останавливаться ровно на столько, чтобы мы как следует оглядели достопримечательность и узнали ее название. Объяснение и описание лошадь прерывала просто двигаясь дальше.

— Что этим типам надо, — говорила она себе, — это вернуться домой и рассказывать, что они всё это видели. Если я не права, а сами они не такие придурки, как можно подумать по рожам, то найдут все необходимые данные сами, и найдут получше этого корма, который им пичкает этот мой старый дурень из этой своей книжонки. Кому нужна высота башен?! Через пять минут все это из башки вылетает. А если не вылетает, так потому, что в башке больше ничего нет. Он меня уже достал этой своей болтовней. Нет чтобы пошевелить чулками и двинуть домой обедать.

Теперь, поразмыслив, я не уверен, что у этой старой косоглазой скотины отсутствовал здравый смысл. Во всяком случае, мне попадались такие гиды, что ее вмешательству я был бы рад.

Но мы просто «неблагодарные грешники», как говорят шотландцы; и в тот раз мы кляли лошадь на чем стоит свет, вместо того, чтобы на нее молиться.

ГЛАВА VII

Недоумение Джорджа. — Любовь немцев к порядку. — «Концерт „Дроздов из Шварцвальда” состоится в семь». — Фарфоровая собачка. — Ее преимущества перед всеми другими собачками. — Немец и Солнечная система. — Опрятная страна. — Горная долина: какой она должна быть с точки зрения немца. — Как в Германии приходит паводок. — Кошмар Дрездена. — Гаррис дает представление. — Которое не получает достойной оценки. — Джордж и его тетушка. — Джордж, подушка и три продавщицы.

Где-то на полпути между Берлином и Дрезденом Джордж, почти четверть часа очень внимательно смотревший в окно, сказал:

— Интересно, в Германии что, так принято? Вешать почтовые ящики на деревья? Почему они не вешают их на дверь, как у нас? Я бы всё проклял — лазить на деревья за письмами. Да и потом, это некрасиво по отношению к почтальону. Доставка писем и так, получается, занятие крайне утомительное, а для человека в теле, особенно в ветреную ночь, в таком случае просто опасное. Ну, а если они вешают их на деревья, то почему не повесят по-человечески? Почему обязательно на самый верх? Хотя, может быть, я эту страну недооцениваю, — продолжил он, осененный новой идеей. — Наверно, у немцев, а они нас обскакали во многом, идеальная голубиная почта! Но все-таки непонятно, почему бы им в таком случае не обучить голубей опускаться с письмами ниже. Даже обычному нестарому немцу достать письмо из такого ящика будет непросто.

Я проследил за его взглядом и сказал:

— Это не почтовые ящики. Это скворечники. Ты должен понять эту нацию. Немец любит птиц, но любит опрятных птиц. Если птицу оставить в покое, она будет вить гнездо где попало. Это непривлекательно, если исходить из немецкого понятия о привлекательности. На таком гнезде нет ни капли краски, оно не оштукатурено, на нем нет даже флагжка. А когда гнездо готово, птичка продолжает жить на улице. Она роняет на газон всякие штуки: ветки, куски червячков, все такое. Она ведет себя неприлично: занимается любовью, ссорится со своей половиной, кормит детей — у всех на глазах. Немец-хозяин в шоке. Он говорит ей: «Ты мне во многом нравишься. Смотреть на тебя — одно удовольствие. Поешь ты красиво. Но вести себя не умеешь. Вот тебе ящик, клади туда свой мусор, чтобы я его не видел.

Захочешь спеть — милости просим, но все свои семейные дела делай там. Сиди в ящике и не сори в саду».

В Германии любовь к порядку впитывается с молоком матери. В Германии младенцы погремушками отбивают время; немецкая птичка теперь предпочитает скворечник и относится с презрением к тем немногочисленным нецивилизованным отщепенцам, которые продолжают строиться на кустах и деревьях.

С течением времени каждая немецкая птичка, никто в этом не сомневается, получит надлежащее место в общем хоре. Все это бессвязное хаотичное треньканье, как представляется, прецизионный немецкий рассудок раздражает. В нем нет системы. Любящий музыку немец приведет все в порядок. Птицу посолиднее, со специально поставленным голосом научат дирижировать, и вместо того чтобы зарывать в землю талант в четыре часа утра где-нибудь в лесу, наша птичка будет исполнять — в объявленное время — где-нибудь в пивной на открытом воздухе, под аккомпанемент фортепиано. Все к этому идет.

Немец любит природу, но природа в его представлении — прославленная Валлийская арфа *. Своему саду он уделяет огромное внимание. Он сажает семь розовых кустов с северной стороны и семь — с южной, и если они вырастают неодинаковые по размеру и форме, от беспокойства не спят по ночам. Каждый цветочек он подвязывает к палочке. Из-за этой палочки не видно самого цветка, но немец удовлетворен — цветочек на месте и ведет себя как полагается. Пруд он выкладывает цинковыми листами, которые раз в неделю вытаскивает, тащит на кухню и выскабливает. Строго по геометрическому центру газона (который, бывает, не больше скатерти и обычно окружен оградой) он ставит фарфоровую собачку.

Немцы очень любят собак. Но, как правило, предпочитают их из фарфора. Фарфоровая собачка никогда не роет в газоне ямок, чтобы закапывать косточки, и не стремится развеять клумбу по ветру задними лапами. Она остается там, где ее оставляют, и никогда не суется туда, куда ее не просят. С точки зрения немца эта порода идеальна. Вы можете заказать собаку, которая будет полностью отвечать требованиям общества собаководов, а можете побаловать собственное воображение и заказать что-нибудь уникальное. Критерий породы, как в случае с обычной собакой, вам не указан. Вы можете заказать голубую собаку, или вы можете заказать розовую собаку. За небольшую приплату вы можете заказать собаку с двумя головами.

Осенью, в определенный раз и навсегда установленный день, немец пригибает кусты с цветами к земле и укутывает их на зиму циновками. Весной, в определенный раз и навсегда установленный день, он убирает циновки и поднимает цветы опять. Если случается исключительно погожая осень или исключительно поздняя весна, тем для несчастного растения хуже. Ни один настоящий немец не допустит, чтобы в его дела вмешива-

лась такая своенравная вещь, как Солнечная система. Не в состоянии регламентировать погоду, он ее игнорирует.

Из деревьев немец больше всего любит тополь. Другие неорганизованные народы воспοют дифирамбы могучему дубу, развесистому каштану, ветвистому вязу. Немцу все эти строптивые неряшливые деревья — бельмо на глазу. Тополь растет там, где его посадили, и так, как его посадили. Он не страдает ложными вульгарными идеалами. Он не стремится развеситься и разветвиться сам по себе. Он просто растет себе прямо и вверх, как и пристало расти немецкому дереву. Таким образом немец мало-помалу выкорчевывает все другие деревья и сажает вместо них тополя.

Немец любит природу, но она ему нужна как светской dame «благородный дикарь» — приодетый. Немец любит гулять по лесу — до ресторана. Только тропа не должна быть слишком крутой; сбоку должна быть сточная канава, выложенная кирпичом; каждые двадцать ярдов должна быть скамейка, где он мог бы передохнуть и утереть пот со лба (ибо скорее священнику англиканской церкви придет в голову скатиться с ледяной горки, чем немецкому бюргеру — присесть на траву).

Ему нравится смотреть с вершины горы, но ему также нравится, чтобы на вершине горы была каменная табличка с указанием куда смотреть, стол и скамейка, где можно присесть выпить бутылочку пива и скушать «*belegte Semmel*»¹, который он аккуратно прихватит с собой. Если в придачу немец найдет на дереве полицейское объявление, запрещающее ему делать то-то и то-то, ему станет еще уютнее и безопаснее.

Немец не испытывает неприязни даже к дикой природе — при условии, что она дикая в меру приличия. Если ему кажется, что она слишком нецивилизована, он принимается за работу и приручает ее. Помню, недалеко от Дрездена я обнаружил живописную узенькую долину, сходящую к Эльбе. Извилистая тропа бежала вдоль горного потока, который пенился и бурлил по камням между скал, целую милю, вдоль берегов, поросших лесом. Очарованный, я шел по тропинке, пока за поворотом не наткнулся на толпу рабочих — человек восемьдесят, если не полная сотня. Они в поте лица убирали долину и приводили поток в приемлемый вид.

Все камни, которые препятствовали току воды, тщательно выбирались, грузились в телеги и увозились. Берег по обеим сторонам выкладывался кирпичом и цементировался. Нависающие кусты и деревья, спутанные стеблями ползучих растений подрезались и вырывались с корнем. Чуть ниже я увидел законченную работу — какой должна быть горная долина в соответствии с немецкими представлениями.

Вода, теперь широким ленивым потоком, текла по ровному, засыпанному гравием руслу между двух стен, увенчанных каменными карнизами.

¹ Круглая разрезанная булочка с ветчиной или сыром.

Каждые сто ярдов она осторожно спускалась по трем широким деревянным площадкам. Берега были расчищены; через правильные интервалы были посажены молодые тополя. Каждый саженец был огорожен ширмой-плетенкой и подвязан к железному пруту. Как надеются местные власти, в течение двух лет долина будет «закончена» по всей длине, и опрятноумный любитель немецкой природы сможет здесь, наконец, появиться. Каждые пятьдесят ярдов будет устроена скамейка, каждые сто — полицейское объявление, каждые полмили — ресторан.

То же самое творится от Мемеля до Рейна. Они просто убирают страну. Я хорошо помню Верталль, некогда самый романтический лог во всем Шварцвальде. Когда я спускался туда в последний раз, несколько сот итальянских рабочих стояли там лагерем, в поте лица наставляя маленький буйный Вер, как должно себя вести. Здесь берега ему обкладывали кирпичом, там подрывали ему утесы; возводили цементные ступеньки, чтобы он мог спускаться чинно и без суеты.

В Германии не болтают всякую ерунду про «живую природу». В Германии природа должна вести себя как следует и не подавать дурного примера детям. Немецкий поэт, обнаружив, как в Лодоре поднимаются воды (как это живописует, несколько бессистемно, Саути), будет в таком шоке, что не сможет остановиться и написать об этом аллитерированным стихом. Он убежит и сразу заявит на них в полицию. И недолго тогда им останется пениться и шуметь.

— Ну-ка, ну-ка, что все это значит? — сурово обратится к водам глас немецких властей. — Такого мы не можем позволить, вы знаете. Вы что, не можете подниматься спокойно? Где вы, по-вашему, находитесь?

И немецкий муниципальный совет выделит для этих вод цинковые трубы, деревянные желоба, винтовые лестницы и покажет им, как следует подниматься по-немецки, благоразумно.

Опрятная страна эта Германия.

До Дрездена мы добрались в среду вечером и пробыли там до воскресенья. Можно сказать, Дрезден — город, привлекательный во всех отношениях; но это место, где нужно пожить, а не куда можно просто съездить. Его музеи и галереи, его дворцы и сады, его прекрасное и исторически насыщенное окружение — источник наслаждения на целый сезон — за неделю только приведут в замешательство. Дрезден не такой развеселый, как Вена или Париж (которые быстро надоедают); его чары по-немецки основательнее и прочнее. Это Мекка для любителя музыки. В Дрездене за пять шиллингов можно взять место в партере (после чего вас, увы, не заставишь высидеть до конца ни одну оперу в Англии, Франции или Америке).

Дрезденская притча во языцах — все тот же Август Сильный*, «Антихрист» (как его всегда называл Карлейль), который, согласно народной молве, остохрел всей Европе, оставив более тысячи наследников. Замки,

где томилась та или иная отвергнутая его возлюбленная (одна из них, упорствовавшая в своем притязании на высший титул, говорят, томилась целых сорок лет, бедняжка! — узкие подземелья, где она извела свое сердце и умерла, показывают до сих пор), — замки, которым стыдно за то или иное бесчестье, — лежат, разбросанные по окрестностям, как кости на поле боя; истории в путеводителях относятся к таковым, какие «детям», воспитанным в немецком духе, лучше не слушать. Портрет Августа в полный рост висит в великолепном Цвингере*, построенным им для звериных боев, когда горожане устали от них на рыночной площади. Мрачный, откровенно животный тип — тем не менее со вкусом и цивилизованный, что так часто сопутствует низменному инстинкту. Современный Дрезден, несомненно, многим ему обязан.

Но на что в Дрездене больше всего глазеет приезжий — возможно, на электрические трамваи. Эти огромные экипажи несутся по улицам со скоростью от десяти до двадцати миль в час, заходя в выражи что твой ирландский извозчик. В трамваях ездят все, кроме офицеров в форме, которым это запрещено. Дамы в вечерних платьях, спешащие в оперу или на бал, разносчики со своими корзинами — все сидят бок о бок. На улице трамвай — самый главный; всё и вся спешат убраться у него с дороги. Если вы не убираетесь у него с дороги и все-таки остаетесь в живых, по выздоровлении будете оштрафованы — за то, что под него попали. Впредь будете осторожнее.

Однажды после обеда Гаррис решил самостоятельно прокатиться на трамвае. Вечером, когда мы сидели в «Бельведере» и слушали музыку, Гаррис как бы между прочим заметил:

— У этих немцев вообще отсутствует чувство юмора.
— С чего ты взял? — спросил я.

— Да вот, сегодня после обеда, — ответил Гаррис, — прыгаю на один этот электрический трамвай. Хотел посмотреть город — и стою на этой площадке... Как ты ее называл?

— Stehplatz?¹ — предположил я.

— Ну да. Так вот, ты же знаешь, как там трясет, как надо следить за поворотами и вообще не зевать, когда они тормозят и трогаются?

Я кивнул.

— Нас там было человек шесть, — продолжил Гаррис. — А у меня, конечно, опыта никакого. Эта штука трогается, я отлетаю назад. Падаю на какого-то полного господина, стоял как раз за спиной. Он сам тоже стоит еле-еле и сам тоже отлетает назад — на какого-то мальчишку, с трубой в зеленом футляре. И хоть бы один улыбнулся! Стоят себе, как два сыча. Хотел извиниться и только сообразил, что сказать, как трамвай тормозит, и я, по-

¹ Место для проезда стоя.

нятное дело, улетаю вперед и тыкаюсь в какого-то седого старика — я так понял, профессора. Так вот и он бы хоть улыбнулся. Мускул не дрогнул.

— Может быть, он о чем-то задумался, — предположил я.

— Не могли же они все сразу о чем-то задуматься? Притом что за всю дорогу я падал на них раза по три минимум. Понимаешь, — объяснил Гаррис, — они-то знают все повороты и знают, в каком направлении наклоняться. А мне, как чужаку, было, разумеется, не так просто. Меня мотало, бросало по всей площадке, я цеплялся как бешеный то за одного, то за другого... Это, наверно, было на самом деле смешно. Не скажу, что юмор первоклассный, но многих бы рассмешило. А этим немцам, видать, вообще ничего не смешно. Они только нервничают, вот и все. Был там один коротышка — стоял спиной к тормозу. Я падал на него пять раз — я считал. Можно было ожидать, что с пятого-то раза он рассмеется — так нет же. Ему, похоже, просто надоело. Скучные люди.

Джордж также попал в Дрездене в приключение. У Старого рынка стоял магазинчик, в окне которого были выставлены подушечки. Вообще магазин торговал стеклом и фарфором, и подушечки, похоже, были выставлены в качестве торгового эксперимента. Подушечки были очень красивые: атласные, ручной вышивки. Мы часто проходили мимо, и каждый раз Джордж останавливался и подушечки изучал. Он сказал, что такая подушечка должна понравиться его тетушке.

В продолжение всей нашей поездки Джордж к своей тетушке был чрезвычайно внимателен. Каждый день он писал ей по большому письму и из каждого городка, в котором мы останавливались, отправлял почтой определенный подарок. По-моему, в этом деле Джордж проявлял чрезмерную щепетильность, и я не однажды пытался его образумить. Ведь его тетушка будет встречаться с другими тетушками, будет все им рассказывать, и систему тетушек постигнет хаос и разорение. Имея тетушек также, я не одобряю утопического стандарта, который пытается зафиксировать Джордж. Но ему хоть кол на голове теши.

Таким образом получилось, что в субботу Джордж покинул нас после обеда, сообщив, что собирается зайти в тот магазинчик, дабы приобрести подушечку для своей тетушки. Он сказал, что скоро будет, и попросил нас его дождаться.

Ждали мы, как мне показалось, очень немало. Вернулся он с пустыми руками, имея взъяннованный вид. Мы спросили, куда он девал подушечку. Он сказал, что подушечки у него нет; что он передумал; что тетушке, как он считает, подушечка не понравится. Что-то явно было не так. Мы попытались докопаться до истины, но разговорить Джорджа не удалось. Когда число заданных ему вопросов перевалило за двадцать, он стал отвечать односложно.

Однако вечером, когда мы остались с ним наедине, он сам начал тему.

— Странные они кое в чем, эти немцы.
— А в чем дело?
— Ну, — отозвался он, — вот эта подушечка, которую я хотел.
— Для твоей тетушки, — кивнул я.
— Ну да, а что? — Джордж вспыхнул в секунду (никогда не видел людей столь щепетильных в отношении теток). — Мне что, нельзя купить тете подушку?

— Не волнуйся, — ответил я. — Я не возражаю... Я тебя уважаю за это.

Он взял себя в руки и продолжил:

— Там на витрине было четыре штуки, если ты помнишь. Все как одна, на каждой — ценник, где черным по белому — двадцать марок. Я не утверждаю, что говорю по-немецки бегло, но обычно меня без труда понимают, да и я разбираю, что мне говорят, — если, разумеется, не бубнить. Захожу в магазин. Подходит девчонка, хорошенькая, существо безобидное, можно почти сказать, скромное... От таких девчонок, в общем, такого совершенно не ожидаешь... Никогда в жизни так не удивлялся.

— Удивлялся чему?

(Джордж всегда полагает, что когда он начинает рассказывать, вы уже знаете, чем он закончит; такой метод изложения доводит до иступления.)

— Тому, что случилось, — ответил Джордж. — О чем я тебе и рассказываю! В общем, улыбается и спрашивает, что мне надо. Это я понял правильно, ошибки никакой быть не может. Кладу на кассу двадцать марок и говорю: «Будьте добры, подушку». Она выпутилась, как будто я требую пуховый матрац. Может быть, думаю, не рассыпала — повторяю громче. Если бы я пощекотал ей шею, она бы так не удивилась и не рассердилась бы. Говорит, что это, наверно, ошибка. Я не хотел пускаться в разговор — тогда точно запутаешься. Говорю просто: никакой ошибки нет. Показываю на деньги и повторяю в третий раз, что мне нужна подушка, «подушка за двадцать марок».

Выходит другая девчонка, постарше. Первая ей повторяет, что я сказал, а сама как не своя. Вторая ей не верит: не похож, мол, я на человека, которому нужна подушка. Переспрашивает меня сама, чтобы удостовериться: «Говорите, вам нужна подушка?» — «Уже три раза сказал, — говорю, — и еще раз скажу: мне нужна подушка!» — «Нет, — говорит, — не получите вы подушки».

Тут я разозлился. Если бы мне не нужна была эта подушка, по правде, я бы ушел. Но вон они, в окне, подушки и, надо понимать, продаются. Почему же я не получу подушки? «Получу!» — говорю. Это простое предложение. Произнес я его решительно.

Здесь выходит третья девчонка — как я понял, это был весь магазин. Такая быстроглазая, фривольная девица, эта третья... В другой раз бы мне

понравилась, но сейчас только взбесила — еще третьей там не хватало, на эту подушку.

Первые две начинают объяснять третьей, что к чему. Они рассказывают, а она начинает хихикать — такие будут чему попало хихикать. Рассказали и начинают трещать как сороки, и через каждое слово смотрят на меня, и чем больше смотрят, тем больше эта третья хихикает. Под конец захихикали все втроем, идиотки. Можно подумать — я клоун и даю приватное представление.

Третья более-менее успокоилась и подходит ко мне, причем все хихикает. Говорит: «А если получите, то уйдете?» Я сначала не совсем понял, она повторяет: «Эту подушку. Когда вы ее получите, то уйдете? Отсюда? Сразу же?» Да мне только того и надо, так ей и говорю. Только без подушки никуда не пойду, говорю. Ни за что — всю ночь простою, а не уйду.

Она назад к этим двум. Ну, думаю, сейчас принесут мне подушку, и дело с концом. Вместо этого происходит нечто самое странное. Две вторые зашли за первую — всё хихикают и хихикают — и подталкивают ее ко мне. Подтолкнули поближе, и тут — я даже ничего не понял! — она кладет мне руки на плечи, становится на цыпочки и целует. Потом прячет лицо в фартук и убегает, а за ней вторая. Третья открывает мне дверь и откровенно ждет, чтобы я уходил, а я так смущился, что ушел и оставил свои двадцать марок. Ничего против поцелуя я не имел, конечно... Хотя мне нужен был не совсем поцелуй, мне нужна была подушка. Но не идти же обратно... Я вообще ничего не понимаю.

— А что ты просил?

— Подушку.

— Это что тебе было надо, понятно. Меня интересует, как ты назвал ее по-немецки — слово?

— Ein Kuss.

— Ну, так тебе нечего жаловаться. Здесь все не так просто. «Ein Kuss» вроде как бы и должно быть подушкой, но только это не подушка, это — «поцелуй»... А «ein Kissen» — как раз подушка. Ты сбился на этих двух словах, и не ты первый. Сам я не особо в таких вещах разбираюсь, но... Ты предложил за поцелуй двадцать марок и, судя по тому, что рассказал про девчонку... Кое-кто бы сказал, что ты не переплатил. Так или так, но Гаррису лучше ничего не рассказывать... Если я точно помню, у него тоже есть тетя.

Джордж согласился, что Гаррису лучше ничего не рассказывать.

ГЛАВА VIII

Мистер и мисс Джонс из Манчестера. — Преимущества какао. — Совет Комитету борьбы за мир. — Окно как аргумент в богословском споре. — Любимое развлечение христиан. — Язык гидов. — Как восстановить разоренное временем. — Джордж пробует содержимое пузырька. — Судьба любителя немецкого пива. — Мы с Гаррисом решаем сделать доброе дело. — Обыкновенная статуя. — Гаррис и его друзья. — Рай без перца. — Женщины и города.

Мы отъезжали в Прагу и дожидались в огромном зале дрезденского вокзала минуты, когда власть имущие позволят нам выйти на перрон. Джордж, который отлучался к книжному киоску, вернулся с диким блеском в глазах.

— Я видел!

— Видел что? — спросил я.

Джордж был слишком возбужден и вменяемо ответить не смог.

— Это здесь. Идет сюда, оба. Подождите, увидите сами. Я не шучу. Это правда!

Как обычно для этого времени года, в газетах появлялись более-менее серьезные статьи про морского змея, и я сначала подумал, что Джордж имеет в виду этого змея. В следующую секунду я сообразил, что здесь, в середине Европы, в трехстах милях от побережья, такая вещь невозможна. Не успел я переспросить, как он схватил меня за руку.

— Смотри! — воскликнул он. — Я что, не прав?

Я обернулся и увидел то, что, я полагаю, доводилось видеть мало кому из живых англичан — туриста-британца с точки зрения континентальной идеи, в сопровождении своей дочери. Они приближались к нам, из плоти и крови (если только нам это не снилось), живые и настоящие — «милор»-англичанин и «миис»-англичанка — такие, как в продолжение поколений изображались в европейских юмористических журналах и на европейской юмористической сцене.

Они были безупречны до малейшей детали.

Мужчина — высокий, худой, рыжие волосы, огромный нос, длинные бакенбарды без бороды. Поверх крапчатого костюма на нем было легкое пальто, доходящее почти до пят. Белый пробковый шлем, зеленая москитная сетка, на боку театральный бинокль. В руке, обтянутой лиловой перчаткой, он держал альпеншток, который был чуть длиннее его самого.

Дочь — долговязая, костлявая; платье описать не сумею (мой дедушка, мир его праху, наверно, сумел бы — ему такое было знакомо больше). Могу только сказать, что мне оно показалось коротковатым; оно обнажало пару лодыжек (да будет мне позволено говорить о подобных вещах), которые, с эстетической точки зрения, следовало бы, наоборот, скрыть. Глядя на шляпку, я подумал о г-же Хеманс* (почему — объяснить не могу). На дочери были ботинки с резинками на боках (в свое время, кажется, они назывались «прюнельки»), митенки и пенсне. У нее также был альпеншток (в радиусе ста миль от Дрездена нет ни одной горы), и на поясе на ремешке болталаась черная сумка. Зубы у нее торчали вперед как у кролика, а сама она производила впечатление диванного валика на ходулях.

Гаррис бросился за камерой и, разумеется, ее не нашел. (Он никогда не может ее найти, когда нужно. Всякий раз когда мы видим, как Гаррис мечтается как потерявшийся пес и вопит: «Где моя камера? Куда, черт побери, я ее дел? Вы что, не помните, оба, куда я положил камеру?» — мы уже знаем, что сегодня Гаррису наконец попалось нечто стоящее фотоснимка. Позже он вспомнит, что камера была в сумке, — то есть там, где и должна была быть на случай съемки.)

Одного лишь маскарада этим двоим было мало; они разыграли все до конца как по нотам. Они шли, оглядываясь и от изумления раскрывая рты на каждом шагу. Джентльмен держал в руке раскрытое «Бедекера»*, а леди — разговорник. Они говорили по-французски, которого никто не понимал, и по-немецки, которого они не понимали сами. Мужчина, чтобы привлечь внимание, тыкал в служащих вокзала своим альпенштоком, а девушка, заметив рекламу какого-то какао, сказала «Кошмар!» и отвернулась.

(Здесь ее, вообще-то, можно понять. Как можно заметить, даже в Англии, цитадели пристойности, женщине, которая пьет какао, от нашего мира, как видно из рекламы, больше ничего не требуется — ярд-полтора искусственного муслина самое большее. В Европе, какой можно сделать вывод, ей не нужны вообще никакие предметы первой необходимости. Какао заменит ей не только насущный хлеб, но, по замыслу какао-производителей, также одежду. Но это так, к слову.)

Разумеется, оба немедленно оказались в центре внимания. Будучи в состоянии оказать им скромную помощь, я извлек выгоду из пятиминутной беседы с ними. Они были очень любезны. Господин сообщил, что его зовут Джонс, что он сам из Манчестера (но откуда именно из Манчестера и где вообще находится сам Манчестер, он не знал). Я спросил его куда он едет, но этого он тоже, очевидно, не знал. Он сказал, что там будет видно. Я спросил, не кажется ли ему, что альпеншток — для прогулок по оживленному городу вещь неудобная; он признал, что альпеншток иногда мешает. Я спросил, не кажется ли ему, что москитная сетка мешает смотреть; он объяснил, что ее

опускают только когда мухи уже раздражают. Я спросил его спутницу, не кажется ли ей, что ветер холодноват; она сказала, что сама это заметила, особенно на углах. Я не стал задавать все эти вопросы подряд, как здесь приводжу; я искусно ввернул их в беседу, и мы расстались друзьями.

Я немало раздумывал об этом явлении и пришел к определенному заключению. Один человек, которого я встретил потом во Франкфурте и которому я описал эту парочку, сказал, что видел их сам в Париже, три недели спустя после Фашодского кризиса*. В то же время командированный от одной сталелитейной английской компании, с которым мы встретились в Страсбурге, припомнил, что видел их в Берлине во время волнений из-за трансваальских событий*. Мое заключение таково: это безработные актеры, нанятые в интересах сохранения международного мира. Министерство иностранных дел Франции, желая унять гнев парижской толпы, требующей войны с Англией, заручилось этой восхитительной парочкой и направило ее гулять по городу. Невозможно одновременно над кем-то смеяться и желать его смерти. Французская нация увидела подданного и подданную Великобритании — не на карикатуре, но как живую действительность, — и гнев разразился смехом. Удача военной хитрости побудила их позже предложить свои услуги правительству Германии — с благоприятными результатами, нам всем известными.

Наше собственное правительство могло бы выучить этот урок. Ведь можно равным образом держать на Даунинг-стрит* несколько толстых коротышек-французов, чтобы в случае необходимости пускать их вокруг, пожимающих плечами и пожирающих бутерброды с лягушками. Можно также держать колонну неопрятных сальноволосых немцев, чтобы они околачивались, дымя длинными трубками и приговаривая «So»¹. Народ будет смеяться и восклицать: «Воевать с такими? Чушь несусветная!» Если не выгорит с правительством, я порекомендую этот проект Комитету борьбы за мир.

В Праге нам захотелось несколько задержаться. Прага — один из самых интересных городов в Европе. Каждый камень Праги пропитан историей и романтикой; каждое предместье было, наверное, полем браны. Это город, который выносил Реформацию и высидел Тридцатилетнюю войну*. Но половины несчастий городу, как представляется, удалось бы избежать, не будь пражские окна столь огромны и соблазнительны. Первую из этих грандиозных катастроф город начал с того, что выбросил из окон ратуши на копья гуситов семь католиков — членов Государственного совета. Позже он дал отмашку для начала второй, выбросив на этот раз членов Императорского совета из окон старого замка в Градчанах*, — так случился вто-

¹ Так.

рой пражский «Fenstersturz»¹. С тех пор в Праге было принято много других судьбоносных решений, но так как в прочих случаях насилия допущено не было, решения, надо полагать, принимались в подвалах. Для истинного пражанина окно, как чувствуется, всегда представлялось слишком соблазнительным аргументом.

В Тейнской церкви стоит изъеденная червями кафедра, с которой проповедовал Ян Гус*. Сегодня с такой же кафедры можно услышать голос священника-паписта, а в далеком Констанце грубый, наполовину заросший плющом камень отмечает то место, где Гус и Иероним Пражский когда-то окончили жизнь на костре*. История любит свои маленькие парадоксы. В этой же самой Тейнской церкви похоронен Тихо Браге* — астроном, который, подобно многим, ошибочно полагал, что Земля, где на одно человечество приходится одиннадцать тысяч вероисповеданий, является центром Вселенной (хотя в остальном звезды понимал хорошо).

По грязным, стиснутым между домов пражским улочкам часто, должно быть, толкались в разгоряченной спешке слепой Жижка и вольнодумный Валленштейн* — в Праге его нарекли «нашим героем», и город искренне горд тем, что Валленштейн был его жителем. В его мрачном доме на площади Вальдштейн вам покажут почитаемую как святыня каморку, в которой он молился (и, похоже, убедил всех, что у него действительно была душа).

По крутым извилистым улицам Праги не раз громыхали сапоги солдат — то летучих отрядов Сигизмунда, которых преследовали свирепые убийцы-табориты; то бледных протестантов, которых обращали в бегство победоносные католики Максимилиана*. Вот саксонцы, вот баварцы, вот и французы, вот святоши Густава Адольфа; вот в ворота врываются «стальные машины смерти» Фридриха Великого и дают бой на мостах*.

Евреи всегда были важнейшей особенностью Праги. Время от времени они содействовали христианам в их любимом занятии — убивать друг друга, и огромный флаг, подвешенный под сводами Альтнойшул, свидетельствует о той храбости, с которой они помогали католику Фердинанду сопротивляться протестантам-шведам*. Пражское гетто было одним из первых, что появились в Европе. В маленькой синагоге, которая стоит до сих пор, пражский еврей молится восемьсот лет, а его женщина благочестиво внимает у слуховых отверстий, устроенных для этой цели в массивной стене. Соседнее еврейское кладбище, «Бетшаим, или Дом жизни», вот-вот, кажется, лопнет от своих покойников. В его тесной ограде действует многовековой закон, по которому только здесь и больше нигде должны покоиться кости сынов Израиля. И вот ветхие разоренные могильные плиты валяются тесной беспорядочной грудой, словно поваленные и разбросанные бьющимся под землей воинством.

¹ Букв. «выброс из окна».

Стены гетто давно сравнялись с землей, но сегодняшний пражский еврей по-прежнему верен своему зловонному переулку, хотя таким переулкам быстро приходят на смену новые нарядные улицы, сулящие превратить этот район в красивейшую часть города.

В Дрездене нам посоветовали не говорить в Праге по-немецки. За последние годы расовая вражда между немецким меньшинством и чешским большинством достигла предела по всей Богемии, и если на улицах Праги вас кое-где примут за немца, это может оказаться проблемой — влияние немцев здесь уже не такое, как некогда. Все же кое-где по-немецки мы говорили: нам пришлось выбирать — либо говорить по-немецки, либо молчать вообще.

Чешский язык, говорят, очень древний и имеет высокую научную традицию. Алфавит состоит из сорока двух букв, которые иностранцу покажутся китайскими иероглифами *. Это не такой язык, каким можно овладеть с наскока. Мы решили, что в целом меньше рискуем здоровьем, если будем говорить по-немецки. И правда, ничего страшного не произошло. (Объяснить это могу только предположительно. Пражанин — человек необычайно проницательный; легкий иностранный акцент, незаметные грамматические ошибки, которые, возможно, вкрались в наш немецкий, выдали факт, что мы, вопреки всем иным внешним признакам, были все-таки не чистокровные немцы. Я это не утверждаю, я предлагаю это как гипотезу.)

Чтобы избежать, однако, ненужной опасности, осмотр достопримечательностей мы провели при содействии гида. Идеальные гиды мне не попадались еще никогда. Этот же обладал двумя особенноми недостатками. Английский он знал решительно слабо. Это был не английский вообще. Я не знаю, как это называлось. Его стопроцентной вины в этом не было: английский он учил у шотландки. По-шотландски я понимаю прилично (это необходимо, чтобы идти в ногу с современной английской литературой), но попытка разобраться в махровом шотландском, на котором говорят со славянским акцентом, время от времени оживляя его немецким умлаутом, подрывает умственные способности.

В продолжение первого часа было трудно избавиться от ощущения, что наш гид задохнется. Каждую секунду мы ожидали, что он умрет у нас на руках. За утро мы успели, однако, к нему привыкнуть и избавились от инстинктивного желания всякий раз, когда он открывает рот, кидать его на спину и срывать одежду. Позже мы начали понимать некую часть произносимого, и здесь выявился его второй недостаток.

Как вроде бы оказалось, недавно он изобрел средство для отращивания волос, за производство и рекламу которого убедил взяться местного аптекаря. Половину оплаченного времени он расписывал нам не красоты Праги, а те блага, которые, по всей вероятности, обретет человечество используя его зелье. Наши стандартные кивки, которыми мы (полагая, что блеск

красноречия относится к архитектуре и городскому ландшафту) приветствовали его энтузиазм, он отнес на счет горячего интереса к своему несчастному препаратору.

В результате отвлечь гида от этой темы стало положительно невозмож-но. Разрушенные дворцы и обвалившиеся церкви он игнорировал, невеж-ливо отзываясь о них как о вздорной чепухе, возбуждающей нездоровы-й вкус к декадентству. Свой долг он видел не в том, чтобы побудить нас задуматься о разрушительном влиянии времени, но больше в том, чтобы при-влечь наше внимание к средствам разрушенное восстановить. Какое нам дело до героев с отвалившимися головами? Или до лысых святых? Наш ин-терес должен быть безусловно направлен к живому миру, к девам со струя-щимся потоком волос, или к собственно струящемуся потоку волос, кото-рый у дев может образоваться по трезвом использовании «Кофкео» (или хотя бы к юношам с ярко выраженными усами — в соответствии с изобра-жением на этикетке).

Желая того или не желая, но в своем представлении наш гид разделил мир на две части. Прошлое («до употребления») — болезненный, неблагооб-разный, безотрадный тосклиwyй мир. Будущее («после употребления») — мир откормленный, развеселый, типа «да-благословит-всех-господь». Та-кое положение лишало нашего гида профессиональной пригодности как экскурсовода по монументам средневековой истории.

Он прислал нам в отель по бутылке своего состава. (Как оказалось, в на-чале нашего совместного общения мы, непредумышленно, его потребова-ли.) Лично я его средство не могу ни хвалить, ни бранить. Длинная череда разочарований сломила мой дух; вдобавок к этому постоянный аромат ке-росина, пусть даже легкий, способен вызывать шуточки, особенно если вы человек женатый. Теперь я ничего даже не пробую.

Свою бутылку я отдал Джорджу. Он выпросил ее для одного своего зна-комого в Лидсе. (Позже я узнал, что Гаррис отдал ему и свою бутылку, для того же знакомого в Лидсе.)

После Праги наша поездка стала прочно ассоциироваться с запахом чеснока. Джордж сам обратил на это внимание и отнес данный факт на счет господства чеснока в европейской кухне.

В Праге же мы с Гаррисом оказали Джорджу дружескую услугу. Мы за-метили, что в последнее время Джордж слишком пристрастился к «Пилз-неру»*. Это немецкое пиво — напиток коварный, особенно в жаркую пого-ду. Насыщаться им бесконтрольно не следует. Оно не ударяет в голову, но спустя какое-то время губит вам талию. Всякий раз когда я въезжаю в Гер-манию, я говорю себе:

— Нет, пива в Германии я пить не буду. Белое вино местных сортов и не-много содовой. Иногда, может быть, стаканчик эмской или щелочной. Но пива — ни капли. Ну... Или почти ни капли.

Это здоровое, благое решение, которое я рекомендую всем путешественникам. (Осталось только соблюдать его самому.) Джордж, несмотря на мои убеждения, отказался от каких-либо подобных суровых постов. Он сказал, что при умеренном употреблении немецкое пиво для здоровья полезно.

— Стаканчик утром, — сказал он, — стаканчик вечером, или даже парочку. Не повредит никому.

Возможно, он был и прав. Но нас с Гаррисом обеспокоила не парочка, а полдюжины.

— Мы должны что-то сделать, — заметил Гаррис. — Это уже не шутки.

— Это у него наследственное, как он мне объяснил, — ответил я. — У них в роду, я понял, все всегда страдали от жажды.

— Тогда пусть пьет «Аполлинарис»*. Капнуть туда лимонного сока — и никаких проблем. Я вот думаю про его фигуру. Он потеряет все свое природное изящество.

Мы подробно обсудили вопрос и, не без помощи Провидения, разработали план.

Недавно в Праге для украшения города была отлита новая статуя. Кого она изображала — не помню; помню только, в сущности, это был обычный уличный памятник, представляющий собой обычного джентльмена, с обычным пристрелом в пояснице, верхом на обычном коне — который всегда стоит на задних ногах, сохраняя передние для попрания Времени.

В деталях, однако, памятник обладал индивидуальностью. Вместо обычного меча или жезла человек держал в вытянутой руке шляпу с плюмажем. У коня же вместо обычного хвоста водопадом наблюдался некий худосочный придаток, несколько не вязавшийся с общей претенциозностью стиля. (Как представляется, реальная кляча с подобным хвостом так гарцевать бы не стала.)

Статуя стояла на небольшой площади у дальнего конца Карлова моста, но стояла там только временно. Перед тем какставить ее окончательно, городские власти решили, очень разумно, сначала провести практический опыт и посмотреть, где она будет лучше смотреться. Соответственно они изготовили три грубые копии — простые деревянные профили, на которые, конечно, вблизи было не посмотреть, но с расстояния которые нужный эффект производили. Один из них был установлен у подъезда к мосту Франца-Иосифа, второй стоял на площади позади театра, третий — в центре Венцеславовой площади.

— Если только Джордж про это не знает, — сказал Гаррис (мы гуляли с ним уже около часа, оставив Джорджа в отеле писать письмо тетушке), — если только он эти три штуки не видел, с их помощью мы вправим ему и мозги, и фигуру, и сегодня же вечером.

И вот за обедом мы осторожно исследовали почву и, выяснив, что на этот счет ему ничего не известно, вывели на прогулку и провели закоулка-

ми к тому месту, где стоял подлинник. Джордж хотел, осмотрев его, двинуться дальше (как он всегда поступает со статуями), но мы настояли, чтобы он задержался и осмотрел эту вещь добросовестно. Мы обвели его вокруг статуи четыре раза и показали во всех мыслимых ракурсах.

В общем, я думаю, она ему немного наскутила, но по нашему плану всадник должен был запечатлеться в памяти Джорджа навеки. Мы поведали Джорджу историю человека на коне, имя ваятеля статуи, сколько она весила, каковы были ее размеры. Мы внедрили эту статую в систему его идеалов. Когда мы от него отстали, про эту статую он знал больше, чем, на текущий момент, обо всем остальном на свете. Мы пропитали его этой статуей как губку водой и отпустили только на том условии, что завтра утром он вернется сюда еще раз, когда ее будет лучше видно (для чего проследили, чтобы он пометил в своей записной книжке место, где она установлена).

Затем мы составили ему компанию в его любимой пивной, где сели рядом и стали травить ему байки — про то, как люди, непривычные к немецкому пиву, перепиваются, сходят с ума, как у них развивается мания убийства; про то, как от немецкого пива люди умирают в молодом возрасте; про то, как возлюбленным из-за немецкого пива приходится расставаться с прекрасными возлюбленными навсегда.

В десять мы тронулись домой. Собиралась гроза, тяжелые тучи заволакивали бледную луну, и Гаррис сказал:

— Обратно давайте пойдем другой дорогой, по набережной. В лунном свете река так прекрасна.

По дороге Гаррис завел нерадостную историю о человеке, которого он некогда знал и который ныне содержится в приюте для безобидных придурков. Эту историю, как сообщил Гаррис, он припомнил потому, что был точно такой же вечер, когда он видел беднягу в последний раз. Они, сказал Гаррис, прогуливались по набережной Темзы, и человек напугал его, утверждая, что видел памятник герцогу Веллингтону у Вестминстерского дворца, тогда как, что известно каждому, герцог находится на Пикадилли.

Как раз в этот самый конкретный момент мы увидели первую из тех деревянных копий. Она располагалась в центре огороженного скверика, чуть выше нас, на противоположной стороне дороги. Джордж резко остановился и прислонился к парапету набережной.

— Ты что? — спросил я. — Голова закружилась?

— Немного... Давайте передохнем здесь чуть-чуть.

И он замер, не отрывая глаз от темного силуэта.

— Эти статуи... — сказал он хрипло. — Что меня всегда поражает, как они все друг на друга похожи.

— Не могу здесь с тобой согласиться, — ответил Гаррис. — Изображения — да. Некоторые изображения очень похожи на другие изображения, но статуи всегда чем-нибудь отличаются. Возьми эту, которую мы сегодня

смотрели, — продолжил Гаррис, — перед концертом. Которая человек на коне. В Праге есть другие статуи людей на конях, но ни одна на эту вообще не похожа.

— Нет, похожа, — уперся Джордж. — Они все как две капли воды. Всегда тот же конь, всегда тот же мужик. Они все просто как две капли воды! Помоему, и дураку ясно?

Он явно разозлился на Гарриса.

— Почему ты так думаешь? — спросил я.

— Почему я так думаю? — Джордж повернулся ко мне. — А ты посмотри на эту проклятую дрянь, вон там!

— На какую проклятую дрянь?

— Вон на ту! Посмотри на нее! Тот же конь — полхвоста, на задних ногах! Тот же придурок без шляпы! Тот же...

— А, — перебил Гаррис, — так ты про памятник, который мы смотрели на Ринг-платц.

— Нет, — отозвался Джордж. — Я про этот, вот здесь. Про эту вот статую.

— Какую статую? — переспросил Гаррис.

Джордж воззрился на Гарриса. Из Гарриса при желании мог бы получиться неплохой актер-любитель. Его лицо выражало только печальное дружеское участие, смешанное с обеспокоенностью. Затем Джордж повернулся ко мне. Я постарался, по мере собственного мастерства, скопировать выражение лица Гарриса, добавив от себя оттенок некоторого порицания.

— Взять тебе извозчика? — предложил я со всей мягкостью, на которую был способен. — Я сбегаю.

— На кой мне дьявол извозчика? — невежливо ответил Джордж. — Вы что, ребята, шуток не понимаете? Как две вздорные бабы, честное слово...

И он быстро зашагал по мосту, а мы побежали за ним.

— Я очень рад, что это была только шутка, — сообщил Гаррис, нагнав Джорджа. — Я знаю случай энцефаломалиици*, который возник как раз на почве...

— Ну, и дурак! — оборвал его Джордж. — Все-то ты знаешь!

Он был воистину груб.

Мы повели его мимо театра, со стороны реки. Мы сказали, что так будет ближе, и, между прочим, так на самом деле было ближе. За зданием театра на открытом пространстве стоял второй деревянный призрак. Джордж посмотрел на него и снова замер как вкопанный.

— Ты что? — спросил Гаррис мягко. — Нездоровится, да?

— Черта с два так будет ближе, — отозвался Джордж.

— Заверяю тебя, — возразил Гаррис, — так будет ближе.

— Я все равно здесь не пойду, — уперся Джордж, отвернулся и зашагал.

Мы, как в прошлый раз, побежали за ним. На Фердинандштрассе Гаррис завел со мной разговор о частных психиатрических лечебницах, которые,

по словам Гарриса, в Англии из рук вон никуда не годятся. Один из друзей Гарриса, как сообщил Гаррис, пациент психиатрической лечебницы...

— У тебя что ни друг, — перебил Джордж, — то из дурки.

Это было сказано наиболее оскорбительным тоном, с явным намеком на то, что за большинством друзей Гарриса следует обращаться в психиатрические лечебницы. Но Гаррис не разозлился. Он просто ответил, вполне кротко:

— Что ж, это действительно странно, когда начинаешь об этом думать... Сколько моих друзей попало туда, в свое время... Порой становится страшно.

На углу Венцеславовой площади Гаррис, шедший чуть впереди, остановился.

— Какая милая площадь! — воскликнул он, засунув руки в карманы и восхищенно оглядываясь.

Мы с Джорджем последовали его примеру. В трехстах ярдах в самом центре площади расположилось третье привидение. Мне показалось, что эта копия была лучше всех; она была самой точной и на ней, таким образом, можно было уже свихнуться. Она стояла, четко очерченная на фоне грозового неба: конь на задних ногах, со своим причудливым хвостом-придатком; простоволосый всадник, указующий на луну — которая теперь полностью выступила из-за туч — своим плюмажем.

— Наверно, если вы не против, — произнес Джордж с почти душераздирающей ноткой в голосе (от агрессивности не осталось и следа), — возьму ка я извозчика... Если тут есть что-нибудь рядом...

— Я уже подумал, что с тобой что-то не так, — отозвался Гаррис душевно. — Голова, да?

— Похоже...

— Я это уже заметил, — продолжил Гаррис, — только не хотелось тебе говорить... Галлюцинации, да?

— Нет, нет! — поспешно отозвался Джордж. — Не галлюцинации... Я не знаю, что это такое...

— Я знаю, — сказал Гаррис сурово. — И я скажу тебе. Это немецкое пиво, которое ты употребляешь. Я знаю случай, когда человек...

— Знаешь, давай не сейчас... Может быть, это и так, да... Но не надо мне сейчас про него рассказывать...

— Это все с непривычки.

— Все, завязал... Прямо сейчас... Похоже, вы правы... Похоже, не мой продукт.

И мы привели его обратно в гостиницу и уложили в постель. Он был очень вежлив и всецело признателен.

Позже, как-то вечером, после долгого дня в седле, за которым последовал самый отличный обед, мы, угостив Джорджа длинной сигарой (и убрав

подальше тяжелые вещи), рассказали ему об этой военной хитрости, предпринятой ему во благо.

— И сколько, вы говорите, там было копий той статуи? — спросил Джордж, когда мы закончили.

— Три, — сказал Гаррис.

— Только три? Ты уверен?

— Абсолютно. А что?

— Да нет... Ничего.

Гаррису он, по-моему, не поверил.

Из Праги мы отправились через Карлсбад в Нюрнберг. Праведные немцы, как говорят, после смерти попадают в Карлсбад (так же, как праведные американцы — в Париж). В этом я сомневаюсь: городок этот небольшой и развернуться там негде.

В Карлсбаде вы поднимаетесь в пять утра — самое светское время для променада, когда под Колоннадой играет оркестр, а «Sprudel»¹ заполнен беспросветной очередью длиной в целую милю (после променада, с шести до восьми). Языков здесь можно услышать больше, чем отражала эхом Вавилонская башня. Польские евреи и русские князья; китайские мандарины и турецкие паши; норвежцы, как будто сошедшие со страниц Ибсена; французские кокотки, испанские гранды и английские графини; горцы из Черногории и миллионеры из Чикаго — попадаются каждую дюжину ярдов.

К услугам гостей Карлсбада вся роскошь цивилизации, за исключением одного — перца. В радиусе пяти миль от города его не раздобыть ни за какие деньги (а что можно раздобыть за красивые глазки — лучше не брать). Для когорты печеночников, которая формирует четыре пятых посетителей Карлсбада, перец — яд; а так как болезнь лучше предупреждать, чем лечить, все окрестности от перца тщательно оберегаются. В Карлсбаде собираются особые «перцовые партии»: они выезжают за пределы запретной зоны и там оттягиваются в перцовых оргиях и вакханалиях.

Нюрнберг, если кто-то ожидает увидеть в нем средневековый город, разочарует. Затейливые уголки, живописные виды — всего этого здесь не мало, но все окружено и нарушено современностью. Даже древности далеко не такие древности, как можно представить. Город, в конце концов, как женщина — стар только по внешнему виду, а Нюрнберг по-прежнему с виду — моложавая дама, и возраст его представить достаточно трудно, под свежей краской и штукатуркой, в свете огня газовых и электрических фонарей. И все же, всмотревшись ближе, замечаешь его стены в морщинах и седые башни.

* * *

¹ Минеральный источник.

ГЛАВА IX

Гаррис преступает закон. — Услужливый человек: опасности, которые его окружают. — Первый шаг Джорджа на поприще уголовника. — Для кого Германия — обетованный край. — Английский грешник: бесконечные разочарования. — Немецкий грешник: неограниченные возможности. — Чего нельзя делать с постельным бельем. — Недорогостоящий порок. — Немецкая собака: ее азбучная добродетель. — Ненадлежащее поведение жука. — Люди, которые поступают как следует поступать. — Немецкий мальчик: его страсть к закону. — Как сбиться с пути истинного посредством детской коляски. — Немецкий студент: его законопослушное непослушание.

По дороге из Нюрнберга в Шварцвальд каждый из нас, по разным причинам, умудрился попасть в историю.

Первым выступил Гаррис, в Штутгарте, где нанес оскорблечение представителю власти. (Штутгарт — очаровательный городок, светлый, опрятный, маленький Дрезден; еще привлекателен тем, что мест, на которые приходится тратить время, там мало: средних размеров картинная галерея, небольшой музейчик древностей, половина дворца — и все, можно расслабиться.) Гаррис не знал, что наносил оскорбление представителю власти. Он принял его за пожарного (тот и выглядел как пожарный) и обозвал «dummer Esel».

В Германии не разрешается называть представителей власти «тупыми ослями». Но этот конкретный представитель власти таким, без сомнения, оказался. Случилось же вот что: Гаррис, желая покинуть городской сад, увидел открытые ворота и, перешагнув через натянутую поперек проволоку, вышел на улицу. Гаррис утверждает, что проволоки он не заметил (хотя на ней, без сомнения, висела табличка «Durchgang Verboten!»¹). Стоявший у ворот человек остановил Гарриса и указал на табличку. Гаррис поблагодарил его и пошел дальше. Человек увязался за ним и стал разъяснять, что подобная неуважительность в отношении такого вопроса недопустима, и чтобы исправить дело, Гаррису следует переступить через проволоку в сад обратно.

Гаррис указал человеку, что на табличке было написано «Прохода нет!»,

¹ Прохода нет!

и, таким образом, переступив через проволоку в сад обратно, он бы нарушил закон повторно. Представитель власти сообразил это сам и предложил Гаррису, чтобы справиться с такой нездачей, войти в сад снова через правильный вход, находившийся за углом, и сразу же выйти еще раз уже через правильный выход. Вот здесь Гаррис и обозвал этого человека «тупым ослом». Это стоило суток задержки нам и сорока марок штрафа Гаррису.

Я последовал примеру Гарриса в Карлсруэ, украв велосипед. Я не собирался красть велосипед. Я просто хотел принести пользу. Поезд вот-вот собирался тронуться, когда я заметил, что велосипед Гарриса — мне так показалось — все еще стоит в багажном вагоне. Помочь мне было некому. Я запрыгнул в вагон и, в самый последний момент, выкатил велосипед. Торжествуя, я покатил его по перрону и наткнулся на велосипед Гарриса, стоявший у стены позади каких-то молочных бидонов. То есть велосипед, который я уберег, принадлежал не Гаррису.

Ситуация была неуютная. В Англии я бы пошел к начальнику станции и объяснил ошибку. Но в Германии, чтобы решить пустяк подобного рода, одного человека мало: вас поведут по инстанциям и заставят объясняться перед десятком. И если кого-то не будет на месте или у кого-то не будет времени вас просто выслушать, то вас, по заведенной традиции, запрут на ночь, чтобы вы имели возможность завершить объяснения утром.

Поэтому я решил, что просто уберу велосипед куда-нибудь с глаз и затем, без лишнего шума, чуть-чуть прогуляюсь. Я нашел деревянный сарай, который был вроде как раз что надо, и повел велосипед туда, когда какой-то железнодорожник в красной фуражке, похожий на фельдмаршала в отставке, заметил меня и подошел ближе. Он спросил:

— Что вы делаете с велосипедом?

— Да вот, хочу отвести в сарай, чтобы не мешался на дороге.

Своим тоном я постарался донести до него, что совершаю добный поступок, за который вокзальные власти должны сказать мне спасибо. Но он не сказал мне спасибо.

— Это ваш велосипед? — спросил он.

— М-м-м... Не совсем.

— Чей же? — спросил он прямо.

— Не могу вам сказать. Я не знаю, чей это велосипед.

— Где вы его взяли? — был следующий вопрос.

Подозрение, в нем прозвучавшее, почти оскорбило меня.

— Я взял его, — отвечал я, со всем спокойным достоинством, на которое в этот момент был способен, — в поезде. Дело в том, — продолжил я искренне, — что я ошибся.

Закончить он мне не дал. Он просто сказал, что так и думал, и дунул в свисток.

Разбирательства, которые затем последовали, лично я вспоминаю без

удовольствия. По какой-то чудесной удаче (говорят, Провидение хранит некоторых из нас) инцидент произошел в Карлсруэ, где у меня был знакомый немец, довольно важный чиновник. О том, как сложилась бы моя судьба, случись это не в Карлсруэ или не окажись моего знакомого в городе, я не хочу и думать. Как бы то ни было, я спасся, как говорится, каким-то чудом. Хотелось бы, конечно, добавить, что Карлсруэ я покинул с незапятнанной репутацией, но это будет неправда. Факт, что я вышел сухим из воды, в полицейских кругах Карлсруэ по сей день расценивается как серьезная ошибка следствия.

Но вся эта мелочь меркнет перед леденящим кровь преступлением, которое совершил Джордж.

Инцидент с велосипедом поверг нас всех в замешательство, и как результат мы потеряли Джорджа. Как выяснилось потом, он ждал нас у полицейского суда, но в тот момент мы об этом не знали. Мы подумали, что он, возможно, выехал в Баден сам. Стремясь поскорее убраться из Карлсруэ и, быть может, не соображая как следует, мы вскочили в первый же проходящий поезд и направились в Баден.

Когда Джордж, измучившись ожиданием, вернулся на станцию, он увидел, что мы уехали, и с нами же уехал багаж. Его билет был у Гарриса; нашим кассиром был я, так что в кармане у Джорджа оставалась только какая-то мелочь. Тогда, посчитав свое положение смягчающим вину обстоятельством, Джордж сделал свой первый сознательный шаг на поприще злодеяний, от которого, когда мы прочитали скрупой протокол судебной повестки, волосы у нас с Гаррисом стали почти что дыбом.

Путешествовать по Германии, следует пояснить, несколько проблематично. Вы покупаете билет на станции, откуда хотели бы выехать, до станции, куда бы хотели попасть. Казалось бы, с этим билетом вы попадете на эту станцию. Но это не так. Когда ваш поезд подходит, вы пытаетесь в него втиснуться; кондуктор, однако, величественно посыпает вас прочь. Где ваши бумаги? Вы демонстрируете свой билет.

Вам объясняют, что сам по себе билет к употреблению непригоден; это лишь первый шаг по стезе вашей поездки; вам нужно бежать назад в кассу и дополнительно приобретать то, что называется «*Schnellzugkarte*»¹. Вы возвращаетесь с данным купоном, полагая, что ваши мытарства окончены. Вас пропускают — пока все нормально. Однако вам нельзя сидеть, вам нельзя стоять, вам нельзя ходить по вагону. Для этого вам нужно приобретать третий билет, который на этот раз называется «плацкартой» и который дает вам место на какое-то расстояние.

(Я часто думал: что остается делать человеку, который упрется и купит только первый билет? Будет ли ему позволено бежать по шпалам за поезд-

¹ Билет на скорый поезд.

дом? Сможет ли он нацепить на себя ярлык и упокоиться в багажном вагоне? Опять же, что грозит человеку, который, купив-таки «шнельцуг», упрется и откажется брать «плацкарту»? Разрешат ли ему влезть на багажную полку? Или позволят повисеть за окном?)

Возвращаясь к Джорджу: денег у него хватило только на билет третьего класса в почтово-пассажирском поезде. Чтобы избежать любопытства кондукторов, он подождал, пока поезд тронется, и уже тогда запрыгнул в него. Это было его первое злодеяние:

- а) посадка на поезд во время движения;
- б) невзирая на предупреждение должностного лица.

Второе злодеяние:

- а) проезд в поезде более высокой категории, чем указанная в билете;
- б) отказ от уплаты разницы по требованию должностного лица.

(Джордж сказал, что никакого «отказа» не было; он просто сообщил должностному лицу, что уплачивать разницу ему нечем.)

Третье злодеяние:

- а) проезд в вагоне более высокой категории, чем указанная в билете;
- б) отказ от уплаты разницы по требованию должностного лица.

(Здесь точность протокольных данных Джордж оспаривает равным образом. Он вывернулся из карманы и предложил должностному лицу все, что у него было, — а было у него пенсов восемь германской мелочью. Он предложил перейти в третий класс, но в этом поезде третьего класса не было. Он предложил перейти в багажный вагон, но его не стали даже слушать.)

И четвертое:

- а) проезд на месте без оплаты такового;
- б) праздношатание в коридоре вагона.

(Так как сидеть на месте без оплаты такового ему запрещалось, трудно представить, что еще ему оставалось делать.)

В Германии, однако, понять — не значит простить, и переезд Джорджа из Карлсруэ в Баден оказался одним из наиболее дорогих за всю, возможно, историю немецкого железнодорожного транспорта.

Размышляя о том, как просто и часто в Германии можно вlipнуть в историю, приходишь к заключению, что для нормального юнца-англичанина Германия — обетованный край. На студента-медика, или на завсегдатая ресторанов Темпля, или на младших чинов в увольнении жизнь в Лондоне наводит тоску. Радости жизни здоровый британец получает только нарушая закон (иначе это уже не радости). Если что-либо не запрещено законом, оно не доставит ему истинного удовлетворения. Счастье он представ-

ляет себе только в виде какой-нибудь истории, в которую можно влизнуть. Так вот, в Англии в этом смысле особенно не разгуляешься. Чтобы попасть в переделку, от юного англичанина требуется немало настойчивости и упорства.

Как-то мы беседовали на эту тему с нашим церковным старостой. Дело было утром 10-го ноября*, и мы оба просматривали, не без некоторого беспокойства, раздел полицейской хроники. Накануне в «Критерии» за обычные беспорядки забрали в полицию обычную партию молодняка*.

У моего друга-старосты были собственные сыновья, а я надзирал отеческим глазом за племянником, который, как полагала любящая мамаша, находился в Лондоне исключительно с целью изучения инженерного искусства. По счастливой случайности знакомых имен среди арестованных не оказалось, и мы, облегченно вздохнув, пустились в рассуждения о безрас-судстве и греховности юного поколения.

— Просто поразительно, — сказал мой друг-староста, — насколько «Критерий» верен своим традициям в этом смысле. То же самое творилось там и в дни моей юности. Каждый вечер обязательно заканчивался потасовкой.

— Как это глупо, — заметил я.

— Как это скучно, — отозвался он. — Вы себе не представляете, — продолжил он, и на его изборожденном морщинами лице появилось мечтательное выражение, — как невыразимо надоедают прогулки от Пикадилли до полицейского суда на Уайн-стрит. А что еще нам оставалось делать? Элементарно ничего. Потушишь, бывало, фонарь — так фонарщик вернется и зажжет его снова. Оскорбляешь полицейского — он просто ноль внимания. Даже не сообразит, что его оскорбляют, а если сообразит, то ему, я так понял, без разницы. Можно было податься со швейцаром из Ковент-Гардена*, под настроение. Хотя швейцар, вообще-то, заткнул бы за пояс любого... Если он колотит вас, готовьте пять шиллингов, если вы его — полсоверена. Меня такой вид спорта особенно не захватывал. Как-то раз я попытался угнать двуколку. Это всегда считалось у нас высшей столичной доблестью. Угнал я ее как-то поздно вечером, у пивной на Дин-стрит, и не успел я доехать до Голден-сквер, как меня тормозит какая-то старушка с тремя чадами — двое орут, третий спит на ходу. Не успел я убраться, как она сует сорванцов, записывает номер, платит вперед — причем больше на целый шиллинг, так она мне сказала, — и называет адрес где-то, как она думала, за Норт-Кенсингтон. Хотя на самом деле ехать пришлось куда-то на другой конец Уиллзден. Лошадь уже устала, и плестись пришлось часа два, а то и больше. Я на таких сонных клячах вообще никогда не ездил... Пару раз я пытался убедить малычков свернуть назад к бабушке, но всякий раз когда я открывал дверцу, самый младший начинал орать как резаный. А когда я предлагал другим извозчикам взять у меня седоков, почти все отвечали мне из популярной в то время песенки: «Раскатал ты, Джордж, губину».

Один предложил отвезти домой жене прощальное письмо, другой пообещал весной организовать народ, чтобы откопать мое тело. Когда я влезал на козлы, мне представлялось, как ко мне сядет желчный старый полковник, а я завезу его куда-нибудь к чертям на кулички — туда, где кэбов не бывает вообще, куда-нибудь миль за десяток в сторону — и брошу там на обочине, то-то пусть матерится. В общем, можно было хорошо отдохнуть, если повезет с полковником и вообще в целом. Но я не мог представить, что мне придется тащиться куда-то на окраину, на руках — ясли беспомощных сопляков... Нет, — заключил мой друг-староста, вздыхая, — в Лондоне любителям беззаконий не развернуться.

Зато в Германии влипнуть в историю — стоит лишь захотеть.

В Германии запрещается масса такого, что сделать совсем несложно. Молодому англичанину, если он, тоскуя по неприятностям, считает, что в этом смысле на родине его ущемляют, я бы советовал приобрести билет в Германию (только в один конец — обратный билет действует только месяц, и деньги могут пропасть).

В полицейском справочнике «Фатерланда» он обнаружит список запретных деяний, который вызовет у него интерес и воодушевление.

В Германии запрещено вывешивать из окон постельное белье. Можно начать с этого. Помахав простынкой из форточки, он получит первую неприятность еще до завтрака. Дома на окне он может повеситься сам, и никому особо до этого дела не будет (если он, разумеется, не загородит чайнику антикварный фонарь или не сорвется и не прибьет прохожего).

В Германии запрещено появляться на улицах в маскарадном костюме. Один мой знакомый шотландец, которому как-то случилось перезимовать в Дрездене, первые несколько дней своего пребывания в этом городе провел в дебатах с саксонским правительством, обсуждая данный пункт правил. Его спросили, что он делает в этой юбке. Любезностью он не отличался; он сказал, что ее носит. Его спросили, зачем он ее носит. Он сказал, что потому что холодно. Ему заявили прямо, что не верят, посадили в закрытую карету и отвезли домой.

Чтобы убедить власти в том, что шотландский килт является обычным костюмом для многих уважаемых и законопослушных подданных британской короны, потребовалось личное свидетельство министра иностранных дел Ее Величества. Заявление министра, по дипломатическим соображениям, было принято, но немцы остаются при своем мнении по сей день.

К туристи из средней Англии уже привыкли, но джентльмена из Лестершира, приглашенного на охоту какими-то немецкими офицерами, стоило ему появиться на пороге гостиницы, арестовали вместе с конем и эскортировали в полицейский суд, где он мог бы объяснить свое легкомысленное поведение.

Еще на улицах Германии запрещается кормить лошадей, мулов, ослов,

вне зависимости от того, принадлежат они вам или иному лицу. Если вами овладеет страсть покормить чью-либо лошадь, вам придется договориться с животным о встрече, а само кормление проводить в специально отведенном месте.

Запрещается бить стекло и посуду на улицах, как и вообще в публичных местах; если все-таки вы что-то разбили, то обязаны подобрать все осколки. Что делать с собранными осколками — сказать не берусь. Наверняка знаю только одно: их запрещено куда-либо выбрасывать, где-либо оставлять, как и вообще избавляться от них каким-либо иным образом. Скорее всего, предполагается, что вы будете носить их с собой до смерти и они уйдут с вами в могилу (хотя, может быть, вам будет позволено их проглотить).

На улицах Германии запрещается стрелять из лука. Немецкому закононотворцу мало естественных правонарушений со стороны среднего обывателя — преступлений, на которые тот способен и совершал бы, если бы не запрет. Он напрягается и воображает, на что будет способен маньяк-гастролер.

В Германии нет закона о том, что нельзя стоять на голове посреди улицы (такое немцу просто не приходило в голову). Но если в наши дни какой-нибудь немецкий государственный муж посетит цирк и увидит акробатов, он задумается над таким упущением. Затем он без промедления примется за работу и сформулирует пункт, запрещающий человеку становиться на голову посреди улицы, и установит штраф.

В этом очарование немецкого законодательства: мисдимиор в Германии имеет свою твердую цену. Вас не станут, как в Англии, держать ночь напролет, соображая: отпустить ли вас с поручительством, оштрафовать ли вас на сорок шиллингов или (если судья окажется не в духе) дать семь суток. Вы точно знаете, во сколько вам обойдется ваше веселье. Вы можете высыпать деньги на стол, открыть полицейский справочник и распланировать отпуск с точностью до пятидесяти пфеннигов. Чтобы провести вечер совсем недорого, я бы рекомендовал хождение по неуказанной стороне тротуара после устного предупреждения. По моим подсчетам, если выбрать район с умом и держаться неоживленных уочек, вы можете весь вечер проходить по неуказанной стороне тротуара всего лишь за три марки с мелочью.

В Германии с наступлением темноты запрещено ходить по городу «группами». Я не совсем понимаю, сколько человек уже составляют «группу», и ни одно официальное лицо, к которым я обращался по этому вопросу, уполномоченным определять конкретное число таковых себя не признало. Как-то я указал знакомому немцу, который собирался в театр с женой, тещей, пятью детьми, сестрой, ее мужем и двумя племянницами, — не рискует ли он нарушить этот муниципальный закон. Мой вопрос он воспринял без шуток. Он оглядел всю компанию.

— Да нет, — сказал он. — Понимаешь, мы ведь одна семья.

— В законе не говорится, семейная это группа или нет, — сказал я. — Там просто указано — «группа». Я не имею в виду ничего такого, но, с этимологической точки зрения, лично я считаю, что ваша компания как раз и есть «группа». С какой точки зрения посмотрит на вас полиция, с такой же или с другой, — будет видно. Я просто вас предупреждаю.

Лично сам мой знакомый был склонен не принимать мои страхи всерьез, но его жена посчитала, что лучше не рисковать событием, которое полиция таким образом могла бы угробить в самом начале, и они разделились, договорившись встретиться в фойе.

Еще одна страсть, которую в Германии вы должны обуздать, — страсть швыряться вещами из окон. Кошки не оправдание. Всю мою первую неделю в Германии меня бесконечно будили кошки. Как-то ночью я сошел с ума. Я собрал небольшой арсенал — два или три куска угля, несколько недозрелых груш, пару свечных огарков, одинокое яйцо (нашлось на кухонном столе), пустую бутылку из-под содовой, еще пару чего-то такого — открыл окно и обстрелял участок, откуда доносился шум.

Не думаю, что я во что-то попал, — я не знаю ни одного человека, который попал бы в кота, даже когда кот находится у него перед носом (разве случайно, если целился в кого-то другого). Я знал первоклассных снайперов, королевских призеров, мастеров подобного класса, которые стреляли по кошкам из дробовиков с расстояния пятидесяти ярдов, — и с кошки хоть волосок бы упал. (Я часто думал, что по-настоящему метким стрелком будет сумевший похвастаться, что попадает не в «яблочко» или сбивает не «бегущего оленя», а подстрелил кота.)

Но, как бы то ни было, кошки ушли (возможно, их оскорбило яйцо: мне оно с самого начала не показалось съедобным), и я вернулся в постель, полагая, что инцидент исчерпан. Десять минут спустя раздался резкий звонок. Я пытался его игнорировать, но звонили слишком настойчиво, и я, накинув халат, спустился к воротам. Там стоял полицмен. Перед ним возвышалась кучка предметов, которыми я кидал из окна, — он собрал все, кроме яйца.

— Это ваши вещи?

— Были мои. Но больше они мне не нужны. Пусть берет кто хочет. Возьмите сами, если хотите.

Он игнорировал мое предложение. Он сказал:

— Вы выбросили эти вещи из окна.

— Вы совершенно правы, — признал я, — выбросил.

— Зачем вы выбросили эти вещи из окна?

Для немецких полицейских составлен специальный опросник (полицейский никогда ни добавляет новых вопросов, ни пропускает существующих).

— Я выбросил их из окна в каких-то котов, — сказал я.

— В каких котов?

(Другого вопроса немецкий полицейский задать бы не мог.) Я ответил — со всем сарказмом, который мог сообщить своему немецкому, — что, к своему стыду, какие это были коты, я не знаю. Я объяснил, что лично с котами был незнаком, и предложил, если полиция вызовет всех районных котов, пройти в участок и провести опознание по мяуканью.

Немецкий полицейский шуток не понимает (что, возможно, в целом и слава богу, ибо, я уверен, в Германии за шутки с человеком в форме наверняка существует какой-нибудь крупный штраф — у немцев это называется «обращение к должностному лицу в оскорбительной форме»). Он просто ответил, что проводить для меня опознание кошек в обязанности полиции не входит; в обязанности полиции входит взыскать с меня штраф за выбрасывание предметов в окно.

Я спросил, что же в Германии следует делать человеку, когда кошки бывают его среди ночи; он объяснил, что я могу подать жалобу на владельца таковой кошки, после чего полиция вынесет ему предупреждение и, при необходимости, даст распоряжение об устраниении таковой кошки. (Кому будет выдано распоряжение об устраниении таковой кошки и чем будет заниматься таковая кошка в ожидании описанного распоряжения, он не уточнил.)

Я спросил, как, по его мнению, мне следует устанавливать владельца кошки. Он на секунду задумался и затем предложил проследовать за ней до места жительства. После этого спорить с ним мне расхотелось — любыми словами я себя бы только угрибил. В общем, ночная потеха обошлась мне в двенадцать марок; ни один из четырех полицейских чинов, допросивших меня по этому делу, не нашел в нем ничего смешного, ни в начале, ни в конце.

Но все человеческие проступки и безрассудства меркнут в сравнении с чудовищностью такого злодеяния, как хождение по траве. В Германии ни где, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя ходить по траве. В Германии трава — абсолютный фетиш. Наступить на германскую траву — такое же страшное кощунство, как сплясать хорнпайп на мусульманском коврике для молитвы *. Даже собаки преклоняются перед германской травой. Ни одна немецкая собака даже в мечтах не смеет сунуть в нее свою лапу. Если вы видите, как через газон скачет собака, знайте наверняка — это пес какого-то нечестивого иноземца.

В Англии, чтобы собака не совалась куда не надо, мы ставим проволочные сети высотой в шесть футов на мощных столбах и с острыми кольями наверху. В Германии на видном месте ставят табличку «*Hunden verboten!*»¹, и собака, в жилах которой течет немецкая кровь, смотрит на эту табличку и плется прочь.

¹ С собаками вход воспрещен!

В одном немецком парке я видел, как садовник осторожно вышел на газон в войлочных туфлях, вытащил из травы жука, аккуратно, но решительно пересадил его на гравий и долго стоял, сурохо наблюдал за насекомым, чтобы оно не попыталось вернуться обратно в траву. И жук, которому было ужасно стыдно, заторопился по водосточному желобу и свернул на дорожку, где висела табличка «Ausgang»¹.

В немецком парке каждому социальному классу отведена специальная дорожка, и никто, под страхом потери свободы и состояния, по чужим дорожкам ходить не имеет права. Существуют особенные дорожки «для велосипедистов» и особенные дорожки «для пешеходов», аллеи «для верховой езды», дороги «для легких экипажей», дороги «для тяжелых экипажей», тропинки «для детей» и «дам без сопровождения». Отсутствие индивидуальных маршрутов «для лысых мужчин» или «для женщин-эмансипе» всегда казалось мне недосмотром.

В дрезденском городском саду я однажды наткнулся на пожилую даму, которая стояла, в беспомощном замешательстве, на пересечении семи дорожек. Каждую дорожку оберегала угрожающая табличка с распоряжением держаться подальше всем, кроме лиц, для которых данная дорожка предназначалась.

— Прошу прощения за беспокойство, — обратилась ко мне пожилая дама, выяснив, что я говорю по-английски и читаю по-немецки. — Не могли бы вы подсказать мне, кто я такая и куда мне идти?

Внимательно осмотрев ее, я пришел к заключению, что она была «взрослая» и «пешеход», и указал ей дорожку. Посмотрев на дорожку, она пришла в уныние.

— Но мне туда не надо. Можно мне пойти сюда?

— Упаси вас Господь, сударыня! — ответил я. — Эта дорожка предназначена для детей.

— Но я ведь их не обижу, — сказала дама с улыбкой. (Существуют ста-рушки, которые не обижают детей; она вроде как раз была из таких.)

— Сударыня, — отвечал я, — будь таковое в моей компетенции, я бы доверил вам пойти по этой дорожке, даже если бы с той стороны находился мой первенец. Но я могу лишь поставить вас в известность о законах этой страны. Если вы, вполне взрослая женщина, отважитесь ступить на эту тропу, вас оштрафуют, если не посадят в тюрьму. Ваша дорожка здесь, где прямо указано: «Nur für Fußgänger»². Послушайте моего совета и торопитесь, стоять и раздумывать здесь запрещается.

— Но она ведет совсем не туда, куда мне надо, — растерялась пожилая дама.

¹ Выход.

² Только для пешеходов.

— Она ведет туда, куда вам следует, — ответил я, и мы расстались.

В немецких парках есть особенные скамейки с табличкой «*Nur für Erwachsene*»¹. Маленький немец, как бы ни хотелось ему присесть, прочитав такую табличку, проходит дальше и разыскивает скамейку, на которой будет позволено сидеть детям, и присаживается, стараясь не запачкать деревянного сидения грязными ботинками. Представьте — где-нибудь в Риджентс или в Сейнт-Джеймс парке — скамейку с табличкой «Только для взрослых!». Каждый ребенок в радиусе пяти миль постарается залезть на эту скамейку, растолкав всех, кто уже залез. Что касается собственно «взрослого», такому из-за толпы детей не удастся приблизиться к этой скамейке даже на полмили. Мальчик же немец, случайно присев на такую скамейку и не заметив этого, вскакивает, когда ему указывают на ошибку, как ошпаренный и убегает, опустив голову и покраснев до корней волос от стыда и раскаяния.

Нельзя сказать, что немецкое правительство бросает своих детей на произвол судьбы. В немецких парках и публичных садах для них устроены специальные «*Spielplätze*»², оборудованные кучей песка. Здесь ребенок может вволю напечься куличиков и настроиться замков. Куличик, выпеченный из какой-нибудь другой грязи, немецкому ребенку покажется аморальным. Он не доставит ему должного удовлетворения; душа ребенка взбунтуется против него.

«Этот куличик, — скажет себе немецкий ребенок, — выпечен не из государственной грязи, как ему полагается, выделенной специально для этих целей. Равным образом, он не был изготовлен в месте, специально отведенном правительством и содержащимся для выпечения куличиков из грязи. Этот куличик не принесет настоящего счастья; это беззаконный куличик». И пока отец не уплатит положенный штраф, а сам он не получит положенной порции розог, совесть будет терзать его.

Еще одна превосходная тема для получения возбуждающих впечатлений в Германии — простая детская коляска. Тому, что делать с «*Kinderwagen*», как ее здесь называют, можно, а что нельзя, посвящены многие страницы немецкого законодательства. Прочитав эти страницы, вы заключаете, что человек, который сумеет провезти коляску через немецкий город ни разу не нарушил закон, родился для дипломатической миссии.

Запрещается вести коляску как слишком быстро, так и слишком медленно. Запрещается преграждать коляской кому-либо дорогу; если кто-либо преграждает дорогу вам, вы обязаны уступить дорогу ему. Если вам необходимо с коляской остановиться, вы обязаны проследовать к месту, специально предназначенному для стоянки детских колясок; достигнув

¹ Только для взрослых.

² Детская площадка.

такого места, вы обязаны остановиться. Запрещается переходить с коляской дорогу (если вы с ребенком живете через таковую — это ваша вина). Запрещается оставлять коляску в каких-либо местах; иметь коляску с собой разрешается только в специально отведенных местах. В общем, в Германии достаточно выйти из дома с коляской на тридцать минут, чтобы неприятностей вам вполне хватило на месяц. Всякий молодой англичанин, остро нуждающийся в проблемах с полицией, ничего не придумает лучше, как поехать в Германию со своей детской коляской.

В Германии запрещается не запирать двери после десяти вечера и запрещается играть дома на пианино после одиннадцати. В Англии мне както не приходило в голову играть на пианино дома после одиннадцати и не приходилось слышать, чтобы кто-то играл. Но когда вам говорят, что играть дома на пианино после одиннадцати запрещено, — это совсем другое дело! Здесь в Германии я всегда ощущал равнодушие к фортепианной музыке до одиннадцати, после чего бы сел и послушал «Молитву девы» или увертюру к «Зампэ» с большим удовольствием*. Для законопослушного немца, однако, музыка после одиннадцати перестает быть музыкой; она становится правонарушением и в таком виде, соответственно, удовлетворения ему не приносит.

Только один немец бросает закону вызов — немецкий студент, да и тот в строго определенной степени. Традиционно ему предоставлены особые полномочия, но и те строго ограничены и принимаются безоговорочно.

Например, немецкий студент имеет право напиться и уснуть в сточной канаве; никакого наказания в этом случае не последует, студенту лишь потребуется дать утром на чай полицейскому, который его обнаружит и доставит домой. Тем не менее для такой цели студенту следует выбирать сточные канавы боковых улиц. Немецкий студент, ощущая скорое приближение Вечности, остатки жизненных сил использует с тем, чтобы добраться до угла и свернуть, где он имеет право потерять сознание без оглядки.

В определенных районах немецкий студент имеет право звонить в чужие двери. Квартирная плата в таких местах ниже, чем в общем по городу; семьи, живущие здесь, выходят из положения тем, что устанавливают для своих тайный кодовый звонок, посредством которого можно определить подлинность вызова. Посещая такой дом поздно вечером, этот код вам желательно знать, иначе, если вы не отстанете, на вас выльют ведро воды.

Немецкому студенту также позволяет тушить по ночам уличные фонари. Тушить много фонарей, однако, не принято, и немецкий студент-проказник ведет, как правило, тушимым фонарям счет, успокаиваясь на шести фонарях за ночь.

Равным образом он имеет право кричать и петь песни по дороге домой до половины третьего. А в некоторых ресторанах ему разрешается обнимать за талию официанток. Чтобы никто не мог подумать ничего дурно-

го, официантки в ресторанах, где часто бывают студенты, всегда тщательно подбираются из пожилых и степенных женщин. Тем самым немецкий студент имеет возможность наслаждаться флиртом без страха и чьего-либо упрека.

Законопослушный народ эти немцы.

* * *

ГЛАВА X

Баден с точки зрения путешественника. — Очарование раннего утра, каким оно представляется накануне днем. — Расстояние, измеренное циркулем. — То же, измеренное ногами. — Джордж решает посчитаться с совестью. — Нерадивый велосипед. — «Велосипедный спорт — лучший отдых». — Велосипедист с рекламы: как он одет, как он ездит. — Грифон как домашняя птица. — Собака с чувством собственного достоинства. — Лошадь, которую оскорбляли.

За Баденом (о котором можно сказать только одно — фешенебельный курорт точь-в-точку как все фешенебельные курорты своего сорта) мы уселись на велосипеды всерьез. Мы запланировали десятидневный маршрут, по которому, проехав весь Шварцвальд, должны были спуститься в долину Дуная.

Двадцатимильный участок долины от Туттлингена до Зигмарингена — возможно, самый чудный уголок Германии. Дунай вьется узкой долиной среди старинных, нетронутых цивилизацией деревушек; среди древних монастырей, притаившихся в россыпи зеленых пастбищ, где до сих пор можно встретить босого простоволосого монаха, туто перепоясанного веревкой, пастуха с посохом, чьи овцы разбрелись по горам среди поросших лесом скал; между отвесных стен, где каждый каменный зуб увенчан разрушенной крепостью, церковью или замком и откуда открывается вид на Вогезы (где половину жителей коробит, если вы говорите с ними по-французски, другую оскорбляет, если вы обращаетесь к ним по-немецки, и все до одного выражают возмущенное высокомерие при первых звуках английского — положение дел, превращающее общение с чужеземцем в некоторую нервотрепку).

Полностью в выполнении нашей программы мы не преуспели. Человеческие возможности всегда отстают от намерений.

В три часа дня легко сказать (и в это поверить): «Завтра подъем в пять, легкий завтрак в полшестого, старт в шесть».

— И по холодку будем уже далеко, — замечает один.

— Летом утро — лучшее время, — добавляет другой. — А ты как считаешь?

— Бессспорно.

— Так свежо и прохладно.

— А какие полутона!

В первое утро клятвопреступления не допускается. Народ собирается в полпшестого. Все молчат; каждый несколько вспыльчив, ворчит по поводу завтрака, ворчит по поводу прочего; обстановка насыщена сдавленной раздражительностью, требующей разрешения. Вечером раздается глас Искусителя:

— Я думаю, если выехать в полседьмого, успеем и так?

Глас Добротели возражает, едва:

— А уговор.

Искуситель ответствует:

— Уговор для человека, а не человек для уговора. (Дьявол всегда толкует Писание на свой лад.*.) Да и гостиница вся на ушах. О прислуге хотя бы подумайте.

Глас Добротели продолжает, еще тише:

— Но здесь все встают рано.

— Их будят — вот и встают, бедняги. Значит, завтрак в полседьмого ровно. Это никому не в напряг.

Таким образом Зло скроется под маской Добра, и вы спите до шести, разъяснив своей совести (которая этому, однако, не верит), что поступаете так из бескорыстной заботы о ближнем. (Бывали случаи, когда такая забота продолжалась до семи часов утра.)

Равным образом расстояние, измеренное циркулем, никогда не соответствует в точности расстоянию, измеренному ногами.

— Десять миль в час, семь часов дороги — семьдесят миль. Ничего особенного.

— Там в гору придется не слабо?

— Как в гору, так и с горы. Ну, восемь миль в час и всего шестьдесят. Gott in Himmel!¹ Если мы не сможем выдать восемь миль в час, остается только пересесть на инвалидную коляску.

Выдать меньше восьми миль в час кажется положительно невозможным — по карте.

В четыре часа глас Долга гремит не так фанфарно:

— Надо бы поднажать.

— А куда торопиться? Не парься. Смотри, какой вид отсюда!

— Обалдеть просто. Только не забывай, до Блазена еще двадцать пять миль.

— Сколько?!

— Двадцать пять, если не больше.

— Мы что, по-твоему, сделали только тридцать пять миль?

— Ну да.

— Бред какой-то. Что-то не верю я твоей карте!

¹ Боже праведный!

- Не может быть, ты что! Мы как втопили с утра, так и паримся!
 - С утра? Начнем с того, что мы двинули не раньше восьми.
 - Без пятнадцати восемь.
 - Ну, без пятнадцати восемь. И стоим каждые пять-шесть миль.
 - Мы стояли только один раз — посмотреть вид! Приехал в страну — надо же ее посмотреть?
 - Потом пришлось тормозить на подъемах.
 - Кстати, да, сегодня еще и жарко — просто ужас какой-то.
 - Ладно, хватит болтать. До Блазена еще двадцать пять миль, не забывайте.
 - И опять в гору?
 - Два перевала, вверх-вниз.
 - А ты вроде как говорил — до Блазена дорога только под гору?
 - Последние десять миль — да. Но отсюда до Блазена еще двадцать пять.
 - А мы, часом, уже не приехали? Что это за деревушка там, на озере?
 - Это не Блазен, да и не рядом вообще. Кончайте, ребята, мы что-то расслабились, это уже опасно.
 - Мы что-то, наоборот, перенапряглись. Умеренность прежде всего... Славное mestечко, как оно там на карте... Титизе? Воздух здесь, наверно, просто отличный.
 - Да я-то не против... Это вы, ребята, предлагали двинуть к Блазену.
 - Да ну его нафиг, этот Блазен! Убогая дыра в какой-то канаве. Наш Титизе в сто раз лучше.
 - Да и близко.
 - Пять миль.
- Все вместе:
- Тормозим в Титизе!
- Джордж открыл такое расхождение теории с практикой в первый же день за рулем.
- По-моему, — сообщил Джордж (он ехал на одиночке, мы с Гаррисом на tandemie чуть впереди), — мы договаривались, что в гору поднимаемся на поезде, а с горы спускаемся на велосипеде?
 - Ну да, — ответил Гаррис, — в общем так и будет. Только в Шварцвальде поезда ходят не на *каждую* гору.
 - Я как-то об этом догадывался, — пробурчал Джордж, и на минуту воцарилась тишина.
 - Кроме того, — заметил Гаррис, очевидно размышлявший об этом, — не все же катиться только под гору, ведь так? Это будет нечестно. Любишь кататься — люби и саночки возить.
- Снова опустилась тишина, нарушенная снова Джорджем:
- Только вы оба не надрывайтесь из-за меня.
 - В смысле? — не понял Гаррис.

— В том, — пояснил Джордж, — что если в этих горах где-то найдется поезд, не бойтесь оскорбить меня в лучших чувствах. Лично я готов штурмовать эти горы в поезде, пусть даже так будет нечестно. Я со своей совестью как-нибудь разберусь. Я уже целую неделю на ногах с семи, и, понимаю, она мне торчит. Не обращайте на меня внимания, меня как будто бы нет.

Мы пообещали иметь это в виду, и дорога продолжалась в гробовой тишине, пока ее вновь не нарушил Джордж:

— Какой, ты говоришь, у тебя велосипед?

Гаррис ответил. (Я забыл, какая конкретная марка у него была, это несущественно.)

— Ты уверен? — не отставал Джордж.

— Разумеется. А что случилось?

— Просто он не похож на то, что было в рекламе. Вот и все.

— В какой рекламе?

— В рекламе этой марки велосипедов, — пояснил Джордж. — Я видел ее на тумбе на Слоан-стрит за пару дней до отъезда. На велосипеде твоей марки ехал человек с флагом в руке. Ехал и не напрягался вообще, это и слепому было видно: просто сидел на этой ерунде и наслаждался свежим воздухом. Велосипед катился сам по себе, и просто обалдеть, как катился. А на этой твоей ерунде вкалывать приходится мне. Это не велосипед, а ленивая скотина. Если не дашь ей пинка, она ухом не поведет. Я бы на твоем месте стал жаловаться.

Когда начинаешь об этом думать — редко какой велосипед претворяет рекламу в жизнь. Могу припомнить только одну рекламу, на которой велосипедист занимался каким-то делом. Но за ним гнался бык. В ситуациях ординарных задача художника — убедить нерешительного новичка, что велосипедный спорт заключается в сидении на роскошном седле и быстром перемещении в желаемом направлении посредством неосозаемых божественных сил.

Обычно велосипедистом является девушка; здесь начинаешь понимать, что — в преимуществе по-настоящему расслабиться телом и одновременно избавиться от всех душевных тревог — с ездой на велосипеде по пересеченной местности не может сравниться никакой гидростатический матрац. Даже фее, парящей на солнечном облаке, не живется, если судить по рекламе, так беззаботно, как велосипедной девушке. Ее велосипедный костюм идеален — для езды в жару. Какая-нибудь старосветская хозяйка, быть может, в столовую ее не пустит, это правда; а набитая предрассудками полиция, возможно, пожелает ее задержать, завернув в рогожку, прежде чем отвезти в участок. Но рогожка ей не нужна. В гору и под гору; сквозь пробки, через которые не пробраться и кошке; по дорожным покрытиям, на которых развалится паровой каток, — она летит, воплощение беззаботного очарования; ее прекрасные волосы развеваются на ветру, ее воздушные формы

грациозно реют в пространстве, одна нога на седле, другая — беспечно покоится на передней фаре. Иногда она снисходительно усаживается в седло, ставит ноги на раму, зажигает сигарету и машет над головой китайским фонариком.

Не так часто на велосипеде едет обыкновенный мужчина. Он не настолько совершенный акробат, как девушка, но такие базовые трюки, как стояние на седле и размахивание флагами, распитие во время движения пива или бульона, он выполнять может и выполняет. Временами, можно предположить, ему приходится как-то нагружать мозги (сидеть на этом устройстве как истукан, часами напролет, ничем не занимаясь и ни о чем не думая, надо полагать, человеку деятельной натуры надоедает). Так мы видим, как он, привстав у вершины крутой горы на педалях, взывает к солнцу. А вот адресует окружающим видам эклогу.

Иногда на рекламе изображается пара. Вот тогда понимаешь, насколько современный велосипед более приспособлен для флирта, чем отжившая система салонов или садовых калиток. Он и она садятся в седло (осмотрительно убедившись, что велосипеды — правильной марки) — и все. Заботам более места нет — ты попадаешь в Мир Волшебства. По тенистым аллеям, сквозь городскую толпу в рыночный день радостно катит «Лучшая в Британии модель с нижней консолью от „Бермондси“», или «„Эврика“ с цельнолитой рамой от „Камберуэлл“». Не надо давить на педали, не надо рулить. Только не вмешивайтесь и только скажите им, во сколько вам нужно быть дома, — это все, что им надо. Пока Эдвин, свесившись из седла, будет шептать старую милую чепуху на ухо Анжелине; пока Анжелина, чтобы скрыть румянец смущения, будет отворачиваться назад к горизонту, сказочные велосипеды будут следовать заданным курсом.

Для них всегда светит солнце, на дороге для них никогда не бывает слякоти. Ни догоняет тебя суровый папаша, ни суется сбоку вздорная тетка, ни подглядывает из-за угла это исчадие ада (младший брат) — никогда, ничего. О! Почему, почему нельзя было взять напрокат «Лучшую в Британии модель с нижней консолью» или «„Эврику“ с цельнолитой рамой» во времена нашей юности?

А вот «Лучшая в Британии модель с нижней консолью» (или «„Эврика“ с цельнолитой рамой») стоит, прислонившись к воротам. Должно быть, она устала. Она трудилась в поте лица с обеда до вечера, транспортируя наших молодых людей. Они, по доброте душевной, спешились, дабы машина могла отдохнуть. Теперь они сидят на траве в тени изящных ветвей. Трава густа и суха. У ног их струится поток. Вокруг — мир и покой.

Неизменная идея, донести которую ставит своей задачей творец велосипедной рекламы, — мир и покой.

Впрочем, я ошибаюсь, говоря, что рекламные велосипедисты никогда не работают. Теперь я припоминаю, что видел рекламу с джентльменами

на велосипедах, трудящимися в поте лица — трудящимися, можно даже сказать, на износ. В тяжких усилиях они измождены и бескровны; на лбу их сверкают огромные капли пота; вы понимаете, что если за рекламной картинкой окажется еще один подъем, им придется или слезать, или пасть бездыханными. Но они дураки сами — уперлись и продолжают ездить на «обычных велосипедах». Вот если они пересядут на «Любимца Путни» или на «Наглого Баттерси» (на которых катит здравомыслящий юноша в центре плаката), то избавятся от всех этих бесполезных страданий. Все, что от них тогда потребуется, в качестве благодарности, — иметь на лице счастье, и, возможно, иногда подтормаживать, если машина в пароксизме ювенильного энтузиазма ненадолго потеряет голову и ринется слишком быстро.

Вы, изнуренные юноши, уныло сидящие на дорожном камне, измученные до такой степени, что не замечаете проливного дождя, который промочил вас до нитки; вы, усталые девушки с испорченной мокрой прической, без конца поглядывающие на часы (вы бы и поругались, если бы знали как); вы, солидные лысые джентльмены, исчезающие, задыхаясь и черты-хаясь, в перспективе бесконечной дороги; вы, багровые унылые семейные дамы, в страданиях пытающиеся добиться взаимности у медленных упрямых колес, — почему вы не позаботились купить «Лучшую в Британии модель с нижней консолью» или «„Эврику” с цельнолитой рамой»? Почему на земле сплошь «обычные велосипеды»?

Или с велосипедами творится то же, что со всем остальным, — Жизнь ни в чем не отражает Рекламу?

Что в Германии меня неизменно чарует и завораживает — немецкая собака. В Англии устаешь от старых пород; всякий знает их как свои пять пальцев: мастифф (рождественский пудинг в виде собаки), терьер (черный, белый, взъерошенный — в зависимости от обстоятельств, но всегда драчливый), колли, бульдог — никогда ничего нового.

Бот в Германии у вас есть варианты. Вам попадутся собаки, ничего похожего на которых вы никогда не видели. Пока они на вас не залают, вам невдомек, что это вообще собаки. Это так свежо, так интересно. В Зигмарингене Джордж подманил какую-то собаку и обратил на нее наше внимание. Она внушала мысль о помеси пуделя и трески. (Я не берусь утверждать, что это и не была, собственно, помесь пуделя и трески.) Гаррис попытался это сфотографировать, но оно вскочило на изгородь и оттуда растворилось в каких-то кустах.

Я не знаю, какую цель преследуют немецкие собачеводы; свои замыслы они пока держат в тайне. Джордж полагает, что они выводят грифона. В поддержку такой гипотезы можно привести многое; судя по паре экземпляров, которые мне попадались, успеха в этом направлении немецкие специалисты почти добились. И все-таки хочется верить, что означенные экземпляры образовались просто в результате ошибки. Немец практичен;

зачем ему нужен грифон, я понять не могу. Если ему нужна оригинальность модели, то ведь есть уже такса! Куда еще оригинальнее? К тому же в доме грифон будет только мешать: все будут постоянно наступать ему на хвост. Лично я думаю, что немцы пытаются вывести русалку, чтобы научить ее потом ловить рыбу.

Ибо немец не поощряет лености ни в каком живом существе. Он обожает, когда собака у него работает, а немецкая собака обожает работу, в чем не может быть никакого сомнения. Жизнь английской собаки в представлении немецкой собаки является горьким убожеством. Представьте здоровое, деятельное, мыслящее существо, с редкостно энергичным характером, обреченное на двадцать четыре часа бездействия в сутки! Вам самим такое понравится? Неудивительно, что этому существу кажется, будто его не понимают; неудивительно, что оно стремится к недостижимому и, как правило, попадает в беду.

Зато у немецкой собаки есть масса возможностей заняться делом. Немецкая собака деятельна и важна. Только посмотрите, как она вышагивает, запряженная в молочную тележку! Ни один церковный староста, собирая пожертвования, не доволен собой в большей степени. На самом деле животное ничего не делает: тележку толкает молочница, а сам пес, в соответствии с личным представлением о разделении труда, гавкает. «Старуха умеет толкать, но не умеет гавкать. Отлично!» — говорит он себе.

На гордость и энтузиазм, с которыми пес разделяет дело, любо-дорого посмотреть. Проходит, например, мимо другая собака и бросает, например, язвительное замечание, дискредитирующее процентный уровень жирности транспортируемого молока. Наша собака останавливается посреди улицы, не обращая внимания на движение.

— Прощу прощения, вы что-то сказали насчет нашего молока?

— Насчет вашего молока я ничего не сказала, — отвечает другая собака; ее голос исполнен кроткой невинности. — Я всего лишь сказала, что погода сегодня хорошая, и спросила, почем нынче мел.

— Ах, вы спросили, почем нынче мел, да? Хотите знать, почем нынче мел?

— Да, спасибо! Мне как-то подумалось, что вы можете это сообщить.

— Вы совершенно правы, могу! Мел нынче...

— Да пошли, пошли! — суетится старушка. Она устала, вспотела, ей хочется быстрее закончить.

— Да! Но черт побери! Ты что, не слышала, что она тут ляпнула насчет нашего молока?

— Ладно, брось! Смотри вон, трамвай, он нас сейчас всех тут задавит!

— Да! Но не брошу! Надо себя уважать! Она спросила, почем нынче мел! И я ей сейчас покажу, почем нынче мел! Мел нынче в двадцать раз дороже, чем...

— Ты мне сейчас все молоко опрокинешь, ну опрокинешь ведь! — жалостно восклицает старуха, пытаясь изо всех своих немощных сил удержать ее. — О Господи! Зачем я тебя только взяла!

На них несется трамвай; их материт извозчик; через дорогу, в надежде вовремя оказать помощь, несется еще один здоровенный пес (в поводу хлебной тележки, за которой бежит и вопит девчушка); собирается небольшая толпа; торопится полицейский.

— Мел нынче, — сообщает молочная собака, — будет в двадцать раз дороже твоей шкуры! Когда я ее сдеру!

— В самом деле?!

— Да!!! Отродье французского пуделя!!! Капустное брюхо!!!

— Ну вот! — вопит бедная старушенция. — Ведь опрокинул! Я ведь знала, что опрокинет ведь!

Но пес занят и ее не слушает. Спустя пять минут, когда движение возобновляется, девчушка-хлебница собирает свои перепачканные буханки, а полицейский удаляется, записав имена и адреса всех поголовно прохожих, собака все-таки оборачивается и оглядывается.

— Ну да, есть немного, — признаёт она. Затем, беззаботно отряхнувшись, радостно добавляет: — Но я ему показала, почем нынче мел! Впредь не будет соваться! Я так думаю.

— Надеюсь, не будет, — отвечает старушка, грустно оглядывая залитую молоком мостовую.

Однако самое любимое развлечение немецкой собаки — подождать на пригорке другую собаку и затеять с ней бег наперегонки под гору. В таких случаях хозяин занят главным образом тем, что бегает вокруг тележки, подбирая рассыпавшиеся предметы — буханки, капустные кочаны, сорочки — по мере того как они рассыпаются. Внизу пес останавливается и ждет хозяина.

— Здорово, да? — сообщает он, задыхаясь, когда гомо сапиенс, нагруженный до подбородка, подбегает. — Я бы у него точно выиграл, если бы не этот маленький идиот! Только сверну за угол, как он вылетает прямо на дорогу! Ты его заметил? А я нет! Гадкий засранец. Чего он так разорался? Я его сшиб и переехал, да? А нафиг он не убрался с дороги? Просто позор, позор, как люди бросают детей, чтобы об них все спотыкались... Опаньки, это что, все из тележки? Ты что, не мог все это упаковать как следует? У тебя в голове что? Ах, ты даже не представлял? Что под гору я могу разvивать скорость до двадцати пяти миль в час? И ты, конечно, не ожидал, что старина Шнайдер обскочит меня вот так, за понюшку? Ну что ж, раз на раз не приходится... Всё собрал? Так «вроде бы как» или все? Я бы на твоем месте сбежал наверх и еще раз все посмотрел... Ах, ты «уже устал как собака»? Ну ладно, ладно. Только не кричи на меня, если что-нибудь пропадет, вот и все.

Он очень самонадеян. Он уверен, что сворачивать нужно за вторым углом справа, и его ничем не переубедить, что на самом деле сворачивать нужно за третьим. Он уверен, что успеет перебежать дорогу, и будет уверен до тех пор, пока не обернется на раздавленную тележку. Здесь он признаёт свою ошибку, это так. Только что толку. Размером и силой он обычно равняется молодому бычку, а в напарниках у него, как правило, бывает или малодушный старик (или старуха), или маленькое дитя, так что он всегда прав. Самое страшное наказание, которое может ему учинить хозяин, — оставить дома, а с тележкой уйти сам. Но наш немец слишком мягкосердечен и делает так нечасто.

Невозможно поверить, что собаку впряжен в тележку на радость кому-то другому. Я уверен, что немецкий крестьянин придумал эту маленькую упряжечку и приспособил тележечку исключительно с целью доставить собственному псу удовольствие. В других странах — в Бельгии, Голландии, Франции — я видел случаи грубого обращения с гужевыми собаками; я видел, как те надрывались, но в Германии — никогда.

Немцы обращаются с животными крайне жестоко. Я видел, как какой-то немец стоял перед своей кобылой и поносил ее на чем стоит свет. Лошадь стояла как ни в чем не бывало. Немец, устав ругаться, позвал на помощь жену. Когда жена пришла, он стал рассказывать, чем животное пропинилось. Рассказ привел женщину почти в такое же иступление, и они стали поносить лошадь вдвоем. Они прошлись по ее покойной матушке, оскорбили батюшку; они опустились до язвительных замечаний в отношении ее внешнего вида, умственных способностей, нравственных критериев, состоятельности как представителя вида.

Некоторое время шквал оскорблений животное сносило с примерной кротостью, затем поступило самым в данных обстоятельствах оптимальным образом. По-прежнему владея собой, оно потихоньку тронулось с места. Женщина вернулась к своей стирке, а мужчина пошел за лошадью по дороге, продолжая оскорблять животное.

Более добросердечного народа, чем немцы, не требуется. Жестокость к детям или животным в этой стране почти неизвестна. Кнут для немца — музыкальный инструмент; его щелканье раздается с утра до вечера. Только, однако, одного итальянца-извозчика — когда я увидел, в Дрездене, как он использовал его по назначению, — едва не линчевала разгневанная толпа. Германия — единственная страна в Европе, где путешественник может спокойно садиться в карету, будучи уверен, что его кроткого, усердного четвероногого друга не замутят непосильной работой и не обидят.

ГЛАВА XI

Ферма в Шварцвальде: ее коммуникабельное общежитие. — Ее благоухание. — Джордж наотрез отказывается валяться в постели после четырех утра. — Дорога, с которой не собьешься. — Мое особенное шестое чувство. — Неблагодарная компания. — Гаррис как учений. — Его бодрая уверенность. — Деревня: где она была и где она должна была быть. — Джордж: его план. — Променад «а-ля франсе». — Немецкий кучер спит и бодрствует. — Человек, который распространяет английский язык за границей.

Один раз мы очень устали; до ближайшего населенного пункта было далеко, и мы заночевали на ферме. Немалое очарование здешней фермы заключается в ее коммуникабельном общежитии. Коровы проживают в соседней комнате; лошади обретаются наверху; гуси и утки обитают в кухне; дети, цыплята и пороссята населяют всю остальную площадь.

Вы одеваетесь и вдруг слышите за спиной хрюканье:

— Доброе утро! У вас не найдется картофельных очистков? Нет, вижу, что нет. До свидания.

Затем раздается кудахтанье; из-за угла тянется шея старой курицы.

— Хорошее утро, да? Я тут со своим червячком, вы не против? А то в целом доме угла не найти, где можно спокойно позавтракать. Я с цыпляческих лет не люблю глотать абы как. А теперь у самой двенадцать, хоть вешишься. Всем кусок подавай. Я залезу к вам на постель, вы ведь не против? Может, хоть здесь меня не найдут.

Пока вы совершаете свой туалет, в дверь просовывается масса разнообразных голов; они явно считают, что в комнате разместился передвижной зверинец. Вам непонятно, мальчики это или девочки, и остается надеяться, что все-таки мальчики. Дверь закрывать бесполезно, потому что запереть ее нечем; стоит вам отойти, как дверь толкают, и она отворяется снова.

Ваш завтрак похож на трапезу блудного сына*: пара свиней забегает составить компанию; у порога вас неодобрительно обсуждает стайка пожилых гусей (они так щушкаются, вдобавок к возмущенному виду, что вам все понятно — это сплетни чистой воды). Случается, в дверь снисходительно заглядывает корова.

Эта обстановка Ноева ковчега, я полагаю, как раз и сообщает здешней ферме ее характерный запах. Этот запах сравнить ни с чем другим невозможно. Возьмите роз, сыра лимбург, бриолина, немногого лука с вереском,

персиков, грязной воды после стирки, добавьте немного морского воздуха и трупного запаха и все это перемешайте. Конкретного запаха не различить, но чувствуешь, что все это здесь присутствует — все ароматы, когда-либо обнаруженные на Земле. Сами фермеры этот букет обожают; окон они не открывают, и он сохраняется; он у них тщательно закупорен. Захотите отвлечься — идите на улицу и вдыхайте аромат сосен или лесных фиалок. А дом есть дом.

Спустя какое-то время, как мне говорили, к этому привыкаешь; этого не хватает, без этого невозможно уснуть.

На следующий день нам предстоял долгий путь, и мы, таким образом, хотели встать пораньше — даже в шесть, если не перебудим весь дом. Мы справились у хозяйки, можно ли так будет сделать. Она сказала, что, скорее всего, можно. Ее самой, наверное, в это время не будет: в этот день она обыкновенно отправляется в город (а это миль восемь) и раньше семи назад обычно не возвращается; но, наверное, муж или кто-нибудь из сыновей вернется домой пообедать — приблизительно в это время. Так или так, но ком-нибудь, конечно, пришлют, чтобы нас разбудили и собрали на стол.

Получилось так, что будить нас не пришлось. Мы проснулись в четыре сами по себе. Мы встали, чтобы сбежать от шума и грохота, от которого у нас заболела голова. Во сколько встают крестьяне Шварцвальда летом, я сказать не могу: нам показалось, что они вставали всю ночь. А первое, что делает житель Шварцвальда, когда встает, — надевает пару тяжелых башмаков на деревянной подошве и совершает восстановительный мюцион по дому. Пока раза три он не пройдется вверх-вниз по лестнице, он не чувствует, что проснулся. Наконец, проснувшись как следует, он поднимается в конюшню и будит лошадь. (Дома в Шварцвальде обычно строятся на склоне крутой горы, так что конюшня и хлев получаются наверху, а сеновал — внизу.) Затем, как представляется, лошадь также совершает восстановительный мюцион по дому; проследив за этим, хозяин спускается в кухню и начинает колоть дрова. Наконец достаточное количество, он, доволен собой, затягивает песню. Взвесив все обстоятельства, мы пришли к заключению, что ничего лучше нам не придумать, как последовать такому замечательному примеру. В то утро валяться в постели не захотел даже Джордж.

В полпятого мы разделили скромный завтрак, а в пять уже вышли. Наш путь лежал через перевал; по сведениям, добытым в деревушке, это была одна из таких дорог, с каких сбиться положительно невозможно. С такими дорогами, я полагаю, знаком всякий. Такая дорога, как правило, приводит вас точно туда, откуда вы вышли (а если не приводит, то вы об этом жалеете, потому что, по крайней мере, хочется знать, где находишься).

Я предвидел несчастье еще в самом начале, и не успели мы одолеть двух миль, как оно произошло. Дорога разделилась на три рукава. Изъеденный червями указательный столб сообщал, что левый рукав ведет в некое ме-

сто, о котором мы никогда ничего не слышали — на карте его не было. Второй стрелки, долженствующей указать, куда ведет средний рукав, не было. Дорога направо однозначно вела, в чем мы были единодушны, назад в деревню.

— Старикан сказал ясно, — напомнил Гаррис, — держитесь горы.

— Какой горы? — уместно поинтересовался Джордж.

Перед нами было с десяток гор разной величины.

— Он сказал, — продолжил Гаррис, — что мы должны выйти к лесу.

Густым лесом, собственно говоря, поросли все горы вокруг.

— А еще он сказал, — пробормотал Гаррис, — что до вершины мы доберемся часа через полтора.

— Вот здесь, — отозвался Джордж, — я ему уже как-то не верю.

— Как же нам быть? — сказал Гаррис.

Надо сказать, я хорошо ориентируюсь на местности. Это не добродетель, этим я не горжусь. Это обычный животный инстинкт; я здесь ни при чем. Если на пути случайно попадается всякая ерунда — горы, пропасти, реки, тому подобные препятствия, — я не виноват. Мое чутье меня не обманывает; виновата планета. Я повел Джорджа и Гарриса по средней дороге. Да, у дороги не хватило мужества не сворачивать каждые четверть мили. Да, спустя три мили, петляя то в гору, то под гору, она вдруг закончилась осинным гнездом. Но это вовсе не повод бросать камень в мой огород. Если бы дорога пошла куда было положено, она привела бы нас куда надо, в чем я совершенно уверен. Но даже в такой ситуации я продолжил бы эксплуатировать этот свой гений в поисках новой дороги, будь к нему проявлено должное отношение. Я не ангел — признаю это положа руку на сердце — и отказываюсь выкладываться наизнанку в пользу неблагодарных богохульников. К тому же я сомневаюсь, что Джордж с Гаррисом в любом случае пошли бы за мной дальше. Таким образом получилось, что я умыл руки, а вакансию заместил Гаррис.

— Ну что? — сказал он. — Надо полагать, доволен работой?

— Вполне, — отвечал я, присев на груду камней. — Пока что вы живы-здоровы. Я повел бы вас дальше, но артисту требуются аплодисменты. Вам не нравится моя работа, потому что вы не знаете, куда попали. Почем, кстати, знать — может быть, мы уже на месте? Впрочем, довольно слов, я не жду благодарностей. Идите куда хотите, ну вас обоих к черту.

В моей речи, должно быть, звучала горечь, с которой я не смог совладать. За весь наш утомительный путь я не услышал от них ни одного доброго слова.

— Пойми нас правильно, — вздохнул Гаррис. — Мы с Джорджем оба осознаем, что без твоей помощи нас бы сейчас здесь не было. Кто бы спорил... Но чутье, бывает, подводит. Что я предлагаю сделать — заменить его строгой наукой. Итак, где у нас солнце?

— А вам не кажется, — сказал Джордж, — что если мы вернемся обратно в деревню и возьмем за марку мальчишку, будет быстрее?

— Потеряем не один час, — решительно возразил Гаррис. — Я все сделаю сам. Я об этом читал, я этим вообще увлекаюсь.

Он достал часы и стал крутиться на месте.

— Это просто как раз-два-три, — продолжил он. — Часовую стрелку направляешь на солнце, затем берешь угол между часовой стрелкой и двенадцатью, вычисляешь биссектрису — и получаешь север.

Он повозился еще немного и, наконец, определился.

— Север готов, — сообщил он. — Вот он, север, где осиное гнездо. Теперь дайте мне карту.

Мы вручили ему карту, и он, устроившись лицом к осам, стал ее изучать.

— Тодтмоос отсюда на юго-юго-запад.

— Откуда «отсюда»? — поинтересовался Джордж.

— Отсюда, где мы находимся.

— А где мы находимся? — поинтересовался Джордж.

Гаррис было заволновался, но, наконец, просиял.

— Это не имеет значения. Неважно, где мы, но Тодтмоос на юго-юго-западе. Пошли, мы только теряем время.

— Я что-то не совсем понимаю, как ты это узнал, — сказал Джордж, поднимаясь и закидывая за плечи рюкзак. — Хотя, может быть, это и правда не имеет значения... Мы здесь поправляем здоровье, да и черт с ним.

— Все будет нормально, — заверил Гаррис с бодрой уверенностью. — К десяти будем в Тодтмоосе, не переживай. А там как раз что-нибудь перекусим.

Он сказал, что не отказался бы от бифштекса на первое и омлета на второе. Джордж сказал, что лично он о еде предпочитает не думать, пока не увидит собственно Тодтмоос.

Мы шли полчаса, затем вышли на открытое место и увидели внизу под собой, милях в двух, деревню, через которую проходили утром. Там была причудливая церковь с наружной лестницей (довольно странная конструкция), вид которой поверг меня в уныние. Мы брали уже три с половиной часа, а сделали, как видно, мили четыре. Но Гаррис был в восхищении.

— Ну наконец-то! Теперь мы знаем, где мы.

— Ты вроде как говорил, что это неважно? — напомнил Джордж.

— В сущности да. Но пригодится, для верности. Теперь я еще больше уверен.

— Только толку от этого, — пробурчал Джордж.

Гаррис, я понял, его не рассыпал.

— Сейчас мы, — продолжил Гаррис, — от солнца к востоку, а Тодтмоос от нас к юго-западу. То есть если... — он запнулся. — Кстати... Куда, я сказал, указывала биссектриса? На север или на юг?

— Ты сказал, она указывала на север, — ответил Джордж.

— Точно? — не отставал Гаррис.

— Точно. Только не заморачивайся. По всей вероятности, ты ошибся. Гаррис задумался, затем лицо его прояснилось.

— Все правильно. Конечно, на север. И должно быть на север. Как оно могло быть на юг? Значит, нам надо на запад. Вперед!

— С радостью пойду на запад, — сказал Джордж. — Мне что запад, что восток, что север, что юг... Хочу только заметить, что в настоящий момент мы идем строго на восток.

— Нет, — возразил Гаррис. — Мы идем на запад.

— Мы идем на восток, говорю тебе.

— Слушай, лучше заткнись, а то ты меня сбьешь.

— Да и слава богу. Лучше сбить тебя, чем заблудиться. Говорю тебе, мы идем строго на восток.

— Что за ерунда! — разозлился Гаррис. — Вот оно, солнце!

— Ну да, вот оно, сияет как днем. На месте или не на месте, по твоей строгой науке. Но я только знаю, что, когда мы были внизу, в деревне, вот этот вот пригород вот с этим вот каменюкой был на севере. То есть в данный момент мы идем на восток.

— Вообще-то, ты прав, — сказал Гаррис. — Я забыл, мы делали разворот.

— Я бы на твоем месте научился не забывать развороты, — проворчал Джордж. — Этот маневр придется делать, возможно, не раз.

Мы сделали разворот «кругом» и пошли в другую сторону. Сорок пять минут мы карабкались в гору, затем снова вышли на открытое место, и снова деревня лежала у нас под ногами. Только на этот раз она была с юга.

— Вот тебе раз, — сказал Гаррис.

— Ничего особенного, — сказал Джордж. — Когда ходишь вокруг деревни кругом, вполне естественно, что иногда ее видно. Лично я рад, что ее видно... Это значит, что мы еще не совсем потерялись.

— Но она должна быть с другой стороны!

— Она там будет, через час-полтора, — сказал Джордж. — Нам нужно только идти на запад.

Сам я помалкивал. Я был сердит на них обоих и был рад, что Джордж явно начинал злиться на Гарриса. Гаррис, безусловно, проявил глупость, воображая, что может найти дорогу по солнцу.

— Хотелось бы все-таки знать, — произнес Гаррис задумчиво, — куда должна показывать биссектриса — на север или на юг.

— На этот счет, конечно, стоит подумать. Такой пустяк.

— На север это быть не может. И я объясню почему.

— Не заморачивайся. Я готов поверить и так.

— А только что говорил — на север? — сказал Гаррис с укором.

— Ничего подобного, — огрызнулся Джордж. — Я сказал, что ты сказал,

что на север, — это большая разница. Если ты думаешь, что не на север, — пошли в другую сторону. Все не одно и то же.

Тогда Гаррис вычислил все сначала, только наоборот, и мы снова нырнули в лес и через полчаса ожесточенного карабканья в гору снова вышли к этой же деревушке. Правда, теперь мы были чуть выше, и на этот раз деревня оказалась между нами и солнцем.

— Я думаю, — сказал Джордж, глядя вниз на деревню, — пока это самый красивый вид. Остается только одна сторона света, с которой мы ее не видели. Потом предлагаю туда спуститься и передохнуть.

— Не может быть, — сказал Гаррис. — Это другая деревня.

— Но церковь та же самая. Хотя, может быть, повторяется случай с той пражской статуей. Возможно, местные власти изготовили несколько макетов этой деревни в натуральную величину и расставили их по всему Шварцвальду. Чтобы посмотреть, где будет лучше. В общем, куда сейчас?

— Не знаю. И знать не хочу. Я сделал все, что мог, а ты всю дорогу только ворчал и сбивал меня с толку.

— Ну да, может быть, я придирился, — признал Джордж. — Но посмотри на вопрос с моей точки зрения. Первый говорит, что у него чутье, и заводит меня в осиное гнездо, в самом лесу.

— Не могу же я запретить осам строить в лесу гнезда, — огрызнулся я.

— А я и не говорю, что можешь. Я не спорю. Я только констатирую неопровергимые факты. Второй, который, по всем правилам науки, день напролет таскает меня вверх-вниз по горам, не знает, чем отличается север от юга, и не всегда может сказать менял курс или нет. Лично я не претендую на экстрасенсорные способности, ни на естественнонаучные равным образом. Но вон на третьем отсюда лугу я вижу крестьянина. Я предложу ему денег за сено, которое он не скосит... Полторы марки, как я прикину... Чтобы он бросил свою работу и довел меня до Тодтмооса. Можете пойти со мной, если хотите. Не хотите — можете разрабатывать новую систему ориентирования на местности. Только без меня.

План Джорджа не отличался ни полетом фантазии, ни дерзостью мысли, но в тот момент нам приглянулся. К счастью, мы забрали совсем недалеко оттуда, где сбились с пути в самом начале. Таким образом, с помощью рыцаря сеновала мы выбрались на дорогу и были в Тодтмоосе отстав от расписания только на четыре часа, с аппетитом, на утоление которого потребовалось сорок пять минут упорной молчаливой работы.

Из Тодтмооса мы собирались спуститься к Рейну пешком, но, по причине утреннего перенапряжения, решили совершить, как говорят французы, «променад на колесах», для какой цели наняли живописный экипаж, движимый лошадью, которую я бы сравнил с бочкой, если бы не кучер, в контрасте с которым она была просто кожа да кости.

В Германии все повозки делаются для двух лошадей, но впряжен в них

обычно одну. Экипажи таким образом смотрятся, по нашим понятиям, кривобоко, но здесь так делается, чтобы обозначить широкую ногу. Идея заключается в том, что обычно у вас в упряжи пара, но сегодня вторая лошадь просто куда-то делась.

Немецкого кучера нельзя назвать мастером экстра-класса. Высший пилотаж он проявляет когда спит. Тогда, во всяком случае, он никому ничего не делает, а лошадь, которая, в общем, умна и опытна, коротает путь в сравнительной безопасности. Если в Германии научат лошадь братать плачу в конце поездки, извозчик будет не нужен вообще. Пассажиру станет тогда намного легче, ибо когда немецкий извозчик не спит и не хлещет кнутом, он главным образом суется в неприятности и затем выпутывается из них. Причем лучше у него получается первое.

Помню, как-то раз в Шварцвальде мы спускались с крутой горы с парой сударынь. Это была как раз такая дорога, какие вьются серпантином: склон под углом семьдесят пять градусов уходил кверху справа, склон под углом семьдесят пять градусов уходил книзу слева. Ехали мы очень спокойно; глаза кучера, как мы радостно отмечали, были закрыты; как вдруг что-то — дурной сон или приступ несварения желудка — его разбудило. Он схватился за вожжи и искусственным движением загнал левую лошадь за бровку, где она повисла на постремках. Наш извозчик нимало не встревожился и не удивился; обеим лошадям, как я заметил, ситуация также показалась будничной. Мы вышли; он слез, вытащил из-под сиденья огромный складной нож (который, бесспорно, хранился там на таковой случай) и ловко перерезал постремки.

Лошадь, освободившись таким образом, покатилась кубарем вниз и катилась, пока не грохнулась на дорогу футах в пятидесяти под нами. Там она поднялась на ноги и стала нас ждать. Мы снова залезли в повозку и спускались на правой лошади, пока не добрались до левой. Затем, используя какие-то обрывки веревки, наш возница перезапряг левую лошадь, и мы продолжили путь.

Что меня впечатлило: ни извозчику, ни лошадям к подобному методу спуска с горы было явно не привыкать. Явным образом метод представлялся им очень удобным способом срезать дорогу. Я бы не удивился, предложи извозчик нам привязаться ремнями и скатиться кубарем вместе с повозкой, всем скопом, до самого дна.

Другая особенность немецкого извозчика: он никогда даже не пробует осадить лошадь. Скорость движения он регулирует не ходом лошади, а манипуляцией с тормозами. Если требуется восемь миль в час, он жмет на тормоз слегка — так, что колодки только царапают колесо, отчего раздается звук, какой бывает когда точат пилю. Если требуется четыре мили в час, он крутит тормоз сильнее, и вы передвигаетесь под аккомпанемент оркестра свиней, которых режут. Когда ему нужно остановиться, он жмет до упора

и, если тормоз хороший, рассчитывает уложить тормозной путь (если, конечно, лошадь у него не элитный тяжеловоз) менее чем в два корпуса своей тележки.

В Германии ни извозчик, ни лошадь, по всей видимости, не представляют, что тележку можно остановить каким-то иным способом. Немецкая лошадь продолжает тянуть во всю мощь, пока тележку можно сдвинуть хотя бы на дюйм, и только тогда остановится. В других странах лошади, когда им дают понять, останавливаются вполне охотно. Я знал лошадей, которым не зазорно было пойти даже шагом. Но германские лошади, как представляется, производятся из расчета на какую-то определенную дискретную скорость, нарушать которую не в состоянии. Я видел, как немецкий извозчик, отшвырнув поводья на крыло повозки, жал тормоз в обе руки, в страхе пытаясь избежать столкновения, — и это действительно голый, неприкрашенный факт.

В Вальдзхуте, одном из этих маленьких городков шестнадцатого столетия, по которым в своем верхнем течении проходит Рейн, нам попался весьма характерный континентальный типаж: британский турист, удивленный и опечаленный незнакомству иностранных подданных с тонкостями английского языка.

Когда мы появились на станции, он на чистейшем английском (хотя и с легким сомерсетширским акцентом) разъяснял носильщику в десятый, по его словам, раз, что — хотя билет у него до Донаушингена, и ему самому нужно в Донаушинген, посмотреть на исток Дуная (которого, хотя говорят, что он там, там нет) — он хотел бы, чтобы велосипед его направили в Энген, а чемодан — в Констанц до востребования. Он был злой и потный от напряжения. Носильщик, человек молодой, казался несчастным и старым.

Я предложил помочь. Теперь я жалею, что предложил помочь, но не так страстно, как, следует полагать, наш безгласный соотечественник впоследствии пожалел, что ее принял. Все три маршрута, как объяснил носильщик, были транзитными, с неоднократными пересадками. Чтобы спокойно во всем разобраться, времени не было — наш поезд отходил через пять минут. Сам британец был многословен, что всегда есть не в пользу проблемы, подлежащей решению, притом что носильщику не терпелось поскорее с этим покончить и вздохнуть снова спокойно.

Десять минут спустя, когда я размышлял над этим эпизодом в поезде, я вдруг сообразил: согласившись с носильщиком, что велосипед лучше отправлять через Иммендинген, и договорившись, что он отправит туда велосипед багажом, я забыл распорядиться о дальнейших действиях в отношении велосипеда. Будь я человеком пессимистичным, я и сегодня терзался бы мыслью, что данный велосипед покоится в Иммендингене до сих пор. Но хорошая философия, как я считаю, — всегда стремиться взирать на вещи только в солнечном свете.

Возможно, носильщик догадался исправить мое упущение сам; возможно, случилось просто небольшое чудо, и велосипед вернулся к владельцу, пока тот еще находился в Германии. Чемодан мы послали в Радольфцелль; но здесь я утешаюсь соображением, что на бирке был указан Констанц; когда, спустя какое-то время, на станции в Радольфцелле обнаружат, что багаж невостребован, его, без сомнения, переправят в Констанц.

Данный казус, однако, отступает на второй план перед тем рассуждением, которое я хочу вывести из данного случая. Настоящая соль ситуации заключалась в негодовании нашего британца, когда он обнаружил, что немецкий железнодорожный носильщик не в состоянии понимать по-английски. Когда мы с ним заговорили, степень его возмущения измерить было нельзя.

— Я вам крайне признателен, — сказал он, — это совсем несложно. До Донаушингена я хочу доехать на поезде. Оттуда собираюсь пройти пешком до Гайзенгена, оттуда сесть на поезд до Энгена, а оттуда до Констанца поехать на велосипеде. Только чемодан я брать с собой не хочу, пусть он будет в Констанце, когда я туда доберусь. Пытаюсь объяснить этому болвану уже десять минут, но ничего не могу.

— Просто постыдно, — согласился я. — Некоторые из этих немцев-рабочих почти не знают иностранных языков.

— Я ему и в расписание тыкал, — продолжил англичанин, — и жестами объяснял. И все равно не смог ничего вдолбить.

— Вам трудно поверить, — заметил я снова. — Ведь все и так ясно!

Гаррис на англичанина разозлился; он хотел его выбранить за такую глупость: забраться в чужой стране в какую-то тмутараakanь и решать маневровые головоломки, не зная по-местному ни одного слова*. Но я сдерживал возбужденный порыв Гарриса, показав, как этот человек, сам того не подозревая, содействует важному полезному делу.

Шекспир и Мильтон в меру своих скромных возможностей пытались приобщить к английской культуре менее цивилизованных европейцев*. Нью顿 и Дарвин смогли сделать так, что их язык среди образованных и мыслящих иностранцев превратился в необходимость*. Диккенс и Уида (те из вас, кто воображает, что литературный мир зиждется на предрассудках Нью-Граб-стрит, будут удивлены и раздосадованы тому положению, которое занимает за границей эта дома-всем-курам-на-смех писательница) также внесли свою лепту*. Но человек, который распространил знание английского языка от мыса св. Винсента до Уральских гор, — это британец, который, не желая или не имея способностей выучить хотя бы слово на каком-то другом языке, вояжирует с кошельком в руке по всем уголкам Европы.

Можно поражаться его невежеству, раздражаться от его глупости, беспокоиться от его самомнения. Но факт остается фактом — он-то и англизирует

Европу. Это для него швейцарский крестьянин топает зимним вечером по снегам в английскую школу, открытую в каждой деревне. Это для него извозчик и контролер, горничная и прачка сидят над английской грамматикой и сборниками разговорных фраз. Это для него лавочники и торговцы тысячами посылают сыновей и дочерей учиться во всякий английский городишко. Это для него владельцы отелей и ресторанов пишут в конце своих объявлений: «Свободное знание английского обязательно».

Если англоязычные народы возьмут за правило говорить не только по-английски, триумфальное шествие английского языка по планете прекратится. Англичанин стоит в толпе иноземцев и звенит своим золотом:

— Плачу, — кричит он, — всем, кто говорит по-английски!

Вот кто великий просветитель. В теории мы можем презирать его. На практике мы должны снять перед ним шляпу. Он миссионер английского языка.

* * *

ГЛАВА XII

Мы скорбим приземленным страстием немцев. — Великолепный вид, при котором нет ресторана. — Что европеец думает о британце? — У британца не хватает ума сообразить, что от дождя можно укрыться. — Усталый скиталец с кирпичом на веревке. — Избиение собаки. — Место, неадекватное для проживания. — Плодородный край. — Жизнерадостный старикан торопится в гору. — Джордж, встревоженный наступлением позднего времени, спешит прочь. — Гаррис спешит за ним, чтобы показать дорогу. — Я не терплю одиночества и тороплюсь за Гаррисом. — Произношение, разработанное специально для иностранцев.

Возвышенную душу англосакса в значительной степени угнетает приземленная страсть, согласно которой конечной целью любой экскурсии у немца должен быть ресторан. На вершине горы, в волшебной теснине, на глухом перевале, у водопада или вытекающего потока стоит неизменно набитый битком «Wirtschaft»¹. Но как можно восторгаться пейзажем в окружении заляпанных пивом столов? Как можно предаваться историческим грезам в аромате жареной телятины со шпинатом?

Один раз мы, предаваясь возвышенным мыслям, поднимались на гору сквозь густую лесную чашу.

— А наверху, — горько завершил Гаррис, когда мы остановились перевести дух и затянуть пояса еще на одну дырочку, — будет дешевенький ресторан, где народ будет лопать бифштексы, жевать сливовые пироги и хлестать белое вино.

— Ты думаешь? — отозвался Джордж.

— Сто процентов. Ты сам знаешь, как у них это бывает. Здесь ни одной рощицы не посвятят созерцанию и одиночеству; ценителю природы не оставят ни одной вершины; все будет изгажено грубым и материальным.

— Я так прикинул, — заметил я, — мы успеем еще к часу, если, конечно, не будем копаться.

— «Mittagstisch»² как раз будет готов, — простонал Гаррис. — Наверняка будет эта маленькая голубая форель, которую они здесь ловят. От съестного-спиртного в Германии, похоже, никуда не деться. С ума сойти!

¹ Таверна, трактир.

² Накрытый к обеду стол.

Мы возобновили дорогу, и в прелести нашей прогулки праведный гнев был забыт.

Моя оценка оказалась корректной. Без четверти час Гаррис, который шел впереди, объявил:

— Мы пришли! Я вижу вершину.

— Где наш ресторан? — спросил Джордж.

— Не вижу... Но он где-то здесь, можешь не беспокоиться, чтоб ему было пусто.

Через пять минут мы были уже на вершине. Мы посмотрели на север, на юг, на запад и на восток, затем друг на друга.

— Вид грандиозный, да? — сказал Гаррис.

— Великолепный, — согласился я.

— Роскошный, — отметил Джордж.

— Наконец-то у них хватило ума, — сказал Гаррис, — убрать трактир с глаз подальше.

— Они его действительно, похоже, куда-то спрятали, — сказал Джордж.

— Рестораны не так уж и бесят, когда их не суют под нос, — сказал Гаррис.

— Если ресторан не торчит где попало, — заметил я, — то ресторан, конечно, — идея хорошая.

— Да, но я бы хотел знать, куда они его поставили, — отозвался Джордж.

— А что если нам его поискать? — воодушевился Гаррис.

Идея пришла по душе. Мне было самому интересно. Мы договорились разойтись в разные стороны, затем вернуться к вершине и сообщить, как продвигается дело. Через полчаса мы собирались снова. Слов не требовалось. Все три наших лица ясно сообщали, что мы, наконец, открыли заповедный уголок Германии, который никто не успел осквернить, мерзко спекулируя пищей и выпивкой.

— Никогда бы не поверил, — покачал головой Гаррис. — А вы?

— Должен сказать, — сказал я, — это единственная четверть квадратной мили во всем «Фатерланде» без ресторана.

— И мы, три иностранца, на нее наткнулись, — сказал Джордж, — в два счета.

— Верно, — кивнул я. — Теперь, по чистому везению, мы можем ублаготворить свои высшие чувства, не оскорбляя их влечением к низменно-му. Взгляните на свечение над теми далекими пиками! Не правда ли, восхитительно?

— Кстати, о низменном, — сказал Джордж, — как, ты говоришь, быстрее спуститься?

— Дорога налево, — ответил я, заглядывая в путеводитель, — идет в Зон-

ненштайн... Где, кстати, я вижу «Goldener Adler»¹, о котором отзываются очень недурно... Туда часа два. С правой дороги, хотя она немного длиннее, «открывается великолепная панорама».

— Все панорамы, — сказал Гаррис, — одинаково великолепны. Вы так не считаете?

— Лицо я, — сказал Джордж, — иду дорогой налево.

И мы с Гаррисом пошли за ним.

Но нам не удалось спуститься так быстро, как мы рассчитывали. В этих краях грозы собираются очень быстро, и не успели мы прошагать пятнадцать минут, как перед нами встал вопрос — найти укрытие или вымокнуть до костей и не просохнуть до вечера. Мы выбрали первое и нашли дерево, которого при обычных обстоятельствах нам бы вполне хватило. Но гроза в Шварцвальде — обстоятельство не обычное. Поначалу мы утешались баснями, что такой страшный ливень также быстро пройдет. Затем попытались успокоиться соображением, что если уж не пройдет, то скоро нам нечего будет опасаться вымокнуть еще больше.

— Раз уж так получилось, — сказал Гаррис, — я был бы даже рад, если бы здесь нашелся какой-нибудь ресторан.

— Вымокнуть, да еще проголодаться, — отозвался Джордж, — не вижу особой радости. Жду еще пять минут и двигаю дальше.

— Эти глухие горные уголки, — заметил я, — просто очаровательны — в хорошую погоду. В дождь, да еще в таком возрасте, когда...

В этот момент нас окликнули. Футах в пятидесяти от нас стоял какой-то упитанный господин под огромным зонтиком.

— Что же вы не заходите?

— Не заходите куда? — крикнул я.

Сначала я подумал, что это был один из тех дураков, которые пытаются острить, когда надо бы плакать.

— Не заходите в ресторан!

Мы покинули наше укрытие и устремились к нему. Нам захотелось узнать о ресторане подробней.

— Я вам кричал из окна, — сказал упитанный господин, когда мы приблизились, — но вы, похоже, меня не слышали. Гроза будет час, не меньше, вы так промокнете, что...

Он был очень мил, этот старик; из-за нас, похоже, просто не находил себе места.

— Мы очень тронуты вашей заботой! Мы вовсе не сумасшедшие. Мы бы не стояли здесь все эти полчаса, если бы знали, что здесь, в двадцати ярдах, спрятался ресторан. Мы и представить себе не могли, что топчемся у самого ресторана!

¹ Золотой орел.

— Я так и подумал, что не могли, — ответил пожилой господин, — и поэтому вышел.

Выяснилось, что все посетители в трактире также наблюдали нас из окна, удивляясь, зачем мы стоим под деревом с самым несчастным видом. Если бы не наш славный старик, эти придурки так бы и глазели на нас, я думаю, до самого вечера. Хозяин извинился, отметив, что мы были «как выпитые англичане».

(Это не фразеологический оборот. В Европе искренне полагают, что все англичане — больные. В этом здесь убеждены так же, как всякий английский крестьянин убежден в том, что французы существуют только пробавляясь лягушками. Даже когда на личном конкретном примере пытаешься развеять подобное заблуждение, это не всегда удается.)

Это был уютный маленький ресторанчик, готовили здесь хорошо, а «Tischwein»¹ был очень приличен. Мы задержались там на пару часов, высохли, насытились и набеседовались о красотах природы. И мы уже собирались уходить, когда произошел случай, демонстрирующий насколько зло в нашем мире влиятельнее добра.

В ресторан вошел путник. Он имел измученный вид. В руке у него был кирпич на куске веревки. Он вошел торопливо, тщательно закрыл за собой дверь, убедился, что она заперлась, выглянул в окно и смотрел долго и пристально; затем, облегченно вздохнув, положил свой кирпич рядом на лавку и заказал обед.

Во всем этом таилась загадка. Было странно, зачем у него кирпич, почему он так тщательно закрыл дверь, почему в таком страхе смотрел из окна; но вид у него был такой жалкий, что на беседу рассчитывать не приходилось, и от вопросов мы воздержались. Он ел, пил, энергия возвращалась к нему, он вздыхал все реже и реже. Потом вытянул ноги, запалил зловонную сигару и в спокойном удовлетворении запыхтел.

И затем это случилось. Случилось так неожиданно, что описать все в подробностях невозможно. Помню, как из кухни вышла, с подносом в руке, фрейлейн. Я видел, как она перешла зал поперек и подошла ко входной двери. В следующую секунду ресторан превратился в пандемониум.

Это было похоже на ту балаганную метаморфозу, когда только что звучала спокойная музыка, качались цветы, плыли облака, парили феи — и вдруг кругом вопит полицейский, кувыркаются орущие дети, буффоны дерутся с Панталоне, колбаса с Арлекинами*, все падают на разбросанном масле, клоуны. Как только фрейлейн с подносом коснулась двери, дверь отлетела в сторону, как будто за ней, поджидая, скопились все силы ада. В ресторан ворвались две свиньи и курица; кот, дремавший на пивном бочонке, всшипел и вспыхнул огнем. Фрейлейн отшвырнула поднос и грохнулась

¹ Столовое вино.

на пол. Господин с кирпичом вскочил на ноги, опрокинув перед собой стол со всей сервировкой.

Тому, кто бросился бы искать виновника катастрофы, этот виновник предстал бы в лице остроухого полукровки-терьера с хвостом белки. Хозяин выскочил из другой двери и попытался пинком удалить животное из ресторана. Вместо этого он угодил в одну из свиней, именно в ту, которая была жирнее; это был сильный точный пинок, и свинье пришлось нелегко; ни капли энергии удара не пропало напрасно. Несчастное животное было очень жалко (только никому никогда не будет жалко свинью так, как свинье — себя самое).

Свинья перестала носиться по помещению, уселилась посреди зала и обратилась к Галактике, призывая звезды стать свидетелем несправедливости, учиненной над нею. Скорбный зов, должно быть, был слышен во всех окрестных долинах; люди ломали голову, пытаясь сообразить, что за катализм вершится в горах.

Что касается курицы, она с воплями обратилась в бегство, одновременно во всех направлениях. Это была волшебная птица: ей ничего не стоило пробежаться по голой стене, и на пару с котом они опрокинули на пол все, что еще не успело там оказаться.

Не прошло сорока секунд, как число желающих пнуть собаку увеличилось до девяти человек. Время от времени кое-кому, как представляется, исполнить свое желание удавалось, так как пес иногда прекращал лаять и начинал выть. Но он не терял присутствия духа; он, очевидно, осознавал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловках, что за охоту на кабанов и дичь надо платить, — но в общем считал, что игра стоит свеч.

Вдбавок, пес был счастлив отметить, что на каждый пинок, который перепадал ему, большинство живых душ в помещении получали по два. Бедолага-свинья (та, которая, оплакивая свою судьбу, закрепилась в центре) получала в среднем четыре.

Попытки запинать пса напоминали игру в футбол с мячом-привидением: он еще есть, когда вы собираетесь по нему бить, но его уже нет, когда бить вы собственно начинаете и остановитесь уже невозможно, так что бить приходится все равно, и вы надеетесь только на то, что под ногой окажется более-менее весомый предмет — иначе вы плашмя с грохотом влетаете в пол. Если кто попадал по терьеру, это происходило случайно, когда сам попавший этого не ожидал; попавший в терьера, в сущности, оказывался захвачен врасплох и, попав в пса, таким образом, на него падал. Вдбавок каждые тридцать секунд каждый присутствующий непременно падал на сидевшую в центре свинью, находившуюся не в состоянии убраться у кого-то с дороги.

Как долго происходил пандемониум — сказать невозможно. Но все было кончено мудрым решением Джорджа. Некоторое время он гонялся как все,

но не за собакой, а за той второй свиньей, которая еще проявляла активность. Загнав, наконец, животное в угол, он убедил его не носиться кругами в изолированном помещении, но вместо этого пробежаться по свежему воздуху. Свинья с долгим воплем вылетела за дверь.

Мы всегда желаем того, чего не имеем. Одна свинья, курица, девять человек и кот по мнению нашего пса потеряли всякую ценность, лишь только речь зашла о добыче, которая грозила исчезнуть. Пес бездумно метнулся вслед; Джордж захлопнул дверь и задвинул засов. Хозяин поднялся и оглядел все живые и неживые предметы, разложенные на полу.

— Игравая у вас собачка, — обратился он к посетителю с кирпичом.

— Это не моя собачка, — отозвался тот мрачно.

— Тогда чья же?

— Я не знаю, чья это собачка.

— Расскажите кому-нибудь другому, — сказал хозяин, подбиравая портрет кайзера и вытирая с него рукавом пиво.

— Да ладно, — ответил незнакомец. — Я и не думал, что вы мне поверили. Я устал всем говорить, что это не моя собака. Мне никто не верит.

— А зачем вы с ней возитесь, если это не ваша собака? Что в ней такого хорошего?

— Я с ней не возусь. Это она со мной возится. Она нашла меня сегодня в десять и не отстает. Когда я сюда зашел, мне показалось, что она от меня, наконец, отвязалась. Она осталась убивать утку, отсюда минут пятнадцать... Боюсь, мне придется за нее платить, когда буду идти обратно.

— А вы бросались в нее камнями? — спросил Гаррис.

— Бросался камнями? — переспросил человек презрительно. — Я бросался в нее камнями пока не заболела рука. Она думает, что я с ней играю, и приносит все камни обратно. Я битый час таскаю с собой этот дурацкий кирпич — все надеюсь, что смогу ее утопить. Только близко она не подпускает, не схватишь никак, сидет — вот она, каких-то шесть дюймов, — развязит пасть и плялится.

— Давно не слышал ничего смешнее, — покачал головой хозяин.

— Рад, что хоть кому-то весело.

Когда мы уходили, он помогал хозяину подбирать разбитые вещи. У входа, в дюжине ярдов, верное животное поджидало своего друга. Вид у пса был усталый, но удовлетворенный. Очевидно, это была загадочная и не предсказуемая натура, и мы вдруг испугались, как бы терьер не проникся симпатией к нам. Но он равнодушно дал нам пройти. Его неразделенная верность к этому человеку нас тронула, и мы не стали искушать ее.

Покончив, к нашему удовольствию, со Шварцвальдом, мы проехались на своих колесах по Альтбрайзаху и Кольмару до Мюнстера, откуда предприняли небольшой осмотр Вогезских гор (где, по мнению нынешнего германского императора, кончается все человеческое).

Альтбрайзах, каменная крепость, которую река омывает то с одной стороны, то с другой (Рейн в молодые неискушенные годы никогда, кажется, не представлял в точности куда ему течь), как место обитания издревле привлекал, должно быть, исключительно любителей перемен и искателей острых ощущений. Кто бы ни воевал, из-за чего бы ни воевали — Альтбрайзах неизбежно был обречен. Каждый его осаждал, почти каждый его занимал, большинство теряло опять; удержать город не удавалось, кажется, никому.

Кому принадлежит его собственный город, в чьем подданстве он находится сам — достоверно житель Альтбрайзаха не знал никогда. Сегодня он проснется французом, и не успеет выучить нужных фраз по-французски, чтобы общаться со сборщиком податей, — как вдруг станет австрийцем. Пока он будет наводить справки, как стать хорошим австрийцем, — узнает, что он уже не австриец, а немец (причем каким именно из всей дюжины немцев — этот вопрос, должно быть, ставил его в тупик каждый раз). Сегодня выясняется, что он католик, завтра — истовый протестант. Единственное, что сообщало его существованию некоторую уверенность в завтрашнем дне, — однообразная необходимость тяжелых выплат за привилегию быть на данный момент чьим-либо подданным. (Стоит над этим задуматься, как начинаешь удивляться, зачем в средние века человек, не являясь ни королем, ни сборщиком податей, брал на себя труд жить вообще.)

По разнообразию и красоте Вогезы не идут ни в какое сравнение с горами Шварцвальда. С точки зрения туриста, преимущество этого края — его великолепная бедность. Вогезский крестьянин не отличается тем профанским духом покойного процветания, каким испорчен его визави из-за Рейна. Деревни и фермы обаятельны скорее своим разорением. Также превосходны Вогезы своими руинами. Многочисленные замки прилепились в таких местах, где станут строиться только орлы. По крепостям, которые начинали возводить римляне, а заканчивали трубадуры и которые занимают лабиринтами стоящих до сих пор стен огромную площадь, можно бродить часами.

Торговля овощами и фруктами в Вогезах — занятие неизвестное. Большинство овощей и фруктов растет в диком виде, их нужно только собрать. Когда гуляешь по Вогезским горам, никаких планов лучше не строить — искушение сделать привал и насытиться в жаркий день дарами природы слишком, как правило, велико. Малина, вкуснее которой я никогда не пробовал, лесная земляника, крыжовник, смородина растут здесь прямо по склонам, как у нас ежевика вдоль троп на задворках. Вогезский мальчишка не должен шнырять по садам: получить расстройство пищеварения он может без нарушения заповедей господних. Фруктовых садов в Вогезах не счесть, но лезть воровать туда фрукты так же глупо, как рыбе платить за право попасть в аквариум. Хотя недоразумения случаются все равно.

Однажды, поднимаясь в гору, мы вышли на плато, где задержались, возможно, слишком надолго, увлекшись фруктами больше чем следовало — вокруг было столько всего и всякого. Начав с поздней клубники, мы перешли к малине. Затем Гаррис нашел сливы-венгерку, на которой уже созрело несколько слив — в самый раз.

— А вот такого нам еще не попадалось, — воскликнул Джордж. — Такого упускать нельзя.

Возразить, казалось бы, было нечего.

— Жалко, — сказал Гаррис, — что груши еще не поспели.

Какое-то время он по этому поводу горевал, но вскоре набрел на замечательные желтые сливы, которыми отчасти утешился.

— По-моему, для ананасов все-таки еще слишком северно, — вздохнул Джордж. — Я бы сейчас съел свеженького ананасика. Все эти сливы да груши быстро надоедают.

— Вообще, здесь слишком много ягод и слишком мало фруктов, — откликнулся Гаррис. — Лично я поел бы еще этих венгерок.

— А вон кто-то идет, — сообщил я, — похоже, местный. Он, может быть, знает, где нам найти венгерок.

— Он неплохо двигается для своих лет, — заметил Гаррис.

Старик действительно карабкался в гору с поразительной скоростью. Вдбавок, как нам казалось на таком расстоянии, он был необычайно весел и оживлен: пел, кричал во весь голос, жестикулировал.

— Веселый старик, — покачал головой Гаррис, — просто приятно смотреть. Но зачем он держит палку на плече? Почему он на нее не опирается?

— Знаешь, — всмотрелся Джордж, — по-моему, это не палка.

— А что?

— Мне кажется, — всмотрелся Джордж, — это даже ружье.

— Мы что же, тогда ошиблись? — предположил Гаррис. — Это что же, получается, чей-то сад?

— А вы не помните, — сказал я, — какая грустная вещь приключилась на юге Франции пару лет назад? Солдат проходил мимо какого-то дома и сорвал несколько вишнен. Крестьянин-француз, хозяин, вышел и молча уложил солдата на месте.

— Но ведь такое запрещено — стрелять в человека за фрукты, даже во Франции? — возмутился Джордж.

— Разумеется запрещено, — сказал я. — Убийцу отдали под суд. Адвокат смог выдвинуть только одно оправдание — тот находился в состоянии аффекта и особенно дорожил именно этой вишней.

— Вроде как теперь вспоминаю, — пробормотал Гаррис, — сейчас, когда ты рассказал... По-моему, всему району — «Соммуне», так у них, кажется, называется? — пришло выплачивать большую компенсацию родственникам погибшего. Что, впрочем, было только законно.

— Что-то мне здесь надоело, — сообщил Джордж. — Да и поздно уже.

— Если он будет так нестись, — заметил Гаррис вслед Джорджу, — то упадет и убьется. Потом — я не уверен, что он знает дорогу...

Мне стало тоскливо и одиноко; поговорить было не с кем. Вдобавок, подумалось мне, я ведь с самых мальчишеских лет не наслаждался бегом с крутой горы. Интересно, подумалось мне, смогу ли я в зрелые годы испытать такие же ощущения? Трясет здорово, но, надо сказать, полезно для печени.

В тот раз мы заночевали в Барре, симпатичном маленьком городке по дороге на св. Оттилию, занятный старинный монастырь, затерянный среди гор; прислуживают там настоящие монашки, а счет выписывает священник.

В Барре, незадолго до ужина, появился турист, похожий на англичанина. Он говорил на языке, подобного которому я никогда раньше не слышал, но язык был изыскан и благозвучен. Хозяин беспомощно уставился на вошедшего, хозяйка качала головой. Незнакомец вздохнул и перешел на какой-то другой язык, который стал мне что-то напоминать, но в тот момент я не мог сообразить точно. Но гостя снова никто не понял.

— Что за дьявол, — сказал он себе в полный голос.

— Ах, так вы англичанин! — просияв, воскликнул хозяин.

— И месье устал, — добавила радостная хозяйка. — Месье будет ужинать.

Оба говорили по-английски отлично, почти так же, как по-французски и по-немецки; они захлопотали вокруг незнакомца и устроили его с полным комфортом. За ужином он занял место рядом со мной, и я с ним заговорил.

— Скажите, — спросил я (мне было действительно интересно), — что это за язык, на котором вы заговорили в самом начале?

— Немецкий.

— Вот как? Прошу прощения...

— Вы ничего не поняли?

— Должно быть, я сам виноват, — сказал я. — Мои познания очень ограничены. Пока ездишь, набираешься кое-чего то здесь, то там... Но это, разумеется, дело совсем другое.

— Но они-то тоже его не поняли! — ответил он. — Хозяин с женой. А им-то родной ведь язык!

— Я так не думаю. Дети здесь говорят по-немецки, это так, и наш хозяин с хозяйкой его знают, в известной степени. Но в Эльзас-Лотарингии люди старшего поколения до сих пор говорят по-французски.

— Да, но ведь я говорил с ними и по-французски, — добавил он. — И они его поняли ничуть не лучше!

— Конечно, все это любопытно.

— Это не просто любопытно, — отозвался он, — в моем случае это непостижимо. Я имею диплом по современному языкоизнанию. Стипендию мне платили только за мои знания французского и немецкого. В колледже все отмечали, что грамматика и произношение у меня просто поразительны. И вот, когда я еду за границу, никто не понимает ни слова. Вы это можете объяснить?

— Думаю да. Ваше произношение слишком безукоризненно. Помните, что сказал тот шотландец, когда первый раз в жизни попробовал настоящий виски? «Оно, может, и чистое, только пить все равно не могу». Та же история с вашим немецким. Он больше какой-то экспонат, чем язык. Если позовите, я бы советовал вам произносить как можно неправильней и делать столько ошибок, сколько получится...

Везде то же самое. В каждой стране есть специальное произношение, разработанное исключительно для иностранцев, — произношение, которое самим жителям даже не снится и которого они не понимают вообще, когда оно идет в ход. Однажды я слышал, как учительница-англичанка объясняла ученику-французу как нужно произносить слово «have».

— Вы его произносите так, — укоряла учительница, — как будто оно пишется «h-a-v». Но оно так не пишется. На конце пишется «e».

— Но я думал, — оправдывался ученик, — что «е» в слове «h-a-v-e» не читается.

— Больше так не думайте, — объясняла учительница. — Это так называемое немое «е». Оно выполняет функцию модификатора гласного предыдущего слога.

До этого ученик произносил «have» вполне корректно. Теперь же, дойдя до этого слова, он замолкал, собираясь с мыслями и произносил такое, о чем можно было догадаться только по контексту.

За исключением мучеников ранних веков христианства, я полагаю, немногим пришлось пройти сквозь такие мучения, сквозь которые прошел я, пытаясь добиться корректного произношения немецкого слова «Kirche». Задолго до того, как мне это удалось, я твердо решил, что чем ломать голову и язык, лучше вообще не заходить в Германию в церковь.

— Да нет, нет, — объяснял мой учитель (он был человек въедливый). — Вы говорите так, будто оно пишется «K-i-r-c-h-k-e». Нет там никакого «k». Нужно говорить...

И он снова, в двадцатый раз за все утро, показывал мне, как нужно говорить. Грустно было то, что я никогда в жизни не смог бы уловить никакой разницы между тем, как говорил он и как говорил я. Тогда он избрал другой метод.

— Вы произносите горлом, — объяснял он. (Он был прав, я произносил горлом.) — А надо, чтобы звук шел отсюда...

И толстым пальцем он обозначал область, из которой мне следовало из-

влекать звук. Возникавший в результате мучительных усилий звук ассоциировался с чем угодно, только не с местом отправления святого культа.

Я извинялся.

— Боюсь, это сделать просто нельзя,— говорил я.— Видите ли, всю жизнь я говорил как бы ртом. Я вообще не знал, что человек может говорить же лудком. Боюсь, не слишком ли поздно мне теперь переучиваться.

Часами практикуясь по темным углам и тихим улочкам — к ужасу случайных прохожих, — я, наконец, добился корректного произношения этого слова. Учитель мой был в восторге, и я сам, пока не попал в Германию, был счастлив. В Германии оказалось, что никто не понимает, что я вообще имею в виду. Добраться до церкви мне не удалось ни разу. От правильно го произношения пришлось отказаться и скрупулезно восстановить первое, неправильное. Тогда лица вокруг озарялись улыбками, и мне говорили, что она — за углом, или вниз по улице, или где она там была.

Еще мне кажется, что обучать произношению иностранного языка можно куда эффективнее, если не требовать от ученика этих анатомических акробатических трюков, которые, как правило, невыполнимы и всегда бесполезны. Вас могут заставить сделать, например, такое: «Прижмите миндалевидные железы к нижней стенке гортани. Затем выпуклой частью лингвальной перегородки, поднятой почти до, но не касающейся полностью язычка, концом языка попытайтесь дотянуться до щитовидной железы. Сделайте глубокий вдох и сомкните голосовую щель. Затем, не размыкая губ, произнесите „гару”».

И когда вы так сделаете, им все равно этого мало.

* * *

ГЛАВА XIII

Опыт исследования характера и образа жизни немецкого студента. — Дуэль по-немецки. — Применение и злоупотребления. — Точка зрения импрессиониста. — Комическая сторона вопроса. — Способ изготовления дикарей. — «Jungfrau»: особенности ее физиономических предпочтений. — «Kneipe». — Как «тереть саламандру». — Совет путешественнику. — История, которая могла закончиться грустно. — О двух мужах и двух женах. — И об одном холостяке.

По дороге домой мы заехали в немецкий университетский город, желая получить представление о студенческом образе жизни, — любопытство, которое мы смогли удовлетворить благодаря любезности немецких друзей.

В Англии мальчик играет до пятнадцати лет, затем до двадцати работает. В Германии работает мальчик, а развлекается юноша. Немецкий мальчик идет в школу в семь утра летом, в восемь — зимой, и в школе он учится. В результате в шестнадцать лет он основательно знает классические языки и математику; знает историю в том объеме, какой необходим человеку, вынужденному принадлежать к политической партии; и все это вдобавок к тщательной подготовке по языкам современным. Таким образом, восьми семестров, которые делятся более четырех лет, ему, если только молодой человек не метит в профессоры, хватает с ненужным избытком.

Немецкий учащийся спортом не занимается, и очень жаль, потому что спортсмен из него должен получиться хороший. Он немного играет в футбол, еще меньше ездит на велосипеде, с большей охотой играет на французском бильярде в душных кафе.

Но главным образом он, в своем большинстве, коротает время тем, что шатается по городу, пьет пиво и дерется. Сынок богатого папаши вступает в «Korps»¹; членство в престижной корпорации обходится фунтов четыреста в год. Если он — молодой человек среднего класса, он поступает в «Burschenschaft»² или «Landsmannschaft»³, что немного дешевле. Эти сообщества в свою очередь подразделяются на более мелкие кружки, в которых деление пытаются проводить по национальному признаку: швабы — из Швабии, франконцы — потомки древних франков, тюрингцы и так далее.

¹ Студенческая корпорация.

² Элитарное студенческое объединение.

³ Землячество.

На практике, разумеется, это кончается тем, чем кончаются все попытки подобного рода (подозреваю, половина наших «Гордонских горцев» — на самом деле кокни *), но таким образом реализуется красочная идея — разделить каждый университет на дюжину, или вроде того, отдельных студенческих обществ, каждое с особенной кепкой и своими цветами и, что не менее важно, со своей отдельной пивной, куда студенту в других цветах вход запрещен.

Члены этих студенческих объединений занимаются главным образом тем, что дерутся между собой или с представителями конкурирующих корпораций, братств или землячеств. Эти драки — знаменитая немецкая «мензура».

Про мензуру писали часто и обстоятельно, так что я не собираюсь наводить скучу на своих читателей, вдаваясь в какие-либо подробности. Я выступлю просто как импрессионист и напишу просто о впечатлениях со своей первой мензуры — я уверен, первое впечатление правильнее и полезнее мнений, притупленных в результате обмена соображениями или оформленных под чьим-то влиянием.

Испанец или француз-южанин попытаются вас убедить, что бой быков — мероприятие, введенное главным образом на пользу быкам. Бык, который, по вашему представлению, кричал от боли, всего лишь только смеялся забавному зрелищу своих внутренностей. Ваш французский или испанский друг противопоставит его возбуждающую великолепную смерть на арене хладнокровной жестокости живодерни, и вы, если позволите вешать лапшу себе на уши, вернетесь с намерением развернуть пропаганду за введение в Англии боя быков в помощь институту рыцарства.

Нет сомнений, Торквемада был убежден в гуманности инквизиции *. Тучному джентльмену, страдающему, возможно, от мускульного ревматизма, час-другой на дыбе пойдет только на пользу. С дыбы он сойдет с расправленными суставами (с более гибкими, можно сказать) — каких у него не было с детства. Английский охотник считает, что лисе должны завидовать все звери. Ей предоставлен день превосходного развлечения, совершенно бесплатно, и весь этот день она находится в центре внимания.

Привычный глаз не видит того, чего не желает. Каждый третий немец, которого встречаешь на улице, по-прежнему носит и будет носить до своей смерти следы тех двадцати-ста дуэлей, на которых дрался во дни своего студенчества. Немецкие дети играют в «мензуру» в детском саду, репетируют ее в гимназиях. Немцам пришлось убедить себя, что в ней нет жестокости, ничего оскорбительного, ничего унизительного. Их аргумент: это учит немецкую молодежь храбрости и хладнокровию. Пусть даже так, но такой аргумент, особенно в такой стране, где каждый человек — солдат, может показаться предвзятым. Сравнится ли доблесть дуэлянта с доблестью воина? Сомнительно. Напором и куражом на поле брани добьешься гораз-

до большего, чем неблагоразумным пренебрежением к собственной участи. От немца-студента, по существу, потребовалось бы гораздо больше мужества от драки отказаться. Он дерется не для собственного удовольствия; он дерется из страха перед общественным мнением, которое отстало на две сти лет.

«Мензура» развивает только одно — жестокость. «Мензура», мол, демонстрирует класс фехтования (мне так говорили) — но это не факт. Обычная дуэль ничем не напоминает поединок на шпагах а-ля Ричардсон *; в целом же шоу — удачная попытка совместить нелепое с неприятным. В aristokratischem Bonne, где соблюдают традиции, и в Гейдельберге, где иностранцы встречаются чаще, дуэли, возможно, имеют более формальный характер. Я слышал, что там состязания проводятся в хороших помещениях; раненого ожидает седовласый доктор, голодного — слуга в ливрее, а сама дуэль в известной степени представляет собой красочную церемонию. В более «домашних» университетах, где иностранцев мало и где им особо не потакают, внимание уделяется только предметам первой необходимости, которые имеют характер непривлекательный.

Настолько непривлекательный, что чувствительному читателю я крайне рекомендую опустить даже это мое описание. Разбавить краски здесь не реально, да я и не собираюсь.

В помещении голо и мерзко; стены покрыты пятнами пива, крови и свечного сала; потолок закопчен; пол посыпан опилками. Толпа студентов смеется, курит, переговаривается; кто сидит на полу, кто забрался на стул; барьер выстроен из скамеек.

В центре лицом к лицу стоят дуэлянты. Они похожи на самураев, как их рисуют на японских чайных подносах. Их вид суров и причудлив: на глазах — защитные очки; вокруг шеи — шарфы; сами обернуты в нечто, напоминающее грязное лоскутное одеяло; рукава подбиты волосом; руки вытянуты над головой — две нелепые заводные игрушки. Секунданты — также более-менее подбитые волосом, на головах огромные кожаные картузы, — разводят их по позициям. Прислушавшись, можно почти услышать скрип перчаток. Рефери занимает место,дается команда, и тут же звенят пять быстрых ударов длинных рапир. Смотреть схватку неинтересно: ни динамики, ни мастерства, ни изящества (я говорю только о собственном впечатлении). Побеждает тот, кто просто сильнее: кто рукой в толстом рукаве, в постоянной неестественной позе, сможет удерживать свой огромный неудобный меч дольше, не потеряв сил защищаться или колоть.

Весь интерес сосредотачивается вокруг ран; последние обычно приходятся по голове или в левую половину лица. Иногда в воздух взлетает фрагмент скальпа или щеки, впоследствии бережно хранимый в конверте его гордым обладателем (или, строго говоря, бывшим обладателем) и демонстрируемый на вечеринках. Из каждой раны, соответственно, хлещет

обильный поток крови. Кровь заливает докторов, секундантов и зрителей; брызжет на стены и потолок; пропитывает дуэлянтов; делает лужи в опилках. В конце каждого раунда к дуэлянтам подлетают врачи и руками, с которых и так уже течет кровь, зажимают разверстые раны, набивая их маленькими ватными шариками — их держит наготове на тарелке помощник. Естественно, когда человек поднимается и продолжает движения, кровь снова хлещет потоком, наполовину ослепляя его, и пол под ногами становится скользким. Иногда вы видите, как зубы у человека обнажаются почти до уха, и до конца дуэли он как бы скалится половине зрителей, с другой стороны оставаясь серьезным. Иногда ему надрезают нос, отчего дуэлянт приобретает особенно презрительный вид.

Поскольку целью студента является окончить университет с как можно большим количеством шрамов, никаких стараний оградить себя от ударов фактически не предпринимается — даже в скромных пределах такого метода ведения боя. Истинный победитель тот, кто выходит из поединка с наибольшим количеством ран; тот, кто, защищенный и заплатанный до такой степени, что человеческое существо в нем уже не угадывается, сможет пройти по улицам на зависть немецкому юноше и к восхищению немецкой девушки. Тот же, кто получает всего лишь несколько незначительных повреждений, удается мрачный и разочарованный.

Но собственно дуэль — только начало потехи. Второй акт разворачивается в раздевалке. Докторами обычно являются простые студенты-медики — молодые люди, которые, получив свою степень, жаждут практики. Истина заставляет меня сообщить, что те из них, с кем приходилось общаться мне — люди нелюбезного вида, находившие в своей работе немалый вкус. Обвинять их, возможно, в этом не следует. Система «мензуры» требует, чтобы доктора причиняли раненым как можно больше дальнейших страданий, и настоящий медик едва ли проявит интерес к подобной работе.

То, как студент переносит перевязку ран, настолько же важно, как то, как их получает. Каждую операцию необходимо проводить как можно более жестоко, и компании студента внимательно наблюдают за всей процедурой, чтобы во время нее с лица дуэлянта не сходило выражение покоя и наслаждения. Четко очерченная обширная рана наиболее желательна всем участникам. С этой целью рана зашивается абы как — в надежде на то, что шрам таким образом останется на всю жизнь. Такая рана, если ее внимательно дергать и ковырять в течение последующей недели, гарантирует, как считается, ее счастливому обладателю невесту по меньшей мере с пятизначным приданым.

Все это обычные дуэли, которые устраиваются раз в две недели и в которых средний немецкий студент участвует в год раз по десять. Существуют другие, на какие посетители не допускаются. Если, по общему мнению, студент опозорил себя, пытаясь во время драки невольно уклониться от уда-

ра, репутацию он сможет восстановить только в поединке с лучшим фехтовальщиком своей корпорации. Он требует — и ему предоставляют — не состязание, но наказание. Его противник нанесет ему столько ран и прольет столько крови, сколько виновный сумеет вынести. Цель жертвоприношения — показать товарищам, что он способен стоять на ногах даже потеряв половину скальпа.

Можно ли сказать что-то существенное в защиту немецкой «мензуры» — я сомневаюсь. Если можно, это будет касаться только двух дуэлянтов. Зрителям она должна приносить и, я в этом уверен, приносит один только вред. Я знаю себя достаточно хорошо, и уверен, что повышенной кровожадностью не отличаюсь. На меня «мензура» подействовала как на любого обычного человека. Сначала, когда поединок еще не начался, я испытывал любопытство, смешанное с тревогой — как на меня подействует это зрелище (хотя некоторое знакомство с секционным и операционным столом оставляло на этот счет меньше сомнений, чем могло быть в другом случае). Когда потекла кровь, а нервы и мышцы полезли наружу, я почувствовал одновременно жалость и отвращение. Но должен признаться, что на второй дуэли мои тонкие чувства начали притупляться, а когда была в самом разгаре третья, и комната потяжелела горячим запахом крови, я начал, как говорят американцы, «видеть все в красном свете».

Мне было мало. Я оглядывал лица вокруг, и большинство отражали мои собственные ощущения. Если посчитать кровожадность для современного человека полезной, то лучше института «мензуры» для возбуждения кровожадности не найти. Но полезно ли это? Мы разводим пустые сентенции о собственной гуманности и цивилизованности, но те из нас, кто не довел лицемерие до самообмана, знают, что под нашими крахмальными воротничками притаился дикарь со всеми своими нетронутыми инстинктами дикаря. Иногда он бывает-таки необходим; добиваться его полного исчезновения не следует. Но и перекармливать его неразумно.

В пользу дуэли вообще, если говорить серьезно, можно выдвинуть много доводов. Но «мензура» не служит никакой доброй цели. Это ребячество, и, будучи жестокой и зверской игрой, меньшим ребячеством от этого не становится. Раны сами по себе не являются знаком доблести: важно, за что они получены, а не какого они размера. Вильгельм Телль входит в число мировых героев по праву*, но что можно сказать о клубе отцов, которые собираются два раза в неделю сбивать яблоки с голов своих сыновей арбалетными стрелами? Результатов, которыми так гордятся юные немецкие господа, можно добиться дразня дикую кошку.

Вступить в общество только с тем, чтобы тебя изрубили вдоль и пополам, значит низвести себя до интеллектуального уровня танцующего дервиша. Путешественники сообщают нам о дикарях в Центральной Африке, которые на празднествах выражают свои чувства тем, что скачут и полосуют

друг друга. Но Европе необязательно их передразнивать. «Мензура», на самом деле, — *reductio ad absurdum*¹ обычной дуэли; и если сами немцы не наблюдают такого абсурда, отсутствию у них чувства юмора остается только сочувствовать.

Но если можно не соглашаться с общественным мнением, которое «мензуру» поддерживает и культивирует, то ее сторонников по крайней мере можно понять. Университетский же устав, который если не поощряет пьянство, то по меньшей мере закрывает на него глаза, с трудом поддается аргументированному разумению. Собственно, не все немецкие студенты прогойцы; большинство — трезвенники, да и вообще трудяги.

Но меньшинству, чьи амбиции на флаг в авангарде беспрепятственно удовлетворяются, нескончаемой белой горячки удается избежать только благодаря умению (приобретенному известной ценой) не просыхая полдня и полночи как-то еще держаться своих пяти чувств. Спиваются не все подряд, но в любом университетском городе встретить молодого человека неполных двадцати лет с телосложением Фальстафа и цветом лица рубенсовского Вакха — обычное дело *.

Немецкую девушку можно очаровать лицом, исполосованным до такой степени, что начинает казаться, будто оно составлено из чужеродных материалов, для использования друг с другом не предусмотренных, — это доказанный факт. Но никакой привлекательности в жирной пятнистой коже, в брюхе-эркере (раздувшемся так, что вся конструкция грозит опрокинуться), наверное, все-таки нет. Хотя чего следует ожидать, когда юноша начинает пивную сессию с «*Fruhschoppen*»² в десять утра и заканчивает ее в «*Kneipe*»³ в четыре утра?

«*Kneipe*» — то, что мы называем «мальчишник», который может быть как безобидным, так и весьма хулиганским, — в зависимости от состава участников. Студент приглашает своих однокурсников — от десятка до сотни — в кафе и пичкает таким количеством пива и дешевых сигар, которое только в состоянии допустить инстинкт самосохранения. Организатором мальчишника может быть сама корпорация.

Здесь, как и во всем прочем, наблюдаешь немецкое чувство порядка и дисциплины. Когда появляется новый гость, все сидящие за столом вскаивают и, щелкнув каблуками, приветствуют вошедшего. Когда все в сборе, выбирается председатель, в обязанности которого входит называть номера песен. Отпечатанные песенники — один на двоих — разложены на столе. Председатель называет номер двадцать девять. «Первый куплет!» — кричит он, и все запевают, и каждые двое держат между собой книжку, как

¹ Сведение к абсурду. — *Лат.*

² Ранняя, или утренняя кружка.

³ Кабак; место, чтобы напиться.

держат во время церковной службы псалтырь. В конце каждого куплета все замолкают и ждут, пока председатель не даст сигнал к следующему. Так как каждый немец обучен пению и у большинства хорошие голоса, общий эффект — потрясающий.

Хотя манерой пение напоминает церковное славословие, в текстах иногда встречаются словечки исправляющие подобное впечатление. Но будь это патриотический гимн или сентиментальная баллада, или песенка, содержание которой способно шокировать среднего британского юношу, — все исполняется с суровой серьезностью, без смеха и без единой фальшивой ноты. В конце председатель восклицает «Прозит!», каждый отвечает «Прозит!», и в следующий момент все стаканы опустошаются. Пианист поднимается и отдает поклон — все кланяются ему в ответ; входит фрейлейн и наполняет стаканы заново.

В перерывах между песнями произносятся тосты, на них отвечают, но хлопают сдержанно и еще меньше смеются. Среди немецких студентов более принято улыбаться и в знак одобрения важно кивать.

Особенный тост, под названием «Salamander», поднимаемый в честь особо почетного гостя, выпивается с необыкновенной торжественностью.

— Einen Salamander reiben¹, — говорит председатель.

Мы все поднимаемся и стоим, как полк по стойке «смирно».

— Sind die Stoffe parat?² — спрашивает председатель.

— Sunt³, — отвечают мы в один голос.

— Ad exercitium Salamandi!⁴ — говорит председатель, и мы готовы.

— Eins!

Мы начинаем водить стаканы кругами по столу.

— Zwei!

Снова гремят стаканы.

— Drei!

И снова.

— Bibite!⁵

Все одновременно, как механизмы, осушают стаканы и воздевают их над головой.

— Eins! — командует председатель.

Дно пустого стакана ходит кругами по столу — будто волна убегает назад с каменистого берега.

— Zwei!

¹ Растиреть «Саламандру».

² У всех доверху?

³ Воистину. — Лат.; зд.

⁴ К исполнению «Саламандры!» — Лат.

⁵ Пейте! — Лат.

Волна вновь набегает и замирает.

— Drei!

Стаканы с единым грохотом ударяются в стол; мы снова на своих местах.

Пара студентов на таком мальчишнике может развлечься: осыпать друг друга оскорблениеми (понятно, в шутку) и затем вызвать друг друга на пивную дуэль. Назначается рефери; наполняются две огромные кружки; студенты садятся друг напротив друга, схватив кружки за ручки; все взгляды прикованы к дуэлянтам. Рефери дает старт, и пиво бурлящим потоком устремляется в глотки. Тот, кто первым бьет своей осужденной кружкой в стол, — победитель.

Иностранцам, решившим отведать «Kneipe» сполна, выдержав немецкий стиль, не помешает перед выполнением всех процедур приколоть к сюртуку свое имя и адрес. Немецкий студент — сама обходительность; независимо от собственного состояния он проследит, чтобы гость, тем или иным образом, к утру благополучно оказался дома. Но ожидать, что он будет помнить адрес, от него, понятно, следует.

Мне рассказывали историю о трех иностранцах на одном берлинском мальчишнике, которая могла иметь трагические последствия. Иностранцы решили строго соблюсти все правила. Они объявили о своем намерении, что было встречено аплодисментами; каждый написал свой адрес на карточке и приколол ее к скатерти перед собой. В этом и заключалась ошибка. Им следовало, как уже говорилось, приколоть карточки к своим сюртукам. Человек за столом может куда-нибудь пересесть; может, сам того не заметив, оказаться вообще с другой стороны. Но на любом месте сюртук всегда при нем.

Где-то после полуночи председатель предложил (к удобству тех, кто еще стоял на ногах) всех джентльменов, уже неспособных оторвать голову от стола, переправить домой. Среди тех, для кого происходящее утратило интерес, были три англичанина. Было решено уложить их в карету извозчика и вернуть домой под присмотром относительно говоря трезвого студента. Если бы англичане в продолжение всей пирушки оставались на своих изначальных местах, все было бы хорошо. Но, к несчастью, они не сидели на одном месте, и к какой карточке принадлежал теперь какой джентльмен — не знал никто, и меньше всех — сами три джентльмена.

В ту минуту общего оживления большого значения этому обстоятельству никто не придал. Имелось три джентльмена и три адреса. Как представляется, мысль была такова: даже если произойдет ошибка, элементы можно будет пересортировать наутро. В общем, трое джентльменов были погружены на извозчика, относительно говоря трезвый студент взял в руки карточки, и экипаж стартовал, напутствуемый здравицами и добрыми пожеланиями всей компании.

Немецкое пиво имеет одно преимущество: оно не пьянит в том смысле, как слово «пьяный» понимается в Англии. В пьяном нет ничего страшного; он просто устал. Общаться ему не хочется; ему хочется, чтобы его оставили в покое, хочется поскорей пойти спать (неважно где — где угодно).

Распорядитель мальчишника направил извозчика по ближайшему адресу. Здесь студент занялся самым безнадежным из трех (вполне естественно было избавиться в первую очередь от него). На пару с извозчиком они затащили его наверх и позвонили в дверь (это был пансионат). Дверь открыл сонный консьерж. Они втащили свой груз и стали смотреть, где бы его бросить. Дверь в спальню оказалась открыта, комната оказалась пуста — лучше не придумаешь. Они поснимали с англичанина все, что снялось без труда, и выложили на постель. Покончив с первым, студент и извозчик, довольны собой, вернулись к карете.

Поехали по следующему адресу. На этот раз в ответ на призывные клики возникла женщина в капоте, с книгой в руках. Немецкий студент спрятался по верхней из двух оставшихся карточек и спросил, не имеет ли он удовольствия говорить с фрау У. Выяснилось, что имеет (даром что все удовольствие, которое могло иметь место, перепадало на долю студента); студент объяснил фрау У., что господин, который в данный момент спит, прислонившись к стене, — ее супруг. Никакого энтузиазма встреча с супругом у фрау не вызывала; она просто открыла дверь в спальню и вышла прочь. Студент с извозчиком взяли джентльмена и уложили в постель. Утруждаться раздеванием второго господина они не стали, потому что уже начали уставать. Хозяйка больше не появлялась; они удалились, таким образом, не попрощавшись.

Последняя карточка принадлежала холостяку — тот остановился в отеле. Они привезли своего третьего, таким образом, в этот отель, выдали его ночному консьержу и с этим остались.

Вернемся по адресу первой доставки; вот что там происходило. Часов за восемь до начала всей катавасии господин Х. оповещает госпожу X.:

— Я не говорил тебе, дорогая, что сегодня меня приглашают на то, что у них, кажется, называется «Кнеире»?

— Что-то вроде бы говорил, — отвечает госпожа X. — А что значит «Кнеире»?

— Своего рода холостяцкая вечеринка, дорогая. Студенты встречаются, поют, общаются и... И курят — все, в общем, такое.

— Ах! Надеюсь, тебе понравится! — отвечает госпожа X., женщина милая и рассудительная.

— Будет интересно, — замечает господин Х. — Мне всегда было любопытно на такой побывать. Вероятно, — продолжает господин Х., — я имею в виду, не исключено... Что вернусь я поздно.

— Поздно — это когда? — интересуется госпожа X.

— Так просто не скажешь, — хмыкает господин Х. — Ты знаешь, эти студенты, они сумасброды... А когда в компании... Думаю, выпиваются немало тостов... В общем, я не уверен, что со мной будет. Если получится, я вернусь пораньше... Если получится, чтобы никто не обиделся. Но если нет...

Госпожа Х., которая, как я заметил выше, была женщина рассудительная, предлагает:

— Лучше попроси, чтобы тебе дали ключ. Я буду спать с Долли, и ты меня не разбудишь, хоть среди ночи.

— По-моему, идея отличная, — соглашается господин Х. — Еще нехватило тебя разбудить. Я просто тихонько войду и быстро в постель.

Поздно ночью, или вообще под утро, Долли, сестра госпожи Х., села на постели и прислушалась.

— Дженнин, ты спишь?

— Нет, дорогая... Все нормально. Спи.

— Но что это? Не пожар?

— Думаю, — успокоила госпожа Х., — это Перси. Скорее всего, споткнулся в темноте обо что-нибудь. Не волнуйся, дорогая, иди спать.

Но как только Долли уснула, госпожа Х., которая была хорошей женой, подумала, что надо потихоньку встать и проверить, все ли у Перси в порядке. И вот, набросив халат и нашарив тапочки, она тихонько прошла по коридору к себе в спальню. Чтобы разбудить джентльмена в постели, потребовалось бы землетрясение. Она зажгла свечу и неслышно подошла к кровати.

Это был не Перси. На Перси это было вообще не похоже. Этот человек никогда не смог бы стать ее мужем, ни при каких обстоятельствах. В его теперешнем состоянии она испытала к нему самую категоричную антипатию. Ей захотелось только одного — от него избавиться.

И все-таки было в нем что-то как бы знакомое. Она подошла ближе и всмотрелась. Тогда она вспомнила: точно, это был господин У., джентльмен, у которого они с Перси обедали в первый день по приезде в Берлин.

Но что ему здесь было надо? Она поставила свечу на столик, присела, обхватив руками голову, и стала думать. Вдруг ее осенило: ведь Перси поехал на «Кнейре» как раз с этим господином У.! Произошла ошибка: господина У. доставили домой по адресу Перси. А Перси в этот самый момент...

Жуткие перспективы развития ситуации развернулись у нее перед глазами. Вернувшись в комнату Долли, она торопливо оделась и тихонько спустилась по лестнице. К счастью, мимо катил ночной извозчик, и она отправилась по адресу г-на У. Приказав извозчику ждать, она взлетела наверх и требовательно позвонила в дверь. Дверь открыла все та же миссис У., все в том же халате и с той же книгой в руке.

— Госпожа Х.! — воскликнула госпожа У. — Что случилось?

— Мой муж! — все, что могла сообщить бедная госпожа Х. — Он здесь?

— Госпожа X.! — возмутилась госпожа Y., выпрямляясь. — Как вы смеете!

— Ох, что вы, я не про это! — взмолилась госпожа X. — Это все ужаснейшая ошибка! Они, наверно, принесли моего бедного Перси к вам, вместо дома, я уверена, да! Прошу вас, сходите и посмотрите.

— Миличка, — успокоилась госпожа Y., которая была намного старше и наставительней, — не волнуйтесь. Они принесли его полчаса назад, и, сказать по правде, я на него даже не посмотрела. Он здесь. По-моему, они не потрудились даже снять с него обувь. Вы не волнуйтесь, мы стащим его сюда, переправим домой, все останется между нами, и концы в воду.

Понятно, что госпоже Y. весьма захотелось оказать госпоже X. содействие. Она распахнула дверь, и госпожа X. вошла в спальню. Через секунду она выскочила, в страхе и белая как полотно.

— Это не Перси! Что же мне делать?

— На вашем месте я была бы внимательней, — заметила госпожа Y., направляясь в спальню сама, — в таких вопросах...

Госпожа X. остановила ее:

— Но это и не ваш муж.

— Что за глупость!

— Правда не ваш! — уперлась госпожа X. — Я знаю, потому что ваш муж спит сейчас на кровати Перси.

— С какой это стати? — загремела госпожа Y.

— Они его принесли и там положили, — объяснила госпожа X., которая уже начинала плакать. — Я и подумала, что Перси должен быть здесь!

Женщины стояли и смотрели друг на друга. Опустилась тишина, нарушаемая храпом джентльмена по ту сторону полуоткрытой двери.

— Тогда кто же там такой? — спросила госпожа Y., которая опомнилась первой.

— Не знаю! — отвечала госпожа X. — Я его никогда раньше не видела! Может быть, кто-то из ваших знакомых?

Но госпожа Y. только с шумом захлопнула дверь.

— И что же нам делать? — спросила госпожа X.

— Я знаю, что мне делать, — ответила госпожа Y. — Я иду с вами и забираю своего мужа.

— Но он спит как убитый!..

— Ничего страшного, он все время такой, — сообщила госпожа Y., застегивая свой плащ.

— Но где же Перси?! — разрыдалась бедняжка госпожа X., спускаясь по лестнице.

— А об этом вы, милочка, будете спрашивать у него.

— Если у них там такой ералаш, то куда он только может попасть!

— Утром всех обо всем расспросим, — утешила госпожа Y.

— По-моему, эти «Кнейре» просто ужас какой-то! Никогда больше не пущу туда Перси! Пока жива — никогда!

— Дорогая, — заметила госпожа Y., — вот здесь все зависит от вас.

Говорят, Перси больше не ходил на мальчишники.

Но, как я сказал, ошибка заключалась в том, что карточки прикололи к скатерти, когда прикалывать надо было к сюртуку. А ошибки в нашем мире подвергаются суровому наказанию.

* * *

ГЛАВА XIV

Глава серьезная, так как становится главой прощальной. — Немец с точки зрения англосакса. — Провидение в мундире. — Рай для беспомощного идиота. — Немецкая совесть; ее напористость. — Как, скорее всего, вешают в Германии. — Что случается с добропорядочными немцами после смерти? — Военный инстинкт: так ли он важен? — Немец в роли лавочника. — Чем он живет. — «Передовая женщина»: что здесь, что повсюду. — Что можно сказать против немцев как нации. — «Bummel» окончен.

— Этой страной может управлять кто угодно, — сказал Джордж. — Даже я.

Мы сидели в саду Кайзерхоф в Бонне и любовались Рейном. Был последний вечер нашего путешествия; утренний поезд должен был стать началом конца.

— Я бы записал все, что требуется от людей, — продолжил Джордж, — нанял хорошую фирму, чтобы они распечатали это в огромном количестве, велел бы расклеить по городам и деревням, и дело в шляпе.

В мирном, послушном немце наших дней — мечтающем, кажется, только об уплате налога и выполнении распоряжений тех, кого Провидению было угодно поставить над ним, — трудно, надо признать, обнаружить какой-то след своего дикого предка, для кого личная свобода была необходима как воздух; кто избирал судью для совета, но право исполнять приговор оставлял за племенем; кто шел за вождем, но не унизился бы до подчинения.

В Германии сегодня немало услышишь о социализме, но этот социализм будет только деспотизмом под другим названием. Индивидуализм не привлекает немецкого избирателя. Он хочет — нет, он даже стремится, — чтобы его контролировали во всем. Он может быть не согласен — не с правительством, а с его формой. Полицейский для него — бог и, похоже, останется таким навсегда.

В Англии мы относимся к нашему человеку в синем как к безвредной необходимости. С точки зрения обывателя, полицейский работает главным образом как дорожный указатель (хотя в оживленных кварталах, как считается, полицейский может пригодиться, чтобы перевести через дорогу престарелую леди). Мы благодарны ему за эти услуги, в остальном же просто не замечаем.

В Германии, наоборот, ему поклоняются как кумиру и любят как ангела-хранителя. Для немецкого ребенка он Санта-Клаус и Бука в одном лице. От него исходят все блага: «Spielplätze»¹ с качелями и гигантскими шагами; кучи песка, чтобы драться; лягушатники; ярмарки. За шалости он наказывает. Все послушные немецкие мальчики и девочки как один хотят угодить полицейскому. Если полицейский кому-нибудь улыбнется, они начинают задаваться. А если какого-нибудь мальчишку полицейский погладит по голове, жить с таким ребенком становится нереально: его самомнение невыносимо.

Германский гражданин — солдат, полицейский — его командир. Полицейский указывает ему, по какой стороне улице нужно идти и как быстро. На каждом мосту у входа стоит полицейский и говорит немцу, как этот мост нужно перейти. Если полицейского нет, немец, возможно, сядет и будет ждать пока утечет река. На вокзале полицейский запирает немца в зале ожидания, чтобы тот не попал в какую-нибудь неприятность. В должное время он выводит немца из помещения и передает на руки кондуктору (который всего лишь полицейский в другой форме). Кондуктор сообщает немцу, где в поезде надо сидеть, когда выходить, и проверит, чтобы немец действительно вышел.

В Германии вы не берете на себя никакой ответственности за самого себя вообще. Для вас все сделано, и сделано хорошо. Вам не надо о себе беспокоиться, и если вы беспокоитесь о себе не умеете, вас никто в этом не обвинит; беспокоиться о вас в Германии — долг полиции. Если вы беспомощный идиот, это не избавляет полицейского от своего долга, когда с вами что-нибудь произойдет. Куда бы вас ни занесло, что бы в голову вам ни втемяшилось — он отвечает за вас, он заботится о вас, и заботится хорошо — что есть, то есть.

Если вы потеряетесь, он вас находит. Если вы что-то теряете, он находит и возвращает. Если вы не знаете, что вам нужно, он сообщает. Если вам нужно что-то особенное, он раздобывает.

В Германии не нужны специалисты по частному праву. Если вы хотите продать и купить дом или землю, государство проводит всю сделку. Если вас надули, государство занимается вашим делом. Государство вас женит, страхует, даже сыграет с вами в карты или в рулетку, почти бесплатно.

— Твое дело — появиться на свет божий, — говорит немецкое правительство немецкому гражданину, — остальное сделаем мы. Дома или на улице, в болезни или в добром здоровье, на отдыхе или в работе — мы скажем, что тебе делать, и проверим, как ты это выполнил. Не беспокойся вообще ни о чем.

И немец не беспокоится. Если где-нибудь нет полицейского, немец

¹ Детская площадка.

будет бродить до тех пор, пока не увидит полицейское объявление. Тогда он его читает и делает что там указано.

Помню, как в каком-то немецком городе (в каком — точно не помню, это не существенно, такое могло случиться в любом) я увидел открытые ворота, ведущие в сад, где давали концерт. Если бы кто-то захотел пройти в сад через эти ворота и таким образом попасть на концерт бесплатно, помешать бы ему не смогло ничто. Больше того, удобнее было войти именно здесь, а не тащиться за четверть мили к другим. Тем не менее никто из проходящей мимо толпы не попытался войти через эти ворота. Все упорно брали под палящим солнцем к дальним воротам, где стоял человек и взимал плату за вход.

Я видел, как немецкие подростки стояли на берегу пруда и с тоской смотрели на пустое ледяное поле. На этом льду они могли бы кататься уже не один час, и все было бы шито-крыто: взрослые и полицейский были на другом конце, в полумиле, и за углом. Их сдерживало только одно — сознание, что так делать нельзя.

Подобные случаи заставляют всерьез задуматься: являются ли тевтоны представителями гречного рода человеческого вообще? Не может ли так быть, что этот послушный, смиренный народ — на самом деле ангелы, сожедшие на землю ради кружечки пива, которое пить, как им известно, можно только в Германии?

В Германии проселочные дороги обсажены фруктовыми деревьями. Ничто не может помешать мальчишке или взрослому остановиться и нахватать плодов — кроме сознательности. В Англии такое положение дел вызовет общественное возмущение. Дети умирали бы от холеры сотнями. Медицина сбилась бы с ног, пытаясь совладать с естественными последствиями обжорства кислыми яблоками и зелеными орехами. Общественное мнение потребовало бы в целях безопасности обнести забором все такие деревья. Садоводам, пожелавшим сэкономить на заборах и палисадах, не позволили бы таким образом сеять по стране болезни и смерть.

Но в Германии мальчишка будет миля за миляй шагать по безлюдной дороге, обсаженной фруктами, чтобы в дальней деревне купить пару грушевых груш. Пройти мимо таких беспризорных деревьев, ломящихся под тяжестью спелых плодов, англосаксу покажется безнравственным расточительством, глумлением над благословенными дарами Судьбы.

Не знаю, так ли это на самом деле, но, судя по моим наблюдениям за характером немца, я не удивлюсь, если мне скажут, что здесь осужденному на смерть дают кусок веревки, велят пойти и повеситься. Государство избавилось бы от больших хлопот и издержек. Я хорошо представляю, как немецкий преступник забирает эту веревку домой, внимательно читает полицейское предписание и начинает исполнять его у себя на кухне.

Немцы — хороший народ. В целом, наверное, лучший в мире: друже-

любный, бескорыстный, добрый. Я уверен, что подавляющее большинство немцев попадает в рай. И действительно, сравнивая их с другими христианскими нациями, невольно приходишь к выводу, что рай будет в основном немецкого производства. Только мне непонятно, как они туда попадают. Ни за что не поверю, что душа отдельно взятого немца сможет набраться смелости взлететь к небесам самостоятельно и постучаться в ворота св. Петра. По моему личному мнению, их доставляют туда небольшими партиями и передают под присмотром покойного полицейского.

Карлейль сказал о пруссаках — и это истина в отношении всей нации немцев, — что у них одна из основных добродетелей — способность к муштре. О немцах можно сказать, что это народ, который пойдет куда угодно и сделает что угодно, если ему прикажут. Вымуштруйте его для работы и направьте в Азию или в Африку под надзором кого-нибудь в униформе, и он обязательно станет превосходным колонистом, стойко перенося, если ему прикажут, трудности, как переносил бы сам дьявол. Но вот первопроходцем его представить непросто. Предоставленный собственной инициативе, как кажется, он зачахнет и скоро умрет, и не по скучности ума, а просто от недостатка уверенности в себе.

Немец так долго был ландскнехтом Европы, что военный инстинкт вошел к нему кровь. Воинской доблести ему не занимать; но он также страдает от всех недостатков военщины. Мне рассказывали об одном немецком слуге, недавно отслужившем в армии; хозяин велел ему отнести письмо и дождаться ответа. Шел час за часом, слуга не возвращался. Хозяин, удивленный и обеспокоенный, пошел за ним. Он нашел слугу около дома, куда тот был послан, с ответом в руке. Слуга ожидал дальнейших указаний. История воспринимается как анекдот, но лично я ей поверю.

Удивительно вот что: тот же самый человек, который будучи частным лицом беспомощен как ребенок, едва лишь надев мундир становится разумеющим существом, способным принимать решения и проявлять инициативу. Немец может руководить другими, другие могут руководить немцем, но руководить самим собой немец не в состоянии. Проблема решается следующим образом: выучить каждого немца на офицера и затем отдать под свою же команду. Нет сомнений, он будет отдавать себе приказы, преисполненные мудрости и здравого смысла, и сам же будет следить за тем, что выполняет их ловко и точно.

Главную ответственность, чтобы направить немецкий характер по этому руслу, несут, безусловно, школы. Постоянно учиться — долг. Это замечательный идеал для всякого, но прежде чем засучивать рукава, следует ясно понять, что этот «долг» собственно значит. Немец понимает долг как «слепое подчинение всякому, кто носит мундир». Это полная противоположность англосаксонской системе; однако, так как процветают равным образом и тевтоны, и англосаксы, польза имеется в обоих методах.

До сих пор немцу судьба улыбалась — им управляли исключительно хорошо; если так будет и дальше, метод будет работать по-прежнему. Проблемы начнутся тогда, когда по каким-то причинам машина управления начнет давать сбои. Но метод, возможно, имеет то преимущество, что обеспечивает бесперебойную поставку хороших правителей; скорее всего, так и есть.

Немец как торговец, я склонен считать, если его характер значительно не изменится, всегда будет далеко позади своего англосаксонского конкурента; и это по причине собственных добродетелей. Для него жизнь — нечто более важное, чем просто гонка за материальными ценностями. Стране, которая закрывает банки и почтовые конторы на два часа в середине дня, идет домой и наслаждается спокойным обедом в кругу семьи (возможно, вздремнув на десерт), нечего надеяться (и, возможно, она к этому и не стремится) выдержать конкуренцию снацией, которая ест стоя, а спит с телефоном над головой.

В Германии нет (во всяком случае, до сих пор) заметного расслоения между классами, чтобы за место под солнцем стоило драться не на жизнь, а на смерть. За исключением земельной аристократии, куда невозможно пробиться, социальный статус здесь почти ничего не значит. Фрау Профессорша и фрау Жестянщица еженедельно встречаются за чашкой кофе и делятся сплетнями на основе взаимного равенства. Ливрейный конюх и врач пьют за здоровье друг друга в своей любимой пивной. Состоительный подрядчик, снарядив для загородной поездки вместительный фургон, приглашает с собой десятника и портного с семьями. Каждый вносит свою долю выпивки и закуски, и на обратной дороге все поют хором.

Пока такое положение дел сохраняется, нет нужды тратить лучшие годы жизни на то, чтобы наскрести состояние в обеспечение своей маразматической старости. Вкусы немца (и, что гораздо важнее, вкусы его жены) стоят недорого. В доме ему нравятся щедро обитые красным плюшем стены, изобилие позолоты и лака. Но вот так ему нравится, и, возможно, это ничуть не хуже, чем смесь елизаветинской подделки с суррогатом под Людовика Пятнадцатого*, с электрической подсветкой и заляпанная фотографиями. Может быть, он найдет местного живописца и распишет наружные стены кровопролитной битвой (в которой крупную роль будет играть входная дверь внизу, в то время как Бисмарк*, как некий ангел, будет невнятно порхать наверху между окнами спальни). В то же время он с большим удовольствием ходит в картинные галереи любоваться своими мастерами; а так как в «Фатерланде» частная коллекция еще не вошла в число прочих общественных институтов, немцу не приходится тратить деньги, превращая свой дом в антикварную лавку.

Немец — любитель поесть. В Англии тоже еще попадаются фермеры, которые, говоря, что «деревня — значит голод», наедаются до отвала семь раз

в сутки. В России раз в год устраивается недельное пиршество, во время которого случается много смертей от объедания блинами; однако это мероприятие, как религиозное торжество, является исключением. Но по общей статье немец как едок далеко превосходит все нации человечества. Он поднимается рано и, пока одевается, выпивает на ходу несколько чашек кофе и съедает полдюжины горячих булочек с маслом. Однако за то, что называется собственно «завтрак», немец садится не ранее десяти. В час или в половине второго — обед, главная трапеза. Это серьезное дело, которому отводится часа два. В четыре часа немец идет в кафе, ест пирожные и пьет шоколад. Вечер немец посвящает еде просто так — не ужинает за столом (или редко), а несколько раз перекусывает: бутылочка пива и «belegte Semmel»¹ (или два) часов этак в семь; еще одна бутылочка пива и «Aufschmitt»² в антракте в театре; небольшая бутылка белого вина и «Spiegelei»³ перед тем как идти домой; затем кусочек колбасы или сыра, запитые опять пивом, перед тем как отправиться спать.

Но он не гурман. Французские повара и французские цены в немецком ресторане — не правило. Пиво или недорогое белое вино местных сортов он предпочитает большинству дорогих бордо и шампанских. (В общем-то, правильно делает: невольно подумаешь, как в сердце француза-виноторговца, всякий раз когда он отправляет бутылку в немецкий отель или ресторан, вскипают воспоминания о Седане*. Месть совершенно дурацкая, учитывая, что это вино, как правило, пьют вовсе не немцы; возмездие падет на голову какого-нибудь безвинного странствующего англичанина. Впрочем, французский виноторговец, возможно, помнит также и Ватерлоо* и считает, что в любом случае счет в его пользу.)

В Германии дорогих развлечений не предлагают и не требуют. В «Фатерланде» все уютно и по-домашнему. Немец не платит за роскошные удовольствия, не тратится на показную жизнь, не одевается из расчета на круг зазнавшихся богачей. Свое главное удовольствие — место в опере или в концерте — он получит за несколько марок; его жена с дочерьми пойдут в театр в простом платье, накрыв голову шалью. Такое отсутствие рисовки в масштабах целого государства английский глаз просто радует. Собственный выезд — редкость, и даже «Droschke»⁴ приходят на помощь только тогда, когда на электрическом трамвае, который и быстрее, и чище, не доберешься.

Таким образом немец сохраняет свою независимость. Лавочник в Германии не виляет хвостом перед покупателем. В Мюнхене я составил компа-

¹ Круглая разрезанная булочка с ветчиной или сыром.

² Мясная закуска.

³ Яичница.

⁴ Извозчики дрожки.

нию одной английской даме в прогулке по магазинам. Привыкнув ходить по магазинам в Лондоне и Нью-Йорке, она ворчала на всякую вещь, которую ей показывали. Это не значит, что товар ей не нравился по-настоящему, — таков был ее метод. Она уверяла, что в других местах все это гораздо лучше и стоит намного дешевле (это не значит, что она вправду так думала, она просто считала, что продавцам говорить лучше так). «Вашему товару не достает вкуса, — говорила она хозяину (она, как я сказал, обижать его не хотела; это был ее метод), — у вас все одно и то же; все уже вышло из моды; все это так банально; все это до первой стирки». Хозяин не спорил, не возражал. Он положил вещи обратно в коробки, положил коробки обратно на полки, прошел в служебное помещение и закрыл за собой дверь.

— Он собирается возвращаться? — спросила дама спустя пару минут.

Это был не столько вопрос, сколько просто нетерпеливое восклицание.

— Сомневаюсь, — сказал я.

— Почему же? — спросила она в большом удивлении.

— Думаю, — сказал я, — вы ему надоели. Скорее всего, сейчас он за этой дверью курит трубку и читает газету.

— Ну и лавочник! — сказала моя знакомая, собирая пакеты в кучу и в негодовании покидая лавку.

— У них так, — объяснил я. — Вот он товар. Нужен — берите. Не нужен — нечего ходить и морочить голову.

В другой раз в курительной комнате немецкого отеля я услышал, как какой-то низенький англичанин рассказывал историю, о которой я бы на его месте не распространялся.

— Торговаться с немцем, — сказал низенький англичанин, — бессмысленно. Они, похоже, не понимают, что это такое. В витрине на Георгплатц вижу первое издание «Разбойников»*. Захожу, спрашиваю, сколько стоит. За прилавком какой-то подозрительный тип. «Двадцать пять марок», — говорит, и продолжает читать. Я говорю, что вот только несколько дней назад видел такую же, только лучше, за двадцать. Ну, так всегда говорят, когда покупают, это всем ясно. Он спрашивает: «Где?» Говорю: в Лейпциге, в одном магазине. «Ну, поезжай в Лейпциг, — говорит, — и покупай там». Как будто ему все равно, куплю я ее или нет. «Ну, так за сколько уступите?» — говорю. «Я вам уже сказал, — говорит, — двадцать пять марок». Раздражительный такой тип оказался. «Да она того не стоит», — говорю. «Я не говорил, что стоит, или как?» — и сверкает глазами. «Дао десять марок», — говорю. Ну, думаю, может быть, сговоримся на двадцати. Он поднимается. Ну, думаю, сейчас выйдет из-за прилавка и достанет мне книгу. Нет, подходит прямо ко мне. А сам тип увесистый... Хватает меня за плечи, вытаскивает меня на улицу и захлопывает за мной дверь. Я никогда в жизни не был так удивлен.

— Но книга ведь стоила таких денег? — предположил я.

— Конечно стоила, — ответил низенький англичанин. — Стоила еще как! Но разве же так торгуют?

Если немецкий характер что-нибудь да изменит, это будет немецкая женщина. Сама она меняется быстро — прогрессирует, как говорим мы. Десять лет назад ни одна немка, дорожащая своей репутацией и рассчитывающая выйти замуж, не рискнула бы прокатиться на велосипеде; сегодня они колесят по стране тысячами. Старики качают головами; молодые догоняют и едут рядом. Еще не так давно в Германии считалось, что женщины не подобает кататься на катке по внешнему кругу. Умение кататься правильно, как считалось, заключалось в том, чтобы безвольно повиснуть на каком-нибудь родственнике мужского пола. Теперь она отрабатывает восьмерки самостоятельно, пока какой-нибудь молодой человек не устремится на помощь. Она играет в теннис, и я даже наблюдал — с безопасного расстояния, — как она управляет двуколкой.

Блестяще образованной она была всегда. В возрасте восемнадцати она говорит на двух или трех языках и уже успевает забыть больше, чем средняя англичанка прочтет за всю жизнь. До сих пор дальнейшее образование бывало для нее пустой тратой времени. Выйдя замуж, она удалялась на кухню и торопилась выбросить из головы все, чтобы освободить место для искусства плохо готовить. Но я полагаю, она начинает понимать, что женщина не обязана класть все свое бытие на алтарь домашней каторги, равно как и мужчина не должен превращать себя только в деловую машину. Представим, что она взрастила тщеславие и стремится принять участие в общественной и государственной жизни. Тогда-то на немце и скажется влияние своей супруги, женщины здоровой телом и поэтому крепкой духом, и это влияние обязательно будет долгим и всесторонним.

Ибо нельзя забывать, что немец — человек исключительно сентиментальный и необычайно легко подвергается влиянию женщины. О нем сказано: из любовников — самый лучший, из мужей — самый плохой. В этом была виновата женщина. Выйдя замуж, немка не просто расставалась с романтикой; она хватала выбивалку для ковров и гнала романтику со двора прочь. Девушкой она никогда не разбиралась в нарядах; став женой, она начинает драпироваться во всякие случайные тряпки, которые случится найти по хозяйству (во всяком случае, такое впечатление она производит). К фигуре, которая могла принадлежать Юноне*, к цвету лица, которому позавидует здоровый ангел, она начинает относиться с ненавистью и полна решимости их уничтожить. Свое данное ей по рождению право на преданность и восхищение она продает за порцию сладостей*. Каждый вечер в кафе можно видеть, как она набивает себя пирожными с жирным кремом, заливая их обильными дозами шоколада. Очень скоро она становится толстой, вялой, одутловатой и совершенно неинтересной.

Когда немка бросит пить днем кофе, а вечером — пиво, когда она

займется гимнастикой для восстановления утраченных форм, когда, выйдя замуж, снова начнет читать не только кулинарную литературу — тогда немецкое правительство столкнется с новой и неведомой силой, с которой ему придется иметь дело. И по всей Германии уже налицо очевидные знаки того обстоятельства, что старая немецкая «*Frau*» уступает место новой «*Dame*»¹.

И когда думаешь о том, что будет дальше, становится любопытно. Немецкая нация по-прежнему молодая, и ее созревание важно для мира. Немцы — привлекательные, хорошие люди, и они должны во многом помочь сделать мир лучше.

Самое страшное, чем можно их упрекнуть, — у них есть свои недостатки. Сами они этого не знают; они считают, что они совершенны, что с их стороны глупо. Они заходят так далеко, что мнят себя выше ангlosакса — уму это непостижимо. Похоже, они все-таки притворяются.

— Свои достоинства у них есть, — сказал Джордж. — Но немецкий табак — смертный грех нации. Я иду спать.

Мы поднялись и, облокотившись на низкий каменный парапет, любовались танцовщиками отнями на мирной темной реке.

— В целом наш «*Bummel*» получился на славу, — сказал Гаррис. — Я рад, что мы едем домой, и в то же время мне жалко, что все закончилось. Надеюсь, вы меня понимаете.

— И что же такое «*Bummel*»? — спросил Джордж. — Как ты это переведешь?

— «*Bummel*», — объяснил я, — это такая поездка, долгая или короткая, которая не заканчивается. Единственное, что здесь требуется, — вернуться в заданное время в тот пункт, откуда ты отбыл. Иногда путь лежит по загруженным улицам, иногда — по полям и проселкам; иногда у тебя уходит пара часов, иногда — несколько дней. Но долго мы едем или недолго, здесь или там, мы всегда помним, что в часах струится песок. Мы киваем и улыбаемся людям навстречу, иногда останавливаемся и перекинемся парой слов, с кем-то немного пройдемся. Нам было весьма интересно, часто мы уставали. Но в целом нам было здорово, и нам жаль, что все это кончилось.

* * *

¹ Женщина... даме.

ДЖЕРОМ К. ДЖЕРОМ

ПОСЛЕСЛОВИЕ,
ПРИМЕЧАНИЯ,
УКАЗАТЕЛИ

— И что же, Бутройд, все это правда?

— Никогда, — пожурил Бутройд, — никогда не спрашивайте юмориста, правда все это или нет.

— Нет, но все-таки — это было? — стоял на своем Кингтон.

— Не все именно так, — признал Бутройд. — Не все именно тогда... И не все именно со мной.

*Из беседы Бэзила Бутройда,
редактора журнала «Панч»,
с молодым собратом по перу
Майлсом Кингтоном*

ДЖОРДЖ,
УИЛЬЯМ СЭМЮЭЛ ГАРРИС,
Я САМ И МОНМОРАНСИ

Джером начинает «Трех в лодке...» с короткого вступления, где указывает, что «страницы этой книги представляют собой отчет о событиях, которые имели место в действительности», «работа автора свелась лишь к тому, чтобы их оживить», «в том, что касается безнадежной, неисцелимой правдивости — в этом ничего из на сегодня известного не сможет ее превзойти». Это действительно так. Сами Джордж, Гаррис и Монморанси на самом деле были «отнюдь не поэтические идеалы, но существа из плоти и крови». Джордж, Гаррис, Монморанси и Джей «были» в действительности.

Было три друга: Джордж Уингрейв, Карл Хеншель и собственно Джей — Джером К. Джером. Они на самом деле неоднократно ходили по Темзе и впоследствии на самом деле путешествовали по Европе на велосипедах. Даже Монморанси, которого изначально не существовало («Монморанси я извлек из глубин собственного сознания», — признавался Джером), — даже Монморанси позже материализовался. Пес, как говорят, был подарен Джерому через много лет после выхода книги, в России, в Санкт-Петербурге.

С Джорджем Уингрейвом Джером познакомился когда работал клерком в адвокатской конторе. Джордж был мелким банковским служащим (который «ходит спать в банк с десяти до четырех каждый день, кроме субботы, когда его будят и выставляют за дверь в два»). Джордж и Джером снимали комнаты в одном доме, и хозяйка предложила им для экономии поселиться в одной. Они поселились в одной комнате, прожили в ней несколько лет и сдружились на всю жизнь. Джордж, оставшийся холостяком, в конце концов стал управляющим в банке «Барклай» на Стрэнде. Своих двух друзей он пережил и умер в возрасте 79 лет в марте 1941-го.

Карл Хеншель, он же Уильям Сэмюэл Гаррис, родился в Польше, в городе Лодзь, в марте 1864-го. Когда ему было пять, семья переехала в Англию. Его отец изобрел полутонаовые клише, которые произвели переворот в иллюстрации книг и журналов. В четырнадцать Карл оставил школу, с тем чтобы присоединиться к процветающему делу отца. В двадцать три он взял дело целиком на себя и достиг в нем выдающегося успеха (которым впоследствии заслужил некролог в «Таймс»). Карл Хеншель умер в январе 1930-го, оставив жену и трех детей.

В ранние годы Джером увлекался театром и играл на сцене, и дружбу Джерома, Уингрейва, затем и Хеншеля вначале скреплял театр. Хеншель

входил в число основателей «Клуба театралов» и утверждал, что был на каждой лондонской премьере с 1879-го, за несколькими исключениями.

Таким образом, Джордж, Гаррис и Джей имеют совершенно реальных и совершенно неслучайных прототипов. Конечно, кое-что Джером «оживил» действительно. На протяжении всей книги, например, читатель не сомневается в том, что Гаррис — изрядный любитель выпить (вспомним эпизод с лебедями у Шиплейка или замечание Джая об отсутствии кабачков, Гаррису неизвестных). Между тем Хеншель-Гаррис был единственным трезвенником из трех (откуда понятно, почему Хеншель, став Гаррисом, стал также греховодником).



Настоящие «Тroe», слева направо: Карл Хеншель (Гаррис),
Джордж Уингрейв (Джордж), Джером К. Джером

У некоторых историй, которые приводит Джером, также имеются реальные прототипы. История об утопленнице из Горинга (глава XVI), например, основана на случае самоубийства некой Алисии Дуглас. Это случилось в июле 1887-го, и Джером вычитал случай из местной газеты.

Что касается Темзы, она была «просто обязана» появиться в какой-нибудь книге Джерома. Как место отдыха Темза заняла главное положение в середине 70-х годов XIX века. Лондон разрастался не по дням, а по часам. Среднему и рабочему классу рано или поздно должны были открыться рекреационные возможности большой реки — с ее городками, деревеньками, уютными уголками (до которых можно было добраться по железной дороге купив дешевый билет). К концу 1880-х на Темзе возникает «пункт помешательства» — лодка. Джером писал о «самом последнем писке»: в 1888-м, когда вышли «Тroe...», на реке было зарегистрировано 8 000 лодок, на следующий год — уже 12 000. Без сомнения, книга спровоцировала еще больший интерес к катанию на реке и повлияла на число зарегистрированных лодок. Но трое друзей были в числе самых первых, кто на этом «свихнул-

ся». «Сначала, — вспоминал Джером, — река оставалась в нашем распоряжении почти полностью. Мы иногда устраивали себе речной поход на несколько дней, с ночевками, стоянками, все как положено, „по книжке”».

Словом, материала у Джерома было больше чем надо — и реального опыта на реке, и вечерних историй за уютным костром. Когда Джером брался за «Троих...», он уже был журналистом и уже вышли его книги «На сцене и за кулисами» (1885) и «Праздные мысли праздного человека» (1886; в которой, как считается, он состоялся как автор юмористического очерка). Конечно, такой собиратель всячины, как Джером, на реке без блокнота не появлялся.

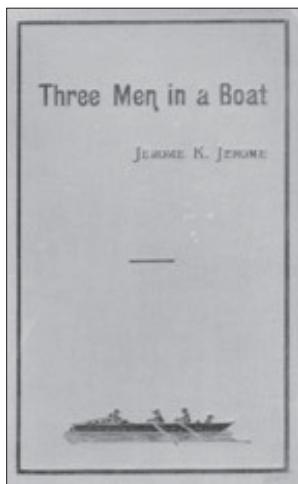


Редкая фотография настоящих «Трех», слева направо:
Ольга Хеншель, Джером, Карл Хеншель, неизвестная дама,
Джордж Уингрэйв, Эффи Джером (жена Дж. К. Дж.)

«Праздные мысли...» первый раз вышли частями, в ежемесячнике «Домашние куранты», и публиковать очередную работу Джером взялся тот же редактор «Курантов», Ф. У. Робинсон. Сначала Джером собирался назвать книгу «Повесть о Темзе». «Писать смешную книгу сначала я даже не собирался», — признавался он в мемуарах. Книга должна была сосредоточиться на Темзе и ее «декорациях», ландшафтных и исторических, и только с небольшими смешными историями «для разрядки». «Но так не получилось. Оказалось так, что смешным „для разрядки“ стало все. С угрюмой решительностью я продолжал... Написал с дюжину исторических кусков и втиснул их по одной на главу». Робинсон тут же выкинул почти все такие куски и заставил Джерома придумать другой заголовок. «Я написал половину, когда мне в голову пришло это название — „Тroe в лодке...“». Лучше ничего не было».

Первая глава вышла в августовском выпуске 1888-го, последняя — в июньском 1889-го. Джером тем временем добился взаимности в Бристо-

ле, у издателя Дж. У. Эрроусмита, который купил и издал книгу поздним летом 1889-го. В течение 20 лет было продано более 200 000 экземпляров в Британии и более миллиона в Америке. (С американских продаж Джерому не перепало ни цента, потому что США в то время еще не присоединились к Соглашению об авторском праве.)



«Тroe в лодке», первое издание
Дж. У. Эрроусмита, 1889

К настоящему времени книга переведена почти на все языки мира, включая японский, иврит, африкаанс, «фонографию» Питмана. Наибольшей популярностью при жизни Джерома «Тroe...» пользовались в Германии и России. На английском языке книга была экранизирована пять раз (1920—2006), несколько раз адаптировалась для телевидения и сцены, много раз читалась по радио и записывалась на кассету, как минимум дважды ставилась «театром одного актера», по ней был поставлен мюзикл.

Критики-современники сразу с неприязнью отметили «малолитературный» стиль книги. Джером, например, с ранних вещей стремился избавиться от обычая перегружать текст замечаниями, не имеющими непосредственного отношения к контексту, «тупиковыми ветвями» с точки зрения развития изложения, — подобные украшательства считались важными элементами в «правильной викторианской литературе». Например, первый параграф книги в самой первой, журнальной публикации имел другой вид: «Был Джордж, Билл Гаррис, я (или нужно говорить „я сам“) и Монморанси. Вообще-то, нужно говорить „были“: были Джордж, Билл Гаррис, я сам и Монморанси. Странное дело, но правильная грамматика всегда ка-

жется мне деревянной и странной; причиной тому, полагаю, было воспитание в нашей семье. В общем, были мы, и мы сидели у меня в комнате, курили и беседовали о том, как были плохи — плохи с точки зрения медицинской, я имею в виду, конечно». (Об этом параграфе в наше время не знает почти никто.)



Джером у себя дома, в Мэйденхеде;
на стене — его портрет (авт. Де Ласло)

Зато у «простого читателя» книга сразу приобрела популярность — что объяснялось во многом новизной общего замысла. Очень популярные тогда Конан Дойл, Райдер Хаггард, Редьярд Киплинг, Роберт Луис Стивенсон предлагали читателю нереальных героев и таких же нереальных злодеев. У Джерома читатель встречает самых заурядных типов, которые находят себе развлечение, так сказать, «за углом» (причем буквально за тем же, за которым живет сам читатель). В эпоху, когда в напыщенности и высокопарности литература не испытывала недостатка, у Джерома можно было получить «глоток свежего воздуха».

Неувлеченность правильной грамматикой, которая «всегда казалась» Джерому «деревянной и странной», вызывала дополнительный гнев критики. Джером первый стал пользоваться самой обычной, «каждодневной» речью (как выразился один критик, «разговорно-клерковским английским образца 1889-го»), делал это очень смешно и делал там, где, с точки зрения «правильной викторианской литературы», делать это категорически запрещалось — в тексте повествования, за пределами реплик. Англичанин викторианской эпохи с подобным в литературе еще не сталкивался.

Критики честили Джерома на все корки. Они ненавидели этот «новый» юмор, «вульгарность» языка, «уличные» словечки и выражения вообще и при виде подобного в изложении «от автора» разъярялись особенно.

Отдельным предметом ярости стали «все эти 'Арри и 'Арриетты». Этот «термин», представляющий собой искаженные имена Гарри и Гарриэтта, был выдуман средними классами; посредством него следовало презрительно отзываться о классах низших и вообще обо всяком, кто в начале слова «глотал» придыхательный «h», что с точки зрения правильного языка считалось недопустимым. Джерома даже как-то обозвали 'Арри К. 'Арри. «Можно было подумать, — вспоминал Джером, — что Британская империя находилась в опасности... „Стандарт“ отзывался обо мне как об угрозе английскому алфавиту. „Морнинг Пост“ приводил меня как пример тех грустных результатов, которых следовало ожидать от „переобразованности низших слоев“... Думаю, могу претендовать на то, что я свои первые двадцать лет в литературе был самым поносимым автором в Англии».



Джером с собакой (предположительно той самой,
которую ему подарили в Санкт-Петербурге)

Для нас, современных русскоязычных читателей, эти забавные сведения представляют только умозрительный интерес. От того же лондонца многие тонкости сегодня уже ускользнули — книга в значительной степени привязана к социальнолингвистической ситуации. Никакой перевод ни на какой язык не в состоянии передать настроение такой специфичной книги во всех аспектах. И все равно — ее читали, читают и будут читать и любить во всем мире.

ПРИМЕЧАНИЯ

ТРОЕ В ЛОДКЕ...

Стр. 9. Помнится, однажды я пошел в Британский музей. Британский музей — главный историко-археологический музей Британской империи и затем Великобритании, один из крупнейших музеев мира; содержит крупнейшую в Великобритании библиотеку. Основан в 1753.

Стр. 9. Но не успел я просмотреть список «продромальных симптомов» до середины. Продромальные симптомы — предвестники заболевания.

Стр. 10. У меня не было воспаления коленной чашечки. Housemaid's knee — препателлярный бурсит, воспаление сумки коленного сустава; специфическое заболевание, возникающее от регулярной работы, выполняемой на коленях (мытье полов, натирание паркета и т. п.). Буквально значит «колено домработницы»; когда Джей возмущается, отчего у него, «работника умственного труда», нет такого воспаления коленной чашечки, англичанину викторианской эпохи его удивление смешно. Возмущение Джая (я что, полный калека?) особенно забавно в контексте посещения библиотеки.

Стр. 10. А ятогенным зимосом я страдал явно с детства. Ятогенный — вызванный неосторожным действием или словом врача. Зимос — изменения в организме, возникающие при некоторых инфекционных заболеваниях; в общем смысле — инфекционное заболевание.

Стр. 13. «Рефери» не достанешь ни за какие сокровища. «Рефери» — популярная воскресная спортивная газета в Англии конца XIX в.; выходила в 1877—1928; содержала главным образом материалы о скачках.

Стр. 13. Точно вы и капитан Кук, и сэр Фрэнсис Дрейк, и Христофор Колумб сразу. Кук Джеймс (1728—1779) — английский мореплаватель; руководил тремя экспедициями, с которыми трижды обогнул Землю; открыл в Тихом океане 11 архипелагов и 27 островов. Дрейк Фрэнсис (1540—1596) — английский мореплаватель, вице-адмирал; руководил пиратскими экспедициями в Вест-Индию; в 1577—1580 совершил второе (после Ф. Магеллана) кругосветное плавание.

Стр. 14. Суп, рыба, entree, жаркое, птица, салат, сладкое, сыр, десерт. Entrée (фр.) — закуска, подаваемая перед жарким.

Стр. 14. В продолжение следующих четырех дней он вел простую, безгрешную жизнь, питаясь галетками с содовой. Смешной фрагмент, основанный на свойствах английского препозитивного определения. Речь идет о популярных галетах «Thin Captain's Biscuits», выпускавшихся английской фирмой «Huntley & Palmers» (основана в 1822) до 1939. Бренд переводится как «тонкие капитанские галеты» (ср. устойчивое выражение «ship's biscuit» — корабельное печенье, собственно «галета»). Джей, описывая страдания приятеля, рассказывает, что тот

«вел простую, безгрешную жизнь» on thin captain's biscuits, и добавляет: «Я имею в виду, что тощие были галеты, а не капитан» («I mean that the biscuits were thin, not the captain»). С точки зрения английской грамматики «Thin Captain's Biscuits» можно понимать и как «тощие капитанские галеты», и как «галеты тощего капитана». В 1907, например, фунтовая упаковка «Captain's Thin» стоила 8 шиллингов и 9 пенсов; это было недешево, откуда ирония Джей: покупая такие галеты, остается вести простую, безгрешную жизнь, так как на другую еду денег не остается.

Стр. 16. Я не знаю, что это за «тютелька», но, как понимаю, «в тютельку» всегда что-нибудь попадает (что этим тютелькам весьма делает честь). Смешной фрагмент, основанный на идиоматическом выражении «to suit to a “T.”», бывшим в употреблении в конце XIX в. («Т.» является сокращением от термина «title» — диакритический знак, надстрочная точка; термин также вышел из употребления). Выражение значит: 1) совершенно подходит, устраивать; 2) с совершенной точностью, до совершенства. Во второй части параграфа Джером обыгрывает омофонию некоторых сокращений и отдельных слов: «I don't know what a “T.” is (except a sixpenny one, which includes bread-and-butter and cake *ad lib.*, and is cheap at the price, if you haven't had any dinner)» — «Я не знаю, что это такое за „ти“ (разве то за шесть пенсов, куда еще входит хлеб с маслом и пирожных сколько влезет, и это дешево, если вы еще не обедали)». Джей принимает «Т.» за «tea» (что звучит одинаково) и, таким образом, иронизирует над обыкновением использовать фразы, значения которых говорящему непонятны. Это относится и к сокращению его имени, «J.» («Jerome»): Джерома будут звать «Джей», полагая, что таково его настоящее имя — «Jay» (балабол, деревенщина, простак).

Стр. 17. Джордж ходит спать в банк с десяти до четырех каждый день, кроме субботы, когда его будят и выставляют за дверь в два. В Англии времена Джерома суббота называлась «полувыходным». Фабрики, конторы и банки закрывались в 1 или 2 часа; магазины в субботу, наоборот, работали (и работают в наше время) дольше обычного.

Стр. 18. Он наелся сырого лука или перелил вустера на отбивную. Вустер («Worcester», разг. от «Worcester sauce» или, что более правильно, «Worcestershire sauce») — пряный соус, который до сих пор производится фирмой «Lea & Perrins» (в 2006 фирму приобрела американская компания «H. J. Heinz»).

Стр. 25. Чтобы слушать Эолову музыку, которую ветер Всевышнего извлекает из струн людских душ вокруг. Эол — в античной мифологии бог ветров на плавучем острове Эолия, родине туч и туманов; родоначальник эолийцев. В огромной пещере Эол держал закованные в цепи «междоусобные ветры и громоподобные бури».

Стр. 31. Если я дам соверен... Что сыр обошелся ему в восемь шиллингов и шесть пенсов за фунт. Соверен — английская золотая монета; с 1816 приравнен к фунту стерлингов. По покупательной способности соверен в 1889 равнялся 90,7 фунтам стерлингов в 2012; 8 шиллингов 6 пенсов — 38,55 фунтам стерлингов (см. указатель на стр. 215).

Стр. 40. С одного конца у него «с. ш.», с другого — «в. д.» (только причем здесь «в. д.»). Смешной фрагмент, основанный на совпадении маркировки барометра и названия населенного пункта. На барометре указано «Ely» («в. д.; восточной долготы»), в то время как на юго-востоке Англии существует городок с таким

названием. Вдобавок Англия находится в двух полушариях, поэтому Джером также иронизирует: причем здесь восточная долгота, когда Оксфорд, где в гостинице висит барометр, находится в западном.

Стр. 41. *Что когда на Грейт-Корам-стрит случилось убийство.* Убийство некой Гарриет Басвелл в 1872 (за семь лет до выхода книги), оставшееся нераскрытым. Получило большой общественный резонанс; долго обсуждалось в прессе.

Стр. 42. *Они отправляются на розыски Стэнли.* Стэнли, Генри-Мортон (1841—1904) — знаменитый путешественник, газетный корреспондент. В 1871 по поручению издателя нью-йоркской газеты «Нью-Йорк Джеральд» отправился в Центральную Африку разыскивать английского исследователя и путешественника доктора Ливингстона. Аллюзия на соревнования в географических открытиях между англичанами и американцами середины — конца XIX в.

Стр. 44. *Когда саксонские «кённинги» короновались там.* Буквальное значение «Кёнингстун» на староанглийском — «королевская усадьба». Здесь короновались как минимум семь саксонских королей, от Эдуарда Старшего до Этельреда Неразумного. Каменный блок, у которого происходили коронации, сохранился и находится у ратуши г. Кингстон-эпон-Темз.

Стр. 44. *Цезарь, как в поздние времена Елизавета.* Елизавета I (1533—1603) — королева Англии, Франции (формально) и Ирландии с 1558. Известна также как «королева-девственница» (так как «из государственных соображений» не была замужем), имела прозвище Добрая Бесс. Здесь и далее Джером высмеивает слабость англичан к «историческим местам» и «историческим преданиям»; когда во второй половине XIX в. в Англии начал развиваться туризм, чуть ли не каждая придорожная гостиница и трактир рекламировались их хозяевами как место, где останавливалось какое-нибудь историческое лицо.

Стр. 45. *Как, должно быть, ненавидел Кёнингстун простоватый бедняга король Эдви...* Чтобы украсить тихий час при свете луны с милой своей Эльгивой... Затем эти скоты — Одо и Сен-Дунстан. Джером имеет в виду известный исторический эпизод, когда король Эдви Справедливый (941—959; король с 955) завязал вражду с Дунстаном, архиепископом Кентерберийским (909—988; архиепископ с 960). В день коронации король Эдви не явился на встречу дворян. Разыскав юного короля, Дунстан обнаружил его в интимном обществе Этельгивы, девушки знатного рода. Когда Эдви отказался идти с Дунстаном на встречу, архиепископ пришел в бешенство, поволок короля силой и потребовал, чтобы тот отказался от «этой шлюхи». Затем, осознав, что рассердил короля не на шутку, поспешил укрыться в своем монастыре. Однако Эдви, подстрекаемый Этельгивой, ворвался в монастырь и разграбил его. Хотя Дунстану удалось бежать, он не возращался в Англию до самой смерти короля 1 октября 959. Вместе с Дунстаном фигурирует Одо Суровый (ум. 958; архиепископ Кентерберийский с 941), который собственно короновал короля Эдви в начале 956.

Стр. 45. *Когда Хэмптон-Корт стал дворцом Тюдоров и Стюартов.* Хэмптон-Корт — королевская резиденция с 1505 по 1760. В 1505 лорд-гофмейстер Генриха VII Джайлс Добени арендовал здание в качестве дворца для приемов; в 1760 Георг III, прийдя к власти, перенес резиденцию в Лондон.

Стр. 46. *Мы звали его Санфорд-и-Мертон.* «Sanford and Merton» — детская книга (авт. Томас Дэй, 1748—1789); вышла в трех томах с 1783 по 1789. Санфорд

и Мертон — имена главных героев: испорченный «плохиш», сын богача Мертон и правильный умница, сын бедного фермера Сэнфорд. Книга считалась «одной из самых мятежно-смешных книг восемнадцатого столетия». В наши дни книга в Англии неизвестна.

Стр. 47. *А мы лишь некие злаки, которых косят, кладут в печь и пекут.* Ср. Матф. 6, 30 и Лук. 12, 28: «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры».

Стр. 48. *Старинный голубой фарфор.* Заводской фарфор XVIII в. с изображениями различных предметов обихода, цветов и орнаментом в голубых и синих тонах.

Стр. 54. *Не в счет негры из Маргейта.* Маргейт — морской курорт на южном побережье Англии, в графстве Кент. Во времена Джерома пользовался большой популярностью. В Маргейте в большом количестве гастролировали чернокожие музыканты. Многие белые подражали заезжим черным труппам, в большей степени пародируя их; таких подражателей называли «nigger minstrels» («черномазые менестрели»); их имеет в виду Гаррис.

Стр. 58. *Но Окно-то поминовения вы посмотрите.* Во многих церквях в Англии устроены витражи, на которых изображаются сцены подвигов Христа и святых; иногда такие Окна устраиваются в честь или в память благотворителей прихода.

Стр. 62, 63. *Блестящее выполненное нервным аккомпаниатором вступление к песенке судьи из «Суда присяжных»...* В этот момент Гаррис начинает петь и мгновенно выпаливают две строчки куплетов адмирала из «Слюнявчика». Речь идет о популярных во время Джерома мюзиклах «Суд присяжных» («Trial By Jury», 1875) и «Слюнявчик, или на службе Ее Величества» («H. M. S. Pinafore», 1878), в частности о главных музыкальных номерах — «Песенке судьи» («The Judge's Song») и «Когда я был мальчишкой» («When I Was a Lad»). Мюзиклы были написаны либреттистом Уильямом Гилбертом (1836—1911) и композитором Артуром Салливаном (1842—1900). В первом речь идет о теперь забытой судебной практике, когда на человека могли подать в суд, если он изымал брачное предложение. Во втором — о дочери английского капитана, которая отвергает ухаживания военно-морского министра, потому что любит простого моряка. Оба номера — комические арии со сходным размером. Джером иронизирует не столько над тупостью Гарриса, сколько над готовностью публики потреблять «жвачку» — авторы, раз найдя верный прием, эксплуатируют его бесконечно, выдавая публике одно и то же. Строки «Песенки судьи» из «Суда присяжных»:

When I, good friends, was called to the Bar,
I'd an appetite fresh and hearty...

Гаррис путает со строками песенки адмирала из «Слюнявчика»:

When I was young I served a term
As office-boy to an attorney's firm...

и, таким образом, исполняет следующее:

When I was young and called to the Bar...

Стр. 64. *Мы исполняли morceaux старинных немецких мастеров.* Morceau

(фр.) — короткое музыкальное или литературное произведение или фрагмент из него. Употребив французское слово в сноске с немецкими мастерами, Джером дополнительно иронизирует над «гламурностью» описываемой компании.

Стр. 68. *Не тот Брэдшоу, который составил путеводитель, а тот судья, который отправил на плаху короля Карла.* Речь идет о следующих Брэдшоу: о Джордже Брэдшоу (1801—1853), английском картографе и издателе первых железнодорожных расписаний в Англии; о Джоне Брэдшоу (1602—1659), участнике Английской буржуазной революции XVII в., председателе Высокого суда правосудия, в январе 1649 приговорившего Карла I к смерти (см. прим. к стр. 136). По фамилии первого получили название железнодорожные расписания, выпускавшиеся предприятием Брэдшоу. Первое расписание, «Bradshaw's Railway Time-Tables», вышло в 1839, а с 1841 расписания «Bradshaw's Monthly Railway Guide» стали выпускаться ежемесячно и стали такой же привычной вещью, как, например, газета «Таймс».

Стр. 68. *В церкви Уолтона показывают железную «узду для сварливых женщин».* Речь идет об «узде ведьм» («scold's bridle») — кляпсе, который использовался в качестве наказания за сквернословие. Представлял собой своего рода намордник, изготовленный из железных скоб так, чтобы рот можно было заткнуть железной затычкой.

Стр. 68. *Произошло сражение между Цезарем и Кассивелауном.* Кассивелаун — один из вождей древних бриттов, сражавшийся против Юлия Цезаря в 54 до н. э. Во время нашествия римлян преградил путь Цезарю, укрепив северный берег Темзы валом и частоколом. Невзирая на укрепления, римским легионам удалось форсировать Темзу, при этом Кассивелаун потерпел поражение.

Стр. 68. *Цезарь — как раз такой человек, какой нам на реке в наши дни очень нужен.* Во второй половине XIX в. английская общественность боролась против законов, запрещавших проезд по частной территории или временное пребывание на ней без разрешения ее владельца. Почти все территории по берегам Темзы принадлежали частным владельцам, и английским судам нередко приходилось разбирать дела «о нарушении границ частного землевладения». В связи с развитием туризма количество таких дел постоянно увеличивалось.

Стр. 70. *Которые не воображают из себя «кроше».* Кроше — вязаные крючком изделия из кроше, крепких крашеных ниток.

Стр. 77. *Чем, скажем, голос Орфея, или кифара Аполлона.* Орфей — по представлениям греков, величайший певец и музыкант; сын музы Каллиопы и бога Аполлона. Аполлон дал Орфею лиру, с помощью которой тот мог приручать диких зверей и двигать скалы и деревья — настолько чарующей была его музыка. Аполлон — один из важнейших греческих богов, покровитель искусств.

Стр. 77. *В ней содержалась компания провинциальных Appri-i-Appriet.* То есть Гарри-и-Гарриет, «мальчиков и девочек» из восточного Лондона, пресловутого диалектом кокни. Кокни — тип просторечия, на котором говорят представители низших социальных слоев населения Лондона (в кокни начальный придыхательный «h» опускается, что с точки зрения «пристайно образованного англичанина» является вульгарным и недопустимым). Отсюда шутка Джерома — в сноске «провинциальных».

Стр. 77. *И мы запели «Хор солдат» из «Фауста».* «Фауст» — опера Шарля Франсуа Гуно (1818—1893); написана по одноименной трагедии Гете в 1859.

Стр. 86. Да охранят нас ангелы господни. У. Шекспир, «Гамлет» I 4.

Стр. 91. Что столетия, отделившие нас от того достопамятного июньского утра 1215-го. Здесь и далее речь идет о Великой хартии вольностей и о событиях, связанных с ее подписанием 15 июня 1215 у г. Раннимид. К подписанию Хартии привели разногласия о правах короля между Папой Иннокентием III (1161–1216; Папа с 1198), королем Джоном (Иоанн Безземельный, 1166–1216; король Англии с 1199) и баронами короля. С 1205 по 1213 король и Папа не могли договориться о том, кто будет архиепископом Кентерберийским. С баронами король находился в ссоре с 1211, когда подавил Уэльский мятеж. 27 июля 1214 Джон в составе англо-фламандско-немецкой коалиции проиграл битву у Бувине, и Англия была вынуждена заключить мир с Францией на неблагоприятных условиях. Противостояние в битве сплотило баронов, и они вынудили Джона подписать Хартию, в числе прочего дававшую возможность влиять на политику государства «в обход» короля. Например, параграф 61 Хартии устанавливал комитет 25 баронов, который в любое время мог отменить авторитет короля и захватить его собственность. При этом король должен был принести комитету клятву верности; подобное было нормальной феодальной практикой вассалов в отношении своего сюзерена, но не в отношении собственно короля. Летом 1215, после отбытия баронов из Лондона, король Джон (с санкции Папы, своего сюзерена) объявил о том, что считает Хартию недействительной, так как подписал ее «под принуждением». Это привело к гражданской войне (Первой войне с баронами, 1215–1217) и спровоцировало французское вторжение под предводительством принца Люи VIII Лионаского (1187–1226; король Франции с 1223), которого большинство баронов желало видеть королем вместо Джона. Хартия явилась первым документом в цепи тех, которые впоследствии привели к современному конституционному праву в англоязычном мире.

Стр. 91. Молодые английские юноши. Юноши — в феодальной Англии свободные крестьяне, имевшие собственную землю.

Стр. 91. Чудным говором иноземцев, вооруженных пиками. Французских наемников короля Джона.

Стр. 93. Был бы здесь Ричард. Ричард I Львиное Сердце (1157–1199) — король Англии с 1199, старший брат Джона. С большей частью английской армии участвовал в Третьем крестовом походе. Покидая Англию, оставил Джона своим наместником; пользуясь отсутствием Ричарда и его армии, бароны подняли восстание против Джона.

Стр. 94, 95. Генрих VIII назначал свидания Анне Болейн... Когда этот ветреный мальчишка Генрих Восьмой ухаживал за своей крошкой Анной. Генрих VIII (1491–1547) — король Англии и Ирландии с 1509; известен тем, что был женат шесть раз. Анна Болейн, маркиза Пембрук (1501–1536) — вторая жена Генриха VIII; мать принцессы Елизаветы, будущей королевы Елизаветы I (1533–1603; королева с 1558). Вторая беременность окончилась преждевременно, и раздосадованный Генрих, которому был нужен легитимный наследник мужского пола, обвинил супругу в колдовстве, кровосмешении, прелюбодеянии, государственной измене, обезглавил 19 мая 1536 и женился на Джейн Сеймур (1508–1537), придворной даме из свиты Анны Болейн.

Стр. 95. Излагаете свою точку зрения на ирландский вопрос. Ирландский вопрос — общеупотребительная в Великобритании сноска на круг вопросов, свя-

занных с ирландским национализмом; термин восходит к началу XIX в. Ирландские националисты сражались за независимость со временем Теобальда Булф Тона (1763—1798), который считается «отцом» ирландских республиканцев. Наибольшее напряжение в этой борьбе пришлось на Ирландскую гражданскую войну 1921, в результате которой республиканцам удалось образовать независимое государство, вначале известное как Свободное Ирландское государство, с 1937 — как собственно Ирландия (в отличие от Северной Ирландии, которая по-прежнему остается частью Соединенного Королевства).

Стр. 96. *Здесь у Эдуарда Исповедника был дворец.* Эдуард III Исповедник (1003—1066; король Англии с 1042) — предпоследний англосаксонский король, последний представитель династии Уэссексов. Правление было отмечено ослаблением власти короля, усилившимся властью лордов, дезинтеграцией англосаксонского общества и ослаблением обороноспособности государства.

Стр. 96. *И здесь же могущественный граф Годвин был, по законам своего времени, осужден и признан виновным в убийстве королевского брата.* Годвин, граф Уэссекский (1001—1053; граф Уэссекский с 1019) — наиболее могущественный англосаксонский аристократ XI в., отец последнего англосаксонского короля Гарольда II Годвинсона Английского (1022—1066; король с 5 января 1066; погиб в битве при Гастингсе 14 октября 1066). История, которую приводит Джером (возможно, не собственно в таком виде), имела место в Уинчестере 15 апреля 1053. Смерть Альфреда Этельинга, брата короля Эдуарда III Исповедника, случилась в 1036—1037.

Стр. 96. *Накануне августовских каникул.* В первый понедельник августа государственные служащие Англии получают дополнительный выходной. Под августовскими каникулами подразумеваются первое воскресенье и понедельник августа; лондонцы обычно проводят эти дни за городом.

Стр. 100. *Где ему дали «Басса», то устроил просто ужасный скандал — из-за того, что с него спросили пять франков за бутылку.* «Bass» — торговая марка английского светлого пива, с 1777 выпускавшегося компанией «Bass & Co» из г. Бертон-эпон-Трент. «Bass» варила на воде, которая добывалась из местных скважин и обеспечивала особенные вкусовые качества. Ко времени Джерома «Bass & Co» экспортировала «Bass» во многие страны. В наши дни «Bass» — одна из популярнейших марок пива; производится компанией «Six Continents PLC» (в разные времена называлась также «Bass, Mitchells and Butlers», «Bass Charrington», «Bass PLC»). Джером иронизирует над «твердолобым английским консерватизмом» — англичанин возмущается тому, что пиво, которое он покупает дома за привычную сумму, за границей далеко в горах почему-то оказывается дороже.

Стр. 101. *У всякого герцога из «Лондонского журнала» обязательно найдется в Мэйденхеде «местечко».* «Лондонский журнал». Еженедельные материалы по литературе, науке и искусству, выходил с 1845 по 1906. Несмотря на впечатляющий заголовок, представляя «солянку» из светской хроники, мелодраматической беллетристики, кулинарных рецептов, советов по этикету и т. п. Интересно, что, несмотря на свою иронию, Джером вследствии сам приобрел дом в Мэйденхеде.

Стр. 101. *На котором люди появляются чтобы нести мучения, так же, как искры — чтобы возноситься ввысь.* Иов V 7.

Стр. 104. *Когда замок Марло был владением саксонца Эльгара, еще до того,*

как его захапал Вильгельм и подарил королеве Матильде. До Норманнского завоевания 1066 манор Марло принадлежал англосаксонскому аристократу графу Эльгару. В 1086 Вильгельм Завоеватель конфисковал его и пожаловал королеве Матильде. Вильгельм Завоеватель (Вильгельм Норманий, Вильгельм Ублюдок, Вильгельм I Английский; 1027–1087) — герцог Нормандии с 1035 по 1087, король Англии с 1066 по 1087. Завоевал Англию, выиграв битву при Гастингсе в 1066 и подавив последующие восстания англосаксонских аристократов серии военно-дипломатических мероприятий, впоследствии получивших название «Норманнское завоевание». Королева Матильда (графиня Мод, вторая графиня Хантингдона, 1074–1130) — последняя из числа англосаксонских аристократов, которые не потеряли силу и влияние после Норманнского завоевания 1066.

Стр. 104. *Как оно перешло сперва к графам Уорвикам.* В 1439 манор Марло перешел к Изабелле, вдове Ричарда Бошо, графа Уорвикского; в этом же году Изабелла умерла, и Марло перешел к ее сыну и наследнику Генри, графу и впоследствии герцогу Уорвикскому. Графы Уорвикские — один из старейших английских титулов. Средневековое графское достоинство наследовалось по женской линии; таким образом, этим титулом могли обладать разные дома. Существует четыре так называемых «достоинства графов Уорвикских»: 1-е с 1088 по 1499 (в которое входил самый первый граф Уорвикский, Генри де Бомон, 1048–1123); 2-е — с 1547 по 1589; 3-е — с 1618 по 1759; 4-е — с 1759 по сегодняшний день (в которое входит последний граф Уорвикский, Гай Дэвид Гривилл, род. 1957).

Стр. 104. *Искушенному в житейских делах лорду Пэджету, советнику четырех монархов подряд.* В 1554 манор Марло был пожалован Уильяму Пэджету. Сэр Уильям Пэджет (lord Пэджет де Бодесер, 1-й барон Пэджет де Бодесер, 1506–1563) — советник Генриха VIII. Сделал блестящую карьеру: в 1539 назначен секретарем Анны Клевской, четвертой жены Генриха VIII; в 1543 принят в тайный совет и назначен государственным секретарем; в 1547 назначен гофмейстером двора; в 1553 в числе 26 пэров утвердил передачу короны в пользу Джейн Грей, оппонента будущей королевы Марии I, с которой впоследствии примирился; в 1556 назначен лордом-хранителем печати; благополучно удалился на покой в 1558. Генрих VIII (1491–1547) — см. прим. к стр. 94, 95. Анна Клевская (1515–1557) — четвертая жена Генриха VIII. После развода с королем в 1540 была вынуждена покинуть двор и жить в уединении до восшествия на престол Марии I в 1553, когда была приближена ко двору снова и остаток жизни провела занимая при дворе почетное место. Джейн Грей (1537–1554) — правнучка Генриха VII, известная как «девятидневная королева»; правила Англией без официального утверждения с 10 по 19 июля 1553 после смерти Эдуарда VI (1537–1553). Мария I Тюдор (1516–1558) — королева Англии и королева Ирландии с 1553; известна жестокой политикой обращения Англии от протестантизма к католицизму, за что получила прозвище Кровавая Мэри.

Стр. 104. *Каменные стены которого звенели кликами тамплиеров и в котором когда-то нашла приют Анна Клевская, а еще когда-то — королева Елизавета.* Анне Клевской Бишемское аббатство подарил Генрих VIII, в составе «откупных», где она должна была поселиться после развода. В Бишемском аббатстве несколько лет провела Елизавета I, в заточении во время правления Кровавой Мэри. Елизавета I (1533–1603; королева Англии, Франции (формально) и Ирландии с 1558) — известна также как «королева-девственница» (так как «из государ-

ственных соображений» не была замужем) и Добрая Бесс. Ее сорокачетырехлетнее правление было отмечено увеличением власти и могущества Англии по всему миру, также как религиозными беспорядками по всей Англии, и называется «елизаветинской эрой» или «золотой порой Елизаветы». Тамплиеры (или храмовники) — члены церковно-рыцарского ордена, основанного в 1119.

Стр. 104. *Призрак леди Холи, которая заколотила своего маленького сына насмерть*. У Джерома именно «Холи», хотя речь идет о леди Хоби (Элизабет Кук, 1528—1609), представительнице семьи Хоби, владевшей Бишемским аббатством с начала XVI в. Леди Хоби была подругой королевы Елизаветы I. Гордая и амбициозная, считалась одной из самых образованных дам своего времени. Прилагала максимум усилий к тому, чтобы ее дети получили такое же строгое воспитание, какое получила она сама и ее муж Томас. За образованием детей следила лично, греческий и латинский преподавала сама. Ее сын Уильям, который был самым неуспевающим среди родных братьев и сестер (мальчик, возможно, страдал опухолью мозга), однажды привел ее в такое бешенство, что она накинулась на него с линейкой, разбила голову в кровь, привязала к стулу и заперла в комнате, пообещав отпустить только после того, как он выучит задание. Затем выбежала из дома, вскочила на коня и помчалась в лес, чтобы успокоиться. В лесу ее перехватил посыльный от королевы с приказанием срочно явиться. Она уехала в Виндзор, и так получилось, что вернулась обратно только через несколько дней. Она думала, что за Уильямом приходили и выпустили его, в то время как в доме считали, что мальчик уехал с ней, и никто не думал его искать. Остаток дней леди Хоби провела в раскаянии и несчастье; вскоре после смерти ее призрак стал часто появляться в аббатстве.

Стр. 104. *Здесь покоится Уорвик, «делатель королей»*. Ричард Невилл, граф Уорвикский, Уорвик Делатель Королей (1428—1471) — сын 5-го графа Солсбери; стал графом Уорвикским женившись на леди Анне де Бошо в 1449. Долгие годы — самый известный английский политический деятель после смерти Генриха V (1387—1422; король Англии с 1413). Титул графа Уорвикского принес ему большие владения по всей стране, сделав самым богатым человеком в Англии после членов королевской семьи и, соответственно, одним из самых могущественных людей государства. Был ведущей фигурой в войне Алой и Белой розы; благодаря его военным и политическим мероприятиям в 1461 был свергнут ланкастерианец Генрих VI (1421—1471; король Англии в 1422—1461 и 1470—1471, король Франции в 1422—1453), и на престол взошел йоркист Эдуард IV (1422—1483; король Англии с 1461), а в 1470 вернул себе трон опять же Генрих VI. Считалось, что пока короли сменяли друг друга, реальным правителем государства был граф Уорвик.

Стр. 104. *А также Солсбери, послуживший как следует в битве при Пуатье*. Уильям Монтею, 2-й граф Солсбери (1328—1397) — английский дворянин, командующий войсками во время французских кампаний короля Эдуарда III (1312—1377); в битве при Пуатье командовал замыкающими частями английских войск. Битва при Пуатье (19 сентября 1356) — вторая из трех главных побед, одержанных англичанами над французами в Столетней войне 1337—1453.

Стр. 105. *Шелли, который жил в Марло... сочинил «Восстание ислама»*. Перси Биши Шелли (1792—1822) — английский поэт, представитель романтизма. Считается одним из лучших англоязычных лириков, хотя главные работы носят во многом утопический характер. Например, в «Восстании ислама» (1817) речь

идет о «бескровном» восстании, поднятом двумя героями против султана Отоманской империи. Джером иронизирует над подобной утопичностью Шелли (и во многом романтизма как явления), упоминая бишемские буки, под которыми тот катался, сочиняя «Восстание...».

Стр. 105. *Со времен короля Сэберта и короля Оффы.* Сэберт (ум. 616) — король Эссекса в 604—616. Оффа (ум. 796) — король Мерсии в 757—796; считается самым удачливым и могущественным среди англосаксонских королей до возвышения Уэссекса в IX в.

Стр. 105. *Где когда-то во время похода на Глостершир разбили лагерь наступающие датчане.* Селение Харли, о котором упоминает Джером, находится в графстве Беркшир, одном из старейших графств Великобритании (известно с 860), история которого богата военными событиями. В данном случае речь идет о периоде антидатской кампании, предпринятой Альфредом Великим (849—899; король Уэссекса в 871—899). Здесь датчанам не удалось дойти до Глостершира, так как Альфред разбил их в битве у Рэдинга, нынешней столицы Беркшира, 4 января 871 (см. прим. к стр. 135).

Стр. 105. *Или «Орден Геенны огненной», как их называли обычно и членом которого был пресловутый Уилкс.* «Орден Геенны огненной» — известный английский клуб, проводивший нерегулярные собрания с 1746 по 1763. Основателем «ордена» был сэр Фрэнсис Дэшвуд (15-й барон Деспенсер, 1708—1781), министр финансов, имевший скандальную репутацию (в частности, считался служителем дьявола). По общему мнению, в Медменхэмском аббатстве «орден» устраивал оргиастические и сатанинские соборища, для чего в 1755 сэр Фрэнсис приобрел руины аббатства. Членами «ордена» в свое время являлись такие знаменитости, как Роберт Ванситарт (1728—1789; известный юрист), Уильям Хогарт (1697—1764; один из главных английских художников), Джон Уилкс (1727—1797; радикал, политик и журналист; оппозиционер короля Георга III), Джон Монтегю, 4-й граф Сэндвич (1718—1792; член тайного совета, член Королевского научного общества, первый лорд Адмиралтейства, государственный секретарь, министр почт). Даже Бенджамин Франклайн (1706—1790; американский научный, общественный, политический деятель), хотя не был формально членом «ордена», охотно присутствовал на многих мероприятиях.

Стр. 105. *Монахи-цистерцианцы, аббатство которых стояло здесь в тринацатом веке.* Цистерцианцы — средневековый орден монахов-аскетов; основан в 1098. Медменхэмское аббатство было построено цистерцианцами в начале XIII в.

Стр. 106. *Несколько существует в формате Лоутер-Аркейд.* Лоутер-Аркейд — во времена Джерома павильон игрушек, сувениров, декоративной бижутерии и т. п. в Лондоне, на Стрэнде, напротив железнодорожного вокзала Чаринг-Кросс.

Стр. 107. *Вопль, какой, вероятно, издал Кромвель, когда шотландцы стали спускаться с холма.* Речь идет о битве у Данбара 3 сентября 1650, когда английская армия одержала победу над шотландской армией Дэвида Лесли, что дало англичанам возможность завоевать Шотландию. Джером имеет в виду момент битвы, когда зажатые между холмами и атакующими англичанами шотландские кавалеристы были вынуждены отступать прямо в гущу английской пехоты, что довершило разгром шотландской армии. Сражение при Данбаре считается са-

мой выдающейся победой Кромвеля за всю историю его многочисленных военных кампаний. Оливер Кромвель (1599–1658) — вождь Английской революции, военачальник и государственный деятель, лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии в 1653–1658. Дэвид Лесли (1600–1682) — шотландский полководец, ковенантер, активный участник гражданской войны в Шотландии 1644–1646.

Стр. 109. *Дело было как раз за неделю до Хенли.* Королевская регата Хенли — ежегодная гоночная регата на Темзе у г. Хенли-он-Темз. Проводится с 1839; длится пять дней, со среды до воскресенья в первую неделю июля; длина дистанции — 1 мили 550 ярдов (2112 м); главный приз — «Grand Challenge Cup» среди гоночных восьмерок у мужчин.

Стр. 111. «*Кьюбиты*, или же они из общества трезвости «Бермондси».

Бермондси — район в восточном, «рабочем» Лондоне. В конце XIX — начале XX вв. английское общество было озабочено ростом алкоголизма, и во многих районах создавались общества трезвости. «Кьюбиты» — неизвестная фирма или контора.

Стр. 114. «*Кто избегнет клеветы?*» «*Будь ты целомудренна как лед, чиста как снег, ты не избегнешь клеветы*» (У. Шекспир, «Гамлет» III 1).

Стр. 115. Одну сторону которой расписал член Королевской академии Лесли, другую — Ходжсон, из той же братии. Чарльз Роберт Лесли (1794–1859) — английский жанровый художник, член Королевской академии художеств с 1826. Джон Эван Ходжсон (1831–1895) — английский художник-историст и пейзажист.

Стр. 115. Георгий, закончив работу, отдыхает за пинтой пива. Св. Георгий считается патроном (небесным покровителем) Великобритании.

Стр. 115. В Уоргрейве жил Дэй, автор «Сэнфорда и Мертона». См. прим. к стр. 46.

Стр. 116. В шиплейской церкви венчался Теннисон. Альфред Теннисон, первый барон Теннисон (1809–1892) — один из самых известных и популярных английских поэтов, поэт-лауреат (придворный поэт, утвержденный монархом и традиционно обязанный откликаться памятными стихами на события в жизни королевской семьи и государства).

Стр. 116. «*Арри*» и «*lord Fitznudl*» остались позади в Хенли. «Арри» и «*lord Fitznudl*» — нарицательные имена для кокни и аристократического сноуба. Прозвище «Fitznoodle» состоит из старинной аристократической приставки «Fitz» и слова «noodle» (балда, дурень, олух).

Стр. 120. Это была, по его словам, мелодия «*To Кэмбеллы идут, ура!*» — хотя отец уверял, что это «*Колокольчики Шотландии*». «*To Кэмбеллы идут, ура!*» — шотландская народная песня XVII в., когда графы Аргайлы из клана Кэмбеллов сражались с англичанами. Кэмбеллы — один из самых больших и могущественных кланов Шотландии, настолько древний, что проследить его происхождение не удается. «*Колокольчики Шотландии*» — шотландская народная песня; известна миру благодаря американскому тромбонисту Артуру Прайору (1870–1942), который аранжировал ее для тромбона в 1899, через 10 лет после публикации первого издания «*Троих в лодке*».

Стр. 122. Как жутко детям в лесу, когда они потеряются. Речь идет о старинной английской балладе, в которой рассказывается о судьбе двух маленьких сирот, брата и сестры, оставленных в темном лесу по воле злого родственника и погибших от голода.

Стр. 122. От которого пробудились бы Семеро спящих. Джером упоминает легенду о семи молодых христианах (предположительно из г. Эфес в Ионии), которые, скрываясь от преследований римского императора Деция, спрятались в пещере, заснули и проснулись через 200 лет. Деций давал Семерым возможность отречься от веры, но они отказались, удалились в горы, спрятались в пещере и уснули. Император, убедившись, что обратить их к язычеству не удается, приказал замуровать пещеру. Некий землевладелец времен Феодосия I в поисках помещения для скота размуровал пещеру и обнаружил в ней Семерых; они проснулись и думали, что проспали обычную ночь. Один из них вернулся в Эфес, удивляясь крестам на зданиях, в то время как люди, с которыми он общался, удивлялись старым монетам времен Деция. Тогда был позван священник; Семеро поведали ему свою историю и вскоре умерли. Католическая церковь отмечала День Семерых Спящих (27 июля) до 1969 (день Максимиана, Малка, Мартиниана, Дионисия, Иоанна, Серапиона и Константина); Православной церковью день отмечается 22 октября. Деций (Гай Мессий Квинт Траян Деций, 201—151) — римский император с 249; известен как превосходный военный и администратор, считался одним из «лучших императоров Рима». Феодосий I (347—395) — римский император с 379; известен тем, что возвел христианство в ранг официальной государственной религии, и тем, что после его правления Римская империя окончательно распалась на Западную и Восточную.

Стр. 127. Я немало походил на плотах по затопленным кирпичным карьерам. Кирпичные заводы во время Джерома строились непосредственно у источников сырья; выработанные карьеры заполнялись водой.

Стр. 128. Пару раз катался на лодке по Серпентайну и уверял, что кататься на лодке ужасно весело. Серпентайн — искусственное декоративное озеро в Гайд-парке, известном парке Лондона.

Стр. 135. Он стоит здесь еще со смутных времен короля Этельреда... Этельред при этом молился, а Альфред сражался. Очевидно, Джером ошибается. Если речь идет о битве у Рэдинга (4 января 871), то англосаксы (Этельред и его младший брат Альфред) битву датчанам проиграли, потеряв много людей; при этом войском командовал Этельред. Джером, скорее всего, имеет в виду битву у Эшдауна, четыре дня спустя (8 января 871). Победа в ней также оказалась пирровой, так как англосаксы снова потеряли много людей, а датчанам это поражение не помешало продолжить победы на острове и 23 апреля того же года убить Этельреда в битве у Мертона. Этельред (837—871) — король Кента и Уэссекса с 865; активно боролся с датскими захватчиками. Альфред (Альфред Великий, 849—899) — король Уэссекса с 871, единственный из англосаксонских и английских королей, удостоенный эпитета «Великий».

Стр. 135. Как только в Вестминстере появлялась чума. Вестминстер — исторический район в Лондоне, часть административного округа Вестминстер. В Вестминстере расположен Вестминстерский дворец, в котором заседает парламент Великобритании.

Стр. 135. В 1625-м туда же устремился закон, и все процессы велись тоже в Рэдинге. Здесь и далее у Джерома ряд исторических неточностей; так, например, в 1625 парламент собрался не в Рэдинге, а в Оксфорде.

Стр. 135. Во время борьбы парламента с королем Рэдинг был осажден графом Эссексом. Противостояние английского парламента (большинство в котором

составляла буржуазно-дворянская оппозиция) с королевской властью началось при Якове I и особенно острый характер приобрело при Карле I. В 1642 между армией парламента и армией короля началась война (английские гражданские войны 1642—1651). Граф Эссекс был назначен командующим армией парламента; после захвата монархистами Рэдинга в октябре 1642 он осадил город и в феврале 1643 освободил его. Принц Бильгельм Оранский (1650—1702) — штатгальтер Нидерландов с 1689. Роберт Деверо, третий граф Эссекский (1591—1646) — участник парламентской фракции, командир парламентских войск начала английских гражданских войн; проиграл вторую битву у Лоствителя в 1644.

Стр. 135. *А четверть века спустя принц Оранский разбил там войско короля Джеймса.* Джером опять ошибается. Битва, о которой он упоминает, произошла во время «славной революции» в 1688, т. е. через 45 лет. Битва закончилась победой сторонников принца Вильгельма Оранского, после чего король Яков II Стюарт (1633—1701; король Англии и Шотландии с 1665 по 1688) бежал во Францию, а престол занял датский принц-протестант, ставший таким образом королем Вильгельмом III Оранским (1650—1702; король Англии и Шотландии с 1689).

Стр. 135. *В Рэдинге покоятся Генрих Первый.* Генрих I Боклерк (1068—1135) — младший сын Вильгельма I Завоевателя (см. прим. к стр. 104).

Стр. 135. *В том же аббатстве достославный Джон Гонт сочетался браком с леди Бланши.* Джон Гонтский, первый герцог Ланкастерский (1340—1399) — сын короля Эдуарда III (1312—1377; король Англии с 1327). Был очень богат и тем самым оказывал большое влияние на корону, в частности на своего племянника Ричарда II (1367—1400; король Англии с 1377 по 1399), будучи его регентом. Речь идет о женитьбе Джона Гонта на Бланши Ланкастерской (1345—1369), что произошло в Рэдингском аббатстве 19 мая 1359.

Стр. 136. *Где Карл Первый играл в шары.* Карл I Стюарт (1600—1649) — король Англии, Шотландии, Ирландии с 1625. Политикой абсолютизма и церковными реформами вызвал восстания в Шотландии и Ирландии и спровоцировал Английскую революцию. В ходе гражданских войн потерпел поражение, был предан суду парламента и казнен 30 января 1649 в Лондоне (см. прим. к стр. 68).

Стр. 136. *Так же здорово примелькались habitués картинных выставок.* Habitues (фр.) — завсегдатаям.

Стр. 141. *Около двух лет назад Комитет ассоциации рыбной ловли на Темзе рекомендовал внедрение этой системы.* Джером имеет в виду Объединенную ассоциацию рыбаков Лондона, известную с 1881. В 1871 два рыболовных клуба, «Good Intent A/S» и «Hoxton Bros», устроили соревнования по ловле плотвы на реке Ли; при этом они договорились с железнодорожной компанией «G. E. R. Railway company» о дешевых тарифах для своих участников. В продолжение нескольких лет участники подобных мероприятий пользовались скидками на железнодорожные билеты. Обслуживание рыбаков взяли на себя еще две компании — «The Midland» и «L. B. & Southern Coast Railway»; льготные билеты позволили рыбакам-горожанам значительно расширить «географию ловли», и эта практика привела к созданию ассоциации, члены которой пользуются различными льготами до сих пор.

Стр. 144. *И этим пользуется Оксфордский гребной клуб для своих отборочных соревнований среди восьмерок.* Гребной клуб Оксфордского университета

та. Традиционные состязания в академической гребле устраиваются в Хенли (см. прим. к стр. 109).

Стр. 146. *Город, укрепленный и обнесенный стенами, простоял до самой Парламентской войны, когда Фэйрфакс подверг его долгой и жестокой осаде.* Город, а точнее собственно Уоллингфордский замок, был одним из последних оплотов роялистов во время гражданских войн 1642—1651 Английской буржуазной революции 1640—1660. В результате этих войн был казнен Карл I (см. прим. к стр. 136), отправлен в изгнание его сын Карл II, на смену монархии пришло Английское содружество (1649—1653), затем — Протекторат (1653—1659; личное правление Оливера Кромвеля). Во время Третьей гражданской (Парламентской) войны (1649—1651) замок был укреплен и установлены тяжелые пушки. Томас Фэйрфакс, третий лорд Фэйрфакс Камеронский (1612—1671) подверг его осаде, которая длилась шестнадцать недель. Замок сдался и в 1652 был полностью разрушен по распоряжению Оливера Кромвеля.

Стр. 148. *Иффлийский шлюз с «Мельницей», в миле от Оксфорда.* Мельница у деревни Иффли была популярным местом и особенно прославилась после пожара 1908, который ее полностью уничтожил.

Стр. 153. *После ужина мы сыграли в «Наполеон».* «Наполеон» (реппу пар) — карточная игра. Играют от двух до шести человек. На столе ставится коробка, в которую складываются штрафы и суммы за сдачу карт и которая называется «клад Наполеона». Этот клад в конце концов достается выигравшему. Правила игры просты и не требуют интеллектуальных усилий.

Стр. 153. *Который служил в волонтерах и, будучи в Олдершоте.* Олдершот — город к юго-западу от Лондона; в 1854 в нем был организован военный учебный лагерь.

Стр. 154. *Он немедленно выудил свой инструмент и заиграл «Волшебные черные очи».* «Волшебные черные очи» — одна из традиционных английских салонных песен; автором считается Чарльз Кобурн (1852—1945).

Стр. 155. *В «Альгамбре» и то было бы веселее.* «Альгамбра» — мюзик-холл в Лондоне, на Лестер-сквер, снесен в 1936. Здание было построено в 1854 для Королевского паноптикума, где предполагалось проведение научных демонстраций, лекций и сеансов общественного образования. Паноптикум не оправдал коммерческих ожиданий и был упразднен; с 1858 в здании находился цирк, упраздненный по той же причине; с 1864 — собственно мюзик-холл (отсюда ирония Джерома, который замечает, что в этом месте «и то было бы веселее»). Вход для актеров находился на Касл-стрит, «за углом».

ТРОЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Стр. 150. *Заводит его внутрь и пичкает пирожными с кремом и «фрейлинками».* «Фрейлинки» (англ. maids-of-honour) — традиционные английские кексы, изготовленные из муки, масла, сахара, яиц, вишни и миндаля. Рецепт восходит к Елизаветинскому периоду (1558—1603).

Стр. 162. *Проще было отправиться на ту же неделю в лаймхаусский док.* Лаймхаус — район в восточной части Лондона, на северном берегу Темзы. Со времен позднего средневековья являлся важным портом и транспортным узлом. Здесь находились верфи, доки, канатное производство, конторы по снабжению судов продовольствием и корабельным оборудованием.

Стр. 163. «Новая медь» меня не интересовала (если будет какая-то стирка, думал я, она может и подождать). Джей понимает морской термин («copper» — медь, медный крепеж на яхте) в общедомном значении слова («copper» — медный котел, медный таз, медная посуда вообще).

Стр. 163. Когда он обходит кого-то во время гонок на приз Медуэй Челлендж. Гонок на приз Медуэй Челлендж в списке официальных регат времен Джерома не значится; неудивительно, что об этих гонках Джей ничего не знает. Медуэй — агломерация на востоке Англии, на побережье к югу от устья Темзы.

Стр. 164. Если бы мы жили во времена Дрейка и Испанских завоеваний. Сэр Фрэнсис Дрейк (ок. 1540—1596) — английский мореплаватель, корсар, вице-адмирал (1588), баронет. Первый англичанин, совершивший кругосветное путешествие (в 1577—1580). Активный участник разгрома испанского флота (Непобедимой Армады) в Гравелинском сражении 1588. Испанские завоевания — время с XVI по XVIII вв., когда Испания снаряжала многочисленные экспедиции за добычей на берега Мексиканского залива и Карибского моря.

Стр. 181. Беседуя о Тридцатилетней войне. Тридцатилетняя война (1618—1648) — первая общеевропейская война между двумя большими группировками держав: габсбургским блоком (испанские и австрийские Габсбурги и католические князья Германии), стремившимся к господству над всем «христианским миром», и противодействовавшими этому блоку национальными государствами — Англией, Голландией, Данией, Россией, Францией, Швецией.

Стр. 197. Столко же на Пурпурного императора. Пурпурный император (Purple Emperor; переливница большая; переливница иловая; радужница большая иловая) — дневная бабочка.

Стр. 199. Какой сделал бы честь самому г-ну Тервейдропу. Г-н Тервейдроп — персонаж романа Ч. Диккенса «Холодный дом». В англоязычной культуре слово «тервейдроп» («turveydrop») превратилось в имя нарицательное для обозначения образца этикета, манеры и умения держать себя.

Стр. 201. Сейчас нам был просто необходим английский эквивалент известного немецкого выражения «Behalten Sie Ihr Haar auf». Идиома «Behalten Sie Ihr Haar auf» в немецком языке не фиксируется; это прямой перевод на немецкий собственно английской идиомы «keep your hair on» — успокойся; не кипятись. Джером иронизирует над составом и стилем подобных изданий, в которых часто приводились буквальные перевода английских идиом с указанием когда, где и как их надо использовать.

Стр. 206. Которое я надевала на Глориос-Гудвуд на прошлой неделе. Глориос-Гудвуд (англ. Glorious Goodwood, Glorious Stakes) — ежегодные скачки, проводящиеся на ипподроме Гудвуд (Goodwood Racecourse) в Чичестере, графство Уэст-Сассекс, в июле-августе.

Стр. 207. Что Бен Джонсон написал «Рабле» чтобы оплатить похороны своей матушки. Бенджамин Джонсон (1572 или 1573—1637) — английский поэт и драматург, теоретик драмы. «Рабле» («Rabliais») — такой работы у Джонсона нет; редактор, возможно, путает Бена Джонсона с Сэмюэлем Джонсоном (английский поэт и драматург, критик; 1709—1784), у которого есть работа созвучным названием «Rasselas».

Стр. 207. Изучив этот предмет в Британском музее. См. прим. к стр. 9.

Стр. 210. Когда Гиббону, описывая Геллеспонт. Эдвард Гибсон (1737—

1794) — английский историк. Наиболее известен работой «История упадка и падения Римской империи» (1776—1787).

Стр. 210. *А Рейн английским студентам был знаком главным образом по «Запискам» Цезаря.* «Записки о Галльской войне» Цезаря были обязательным чтением в английских школах.

Стр. 210. *Какое не получил из сочинений Кольриджа, Саути и Вордсворта, взятых вместе.* Сэмюэл Тэйлор Кольридж (1772—1834), Роберт Саут (1774—1843), Уильям Вордсворт (1770—1850) — английские поэты-романтики конца XVIII — первой половины XIX вв., главные представители «озерной школы», названной так по месту их деятельности — озерам Камберленд и Уэстморленд в северной Англии. К «озерным поэтам» Джером относится негативно и иронизирует над их творчеством, присоединяясь к Байрону, который осуждал поэтов «озерной школы», воспевавших «прелесть безыскусственной жизни на лоне живописной природы» (см. вступление к «Дону Жуану»).

Стр. 213. *Я мог бы перевести Гебеля.* Иоганн Петер Гебель (1760—1826) — немецкий поэт, сочинитель рассказов.

Стр. 216. *В захолустьях Йоркшира или на задворках Уайтчепела окажется в подобном затруднительном положении — это так.* Графство Йоркшир известно особенным диалектом и произношением. Уайтчепел — район в северо-восточном Лондоне, в котором предпочитали селиться британские бенгальцы.

Стр. 219. *О стеклянной арфе.* Стеклянная арфа (веррилион; «ангельский орган»; «скрипка призраков») — музыкальный инструмент, состоящий из установленных вертикально винных стаканов. Изобретен в 1741 ирландцем Ричардом Покричем. Был популярен в XVIII в. На стеклянной арфе играли потирая ободки стаканов влажными или намеленными пальцами. Каждый стакан был «настроен» на определенную высоту тона; это достигалось либо объемом и материалом, из которого изготавливается стакан, либо определенным количеством воды в одинаковых стаканах.

Стр. 223. *Вместе с Карлейлем.* Томас Карлейль (1795—1881) — шотландский писатель, историк и философ. Взгляды Карлейля во многом предвосхитили воззрения Гитлера и других фашистских идеологов.

Стр. 223. *Как тощий высокомерный Фридрих прогуливался со строптивым Вольтером.* Фридрих II, или Фридрих Великий (1712—1786) — король Пруссии в 1740—1786; яркий представитель просвещенного абсолютизма и один из основоположников прусско-германской государственности. Вольтер (1694—1778) — один из крупнейших французских философов-просветителей XVIII в., поэт, прозаик, сатирик, историк, публицист, правозащитник. Дружбой с Вольтером гордились такие монархи, как Екатерина II, Густав III Шведский, Фридрих II.

Стр. 224. *Который приснится после пыльного дня в Эскоте.* Неделя королевских скачек у деревни Эскот, в графстве Беркшир — одна из ведущих и наиболее престижных скачковых программ в Англии; проводится с 11 августа 1711, основана королевой Анной. В наши дни программа скачек длится 25 дней в течение года; наиболее престижные — скачки короля Георга VI и королевы Елизаветы, проводящиеся в июле.

Стр. 225. *Напротив Бранденбургских ворот наш возница подвязал вожжи к кнуту.* Бранденбургские ворота — архитектурный памятник в центре Берлина, самый знаменитый символ города и страны; построены в 1788—1791.

Стр. 225. *Он подробно рассказал о Рейхстаге.* Рейхстаг — историческое здание в Берлине, где в 1894—1933 заседал одноименный государственный орган Германии — Рейхстаг Германской империи и Рейхстаг Веймарской республики, а с 1999 размещается Бундестаг.

Стр. 225. *Как имитация «проптерлеев» в Афинах.* Пропилеи — парадный проход или проезд на священный участок, образованный портиками и колоннадами, расположеннымными симметрично оси движения. Характерны для архитектуры Древней Греции; выдающимся памятником архитектуры являются знаменитые пропилеи, оформляющие вход на Акрополь в Афинах (437—432 до н. э.).

Стр. 227. *Прославленная Валлийская арфа.* Валлийская арфа — искусственное озеро, построенное в 1838 между лондонскими районами Брент и Барнет (во время Джерома — пригородная зона). Являлось популярным местом отдыха лондонцев до начала XX в.; рядом находился ресторан «Старая валлийская арфа», от которого озеро получило название. 2 мая 1870 рядом с озером была открыта железнодорожная станция, для удобства поездки лондонцев на однодневный отдых; просуществовала до 1 июля 1903.

Стр. 229. *Все тот же Август Сильный.* Август Сильный, тж. Фридрих Август I Саксонский и Август II Польский (1670—1733) — курфюрст Саксонии с 1694, король польский и великий князь литовский с 1697 по 1704 (1-й раз), с 1709 (2-й раз). Влияние Августа на культурное развитие Саксонии было значительно; его имя как заказчика связано со многими культурными памятниками. Август Сильный стал фактическим основателем знаменитых музеев Дрездена, таких как Галерея старых мастеров и Грюнес Гевельбе. Высокими издержками своего саксонского двора в стиле Людовика XIV оставил после себя расшатанную экономику.

Стр. 230. *Портрет Августа в полный рост висит в великолепном Цвингере.* Цвингер — одно из самых красивых мест в Дрездене; комплекс из четырех зданий. Название происходит от местоположения (в средневековье цвингером называли часть крепости между наружной и внутренней крепостными стенами); первое здание дрезденского Цвингера было построено между крепостными стенами города, в 1710—1728, по проекту Маттеуса Поппельмана, придворного архитектора Августа Сильного, который стремился получить постройку, по зрелищности не уступающую Версалю. В настоящее время в Цвингере находятся различные музеи, среди которых наиболее известна Дрезденская картинная галерея.

Стр. 235. *Я подумал о г-же Хеманс.* Фелиция Доротея Хеманс (1793—1835) — английская поэтесса. Считается наиболее женственной из всех английских женщин-поэтов; стих мягок, элегичен, грациозен; некоторые стихотворения были включены в церковные сборники и исполнялись на богослужебных собраниях.

Стр. 235. *Джентльмен держал в руке раскрытое «бедекера».* «Бедекер» — немецкий издательский дом, основанный Верлагом Карлом Бедекером в 1827; впервые начал публиковать путеводители, которые впоследствии стали называться «бедекерами» (часто этим словом как нарицательным называли путеводители других издателей). Путеводители содержали важную информацию о странах, описания зданий, музейных коллекций и т. п.; издания составлялись лучшими специалистами и регулярно обновлялись, чтобы данные не устаревали. Для удобства путешественников набирались мелким шрифтом и выходили малым форматом.

Стр. 236. *Три недели спустя после Фашодского кризиса.* Фашодский

кризис — конфликт между Великобританией и Францией в 1898, вызванный борьбой за господство в Африке. Получил название от населенного пункта Фашод (современный Кодок) на Верхнем Ниле. Стал кульминационным моментом в борьбе между Великобританией и Францией за раздел Африки; во французском обществе вызвал сильное раздражение — многие говорили о необходимости союза с Германией против Англии.

Стр. 236. *Что видел их в Берлине во время волнений из-за трансваальских событий.* Речь идет о второй Англо-бурской войне 1899—1902; войны Великобритании против бурских республик — Южно-Африканской Республики (Республики Трансвааль) и Оранжевого Свободного Государства (Оранжевой Республики). Война закончилась победой Британской империи.

Стр. 236. *Ведь можно равным образом держать на Даунинг-стрит.* Даунинг-стрит — улица в центре Лондона, на которой более 200 лет располагаются резиденции двух важнейших персон правительства Великобритании: в доме № 10 традиционно проживает Первый лорд Казначейства, обязанности которого выполняет премьер-министр, в доме № 11 — Второй лорд Казначейства, или Канцлер казначейства. Дом № 10 по Даунинг-стрит — официальная резиденция премьер-министра Великобритании; отсюда «Даунинг-стрит, 10» часто используется как метоним для обозначения офиса Премьер-министра, а «Даунинг-стрит, 11» — офиса Канцлера казначейства; собственно Даунинг-стрит — Правительства Великобритании.

Стр. 236. *Который выносил Реформацию и высидел Тридцатилетнюю войну.* Реформация — массовое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII вв., направленное на реформирование католического христианства в соответствии с Библией. Началом Реформации принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера; 31 октября 1517 он опубликовал «95 тезисов», в которых выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности против продажи индульгенций. Концом Реформации считается завершившее Тридцатилетнюю войну подписание Вестфальского мира в 1648, по итогам которого религиозный фактор перестал играть в европейской политике существенную роль. Тридцатилетняя война — см. прим. к стр. 181.

Стр. 236. *Что выбросил из окон ратуши на копья гуситов семь католиков — членов Государственного совета... выбросив на этот раз членов Императорского совета из окон старого замка в Градчанах.* Речь идет о так называемых пражских дефенестрациях. Первая пражская дефенестрация — эпизод религиозной борьбы, убийство членов городского совета толпой радикальных гуситов 30 июля 1419. Одним из положений религиозной доктрины гуситов было проведение обряда Святого Причастия двумя видами — хлебом и вином; король Чехии Вацлав IV (1361—1419; король Германии с 1376, Чехии с 1378) разрешил его проведение в трех пражских костелах, одним из которых стал храм святой Девы Марии в снегах, в котором стали собираться гуситы со всей Чехии. Несколько из них участвовали в беспорядках на улицах Праги и были посажены в тюрьму по решению городского совета. Утром 30 июля после утренней мессы на Карлову площадь к ратуше направились прихожане во главе со священником Яном Желивским с требованием освободить арестованных. Когда процессия приблизилась к зданию, в Святые Дары, находившиеся в процессии, попал брошенный

из окна ратуши камень. Разъяренная этим толпа ворвалась в ратушу; судья, бургомистр, тринадцать других членов городского совета были выброшены из окна; жертвы разбивались о мостовую и добивались толпой. Новый городской совет назначил сам Желивский, выбор которого затем был одобрен Вацлавом IV. Первая дефенестрация стала решающим фактором, спровоцировавшим гуситские войны, которые продолжались до 1436. Вторая пражская дефенестрация — центральное событие в инициировании Тридцатилетней войны в 1618. Чешская аристократия противилась тому, чтобы Фердинанд, герцог Штирии и проводник Контрреформации, стал королем Чехии. 23 мая 1618 протестантские дворяне во главе с графом Турном выбросили имперских наместников Вилема Славата, Ярослава Мартиница и их секретаря Филиппа Фабрициуса в ров из высокого крепостного окна в Градчанах («Пражском граде»). Выброшенные не погибли, поскольку приземлились в кучу навоза (католическая церковь объяясняла затем их чудесное спасение помощью ангелов в правом деле). Фабрициус бежал из Праги и 16 июня добрался до Вены, где был принят Фердинандом и первый сообщил ему о проишествии как очевидец. Эти события считаются главными в инициировании Тридцатилетней войны.

Стр. 237. С которой проповедовал Ян Гус. Ян Гус (1369—1415) — национальный герой чешского народа, проповедник, мыслитель, идеолог чешской Реформации. Был священником и некоторое время ректором Пражского университета. Высказывал мнения, отличные от официальной церковной доктрины, например: 1) нельзя взимать плату за таинства и продавать церковные должности; 2) священнику достаточно взимать небольшую плату с богачей, чтобы удовлетворить свои первейшие жизненные потребности; 3) нельзя слепо подчиняться церкви, но нужно думать самим, применяя слова из Священного Писания: «Если слепой поведет слепого, оба упадут в яму» и т. п. В 1412 антиапата Иоанн XXIII начал продажу индульгенций, так как хотел организовать поход против другого антиапата Александра V. Гус выступил как против индульгенций, так и против права иерархов христианской церкви поднимать меч; Иоанн XXIII наложил на Гуса интердикт. В 1414 Гус был вызван на Констанцкий собор (имевший целью объединить римско-католическую церковь и прекратить Великий западный раскол, который к этому времени привел к троепапству); император Сигизмунд, в свете случившегося с Гусом, обещал ему личную безопасность. Гус прибыл в Констанц в ноябре 1414, однако в декабре был арестован и заключен; против него выдвинули обвинение в ереси и организации изгнания немцев из Пражского университета. Сигизмунд организовал слушание дела Гуса на соборе, на котором Гусу был вынесен смертный приговор с требованием отречься от собственных убеждений. 6 июля 1415 в Констанце Гус, отказавшийся отречься от своих «заблуждений», по приговору собора был сожжен на костре вместе со своими трудами. С его казнью связан ряд легенд; в частности, он якобы воскликнул «О святая простота! (O sancta simplicitas!)» старушке, из благочестивых побуждений подложившей вязанку хвороста в его костер. Вскоре на костре был сожжен также Иероним Пражский, один из его сподвижников. Казнь Гуса вызвала гуситские войны (1419—1434).

Стр. 237. Где Гус и Иероним Пражский когда-то окончили жизнь на костре. Иероним Пражский (ок. 1380—1416) — чешский реформатор, ученый, оратор, друг и сподвижник Яна Гуса. Относился к радикальному крылу последователей Гуса; отвергал иконы, святые мощи, католические обряды и т. д. Пытался найти

союзников чехам против католической церкви среди православных народов, для чего в 1413 отправился к литовскому князю Витовту и посетил Витебск и Псков, где общался с православными священниками.

Стр. 237. В этой же самой Тейнской церкви похоронен Тихо Браге. Тихо Браге (1546—1601) — датский астроном, астролог и алхимик эпохи Возрождения. Первым в Европе начал проводить систематические и высокоточные астрономические наблюдения, на основании которых Иоганн Кеплер впоследствии вывел законы движения планет. Не верил в гелиоцентрическую систему мира Коперника и называл ее математической спекуляцией. Предложил свою компромиссную гео-гелиоцентрическую систему, которая представляла собой комбинацию учений Птолемея и Коперника: Солнце, Луна и звезды врачаются вокруг неподвижной Земли, а все планеты и кометы — вокруг Солнца. Суточное вращение Земли Браге не признавал также.

Стр. 237. Толкались в разгоряченной спешке слепой Жижка и вольнодумный Валленштейн. Ян Жижка (Иоанн Жишка, ок. 1360—1424) — знаменитый вождь гуситов, полководец, национальный герой чешского народа. Альбрехт (Войтех Вацлав) фон Валленштейн (Вальдштейн) (1583—1634) — герцог Фридландский и Мекленбургский, имперский генералиссимус, выдающийся полководец Тридцатилетней войны; принадлежал к древней чешской дворянской фамилии Вальдштейнов.

Стр. 237. То летучих отрядов Сигизмунда, которых преследовали свирепые убийцы-табориты; то бледных протестантов, которых обращали в бегство победоносные католики Максимилиана. Сигизмунд I Люксембург (1368—1437) — курфюрст Бранденбурга с 1378 по 1388, король Германии с 1410; правил 4 года как император Священной Римской империи с 1433, был последним императором из дома Люксембургов; король Венгрии с 1385; король Чехии с 1419 по 1421 (1-й раз), с 1436 (2-й раз); король Ломбардии с 1431. Был одной из движущих сил Констанцского собора, прекратившего папский раскол, но вызвавшего гуситские войны. Табориты — радикальное крыло гуситов; название получило по горе Табор, где был основан первый лагерь приверженцев движения. Первый предводитель — Ян Жижка, который организовал плохо вооруженные отряды крестьян и устроил укрепленный лагерь; во главе 4 тысяч человек в июле 1420 Жижка разбил на горе Витков перед Прагой 30-тысячное войско крестоносцев, отправленное императором Сигизмундом для захвата города; в ноябре снова разбил императорские войска при Панкраце и овладел крепостью Вышеград. Максимилиан I (1573—1611) — герцог Баварии с 1597, курфюрст Пфальца в 1623—1648, курфюрст Баварии с 1648. Воспитанный иезуитами, проникся глубокой ненавистью к протестантизму; в 1607, после того, как он присоединил к своим владениям город Донауверт и ввел в нем католицизм, колебавшиеся ранее протестанты сплотились в унию (1608); Максимилиан образовал против них католическую лигу (1609).

Стр. 237. Вот святоши Густава Адольфа; вот в ворота врываются «стальные машины смерти» Фридриха Великого и сражаются на мостах. Густав II Адольф (1594—1632) — король Швеции (1611—1632). Двадцатилетнее царствование Густава Адольфа является одной из самых блестящих страниц в истории Швеции и имеет большое значение в истории Европы. Фридрих II — см. прим. к стр. 223; речь идет о событиях в Праге 6 мая 1757, в ходе Семилетней войны (1756—1763); Фридрих нанес поражение австрийским войскам под предводитель-

ством принца Лотарингского и блокировал их в городе. «Стальные машины смерти» — орудия.

Стр. 237. С которой они помогали католику Фердинанду сопротивляться протестантам-шведам. Фердинанд II (1578–1637) — король Чехии: 1617–1619 (1-й раз), с 1620 (2-й раз); король Венгрии с 1618; Римский король с 1618; император Священной Римской империи с 1619; из династии Габсбургов. Отличался фанатичной приверженностью католической церкви; едва приняв власть, стал неоступно преследовать протестантов. Всем, кто не желал менять вероисповедание, Фердинанд предписывал покинуть страну. За своим дядей Филиппом II любил повторять: «Лучше пустыня, нежели страна, населенная еретиками». Через несколько лет его правления в австрийских владениях, где ранее население наполовину состояло из лютеран и кальвинистов, не осталось ни одной протестантской церкви. Протестанты-шведы — силы короля Густава II Адольфа, которого протестанты Австрии призвали на помощь в борьбе с Фердинандом. События привели к Битве при Лютцене (16 ноября 1632) — одной из крупнейших битв Тридцатилетней войны, между шведскими войсками под командованием Густава II Адольфа и габсбургскими подразделениями во главе с Альбрехтом Валленштейном. Целью Валленштейна было пресечь коммуникации Густава Адольфа, чья армия опустошала Баварию, союзную Габсбургам; кроме того, Валленштейн рассчитывал заставить курфюрста Саксонии отказаться от союза со Швецией. Фердинанд не одобрял этого решения; в результате католики потерпели поражение, однако шведский король в ходе битвы погиб.

Стр. 238. Алфавит состоит из сорока двух букв, которые иностранцу покажутся китайскими иероглифами. Чешский алфавит состоит из 42 графем, 15 из которых имеют диакритические знаки 3 видов: акут, карон и кольцо.

Стр. 239. Что в последнее время Джордж слишком пристрастился к «Пилзнеру». «Пилзнер» (Пильзнер, Пильзенер; нем. Pilsner) — светлое сухое пиво золотистого цвета с характерным ароматом и привкусом хмеля. Впервые был представлен в 1842 в Богемии (сегодня Чехия) в городе Пльзень (по-немецки Pilsen, откуда название). Новое пиво сварил специально приглашенный баварский пивовар Йозеф Гролл. Одной из особенностей нового сорта стало использование светлого, только слегка обжаренного солода.

Стр. 240. Тогда пусть пьет «Аполлинарис». «Аполлинарис» — натуральная минеральная вода, известная в немецкоязычных странах как «королева столовых вод». Первый источник был обнаружен в 1852 в районе Бад-Нойенар-Арвайлер. Сегодня бренд «Аполлинарис» принадлежит компании «Кока-Кола», которая выкупила его у «Кэдбери-Швеппс» в 2006.

Стр. 242. Я знаю случай энцефаломаляции. Энцефаломаляция (размягчение мозга) — влажный некроз тканей мозга.

Стр. 249. Дело было утром 10-го ноября. С 1841 по 1901 9 ноября в Англии праздновался день рождения принца Уэльского — Альберта Эдуарда (1841–1910), наследника королевы Виктории (1819–1901), короля Эдуарда VII с 1901. В этот же день проходило празднование вступления лорда-мэра Лондона в должность (после 1959 стало проводиться во вторую субботу ноября).

Стр. 249. Накануне в «Критерии» за обычные беспорядки забрали в полицию обычную партию молодняка. «Критерий» — театр в западном Лондоне, на Пикадилли-Сиркус.

Стр. 249. Можно было податься со швейцаром из Ковент-Гардена. Королевский театр Ковент-Гарден, домашняя сцена Лондонской Королевской оперы и Лондонского Королевского балета. Расположен в районе Ковент-Гарден, по которому получил название.

Стр. 253. Как сплясать хорнпайп на мусульманском коврике для молитвы. Хорнпайп — народный танец под синкопированную мелодию, близкий к жиге; известен с XV в., был особенно популярен в XVI—XIX вв. Требует небольшого пространства для исполнения.

Стр. 256. После чего бы сел и послушал «Молитву девы» или увертюру к «Зампе» с большим удовольствием. «Молитва девы» — сочинение польского композитора Теклы Бадаржевской-Барановской (1834—1861); о произведении часто отзывались как «сентиментальная салонная ерунда». «Зампа, или мраморная невеста» — комическая опера в трех актах французского композитора Луи-Жозефа-Фердинанда Герольда (1791—1833); увертюра к опере — одна из его наиболее известных работ, является обязательным элементом оркестрового репертуара.

Стр. 259. Уговор для человека, а не человек для уговора. (Дьявол всегда толкует Писание на свой лад.) Ср. Марк II, 27: «И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы»; У. Шекспир, «Венецианский купец» I 3: «Бассанио, заметь: умеет черт ссыльаться на Писанье, священные слова произнося».

Стр. 267. Ваш завтрак похож на трапезу блудного сына. Притча о блудном сыне — одна из притч Иисуса Христа, приводимая в Евангелии от Луки. Одна из наиболее часто изображаемых в искусстве евангельских притч; тема впервые встречается в витражах французских кафедральных соборов XIII в. Циклы на этот сюжет включают следующие сцены: блудный сын получает свою долю наследства; уходит из дома; пиরует с куртизанками на постоялом дворе; они прогоняют его, когда у него кончатся деньги; пасет свиней; возвращается домой и раскаивается перед своим отцом.

Стр. 275. Забраться в чужой стране в какую-то тмутаракань и решать маневровые головоломки. Маневровая головоломка — задача на осуществление железнодорожных маневров. Цель таких задач — выполнить задание либо за наименьшее время, либо за наименьшее количество операций (одной операцией считается отцеп-прицеп и изменение направления движения состава).

Стр. 275. Шекспир и Мильтон в меру своих скромных возможностей пытались приобщить к английской культуре менее цивилизованных европеев. Уильям Шекспир (1564—1616) — английский драматург и поэт, один из самых знаменитых драматургов мира. Джон Мильтон (1608—1674) — английский поэт, политический деятель, философ; автор известного романа «Потерянный рай».

Стр. 275. Ньютон и Дарвин смогли сделать так. Исаак Ньютон (1643—1727) — английский физик, математик и астроном, один из создателей классической физики. Автор труда «Математические начала натуральной философии», в котором изложил закон всемирного тяготения и три закона механики, ставшие основой классической механики. Разработал дифференциальное и интегральное исчисление, теорию цвета и многие другие математические и физические теории. Чарльз Роберт Дарвин (1809—1882) — английский натуралист и путешественник. Один из первых продемонстрировал, что все виды живых организмов эволюционируют во времени от общих предков. В своей теории, первое развернутое изло-

жение которой было опубликовано в 1859 в книге «Происхождение видов», основной движущей силой эволюции назвал естественный отбор и неопределенную изменчивость.

Стр. 275. Диккенс и Уида... что литературный мир зиждется на предрассудках Нью-Граб-стрит... также внесли свою лепту. Чарльз Джон Гаффам Диккенс (1812–1870) — английский писатель, автор романов «Посмертные записки Пиквикского клуба», «Жизнь и приключения Оливера Твиста», «Домби и сын», «Дэвид Копперфильд» и др. Уида (1839–1908) — псевдоним английской романистки Марии Луизы Раме. Написала более сорока авантюрно-сентиментальных романов из великосветской жизни Англии и Италии, множество детских книг, коллекций коротких рассказов и очерков. Поздние работы являются типичными любовными историями, включающими комментарий на современное общество и события, который, как считается, отмечен характерной жестокостью и отсутствием здравого смысла. Граб-стрит — улица в Лондоне, известная тем, что на ней жили обедневшие «литературные негры», мелкие честолюбивые поэты, низкосортные издатели и книготорговцы.

Стр. 280. Буффоны дерутся с Панталоне, колбаса с Арлекинами. Панталоне и Арлекин — персонажи-маски итальянской комедии дель арте. Панталоне — уроженец Венеции, скромный богатый старик-купец; носит узкие красные штаны, короткий жилет-куртку, шерстяной колпак, длинный плащ, домашние туфли. Как правило, является центром интриги; всегда остается жертвой кого-либо, чаще всего Арлекина, его слуги. Арлекин — уроженец Бергамо, переехавший в поисках лучшей доли в богатейший город — Венецию; носит крестьянскую рубаху, обшитые разноцветными заплатками-ромбами панталоны, увенчанную заячьим хвостиком шапочку, легкие туфли, которые позволяют ему свободно перемещаться и совершать акробатические трюки.

Стр. 289. Подозреваю, половина наших «Гордонских горцев» — на самом деле кокни. «Гордонские горцы» — пехотный полк в составе Британской армии с 1881 по 1994. Название получил от шотландского клана Гордонов и набирался главным образом из Абердина и северо-восточной Шотландии. Кокни — зд. пре-небрежительно-насмешливое прозвище уроженца Лондона из средних и низших слоев населения.

Стр. 289. Торквемада был убежден в гуманности инквизиции. Томмазо де Торквемада (1420–1498) — основатель испанской инквизиции; его имя стало нарицательным для обозначения жестокого религиозного фанатика.

Стр. 290. Обычная дуэль ничем не напоминает поединок на шпагах а-ля Ричардсон. Театр Ричардсона, или шоу Ричардсона — странствующий ярмарочный театр, основанный в 1798 Джоном Ричардсоном (1766–1836); представлялся в Лондоне и пригородах в начале XIX в. Представление театра описано в сборнике рассказов Чарльза Диккенса «Очерки Боза».

Стр. 292. Вильгельм Телль входит в число мировых героев по праву. Вильгельм Телль — легендарный народный герой Швейцарии, уроженец кантона Ури; жил в конце XIII — начале XIV вв., искусный лучник, борец за независимость своей страны от Австрии и Священной Римской империи. Долго считался историческим лицом; сейчас подлинность легенды о Телле оспаривается. Согласно знаменитому швейцарскому сказанию, жестокий наместник германского императора в Швейцарии Геслер повесил на площади города Альтдорфа на шесте шляпу

австрийского герцога и отдал приказ, чтобы всякий проходящий кланялся шляпе. Молодой крестьянин Телль, известный как отличный стрелок, не исполнил этого приказания, и Геслер в наказание заставил его стрелять в яблоко, поставленное на голову сына самого Телля. Телль выстрелил и попал в яблоко и затем объявил, что если бы попал в сына, другой стрелой убил бы Геслера. Его заключили в тюрьму, но он убежал в горы; позднее подстерег Геслера на дороге между скалами и застрелил. Как считается, эти события произошли в 1307.

Стр. 293. Но в любом университете в городе встретить молодого человека неполных двадцати лет с телосложением Фальстафа и цветом лица рубенсовского Вакха — обычное дело. Сэр Джон Фальстаф — комический персонаж ряда произведений Шекспира: «Виндзорские насмешницы», «Генрих IV, части 1 и 2»; толстый, добродушный, трусливый пьяница, проводящий время в компании гуляк. Питер Пауль Рубенс (1577—1640) — южно-нидерландский (фламандский) живописец, воплотивший подвижность, жизненность и чувственность европейской живописи эпохи барокко. Вакх — в древнегреческой мифологии младший из олимпийцев, бог виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза.

Стр. 304. Чем смесь елизаветинской подделки с суррогатом под Людовика Пятнадцатого. Елизаветинский ренессанс — эпоха и художественный стиль английского Возрождения в годы правления королевы Елизаветы I Тюдор (1558—1603). Эпоху часто рассматривают в более широком контексте как апогей Возрождения времени «Тюдоров и Якова» — от начала правления королей династии Тюдоров, включая годы правления короля Якова I Стюарта (1603—1625), до эпохи Карла I (1600—1649), считающейся началом английского барокко. В архитектуре и оформлении жилища елизаветинский стиль характерен синтезом национальной поздней готики и ренессанса: эркеры, большие квадратные окна, башенки, лепные потолки. Стиль Людовика XV — поздний этап барокко во Франции (французское рококо), относится ко времени правления Людовика XV (1710—1774; король Франции с 1715). Рококо заключается прежде всего в причудливых формах орнаментики, состоящей из раковин, коралловидных образований, завитков, цветочных гирлянд, прихотливо извивающихся стеблей и т. п. Наиболее ярко проявился в оформлении интерьеров — зеркала, позолота, стекляющиеся по стенам и потолкам лепные узоры, изящная мебель, нарядные предметы украшения.

Стр. 304. В то время как Бисмарк. Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхаузен (1815—1898) — князь, политик, государственный деятель, первый канцлер Германской империи; прозван «железным канцлером»; автор известных фраз: «Русские долго запрягают, но быстро едут»; «Война между Германией и Россией — величайшая глупость; именно поэтому она обязательно случится»; «Если вы хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко».

Стр. 305. Вспоминают воспоминания о Седане. Битва при Седане — самая знаменитая битва Франко-прусской войны; произошла 1 сентября 1870 у небольшого французского города Седан. Битва закончилась поражением французских войск; 82 000 французских солдат были взяты в плен, в их числе сам император Франции Наполеон III. Пленение Наполеона III стало концом монархии во Франции и началом установления республики. В битве при Седане французская армия потеряла всех солдат, участников сражения, и фактически лишилась вооруженных сил; победа при Седане открыла прусским войскам дорогу на Париж.

Стр. 305. *Помнит также и Ватерлоо.* Ватерлоо — населенный пункт в Бельгии, в провинции Брабант, к югу от Брюсселя. 18 июня 1815 при Ватерлоо английскими и прусскими войсками была разгромлена армия Наполеона I. В результате разгрома при Ватерлоо наполеоновская империя перестала существовать.

Стр. 306. *В витрине на Георгплатц вижу первое издание «Разбойников».* «Разбойники» — одна из наиболее известных пьес Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера (1759–1805), немецкого поэта, философа, историка, теоретика искусства и драматурга, автора «Оды к радости», версия которой стала текстом гимна Европейского союза.

Стр. 307. *Которая могла принадлежать Юноне.* Юнона — древнеримская богиня, супруга Юпитера, богиня брака и рождения, материнства, женщин и женской производительной силы; покровительница браков, охранительница семьи и семейных установлений.

Стр. 307. *Свое данное ей по рождению право на преданность и восхищение она продает за порцию сладостей.* Ср. Быт. 25, 30–34: «И сказал Исаев Иакову: дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал... Но Иаков сказал: продай мне теперь же свое первородство. Исаев сказал: вот, я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему, и продал первородство свое Иакову».

* * *

УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

- Азия 303
Айленриде, лес у Ганновера 220
Аллан-Уотер, река 210
Альберта, мост 96
Альтбрайзах 282, 283
Альтнойшул, синагога в Праге 237
Америка 229
Англия 59, 93, 94, 162, 189, 199, 217,
218, 219, 220, 229, 235, 236, 243,
246, 249, 250, 251, 253, 256, 263,
288, 289, 296, 300, 302, 304
Арктика 28
Атлантический океан 42
Аутлэндс-парк 68
Афины 225
Африка 303
Баден 247, 248, 258
Баклсбери 163
Барр 285
Бат 15
Белл-Уэйрский, шлюз 78, 92
Бельгия 266
Бенсонский, шлюз 76
Берлин 175, 176, 209, 215, 223, 226,
236, 297
Берн, река 69
Бетшаим, кладбище в Праге 237
Бирмингем 28, 182
Бишемская, церковь 105
Бишемское, аббатство 104
Блазен 259, 260
Блэкфрейрз-Роуд, улица
в Лондоне 201
Бовени 71, 96
Богемия 238
Болтерский, шлюз 53, 101
Бонн 290, 300
Боу, район в Лондоне 58
Брайтон 181
Бранденбургские ворота,
в Берлине 225
Британия 262, 263
Британский музей 9
Булонь 132
Бэйзингстокский, канал 69
Бэкингемшир, графство 95
Вальдзхут 274
Вальдштейн, площадь в Праге 237
Ватерлоо 305
Ватерлоо, вокзал в Лондоне 42, 43,
179, 199
Великой хартии вольностей,
остров 78, 93, 94
Вена 160, 161, 229
Венцеславова площадь,
в Праге 240, 243
Вер, река 229
Версаль 223
Верталь, долина в Шварцвальде 229
Вестминстер-Бридж-Роуд, улица
в Лондоне 199
Вестминстер, район в Лондоне 135
Вестминстерский дворец,
в Лондоне 241
Вестфалия 216
Виктории, мост 96
Виндзор 67, 95, 111
Вирджиния-Уотер 43
Вогезские, горы 258, 282, 283
Вюртемберг 216
Гайзенгейн 275
Гамбург 175, 215
Ганновер 215, 216, 220, 223
Гарца, горы 66

- Гейдельберг 290
 Геллеспонт 210
 Георгплатц, площадь 306
 Германия 64, 204, 209, 210, 216,
 217, 226, 227, 229, 236, 239, 245,
 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253,
 255, 256, 258, 263, 266, 272, 273,
 274, 275, 277, 278, 286, 287, 288,
 300, 301, 302, 304, 305, 307, 308
 Гилдфорд 69
 Глостершир, графство 105
 Голден-сквер, площадь
 в Лондоне 249
 Голландия 175, 176, 266
 Голландские острова 164
 Горинг 75, 126, 137, 138, 155
 Горн, мыс 15
 Градчаны, район в Праге 236
 Грампианские, горы в Англии 210
 Грейт-Корам-стрит, улица
 в Лондоне 41
 Гринленд 105
 Грэйвсенд 163
 Гулль 209
 Даверкорт 167
 Данкрофт-холл 91, 92
 Датское поле 105
 Даунинг-стрит, улица
 в Лондоне 236
 Дин-стрит, улица в Лондоне 249
 Донаушинген 274, 275
 Доротеенштрассе, улица
 в Берлине 224, 225
 Дорчестер 146, 147
 Дрезден 175, 223, 226, 228, 229,
 230, 231, 235, 238, 245, 250, 266
 Дувр 209
 Дунай, река 258, 274
 Дъепп 219
 Дэйский, шлюз 146, 153
 Дэтчет 96, 99
 Европа 41, 50, 189, 229, 234, 235,
 236, 237, 266, 275, 276, 280,
 293, 303
 Елисейские поля, район
 в Париже 223
 Зигмаринген 258, 263
 Зонненштайг 278
 Иеддо (Япония) 49
 Израиль 237
 Илинг 197
 Иммендинген 274
 Йоркшир, графство
 в Англии 210, 216
 Ипсвич 166
 Исландия 205
 Истборн 129
 Итон 98
 Иффли 148
 Иффлийский, шлюз 148
 Кабаний, хребет 210
 Кайзерхоф, парк в Бонне 300
 Кайр Дорен (Дорчестер) 146
 Калэм 144, 147
 Калэмский, шлюз 147
 Карлов, мост в Праге 240
 Карлсбад 244
 Карлсруэ 246, 247, 248
 Карьерный, лес 104
 Касл-стрит, улица в Лондоне 156
 Кемп-таун, район в Брайтоне 181
 Кёнигсгестун (Кингстон) 44, 45
 Кеннет, бухта 135
 Кенсал-Грин, район в Лондоне 58
 Кент, графство 94, 95
 Кинг-Роуд, улица в Брайтоне 181
 Кингстон 17, 43, 44, 45, 125
 Клив 75, 77, 144
 Кливлендский, лес 101
 Клифтонский, шлюз 147
 Клифтон-Хэмпден 147
 Колоннада, место в Карлсбаде 244
 Колымар 282
 Констанц 237, 274, 275
 Коруэй-Стэйкс 68
 Крю 30
 Кукэм 101, 104
 Кукэмский, шлюз 72, 101
 Купер-Хилл, гора 92
 Кью 128
 Кьюзский, мост 128
 Кэмптон-парк 60
 Лаймхаус, район в Лондоне 162
 Ла-Манш 14, 38

- Лейпциг 306
 Лестер-сквер, площадь
 в Лондоне 156
 Лестершир, графство в Англии 250
 Ливерпуль 13, 29, 30, 31
 Ливерпуль-стрит, улица
 в Лондоне 164
 Лидс 239
 Линден, район в Берлине 225
 Ли, река 127
 Лодор 229
 Лондон 13, 26, 29, 38, 43, 44, 45,
 53, 67, 92, 135, 155, 168, 189, 195,
 205, 208, 209, 216, 248, 249,
 250, 306
 Лоутер-Аркейд, район
 в Лондоне 106
 Манчестер 234, 235
 Маргейт 49, 54
 Марло 28, 73, 103, 104, 105, 108,
 109, 126, 150
 Марлоуский, мост 104
 Маршский, шлюз 112
 Маттерхорн, гора в Альпах 210
 Медменхэм 105
 Медменхэмское, аббатство 105
 Мекленбург 216
 Мемель (совр. Клайпеда) 229
 Месопотамия 176
 Молсейский, шлюз 53
 Молси 53
 Мэйденхед 72, 101
 Мэйплдэрхем 136
 Мюнстер 282
 Мюнхен 305
 Нева, река 223
 Ниагарский, водопад 210
 Новая Гвинея 120
 Нор 204
 Норвегия 164
 Нормандия 161
 Норт-Кенсингтон, район
 в Лондоне 249
 Нью-Граб-стрит, улица
 в Лондоне 275
 Нью-Йорк 306
 Ньюэм-Кортни 148
 Ньюэм-парк 148
 Нюрнберг 175, 244, 245
 Обезьянок, остров 99
 Озерный край 210
 Оксфорд 39, 67, 147, 148, 150, 152
 Оксфорд-стрит, улица
 в Лондоне 223
 Олдборо 168
 Олд-Виндзор 96
 Олд-Виндзорский, шлюз 96
 Олдершот 153
 Паддингтонский, вокзал 156
 Париж 209, 229, 236, 244
 Пенгборн 136, 137, 155, 156
 Пентон-Хук 75
 Пикадилли, улица и площадь
 в Лондоне 241, 249
 Пикников, мыс 78, 94, 96
 Позен 216
 Потсдам 223
 Прага 234, 236, 237, 238, 239, 240,
 242, 244
 Пуатье 104
 Радольфцелль 275
 Раннимид 75, 93, 94
 Рейн, река 175, 210, 213, 229, 272,
 274, 283, 300
 Рейсбери 95
 Рейхстаг, здание парламента
 в Берлине 225
 Риги, гора в Альпах 210
 Риджентс-парк, в Лондоне 127, 255
 Рим 205, 208
 Ринг-платц, площадь в Праге 242
 Ричмонд 128
 Россия 305
 Рэдинг 67, 116, 125, 135, 136, 138
 Рэдингский, шлюз 135
 Рэмсгейт 49
 Санберийский, шлюз 67
 Сандвичевы острова 90
 Санкт-Петербург 223
 Сан-Суси, парк в Потсдаме 223
 Св. Винсента, мыс 275
 Св. Оттилии, монастырь 285
 Седан 305
 Сейнт-Джеймс-парк, в Лондоне 255

- Сент-Олбенс 94, 96
 Серпентайн, озеро в Гайд-парке
 в Лондоне 128
 Сити, район в Лондоне 17, 38, 70,
 86, 197
 Слоан-стрит, улица в Лондоне 261
 Сноудон, гора 210
 Соннинг 104, 116
 Старый рынок, в Дрездене 231
 Стокгольм 209
 Страсбург 221, 236
 Стратли 135, 136, 137, 138, 144, 146
 Стэйнз 75, 78, 91, 92, 111
 Суррей, графство в Англии 210
 Сэнфордская, перемычка 148
 Тайлхерст 136
 Теддингтон 144
 Тейнская церковь, в Праге 237
 Темза, река 24, 27, 49, 53, 59, 61, 69,
 89, 92, 96, 101, 104, 105, 111, 116,
 127, 137, 138, 139, 141, 144, 148,
 150, 151, 152, 157, 241
 Темпль, район в Лондоне 248
 Тем, река 146
 Тилбери 189
 Тиргартен, район в Берлине 225
 Титизе, деревня и озеро 260
 Тодтмоос 270, 272
 Тоттенхэм-Корт-Роуд, улица
 в Лондоне 206
 Туттлинген 258
 Уайн-стрит, улица в Лондоне 249
 Уайт, остров 43
 Уайтчепел, район в Лондоне 216
 Уиллзден, район в Лондоне 249
 Уитби-роуд, улица в Лондоне 181
 Унтер-ден-Линден, улица
 в Берлине 223
 Уоллингфорд 137, 141, 144, 146, 147
 Уоллингфордский, шлюз 75, 76, 77
 Уолтон 67, 68, 73
 Уолтонский, мост 68
 Уоргрейв 112, 115
 Уральские, горы 275
 Уэйбридж 69
 Уэй, река 69
 Уэльс 82, 174
 Уэссекс, королевство 135, 147
 Уэст-стрит, улица в Марло 105
 Фенчерч-стрит, улица
 в Лондоне 202
 Фердинандштрассе, улица в старой
 Праге 242
 Финчли, район в Лондоне 58
 Флит-стрит, улица в Лондоне 210
 Фолкстон 173, 174, 183
 Франкфурт 236
 Франца-Иосифа, мост в Праге 240
 Франция 229, 236, 266, 284
 Фридрихштрассе, улица
 в Берлине 224
 Хай-стрит, улица в Марло 28, 107,
 108, 109
 Хай-стрит, улица в Харидже 168
 Хардвик-хаус, поместье 136
 Хардиг 164, 167, 168
 Харлейская, плотина 105
 Харли 105
 Хевер, замок в графстве Кент 94, 95
 Хенли 105, 109, 116, 120, 121, 138
 Холборн, улица в Лондоне 87
 Хоумский, парк 96
 Хэллифорд 68
 Хэмблдонский, шлюз 105, 111
 Хэмптон 53
 Хэмптон-Корт, королевская
 резиденция 45, 49, 144
 Хэмптон-Кортский, лабиринт 50
 Хэмптонская, церковь 56
 Центральная Африка 292
 Черногория 244
 Чертси 17
 Чикаго 244
 Швабия 288
 Шварцвальд 169, 175, 179, 194, 204,
 213, 226, 229, 245, 258, 260, 267,
 268, 272, 273, 279, 282, 283
 Швейцария 100, 169, 209
 Шеппертон 58, 68
 Шиплейк 115, 116, 121
 Ширнесс 14
 Шотландия 169
 Штутгарт 175, 245
 Эбингдон 67, 147, 148

- Эбингдонская, церковь 147
Эльба, река 228
Эльзас-Лотарингия 285
Эльзасские горы 210
Энген 274, 275
Энкервикский, замок 94
Эскот 224
Юстонский, вокзал в Лондоне 30
Ярмут 15, 132, 168
Яр, река 132

СОДЕРЖАНИЕ

ТРОЕ В ЛОДКЕ...

ГЛАВА I 9

Три инвалида. — Страдания Джорджа и Гарриса. — Жертва ста и семи смертельных недугов. — Полезные предписания. — Средство против болезни печени у детей. — Мы согласны, что переутомились и нуждаемся в отдыхе. — Неделя над бушующей бездной? — Джордж предлагает реку. — Монморанси заявляет протест. — Первоначальное предложение принимается большинством трех против одного.

ГЛАВА II 17

Обсуждение плана. — Прелести ночевки на открытом воздухе в ясную погоду. — То же — в сырую. — Принимается компромисс. — Монморанси: первые впечатления. — Возникают опасения: не слишком ли он хорош для данного мира? — Опасения впоследствии отбрасываются как беспочвенные. — Заседание откладывается.

ГЛАВА III 22

План согласуется. — Метод работы Гарриса. — Как почтенный отец семейства вешает картину. — Джордж делает благоразумное замечание. — Прелести купания ранним утром. — Приготовления на случай, если мы перевернемся.

ГЛАВА IV 28

Вопрос пропитания. — Возражения против керосина как среды обитания. — Преимущества сыра как дорожного спутника. — Мать семейства покидает домашний очаг. — Дальнейшие приготовления на случай, если мы перевернемся. — Я укладываю вещи. — Окаянность зубных щеток. — Джордж и Гаррис укладывают вещи. — Безобразное поведение Монморанси. — Мы удаляемся на покой.

ГЛАВА V 37

Нас будит миссис П. — Джордж-лежебока. — Надувательства с «прогнозом погоды». — Наш багаж. — Порочность мальчишки. — Мы собираем народ. — Мы шикарным образом отбываем и прибываем на Ватерлоо. — Простосердечие служащих Юго-Восточной железной дороги в отношении такой суетности, как поезд. — Плыви, наш челн, по воле волн.

ГЛАВА VI 44

Кингстон. — Поучительные замечания о раннем периоде английской истории. — Поучительные наблюдения о резном дубе и жизни вообще. — Печальный случай Стиввингса-младшего. — Размышления об архаике. — Я забываю, что на руле. — Любопытные результаты. — Хэмптон-Кортский лабиринт. — Гаррис в роли проводника.

ГЛАВА VII 53

Темза в воскресном убранстве. — Платые на реке. — Возможности для мужчин. — Отсутствие вкуса у Гарриса. — Спортивная куртка Джорджа. — День в обществе юных модниц. — Надгробие миссис Томас. — Человек, который не обожает могилы, гробы и черепа. — Гаррис приходит в бешенство. — Его взгляды на Джорджа, банки и лимонад. — Он выполняет акробатические номера.

ГЛАВА VIII 60

Вымогательство. — Как следует поступать в таких случаях. — Бесстыдный эгоизм прибрежных землевладельцев. — Доски «объявлений». — Нехристианские чувства Гарриса. — Как Гаррис поет комические куплеты. — Вечер в изысканном обществе. — Скандалальная выходка двух молодых негодяев. — Кое-какие бесполезные справки. — Джордж покупает банджо.

ГЛАВА IX 70

Джорджа знакомят с работой. — Варварские инстинкты бечевы. — Черная неблагодарность четырехвесельной лодки. — «Тягачи» и «тягомые». — Как можно пользоваться влюбленными. — Удивительное исчезновение пожилой леди. — Тише едешь — дальше будешь. — Вас тянут девушки: возбуждающее переживание. — Пропавший шлюз, или река с привидениями. — Музыка. — Спасены!

ГЛАВА X 78

Первая ночевка. — Под парусиной. — Призыв о помощи. — Обскурантизм чайников: как с ним бороться. — Ужин. — Как исполниться добродетели. — Срочно требуется хорошо осушенный необитаемый остров с удобствами, предпочтитель но в южной части Тихого океана. — Забавный случай с отцом Джорджа. — Бессонная ночь.

ГЛАВА XI 86

О том, как Джордж однажды встал рано. — Джордж, Гаррис и Монморанси не выносят вида холодной воды. — Героизм и решительность, которые проявляет Джей. — Джордж и его рубашка: история с назиданием. — Гаррис в роли повара. — Взгляд в прошлое: пособие для изучения в школе.

ГЛАВА XII 94

Генрих Восьмой и Анна Болейн. — О неудобствах проживания в доме с влюбленной парой. — Трудные времена в истории английского народа. — Поиски красот природы в ночное время. — Бездомные и бесприютные. — Гаррис готовится к смерти. — Ангел нисходит с небес. — Действие нечаянной благодати на Гарри-

са. — Легкий ужин. — Завтрак. — Полцарства за горчицу. — Страшная битва. — Мэйденхед. — Под парусом. — Три рыболова. — Нас предают проклятию.

ГЛАВА XIII 104

Марло. — Бишемское аббатство. — Монахи из Медменхэма. — Монморанси замышляет убийство старого Котици. — Но все-таки решает подарить ему жизнь. — Скандалное поведение фокстерьера в универсальном магазине. — Мы отываем из Марло. — Внушительная процессия. — Паровой баркас: полезные советы как привести его в исступление и стать палкой ему в колесе. — Мы отказываемся пить реку. — Покойный пес. — Загадочное исчезновение Гарриса и пудинга.

ГЛАВА XIV 115

Уорграйв. — Кабинет восковых фигур. — Соннинг. — Ирландское рагу. — Монморанси в сарказме. — Битва между Монморанси и чайником. — Занятия Джорджа игрой на банджо. — Которые не встречают поддержки. — Препоны на пути музыканта-любителя. — Обучение игре на волынке. — После ужина: Гаррис впадает в уныние. — Мы с Джорджем отправляемся на прогулку. — Возвращаемся голодные и промокшие. — С Гаррисом творится странное. — Гаррис и лебеди: история, заслуживающая внимания. — Гаррис проводит тревожную ночь.

ГЛАВА XV 124

Хлопоты по хозяйству. — Любовь к работе. — Ветеран весла: как он работает руками и как языком. — Скептицизм молодого поколения. — Воспоминания о первых шагах в гребном спорте. — Катание на плотах. — Джордж демонстрирует образец стиля. — Старый лодочник: его метод. — Так спокойно, так умиротворенно. — Новичок. — Плавание на плоскодонках с шестом. — Печальный случай. — Отрады дружбы. — Плавание под парусом: мой первый опыт. — Возможная причина тому, что мы не утонули.

ГЛАВА XVI 135

Рэдинг. — Нас тянет паровой баркас. — Раздражающее поведение маленьких лодок. — Как они путаются под ногами у паровых баркасов. — Джордж и Гаррис снова увиливают от работы. — Весьма банальная история. — Стратли и Горинг.

ГЛАВА XVII 138

Стирка. — Рыба и рыболовы. — Об искусстве ловить рыбу на удочку. — Честный удильщик на муху. — Рыболовная история.

ГЛАВА XVIII 144

Шлюзы. — Мы с Джорджем фотографируемся. — Уоллингфорд. — Дорчестер. — Эбингдон. — Семейственный человек. — Хорошее место, где можно утонуть. — Трудный участок реки. — Развращающее влияние речного воздуха.

ГЛАВА XIX 150

Оксфорд. — Рай в представлении Монморанси. — Лодка, которая берется напрокат в верховьях Темзы: ее привлекательность и преимущества. — «Гордость Темзы». — Погода меняется. — Река в разных аспектах. — Нерадостный вечер. —

Тоска по недостижимому. — Ободрительная беседа. — Джордж играет на банджо. — Траурная мелодия. — Еще один мокрый день. — Бегство. — Скромный ужин и тост.

ТРОЕ ЗА ГРАНИЦЕЙ

ГЛАВА I 160

Троим необходимо сменить обстановку. — Случай, демонстрирующий превратность обмана. — Нравственное малодушие Джорджа. — У Гарриса есть идеи. — Сказ о бывалом моряке и неискоренном яхтсмене. — Душевная команда. — Опасность плавания под береговым ветром. — Невозможность плавания под морским ветром. — Дух противоречия у Этельберты. — Сырость на реке. — Гаррис предлагает тур на велосипедах. — Джордж опасается насчет ветра. — Гаррис предлагает тур по Шварцвальду. — Джордж сомневается насчет гор. — План, который принимает Гаррис для восхождения в горы. — Миссис Гаррис вмешивается.

ГЛАВА II 170

Тонкое дело. — Что могла бы сказать Этельберта. — Что она сказала. — Что сказала миссис Гаррис. — Что сказали Джорджу мы. — Мы отправляемся в среду. — Джордж предоставляет возможность расширить наш кругозор. — Мы с Гаррисом сомневаемся. — Кто на tandemе трудится больше? — Мнение человека на переднем сидении. — Мнение человека на заднем сидении. — Как Гаррис потерял жену. — Багажный вопрос. — Мудрость покойного дядюшки Поджера. — Начало истории о человеке с сумкой.

ГЛАВА III 180

Единственный недостаток Гарриса. — Гаррис и ангел. — Патентованная велосипедная фара. — Идеальное седло. — Специалист по капитальному ремонту. — Его орлиный взор. — Его метод. — Его энергичная самонадеянность. — Его простой непрятательный вкус. — Его внешний вид. — Как от него избавиться. — Джордж в роли пророка. — Тонкое искусство сварливости на чужом языке. — Джордж как исследователь человеческого естества. — Он предлагает эксперимент. — Его благородие. — Содействие Гарриса гарантируется, на определенных условиях.

ГЛАВА IV 191

Почему Гаррис считает, что в доме будильник не нужен. — Социальный инстинкт юного поколения. — Что думает ребенок об утренней поре. — Бдительный страж. — Его непостижимость. — Его чрезмерное рвение. — Мысли, приходящие ночью. — Чем человеку можно заняться до завтрака. — Хорошая овца и дурная овца. — Невыгодное положение добродетели. — Новая плита Гарриса начинает заупокой. — Как мой дядюшка Поджер выходил каждый день из дома. — Почтенный джентльмен в роли скаковой лошади. — Мы прибываем в Лондон. — Мы говорим на языке путешественников.

ГЛАВА V 203

Необходимое отступление, предваряемое историей с назиданием. — Привлекательный аспект этой книги. — Журнал, который не пользовался успехом. — Его

хвастливый девиз: «Поучение с развлечением». — Вопрос: где поучение, где развлечение? — Популярная игра. — Экспертное заключение по английскому законодательству. — Еще один привлекательный аспект этой книги. — Избитый мотив. — И еще один привлекательный аспект этой книги. — В каком лесу жила дева. — Описание Шварцвальда.

ГЛАВА VI 215

Почему мы оказались в Ганновере. — Что за границей делают лучше. — Искусство беседы с иностранцем: как его преподают в английской школе. — Подлинная история; рассказывается впервые. — Французский юмор, в обработке на потеху британской молодежи. — Отеческие инстинкты Гарриса. — Поливальщик улиц как художник своего дела. — Патриотизм Джорджа. — Что Гаррис должен был сделать. — Что он сделал. — Мы спасаем Гаррису жизнь. — Город, в котором не спят. — Лошадь-критик.

ГЛАВА VII 226

Недоумение Джорджа. — Любовь немцев к порядку. — «Концепт „Дроздов из Шварцвальда”» состоится в семь». — Фарфоровая собачка. — Ее преимущества перед всеми другими собачками. — Немец и Солнечная система. — Опрытная страна. — Горная долина: какой она должна быть с точки зрения немца. — Как в Германии приходит паводок. — Кошмар Дрездена. — Гаррис дает представление. — Которое не получает достойной оценки. — Джордж и его тетушка. — Джордж, подушка и три продавщицы.

ГЛАВА VIII 234

Мистер и мисс Джонс из Манчестера. — Преимущества какао. — Совет Комитету борьбы за мир. — Окно как аргумент в богословском споре. — Любимое развлечение христиан. — Язык гидов. — Как восстановить разоренное временем. — Джордж пробует содержимое пузырька. — Судьба любителя немецкого пива. — Мы с Гаррисом решаем сделать доброе дело. — Обыкновенная статуя. — Гаррис и его друзья. — Рай без перца. — Женщины и города.

ГЛАВА IX 245

Гаррис преступает закон. — Услужливый человек: опасности, которые его окружают. — Первый шаг Джорджа на поприще уголовника. — Для кого Германия — обетованный край. — Английский грешник: бесконечные разочарования. — Немецкий грешник: неограниченные возможности. — Чего нельзя делать с постельным бельем. — Недорогостоящий порок. — Немецкая собака: ее азбучная добродетель. — Ненадлежащее поведение жука. — Люди, которые поступают как следует поступать. — Немецкий мальчик: его страсть к закону. — Как сбиться с пути истинного посредством детской коляски. — Немецкий студент: его законопопулярное непослушание.

ГЛАВА X 258

Баден с точки зрения путешественника. — Очарование раннего утра, каким оно представляется накануне днем. — Расстояние, измеренное циркулем. — То же, измеренное ногами. — Джордж решает посчитаться с совестью. — Нерадивый

велосипед. — «Велосипедный спорт — лучший отдых». — Велосипедист с реклами: как он одет, как он ездит. — Грифон как домашняя птица. — Собака с чувством собственного достоинства. — Лошадь, которую оскорбляли.

ГЛАВА XI 267

Ферма в Шварцвальде: ее коммуникабельное общежитие. — Ее благоухание. — Джордж наотрез отказывается валяться в постели после четырех утра. — Дорога, с которой не съешься. — Мое особенное шестое чувство. — Неблагодарная компания. — Гаррис как ученый. — Его бодрая уверенность. — Деревня: где она была и где она должна была быть. — Джордж: его план. — Променад «а-ля франсе». — Немецкий кучер спит и бодрствует. — Человек, который распространяет английский язык за границей.

ГЛАВА XII 277

Мы скорбим приземленным страсти немцев. — Великолепный вид, при котором нет ресторана. — Что европеец думает о британце? — У британца не хватает ума сообразить, что от дождя можно укрыться. — Усталый скиталец с кирпичом на веревке. — Избиение собаки. — Место, неадекватное для проживания. — Плодородный край. — Жизнерадостный старикан торопится в гору. — Джордж, встревоженный наступлением позднего времени, спешит прочь. — Гаррис спешит за ним, чтобы показать дорогу. — Я не терплю одиночества и тороплюсь за Гаррисом. — Произношение, разработанное специально для иностранцев.

ГЛАВА XIII 288

Опыт исследования характера и образа жизни немецкого студента. — Дудэль по-немецки. — Применение и злоупотребления. — Точка зрения импрессиониста. — Комическая сторона вопроса. — Способ изготовления дикарей. — «Jungfrau»: особенности ее физиономических предпочтений. — «Kneipe». — Как «тереть саламандру». — Совет путешественнику. — История, которая могла закончиться грустно. — О двух мужах и двух женах. — И об одном холостяке.

ГЛАВА XIV 300

Глава серьезная, так как становится главой прощальной. — Немец с точки зрения ангlosакса. — Провидение в мундире. — Рай для беспомощного идиота. — Немецкая совесть: ее напористость. — Как, скорее всего, вешают в Германии. — Что случается с добродорядочными немцами после смерти? — Военный инстинкт: так ли он важен? — Немец в роли лавочника. — Чем он живет. — «Передовая женщина»: что здесь, что повсюду. — Что можно сказать против немцев как нации. — «Bummel» окончен.